ВОЛЬТЕР

ПОЭМЫ
ФИЛОСОФСКИЕ ПОВЕСТИ
ПАМФЛЕТЫ

ВОЛЬТЕР

ПОЭМЫ

ФИЛОСОФСКИЕ ПОВЕСТИ

ПАМФЛЕТЫ

Киев
Издательство политической литературы Украины
1989

ББК 84.4Фр
В71

В книгу вошли философские повести, поэмы, памфлеты французского писателя-просветителя Вольтера (1694—1778), представляющие собой типичные образцы сатирической антиклерикальной литературы эпохи Просвещения: «Кандид», «Простодушный», «Фанатизм», «История доброго брамина», «Марк Аврелий и францисканский монах» и др., а также поэма «Орлеанская девственница», которую А. С. Пушкин назвал «катехизисом остроумия».

Рассчитана на широкий круг читателей.

Тексты печатаются по изданиям:

«Орлеанская девственница», «Задиг, или Судьба», «История путешествий Скарментадо, написанная им самим», «Кандид, или оптимизм», «История доброго брамина», «Простодушный», «Кози-Санкта», «Мемнон» // Вольтер. Философские повести. Орлеанская девственница.— М.: Худож. лит., 1988; «За и против (Послание к Урании)», «Поэма о гибели Лиссабона» // Вольтер. Избранные произведения.— М.: Гослитиздат, 1947; «Рассказ об одном диспуте в Китае» // Вольтер. Бог и люди.— М.: Изд. АН СССР, 1961; «Марк Аврелий и францисканский монах», «О страшном вреде чтения», «Фанатизм» // Вольтер. Мемуары и памфлеты.— Л.: Сеятель, 1924.

Предисловие, составление, примечания *В. И. Пащенко*

В $\frac{4703010000-054}{М201(04)-89}$ 247.89

ISBN 5-319-00276-9

ВОЛЬТЕР И ЕГО ВРЕМЯ

Обращаясь к Франции, М. Горький дал блестящую характеристику одному из выдающихся представителей ее народа: «Твой сын Вольтер, человек с лицом дьявола, всю жизнь, как титан, боролся с пошлостью. Крепок был яд его мудрого смеха! Даже попы, которые сожрали тысячи книг, не портя своего желудка, отравлялись насмерть одной страницей Вольтера, даже королей, защитников лжи, он заставлял уважать правду»[1]. Вольтер, именем которого называют XVIII в., стал вершиной долгих и мучительных исканий мыслителей предшествующих эпох, вобрав в себя лучшие их традиции.

В своем творчестве Вольтер опирался, в первую очередь, на опыт гуманистов, представителей Возрождения, идеологов тогда еще молодой, передовой и решительной буржуазии, которые защищали не узко классовые эгоистические интересы представителей своего сословия, а человека вообще. Человека, угнетенного многовековой жесточайшей диктатурой католической церкви, освятившей феодальный уклад с его произволом и всей средневековой идеологией. Гуманисты, страстные и в большинстве своем непоколебимые защитники новых идей, использовали все возможные формы борьбы для их утверждения. Подвергая острейшей критике и гневному осмеянию все феодальные установления и церковные догматы, они, тем самым, подрывали идеологическую основу старого общества. В то же время гуманисты первыми выступили с беспощадными разоблачениями тех пороков, которые были заложены в самом буржуазном обществе с момента его появления.

Разрушая ветхое здание средневековой схоластики и богословской науки, представители Возрождения создавали для человечества новую духовную культуру, основанную на

[1] *Горький М.* // Полн. собр. соч. Т. 7. С. 64.

принципах гуманизма и равенства людей, раскрепощения человеческого разума и гармонического развития личности. Их борьба оказалась плодотворной. Она привела к перевороту в области науки и философии, литературы и искусства, к созданию освобожденной от церковного фанатизма светской культуры. Однако идеалы гуманистов о лучшем общественном устройстве в то время не могли быть осуществлены. Выполнив огромную историческую задачу, гуманисты передали их последующим поколениям. Духовными наследниками борцов эпохи Возрождения стали просветители XVIII в. Для Вольтера же подлинным учителем явился гениальный сатирик-гуманист XVI в. Франсуа Рабле — один из образованнейших людей своего времени.

Сущность нового идейного движения, возникшего в странах Западной Европы и вошедшего в историю под названием Просвещения, заключалась в окончательном уничтожении феодально-религиозного мировоззрения, уже изрядно подорванного гуманистами, и, главное, в ликвидации всей феодально-крепостнической системы. Буржуазия, захватив в предыдущие столетия власть экономическую, рвалась теперь к власти политической.

В. И. Ленин отмечал, что большинство западноевропейских просветителей испытывали неодолимую вражду «к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области» [1]. Стремясь уничтожить крепостничество, они тем самым готовили основание новому общественно-экономическому строю, хотя не знали, да и не могли предугадать его будущие формы и истинное содержание. Просветители пошли гораздо дальше своих предшественников. Они резко и беспощадно критиковали религиозные догматы, рожденную богословием идеалистическую философию. Главным критерием истины для них становится разум. Именно с этих позиций просветители оценивают как все установления феодализма, так и его идеологию, решительно отбрасывая все, что не соответствовало принципам разумности и не служило на благо человеку.

Просветительский культ разума принял конкретный смысл, возродив идею гуманистов о «естественном человеке». Под ним понимали человеческую личность, воспитанную естественными законами природы, не испорченную цивилизацией, освобожденную от влияния церкви и государства. Запросы, желания, устремления и цели такого человека объявлялись «разумными», поэтому он стал могучим ору-

[1] *В. И. Ленин.* // Полн. собр. соч. Т. 2. С. 519.

жием в борьбе просветителей с феодальной моралью, религией и церковью.

В странах Западной Европы наиболее последовательным и революционным оказалось французское Просвещение. Особый демократизм ему придавала активность широких народных масс. В подготовке революционных событий 1789 г. просветители сыграли огромную роль, пропагандируя в своих произведениях смелые мысли о социальных преобразованиях.

Ученые и поэты, философы и писатели — а многие из просветителей воплощали в себе эти качества — ниспровергали все устаревшие представления и догмы, связанные со средневековым укладом. В работе «Анти-Дюринг» Ф. Энгельс дает им очень высокую оценку: «Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, общество, государственный строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике...» [1].

В своей борьбе с феодальной идеологией просветители опирались на фундамент, заложеный французскими материалистами. Вольтер, Руссо, Монтескье, энциклопедисты Дидро, Гольбах и Гельвеций, Морелли и Мабли, Д'Аламбер и Бюффон сделали большой вклад в создание единой и всеобъемлющей системы миросозерцания окружающей их действительности. Они оказали непосредственное влияние на идейную жизнь не только Франции, но и всей европейской общественности.

Однако лагерь просветителей не был однородным и единым. В него входили представители самых различных политических и религиозных взглядов, часто не соглашавшиеся друг с другом, спорившие, а порой начинавшие ожесточенную борьбу, такие, например, как Вольтер и Руссо. В их мировоззрении было немало противоречивого и ошибочного. Но просветители искренне верили в человека, его разум и светлое будущее, считая его творцом истории. По их мнению, творить историю до этого времени возможностей не было, так как на протяжении столетий процесс развития общества находился под тлетворным влиянием жестоких церковно-феодальных ограничений. Сам человек в силу этих же причин был темен, невежествен и забит. Для освобождения общества от варварства и вековой косности необходимо было

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* // Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 16.

прежде всего освободить человека от религиозного гнета и традиционных предрассудков. Единственный путь для достижения этой цели многие просветители видели в образовании, овладении науками, которые помогли бы полному переустройству общества.

Подобное заблуждение объяснялось идеалистическим подходом просветителей к явлениям общественной жизни, ведь известно, что «голые» идеи не могут изменить ни общество, ни его материальную основу. Неоправданными были также надежды некоторых просветителей на разрешение классовых и социальных проблем путем возведения на трон образованных королей. Именно поэтому некоторые из крупных просветителей активно переписывались с теми из них, кого считали просвещенными монархами, при этом не видя или не желая видеть их недостатков и отнюдь не демократической политики.

Не знали просветители и того, что выдвинутый ими благородный лозунг «свобода, равенство и братство», в истинность которого они свято верили и под которым пройдет революция 1789 г., будет цинично использован и извращен буржуазией. Страстно борясь за осуществление своих идеалов и установление царства разума, они не могли и предполагать, что «это царство разума было ничем иным, как идеализированным царством буржуазии» [1].

Противоречивый и сложный в своих мыслях Вольтер стал своеобразным символом Просвещения, довольно четко отразившим сильные и слабые стороны этого движения. Многочисленные труды, художественные произведения и письма Вольтера, составившие более 90 объемных томов, в условиях предреволюционной Франции превратились в крупнейшее общественное орудие борьбы против абсолютизма, а их автор в течение десятилетий существенно влиял на духовную жизнь всей Европы.

Вольтер (его подлинное имя — Франсуа Мари Аруэ) родился 21 ноября 1694 г. в конце царствования «короля-солнца» Людовика XVI в семье сделавшего карьеру нотариуса Франсуа Аруэ. Его мать Маргарита Домар, происходившая из мелких дворян, умерла через несколько лет после рождения сына. Наставником юного Аруэ стал родственник Франсуа де Шатонеф, аббат, никогда не занимавший духовных должностей и воспитывавший ученика в антиклерикальном духе. В 10-летнем возрасте Франсуа Мари был помещен в «престижный» иезуитский коллеж Людовика Великого, в ко-

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* // Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 17.

тором проучился до 1710 г. Его поэтическая одаренность проявилась еще ранее: уже в пятилетнем возрасте он начал сочинять стихи. В коллеже Франсуа Мари учился отлично и получал награды, однако, по его собственным словам, «изучил только латынь и всякие глупости». Зато с особым усердием он пробовал силы в поэзии, делал переводы произведений античных авторов.

Близкое знакомство и дружба с молодыми дворянами в коллеже, связи отца и аббата Шатонефа помогли Франсуа Мари войти в общество придворных вольнодумцев, где он вскоре начал блистать благодаря своему остроумию и таланту. В их кружке процветали свободные взгляды на религию, мораль и нравы, но для юных аристократов это была лишь своеобразная поза, дань моде. Молодой Аруэ показной скептицизм своих друзей посчитал подлинными их взглядами, но его иллюзии вскоре начали рассеиваться. Тщеславию Франсуа Мари неоднократно наносились болезненные уколы. Казалось, что его принимали здесь как равного, однако он неоднократно ощущал и пренебрежительное отношение к себе. Аруэ терпели лишь потому, что он был для всех источником веселья, неистощимых историй, язвительных наблюдений и насмешек.

Отец, не одобрявший времяпрепровождения сына, добился назначения его на должность во французском посольстве в Гааге, но в результате одной романтической истории Франсуа Мари вынужден был вернуться во Францию. А в 1714 г. разразился первый скандал, связанный с его сатирической поэмой «Трясина», содержавшей едкую критику на всю Французскую академию. Автора спасло заступничество высокопоставленного клиента отца, маркиза Луи де Комартена, который увез поэта в Фонтенбло. Придворный Людовика XIV, де Комартен знал всю подноготную жизнь аристократии, ее нравы, много о них рассказывал Аруэ. Особенно увлекли поэта воспоминания придворного о Генрихе IV, которому поэт решил посвятить большую поэму.

После смерти Людовика в 1715 г. во Франции наступило регентство Филиппа Орлеанского, положившее начало резкому упадку и дискредитации как дворянского сословия, так и церкви. При нем с особой остротой проявились пороки абсолютистского режима. Развращенность и бездеятельность правящих кругов свидетельствовали о крайней степени распада всей монархической системы. Против регента, которого Вольтер впоследствии назовет «фанфароном порока», начали появляться едкие стихи и листовки, некоторые из них не без основания приписывались Аруэ. Угроза ареста заста-

вила его покинуть Париж и искать спасения у пригласившего к себе герцога Сюлли. Но после возвращения в мае 1717 г. по доносу провокатора Франсуа Мари все же оказался в Бастилии. Одиннадцатимесячное заключение оказалось для него плодотворным. Одновременно с изучением Гомера и Вергилия он начал писать задуманную «Поэму о Лиге» (позже поэма получила название «Генриады»), а также закончил первую трагедию — «Эдип».

После выхода Аруэ из тюрьмы пьеса «Эдип» с успехом была поставлена в парижском театре. Желая примириться с регентом, поэт написал к ней посвящение его супруге и впервые подписался именем «Аруэ де Вольтер», очевидно, от видоизмененного названия местечка Эр-Во(льт), родины матери. Отныне он стал признанным поэтом и даже получил от герцога Орлеанского пенсию в две тысячи ливров.

1722 г. принес Вольтеру много тревог. Умер его отец, так и не примирившийся с литературной карьерой сына. Была закончена «Генриада», которую поэт долгое время не решался публиковать, так как призывал в ней к терпимости, что в пору жестокой борьбы с протестантизмом могло быть воспринято как пропаганда неугодных идей. Маркиз де Кондорсе, ученый-просветитель, указывал на недостатки поэмы и одновременно восхищался ее «чистой моралью» и «свободой от предрассудков», «ненавистью к войне и фанатизму, терпимостью и любовью к человечеству». В этом же году Вольтер совершил путешествие в Голландию со своей приятельницей графиней де Рюпельмонд, где и произошло его знакомство с Жан-Жаком Руссо.

В 1723 г. трон занял Людовик XV. Вначале Вольтер пользовался расположением королевской четы, что дало ему возможность наладить полезные деловые контакты. Предусмотрительный и практичный, он решил обеспечить себя денежными средствами, чтобы быть свободным и не зависеть от прихотей двора и королевских пенсий. За несколько лет Вольтер значительно увеличил полученное от отца наследство. Он налаживал связи с банкирами, заключал сделки с купцами, поставлял продовольствие для королевской армии, занимался рискованными предприятиями. В своих мемуарах он писал: «Я слишком много раз встречал бедных и презираемых писателей и потому давно решил не увеличивать собой их ряды». Многочисленные факты свидетельствуют, что несмотря на свою бережливость, Вольтер был необычайно добрым и отзывчивым человеком, искренне помогавшим тем, кто приходил к нему за помощью.

В 1725 г. произошло событие, резко изменившее его жизнь. Многим аристократам не нравилось свободное поведение поэта. Некий кавалер де Роган-Шабо спровоцировал ссору, а через несколько дней его слуги палками побили Вольтера. Знатные «друзья» только посмеялись над этим эпизодом, а оскорбленный поэт с большинством из них порвал навсегда. Его попытка отомстить закончилась двухнедельным пребыванием в Бастилии, а затем трехлетней ссылкой в Англию.

Эти годы оказались важным этапом в жизни Вольтера, завершив длительный период его философского и политического созревания. Конституционный строй Англии, развитие в ней наук и искусств становятся для него идеалом и вызывают восторг. Он восхищается веротерпимостью англичан, свободой критических рецензий, учениями Ньютона и Локка, равенством англичан перед законом и в этом находит преимущества английской государственной системы над французской. Все это время Вольтер напряженно работает. Он издает «Генриаду», принесшую ему большой доход, пишет ряд теоретических трактатов: «Опыт об эпической поэзии», «Опыт о гражданских войнах во Франции», первую историческую работу «История Карла XII», печатает трагедии «Брут» и «Смерть Цезаря».

Во Францию Вольтер вернулся в 1729 г. Несмотря на успех поставленной в Париже трагедии «Заира» (1732), его вновь ожидали неприятности. Открытое выступление против церковников, запретивших хоронить на кладбище актрису Адриенну Лекуврер, публикация написанной еще в 1722 г. поэмы «За и против (Послание к Урании)», а затем выход в Англии «Философских писем» (или «Писем об английской нации») вызвали компанию гонений и клеветы. Летом 1734 г. по указу парижского парламента «Письма» были сожжены рукой палача как «скандальное произведение, противное религии... подрывающее уважение к властям» [1].

Предупрежденный друзьями, Вольтер спешно уехал из Парижа и нашел пристанище у своей близкой приятельницы маркизы дю Шатле в ее имении Сире-сюр-Блез у восточной границы Франции. Эмилия дю Шатле сочетала в себе изящество и обаяние светской дамы и знания серьезного ученого. Она владела несколькими языками, увлекалась математикой и физикой, перевела некоторые труды Ньютона. «Божественная Эмилия» стала единственной любовью Вольтера.

---

[1] Цит. по кн.: *Беркова К. Н.* Вольтер. М., 1931. С. 24.

В Сире Вольтер прожил счастливо и спокойно до 1745 г., работая порой по восемнадцать часов в сутки. Здесь он написал сатирическую поэму «Светский человек» (1736), трактаты «О метафизике» (1734), «Основы философии Ньютона» (1738), «Опыт о природе» (1738), фундаментальную работу «Опыт о нраве и духе народов» (издана в 1756), исторический труд «Век Людовика XIV» (в окончательной редакции издан в 1768 г.). В этот же период Вольтер закончил «Орлеанскую девственницу» (1735), которую Э. дю Шатле, опасаясь врагов своего друга, немедленно закрыла на ключ. И, конечно же, поэт продолжал писать «любезные сердцу безделушки» — небольшие лирические произведения. Среди них было много сатир и эпиграмм, которыми он из Сире разил своих недругов.

Большое место в творчестве Вольтера занимали драматические произведения. Наследник театральных традиций классицистов XVII в., большой любитель Мольера, он стал первым драматическим поэтом Франции. Вольтер написал 52 пьесы, из них 27 трагедий. Всюду, куда бы он не приезжал, драматург сразу же создавал свой театр. В Сире были написаны и поставлены лучшие его трагедии «Альзира, или Американцы» (1736), «Фанатизм, или Магомет пророк» (1742), «Меропа» (1743) и другие.

Многие из произведений Вольтера вызывали взрывы ярости со стороны реакции, поэтому ему приходилось искать для себя временно более безопасные места за границей — в Голландии, Бельгии, Германии. Но вскоре возвращался. Лето проводил в Сире, зиму — в Париже, продолжая активно участвовать в придворной жизни. В 1746 г. Вольтер был избран членом Французской академии, хотя задолго до этого почти все европейские академии уже избрали его своим почетным членом.

В 1749 г. Эмилия дю Шатле умерла. Вновь вспыхнувшая неприязнь Людовика XV заставила Вольтера через год принять приглашение прусского монарха Фридриха II, с которым он уже давно переписывался. Однако почести и награды, вначале посыпавшиеся на философа, постепенно сменились презрительным равнодушием и открытыми оскорблениями. Идеал просвещенного монарха, созданный Вольтером, быстро потускнел. Фридрих II предстал перед ним как мелочный и мстительный прусский капрал. Язвительный памфлет поэта «Диатриба», направленный против фаворита короля, президента Берлинской академии наук Мопертюи, привел к окончательному разрыву. В середине 1753 г., после ареста и унизительного обыска, Вольтер навсегда поки-

нул Германию. Правда, через несколько лет вежливая переписка между ним и Фридрихом II возобновилась.

Не рискнув вернуться в Париж из боязни расправы, Вольтер уехал в Швейцарию и через год приобрел вблизи Женевы имение Делис (Отрада). Позже, не поладив с кальвинистскими властями из-за своего вольнодумства, писатель купил рядом другое имение — Ферне, но уже на французской территории. По этому поводу он шутил: «Лиса, спасаясь от своры собак, всегда должна иметь две норы».

Начался последний и, пожалуй, самый блистательный период общественной жизни и творчества великого просветителя. Все ощутимее становилось дыхание приближавшейся революционной грозы. Вольтер чутко уловил возраставший накал идейной борьбы. Несмотря на годы, он с юношеским задором и смелостью продолжал вести бой за свои идеалы, против тех темных сил, которые считал позором и унижением нации. Еще ранее Вольтер горячо приветствовал замысел Дени Дидро об издании «Энциклопедии» и теперь продолжал писать для этого огромного издания сотни статей по самым различным проблемам. Он настойчиво приглашал просветителей Д'Аламбера, Гельвеция, Дамилавиля, де Кондорсе и многих других принимать в нем самое активное участие, забыть ради идеи «Энциклопедии» порой разделявшие их разногласия.

Кипучая деятельность самого писателя приобрела в это время совершенно определенную направленность. С необычайной последовательностью и страстностью он вел беспощадную борьбу с «чудовищем фанатизма и суеверия» — католической церковью, к этому же призывал и своих друзей. Почти все письма к ним он заканчивал знаменитой фразой-лозунгом: «Раздавите гадину!», имея в виду церковь, растлевавшую духовную жизнь общества. Вольтер пишет много трактатов, памфлетов и повестей, преследуя в них ту же цель — разоблачение и дискредитацию церкви. Этому же служили трактаты «О веротерпимости в связи со смертью Жана Каласа» (1763), «Карманный философский словарь» (1764), «Обед у графа де Буленвилье» (1767), «Вопль невинно пролитой крови» (1775) и многие другие. Теперь голос «фернейского патриарха» гремел уже на всю Европу, защищая жертвы религиозного фанатизма и королевского произвола.

Взгляды Вольтера этого периода становятся более радикальными, хотя и не утрачивают своей противоречивости. Так, выступая за равенство граждан, требуя отмены сослов-

ных привилегий аристократии и духовенства, выдвигая ряд прогрессивных и гуманистических принципов для улучшения жизни человека и общества, он, тем не менее, отстаивает социальное неравенство, разделяя людей на «чернь», трудовые массы народа, и «порядочных людей», к которым относил просвещенную часть общества. «Если чернь принимается рассуждать — все погибло!»,— утверждает Вольтер. Он остается на позициях просвещенной монархии, о чем свидетельствовали написанные им трагедии «Гебры» (1769), «Законы Миноса» (1773), «Дон Педро» (1774) и философская повесть «Кандид» (1759), а также большой труд «История Российской империи в царствование Петра Великого» (1759—1763). Но есть у философа и отступления от провозглашенных принципов. Например, в трагедии «Скифы» (1767) племена живут без всяких королей, как братья, по естественным законам природы.

По-новому Вольтер стал оценивать и события истории, которая до него была просто «возмутительным враньем». Он требует тщательной проверки источников и документов, отбора достоверных фактов, отрицательно относится к включению в историческое событие легенд и сказочно-фантастических элементов. Однако сам при этом причину данного события мог пояснять каким-то мелким фактом или поступком исторического лица.

...Через четыре года после вступления на престол Людовика XVI в 1778 г. Вольтер по настоянию друзей приехал в Париж. Его прибытие превратилось в подлинный триумф. Массы парижан с цветами встречали защитника простых людей. На представлении последней трагедии «Ирина» Вольтер и его бюст на сцене были увенчаны лавровыми венками. Французская академия избрала его своим президентом. Однако торжества, утомительное пребывание в шумном Париже подорвали силы писателя. Но и здесь, уже больной, он пытался работать. Последний его замысел — создание силами академии этимологического словаря французского языка.

Вечером 30 мая 1778 г. Вольтера не стало. Его племянник аббат Миньо, зная о намерениях церковников расправиться с мертвым философом, поскольку они ничего не могли сделать с ним живым, сразу же после смерти отнес тело в карету и увез в свое Сельерское аббатство в Шампани, где и похоронил. А вслед за этим пришел запрет парижского епископата на погребение.

В июле 1791 г. гробница с прахом Вольтера была перевезена в Париж и поставлена на площади Бастилии на по-

стамент, сложенный из камней поверженной крепости, а затем торжественно перенесена в Пантеон и захоронена рядом с могилой Руссо.

* * *

На протяжении всей жизни Вольтер снова и снова возвращался к проблеме божества, создавал систему доказательств в пользу его существования, но тут же со свойственным ему едким скепсисом выдвигал контраргументы и разрушал ее. В очерке «Бог и люди» он писал: «Можно ли придумать лучшую узду против алчности и тайных происков, чем идею вечного повелителя, который видит самые затаенные наши помыслы?».

Постоянно сомневающийся, беспокойный, никогда не останавливающийся и всегда противоречивый Вольтер выработал свою, рационалистическую концепцию бога. Склоняясь к материализму, философ выдвинул вместе с тем идею о некоей высшей силе, целесообразно организовавшей материю во вселенной, но в дальнейшем уже не вмешивающуюся в процесс ее развития.

В философии религии Вольтера особенно привлекала проблема мирового зла и добра. Богословы веками доказывали, что все несчастья, обрушивающиеся на головы людей, насылаются богом для того, чтобы покарать их за прегрешения или испытать их веру в него. Он неоднократно будет возвращаться к этой проблеме и посвятит ей ряд философских повестей — «Мир, каков он есть, или видение Бабука» (1746), «Задиг, или Судьба» (1747), «Мемнон, или Благоразумие людское» (1750) и другие.

Уже в первой своей необычайно смелой философской поэме «За и против (Послание к Урании)» (1722) автор с издевкой говорит о противоречивых действиях бога, создавшего людей слабыми лишь для того, чтобы «злей смеяться их скорбям», наделил пороками, чтобы их можно было наказывать загробными муками. В изображении философа бог предстает как некая стихийная сила, слепая в любви и ярости, даже не сознающая, что творит. Совсем абсурдным представляется поэту поступок бога, обрекшего на вечные мучения те народы, которые так и не узнали христианства. В дальнейшем Вольтер возвращается к мысли о том, что, хотя действия божества не всегда мудры и справедливы, земная жизнь все же остается терпимой. Лишь катастрофическое по своим последствиям землетрясение в Лиссабоне 1 ноября 1755 г. заставило Вольтера навсегда отказаться от

благодушного отношения к теории оптимизма, выдвинутой немецким ученым-идеалистом Готфридом Лейбницем, и стать ее непримиримым критиком. На это страшное событие писатель откликнулся поэмой «О гибели Лиссабона, или проверка аксиомы: «Все — благо» (1756). Это произведение пронизано сомнениями философа в благости действий бога, несовместимых со страшной жестокостью по отношению к массе погибших, ни в чем не повинных людей.

Это отношение в полной мере проявилось и в повести «Кандид, или Оптимизм» (1759). Носителем предустановленной гармонии в ней становится тупой и ограниченный учитель Кандида ученый Панглос, «последователь метафизико-теолого-космолого-нигалогии», постоянно твердящий заученную фразу о том, что все прекрасно в этом лучшем из миров. Жестокая и несправедливая действительность на каждом шагу опровергает его догму. Панглос оказывается свидетелем гибели замка и всех его обитателей, его самого избивают, он заболевает сифилисом, чуть не гибнет во время землетрясения, становится кривым, теряет ухо, его вешают, но он упрямо продолжает твердить, что все испытания — необходимые звенья причин и следствий. В повести Панглосу противостоит ученый-пессимист Мартен, утверждающий, что мир несовершенен и в нем все плохо. В бесконечных спорах между двумя философами Кандид, разуверившись в учении Панглоса, сохраняет нейтралитет. В конце повести старый турок-садовод поясняет Кандиду, что труд избавляет человека от трех главных зол — скуки, порока и нужды. Так Вольтер-практик заставляет своего героя придти к главному жизненному выводу. Мудрствованиям и бесплодным дискуссиям философов он противопоставляет деятельный и полезный труд.

Всю жизнь великий мыслитель боролся с католической церковью. Он резко критиковал ее служителей за то, что они были распространителями всевозможных небылиц о библейских чудесах, «химер Ветхого и Нового заветов», религиозных предрассудков и суеверий, которые считал средством для оглупления, обмана и подчинения невежественных масс. В выражениях писатель не стеснялся и называл священнослужителей «негодяями», «мерзавцами», «олухами», носителями «отвратительных суеверий», «тупого фанатизма и жестокости», результатом которых была гибель тысяч беззащитных, неповинных людей.

Так, главы XIV—XVI «Кандида» посвящены сатирическому описанию иезуитской державы в Парагвае, в которой, по меткому замечанию слуги Какамбо, «отцы владеют всем,

а народ — ничем. Не государство, а образец разума и справедливости». Его особенно волнует, что в Парагвае иезуиты убивают испанских солдат, а в Испании даруют им место в раю. Созданный писателем образ монашеского государства (оно существовало в конце XVI в.) как бы воплотил в себе ту силу власти, которую сконцентрировала в своих руках церковь.

Как прямое противопоставление этому образу воспринимается страна общественного благоденствия и счастья — Эльдорадо. Кандид с удивлением обнаруживает в ней полное отсутствие церквей и монахов, «которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих». Эльдорадцы воспринимают окружающий их прекрасный мир как дар бога, поэтому ничего у него не просят и только благодарят его. Слова же благодарности, по их мнению, не нуждаются в пышных храмах с многочисленными служителями. Таким образом, по замыслу автора, общение эльдорадцев с богом представляется ему наиболее идеальным и естественным.

Уже ранние лирические произведения принесли Вольтеру славу вольнодумца, а в более поздних из них он откровенно издевается над пороками церковников. В обращении «К аббату де...» он иронически сочувствует бедному аббату с похудевшим «тройным подбородком», оплакивающему свою любовницу. Язвительно смеется над глупостью епископа Мирпуа, потешается над иезуитом Грессе. Во всех этих случаях смех Вольтера над клерикалами откровенно саркастичен, но с 50-х гг. к нему все больше прибавляется горечи. «Иногда я смеюсь,— пишет поэт в письме 1769 г.,— но порой волосы у меня становятся дыбом... Ведь приходится иметь дело то с тиграми, то с обезьянами». Под тиграми он понимал фанатиков-изуверов, уничтожавших инакомыслящих на кострах и в застенках. И тем не менее Вольтер продолжал использовать уничтожающий смех, силу которого прекрасно понимал: «Не бойтесь высмеивать суеверия, друзья мои. Я не знаю лучшего способа убить суеверие, чем выставление его в смешном виде».

Блестящим подтверждением этой мысли стала лучшая поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1735), работе над которой он посвятил много лет. Ее основой стал эпизод из Столетней войны (1337—1453), связанный с подвигом героини французского народа Жанны д'Арк. В 1429 г. она возглавила французские войска, освободила Орлеан от осады англичан, а затем в Реймсе короновала дофина Карла VII, но после ряда поражений попала в плен. Преданная цер-

ковью и малодушным королем, она в 1431 г. была сожжена на костре. Лишь через двадцать лет ее дело было пересмотрено и обвинение в колдовстве снято, а имя окружено ореолом святости. Клерикалы доказывали, что «чудом», спасшим Францию, была девственность Жанны. Эту церковную легенду, искажавшую облик исторической героини, использовал в XVII в. посредственный придворный поэт Жан Шаплен. Он написал большую и нудную наставительно-аллегорическую поэму «Девственница, или Освобожденная Франция» (1656), наполненную пафосом и мистикой.

Подобная трактовка образа народной героини была глубоко чуждой Вольтеру и вызвала его негодование. Поскольку и в XVIII в. церковь продолжала использовать поэму Шаплена в своих целях, поэт решил (возможно, по настоянию друзей) создать свою, но уже пародийную поэму.

Отношение Вольтера к исторической Жанне д'Арк было глубоко уважительным. «Это мужественная девушка,— писал он,— которую инквизиторы и ученые в своей трусливой жестокости возвели на костер». Еще в «Генриаде» поэт называл ее «храброй амазонкой, позором для англичан и опорой престола». Стрелы своей сатиры он по первоначальному замыслу направлял против творения Шаплена и церковной легенды. Однако по мере работы планы Вольтера менялись и поэма переросла в грандиозную сатиру на церковь и христианство в целом, на современное ему придворное общество. Заодно писатель расправился и со своими политическими и литературными врагами, которых всегда было предостаточно.

Действие поэмы подобно гомеровской «Илиаде» развивается в двух планах: земных героев (история Жанны д'Арк и защита ее «цветка девственности», а также Карла VII и похождения его возлюбленной Агнессы) и жителей потустороннего мира (соперничество святых Дениса и Георгия, «рая дураков», представителей преисподней). В этот сюжет вплетаются эпизоды из жизни современного поэту общества, например, описание «могилы Париса».

Знавший в тонкостях библейские тексты, Вольтер возмущался несоответствиями, противоречиями в них, аморальностью, ханжеством и жестокостью основателей христианской церкви. Он использовал поэму, чтобы обрушиться на суеверия, чудеса, откровения свыше и высмеять саму идею загробного мира с его святыми, ангелами, чертями и сатаной. Предельной язвительности достигает его насмешка над патроном Франции святым Денисом и покровителем Англии святым Георгием, наделенными обычными человеческими

пороками, свойственными невежественным обывателям и торгашам.

Для большего осмеяния культа святых Вольтер многих из них помещает в ад. Обычные убийцы или мошенники, они за кое-какие услуги церкви были ею причислены к лику святых. Особой силы сатира Вольтера достигает при описании в III песне «рая дураков», заполненного толпой тупых и жестоких фанатиков, лгунов и жуликов.

Издевается Вольтер и над верой в колдовство (им занимается монах Грибурдон), и над представлениями клерикалов о потусторонней жизни. Рассказывая об аде, поэт подобно Данте Алигьери, с нескрываемым удовольствием обрекает в нем на муки епископов, кардиналов, самого папу и многих святых. Он считает, что за грязные и мерзкие дела на земле ад для них становится наиболее достойным местом, хотя «иному церковь строится по смерти, но здесь его поджаривают черти». Не менее едко высмеивает поэт и тех ученых из Сорбонны, которые стали оплотом средневековой схоластики и мракобесия, помощниками и цензорами инквизиции, зло раскритикованных еще Франсуа Рабле.

Жестокость и бесчеловечность многих судебных процессов, проводимых под эгидой церкви, вызывали в писателе одновременно и гнев и желание действовать еще активнее. Своеобразным откликом на царившее в стране беззаконие и бесправие человека стала философская повесть «Простодушный» (1767) — рассказ о том, как воспитанный среди природы «естественный человек» канадский индеец-гурон приплывает во Францию, где случайно находит родственников, и все время попадает в затруднительные положения. Не испорченный цивилизацией, Простодушный совершает поступки, противоречащие французским порядкам и морали общества. Библейские законы, вычитанные им в «священном писании», также не совпадают с теми церковными правилами, которые его заставляют выполнять. Они воспринимаются им как надуманные и насквозь фальшивые, не имеющие ничего общего с простыми, разумными правилами его народа. С добродушной иронией повествует Вольтер об эпизодах с исповедью и крещением Простодушного, его сватовством к прекрасной Сент-Ив, подсмеиваясь над наивностью своего героя.

Но вот постепенно игривая ирония писателя все чаще начинает сменяться трагическими мотивами. Никогда еще Вольтер с такой прямотой и гневом не обнажал отвратительные изъяны своего общества, не показывал «злой и жалкий человеческий мир, в котором господствуют пороки, пошлые

предрассудки, жестокость и эгоизм». Чем глубже герой проникает во французскую действительность, тем драматичнее становится конфликт между ними. Религиозные преследования, система слежки и шпионажа, лживые обвинения и тюремная камера завершают знакомство героя с «цивилизованной» страной. Вольтер создает картину глубокой коррупции королевской администрации, беззащитности человеческой личности перед циничным произволом. Не вынеся позора, умирает благородная Сент-Ив. Пожертвовав своей честью, она спасает Простодушного и он выходит из темницы. Но это уже иной, сломленный и разуверившийся человек. Ему помогают сделать офицерскую карьеру и он, которому «цивилизованное» общество причинило столько горя, в конце концов смиряется с ним.

В этой, пожалуй, наиболее драматической из всех повестей Вольтера, обличительная направленность его творчества достигает особой силы. В ней также четко виден и рост реалистического мастерства писателя.

В наиболее плодотворный — фернейский — период творчества Вольтер создал множество ярких памфлетов, в которых философ использует свое испробованное оружие — язвительный смех, всеуничтожающую сатиру. Памфлеты разнообразны по форме и могут быть диалогами, письмами, трактатами и рассказами.

В «Истории путешествий Скарментадо» (1756) автор заставляет своего героя-критянина посетить Рим, Францию, Испанию, Турцию, Персию и многие другие страны, и всюду тот становится жертвой религиозной нетерпимости, видит суровые наказания за инакомыслие, подмену справедливости силой. В маленьком диалоге «Марк Аврелий и францисканский монах» (1757) раскрывается относительность бытия всего земного: противопоставление императорского и папского Рима заканчивается мыслью о том, что если давно уже кончилось царство античной мудрости, то закончится и царство монахов. «Письмо некоего духовного лица иезуиту Ле Телье» (1763) поражает цинизмом и жестокостью священнослужителя, хладнокровно обрекающего на смерть тысячи людей во имя избавления «Иисуса и ближних его от врагов», а короткий «Рассказ об одном диспуте в Китае» (1762) еще раз ставит вопрос о нетерпимости католических монахов всех орденов.

В ответ на «Акт духовенства 1765», запретивший некоторые книги Вольтера, писатель ответил язвительным памфлетом «О страшном вреде чтения» (1765), написанном в форме указа турецкого муфтия Юсуфа. Особое место зани-

мал памфлет «Каплун и пулярда» (1757), написанный под влиянием Лукиана и современника Франсуа Рабле Бонавентуры Деперье. Его главные герои — птицы, высказывающие весьма не лестное мнение о людях, поедающих их и не соблюдающих тех обещаний, которые они давали богу.

Борьба Вольтера с религиозными суевериями и клерикальным фанатизмом имела огромное историческое значение для освобождения человеческого разума от предрассудков и идей, порожденных отжившим свой век феодальным обществом. Мысли великого просветителя о необходимости церковной реформы стали планом действия в первый период Великой французской революции. Осуществленная ею программа включала подчинение церкви государству, уничтожение церковных привилегий, секуляризацию ее владений.

Идеи Вольтера не ушли вместе с XVIII в. Они продолжают оставаться необычайно актуальными и в наши дни. Борьба Вольтера за общечеловеческие идеалы и прогресс не менее близки нашему времени, чем обличение им всего отжившего, косного и реакционного, ибо эти проблемы и сейчас продолжают оставаться злободневными. Вольтер преподал человечеству и великий урок идейности. Всю свою жизнь, несмотря на колебания и противоречия, он оставался верен борьбе за освобождение человека, моральное и физическое, всю жизнь он неистово боролся со своими главными врагами — фанатизмом, суевериями и нетерпимостью. И ничто не могло заставить его свернуть с этого пути.

Творчество великого просветителя и ныне представляет прекрасный образец идеального сочетания блестящих по своей глубине мыслей и всегда совершенной формы — коснется ли речь его лирики, драмы или прозы. В речи, произнесенной по случаю столетия со дня смерти Вольтера, Виктор Гюго так определил смысл деятельности своего великого предшественника: «Бороться против фарисейства, разоблачать лицемерие, повергать в прах тиранию, узурпацию, ложь, предрассудки, суеверия, разрушить храм, чтобы соорудить новый, то есть заменить ложь истиной, нападать на жестокость суда, нападать на кровожадное духовенство, взять бич и изгнать всех торгашей из святилища, требовать наследства для лишенных его, защищать слабых, бедных, страждущих, подавленных, сражаться за преследуемых и угнетенных — вот война Иисуса Христа. И кто же тот человек, который вел эту войну? Вольтер!»

В. И. ПАЩЕНКО

ПОЭМЫ

Орлеанская девственница

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТЦА АПУЛЕЯ РИЗОРИЯ БЕНЕДИКТИНЦА

Будем признательны доброй душе, благодаря которой у нас появилась «Девственница». Как известно ученым и как явствует из некоторых черт самого труда, эта героическая и назидательная поэма написана около 1730 года. Из письма 1740 года, напечатанного в собрании мелких произведений одного великого государя, под именем «Философа из Сан-Суси», видно, что некая немецкая принцесса, которой дали на время рукопись только для прочтения, была так восхищена осмотрительностью, с какой автор развил столь скользкую тему, что потратила целый день и целую ночь, заставляя списывать и списывая сама наиболее назидательные места упомянутой рукописи. Этот самый список наконец попал к нам. Обрывки нашей «Девственницы» уже неоднократно появлялись в печати, ценители здоровой литературы всякий раз бывали возмущены, видя, как ужасно она искажена. Одни издатели выпустили ее в пятнадцати песнях, другие в шестнадцати, восемнадцати, двадцати четырех, то разделяя одну песнь на две, то заполняя пропуски такими стихами, от которых отрекся бы возница Вертамона, прямо из кабачка отправлявшийся на поиски приключений [1].

Итак, вот «Иоанна» во всей своей чистоте. Мы боимся высказать слишком смелое предположение, назвав имя ав-

[1] В последних изданиях этой поэмы, сделанных невеждами, читатель с возмущением видит множество стихов, вроде:

тора, коему приписывают эту эпическую поэму. Достаточно, чтобы читатели могли извлечь назидание из морали, скрытой в аллегориях поэмы. К чему знать, кто автор? Немало есть трудов, которые ученые и мудрые читают с наслаждением, не зная, кто их написал, как, например, «Pervigilium Veneris»[1] — сатира, приписываемая Петронию, и множество других.

Особенно нас утешает, что в нашей «Девственнице» найдется гораздо меньше дерзостей и вольностей, чем у всех великих итальянцев, писавших в этом роде.

Verum enim vero[2], начать с Пульчи,— нам было бы очень досадно, если бы наш скромный автор дошел до тех маленьких вольностей, которые допускает тот флорентиец в своем «Morgante»[3]. Этот Луиджи Пульчи, бывший почтенным каноником, написал свою поэму в середине XV века для синьоры Лукреции Торнабуони, матери Лоренцо Медичи Великолепного; и передают, что «Morgante» пели за столом у этой дамы. Это была вторая эпическая поэма Италии. Ученые много спорили о том, серьезное это сочинение или шуточное.

Те, кто счел ее серьезной, основывались на вступлении к каждой песне, начинающемся стихами из Писания. Вот, например, вступление к первой песне:

In principio era il Verbo appresso a Dio:
Ed era Iddio il Verbo, e'l Verbo lui.
Questo era il principio al parer mio, ets[4].

И пальцем проверяет тут Шандос:
Иоганна все по-прежнему ль девица?
«Черт побери тесьму!» — хрипя, бранится.
Но вот тесьму и вправду черт унес.
Шандос встряхнуть свою тряпицу тщится,
. . . .
На свой манер у каждого повадка.

О Людовике Святом там говорится:

Уж лучше бы бедняга развлекался
В постели со своею Марготон...
Он ракового супа не едал, и т. д.

Кальвин там современник Карла VII; все искажено, все испорчено бесчисленными нелепостями; автор этой мерзости, годной единственно для всякого сброда, расстрига-капуцин, принявший имя Мобера.

[1] «Ночное бдение в честь Венеры» *(лат.)*.
[2] В самом деле *(лат.)*.
[3] «Морганте» *(ит.)*.
[4] В начале было Слово — Слово Бога,
Бог Словом был, и Слово было Богом,
Все началось от этого порога, и т. д. *(ит.)*.

Если первая песнь начинается Евангелием, то последняя кончается «Salve regina»[1], и это оправдывает мнение тех, которые полагали, что автор писал вполне серьезно: ведь в то время театральные пьесы, ставившиеся в Италии, извлекались из «Страстей» или из «Житий святых».

Те же, кто рассматривал «Morgante» как шуточное произведение, обратили внимание лишь на некоторые слишком большие вольности, там допущенные.

Морганте спрашивает Маргутте, христианин он или магометанин:

E se egli crede in Cristo o in Maometto.

Rispose allor Margutte: A dirtel tosto,
Io non credo piú al nero che al azzuro;
Ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto;
. . . .
Ma sopra tutto nei buon vino ho fede;
E credo che sia salvo chi gli crede.
Or queste son tre virtú cardinale,
La gola, e'l culo, e'l dado, come io t'ho detto[2].

Заметьте, пожалуйста, что Крешимбени, нисколько не затрудняющийся поместить Пульчи в ряду настоящих эпических поэтов, говорит, в его извинение, что это самый скромный и самый умеренный из писателей своего времени: «il piú modesto e moderato scrittore». В действительности он был предшественником Боярда и Ариоста. Благодаря ему прославились в Италии Роланды, Рено, Оливье и Дюдоны, и он почти равен Ариосту чистотой языка.

Недавно вышло очень хорошее издание его con licenza de'superiori [3]. И, конечно, это не я его выпустил; если бы наша Девственница говорила так же бесстыдно, как этот Маргутте, сын турецкого священника и греческой монахини, я бы поостерегся ее печатать.

---

[1] «Здравствуй царица» *(лат.)*.

[2] Кто свят ему — Христос иль Магомет?

Маргутте отвечал: «Ни в чох, ни в сон
Не верю я,— но верую в цыпленка,
Когда на славу подрумянен он.
. . . .
А пуще верю я в стакан вина,
Душа той верой будет спасена.
Три главных добродетели мне святы:
Зад, глотка и игра. Вот мой ответ *(ит.)*.

[3] С разрешения властей *(ит.)*.

В «Иоанне» не найти и таких дерзостей, как у Ариоста; здесь не встретить святого Иоанна, обитающего на Луне и говорящего:

Gli scrittori amo, e fo il debito mio,
Che al vostro mondo fui scrittore anch'io.
. . . .
E ben convenne ad mio lodato Cristo
Rendermi guiderdon di si gran sorte, etc[1].

Это заносчиво; и здесь святой Иоанн позволяет себе то, чего ни один святой в «Девственнице» себе никогда не позволил бы. Выходит, что Иисус обязан своей божественностью только первой главе Иоанна и что этот евангелист ему польстил! Подобное утверждение отдает социнианством. Наш сдержанный автор не мог бы впасть в такую крайность.

Также весьма для нас утешительно, что сей скромный автор не подражал ни одному из наших старинных романов, историю которых написали ученый епископ Авраншский Гюэ и компилятор аббат Ланеле. Доставьте себе удовольствие прочесть в «Ланселоте с озера» главу под заглавием: «О том, как Ланселот спал с королевой и как она вернулась к сиру де Лагану», и вы увидите, как целомудрен наш автор в сравнении со старыми нашими писателями.

Но quid dicam[2] о чудесной истории Гаргантюа, посвященной кардиналу де Турнону? Известно, что глава «О подтирках» — одна из наиболее скромных в этом произведении.

О произведениях современных мы не говорим; скажем только, что все старые повести, сочиненные в Италии и переложенные в стихи Лафонтеном, также менее нравственны, чем наша «Девственница». В общем, мы желаем всем нашим строгим цензорам тонкие чувства прекрасного Монроза; нашим скромницам, если только они существуют, простодушие Агнесы и нежность Доротеи; нашим воинам — десницу мощной Иоанны; всем иезуитам — нрав доброго духовника Бонифация; всем управителям в хорошо поставленных домах — распорядительность и умение Бонно.

К тому же мы считаем эту книжечку отличным средством против ипохондрии, угнетающей в настоящее время

---

[1] Мне сочинителей любить пристало:
Я в мире вашем сочинил немало.
. . . .
По праву наградил меня Христос
За то, что так его я превознес... *(ит.)*.

[2] Что сказать *(лат.)*.

некоторых дам и некоторых аббатов; и если мы окажем обществу хотя бы только эту услугу, мы сочтем, что потратили время не даром.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Нежная любовь Карла VII и Агнесы Сорель. Осада Орлеана англичанами. Явление святого Дениса и пр.

Я не рожден святыню славословить,
Мой слабый глас не взыдет до небес,
Но должен я вас ныне приготовить
К услышанью Иоанниных чудес.
Она спасла французские лилеи.
В боях ее девической рукой
Поражены заморские злодеи.
Могучею блистая красотой,
Она была под юбкою герой.
Я признаюсь,— вечернею порой
Милее мне смиренная девица,
Послушная, как агнец полевой;
Иоанна же была душою львица,
Среди трудов и бранных непогод
Являлася всех витязей славнее
И что всего чудеснее, труднее,
Цвет девственный хранила круглый год.

О ты, певец сей чудотворной девы,
Седой певец, чьи хриплые напевы,
Нестройный ум и бестолковый вкус
В былые дни бесили нежных муз,
Хотел бы ты, о стихотворец хилый,
Почтить меня скрыпицею своей,
Да не хочу. Отдай ее, мой милый,
Кому-нибудь из модных рифмачей.
Державный Карл, в расцвете юных дней,
В старинном Туре на балах пасхальных
(Он был любитель развлечений бальных)
Пленился, к счастью для своих земель,

Красавицей Агнесою Сорель.
Такого чуда не встречали взоры.
Вообразите нежный облик Флоры,
Стан и осанку молодых дриад,
Живую прелесть Анадиомены
И Купидона шаловливый взгляд,
Персты Арахны, сладкий глас сирены,—
В ней было все; пред ней бы в прах легли
Герои, мудрецы и короли.
Ее узреть, влюбиться, млеть от страсти,
Желаний сладких испытать напасти,
Глаз не сводить с Агнесы, трепетать
И голос, к ней приблизившись, терять,
Ей руки жать ласкающей рукою,
Дать чувствам течь пылающей рекою,
Томиться, в свой черед к себе маня,
Понравиться ей — было делом дня.
Любовь царей стремительней огня.
В любви искусна, думала Агнеса,
Что страсть их скроет тайная завеса
Но эту ткань прозрачную всегда
Нескромный взор пронижет без труда.

Чтоб ни один о них не знал повеса,
Король избрал советника Бонно,
Чью верность испытал уже давно:
Он был носителем большого чина,
Который двор, где все освящено,
Зовет учтиво другом властелина,
А грубые уста простолюдина —
Обычно сводней, что весьма срамно.
У этого Бонно в глуши укромной
Был на Луаре замок — хоть куда.
Агнеса тайно подплыла туда,
И сам король приехал ночью темной.
Их ужин ждал приятный, хоть и скромный;
Бонно достал вино из погребов.
Как вы ничтожны, пиршества богов!
Любовники, смущенные заране,
Во власти опьяняющих желаний,
В ответ на взгляд бросали жгучий взгляд,
Предвестие полуночных услад.
Беседа, скромная, но без стесненья,
Усиливала пламя нетерпенья.
Король Агнесу взором пожирал,

Нежнейший вздор украдкою шептал
И ногу ей ногою прижимал.

Окончен пир. Венеции и Лукки
Несутся хроматические звуки;
С тройным напевом сладкий голос свой
Сливают скрипка, флейта и гобой.
Слова поют о сказочном герое,
Который, в ослепительной мечте
Прийтись по сердцу деве-красоте,
Забыл о славе и о поле боя.
Оркестр был скрыт в укромном уголке,
От молодой четы невдалеке.
Агнеса, девичьим стыдом томима,
Все слышала, никем чужим не зрима.

Уже луна вступила в свой зенит;
Настала полночь: час любви звенит.
В алькове царственно-позолоченном,
На темном и не слишком освещенном,
Меж двух простынь, каких теперь не ткут,
Красы Агнесы обрели приют.
Открыта дверь перед альковом прямо;
Алиса, многоопытная дама,
Ее не зря забыла притворить.
О юноши, способные любить,
Поймите вы и сами, без сомненья,
Как наш король сгорал от нетерпенья!
На пряди ровные кудрей
Уж пролит дивно пахнущий елей.
Он входит, с девой он ложится рядом;
О, миг, чудесным отданный усладам!
Сердца их бьются, то любовь, то стыд
Агнесин лоб и жжет и леденит.
Проходит стыд, любовь же пребывает.
Ее любовник нежный обнимает.
Его глаза, что страсть восторгом жжет,
Не оторвутся от ее красот.
В чьем сердце не проснулася бы нега?

Под шеей стройною, белее снега,
Две белых груди, круглы и полны,
Колышутся, Амуром созданы;
Увенчивают их две розы милых.
Сосцы-цветы, что отдохнуть не в силах,

Зовете руку вы, чтоб вас ласкать,
Взор — видеть вас, и рот — вас целовать.
Моим читателям служить готовый,
Их жадным взглядам я бы показал
Нагого тела трепетный овал,—
Но дух благопристойности суровый
Кисть слишком смелую мою сдержал.
Все прелесть в ней и все благоуханье.
Восторг, Агнесы пронизавший кровь,
Дает ей новое очарованье,
Живит ее; сильней румян любовь,
И нега красит нежное созданье.

Три месяца любовники живут,
Ценя свой обольстительный приют.
К столу приходят прямо от постели.
Там завтрак, чудо поварских изделий,
Дарует чувствам прежнюю их мощь;
Потом на лов среди полей и рощ
Их андалусские уносят кони,
И лаю гончих вторит крик погони.
По возвращенье в баню их ведут.
Духи Аравии, масла, елеи,
Чтоб сделать кожу мягче и свежее,
Над ними слуги пригоршнями льют.

Пришел обед; изысканное мясо
Фазана, глухаря или бекаса,
В десятках соусов принесено,
Ласкает нос, гортань и взгляд равно.
Аи веселый, искристый и пенный,
Токайского янтарь благословенный
Щекочет мозг и мыслям придает
Огонь, необходимый для острот,
Таких же ярких, как напиток пьяный,
Что зажигает и живит стаканы.
Боннò в ладоши хлопает, хваля
Удачные словечки короля.
Пищеваренье к ночи их готовит;
Рассказывают, шутят и злословят,
Под чтение Аленовых стихов;
Дивятся на сорбонских докторов,
На попугаев, обезьян, шутов.
Подходит ночь; искусные актеры
Комедией увеселяют взоры,

И, день блаженный завершая вновь,
Над нежной парой властвует любовь.

Им, завлеченным в сети наслажденья,
Как первой ночью, новы упоенья.
Всегда довольны, ни один не хмур,
Ни ревности, ни скуки, ни бессилья,
Ссор не бывает; Время и Амур
Вблизи Агнесы позабыли крылья.
Карл повторял, обвив ее рукой,
Даря подруге жаркое лобзанье:
«Агнеса, милая, мое желанье,
Весь мир — ничто перед твоей красой,
Царить и биться,— что за сумасбродство!
Парламент мой отрекся от меня;
Британский вождь грозней день ото дня;
Но пусть мое он видит превосходство:
Он царствует, но ты зато — моя».

Такая речь не слишком героична,
Но кто вдыхает благовонный мрак
В руках любовницы, тому прилично
И позабыться, и сказать не так.

Пока он жил средь неги и приятства,
Как настоятель тучного аббатства,
Британский принц, исполнен святотатства,
Всегда верхом, всегда вооружен,
С мечом, освобожденным из ножон,
С копьем склоненным, с поднятым забралом
По Франции носился в блеске алом.
Он бродит, он летает, ломит он
Могучий форт, и крепость, и донжон,
Кровь проливает, присуждает к платам,
Мать с дочерью шлет на позор к солдатам,
Монахинь поруганью предает,
У бернардинцев их мускаты пьет,
Из золота святых монету бьет
И, не стесняясь ни Христа, ни Девы,
Господни храмы превращает в хлевы:
Так в сельскую овчарню иногда
Проникнет хищный волк и без стыда
Кровавыми зубами рвет стада
В то время, как, улегшись на равнине,
Пастух покоится в руках богини,

А рядом с ним его могучий пес
В остатки от съестного тычет нос.

Но с высоты блестящей апогея,
От наших взоров скрытый синевой,
Добряк Денис, издавний наш святой,
Глядит на горе Франции, бледнея,
На торжество британского злодея,
На скованный Париж, на короля,
Что все забыл, с Агнесою дремля.
Святой Денис — патрон французских ратей,
Каким был Марс для римских городов,
Паллада — для афинских мудрецов.
Но надобно не смешивать понятий:
Один угодник стоит всех богов.

«Клянусь,— воскликнул он,— что за мытарство
Увидеть падающим государство,
Где веры водружал я знамена!
Ты, лилия, стихиям отдана;
Могу ли Валуа не сострадать я?
Не потерплю, чтоб бешеные братья
Британского властителя могли
Гнать короля с его родной земли.
Я, хоть и свят,— прости мне, боже правый,—
Не выношу заморской их державы.
Мне ведомо, что страшный день придет,
И этот прекословящий народ
Святые извратит постановленья,
Отступится от римского ученья
И будет папу жечь из года в год.
Так пусть заране месть на них падет:
Мои французы мне пребудут верны,
А бриттов совратит прельщенье скверны;
Рассеем же весь род их лицемерный,
Накажем их, надменных искони,
За все то зло, что сделают они».

Так говорил угодник в рощах рая,
Проклятьями молитвы уснащая.
И в тот же час, как бы ему в ответ,
Там, в Орлеане, собрался совет.
Был осажден врагами город славный
И изнемог уже в борьбе неравной.
Вельможи, ратной доблести полны,

Советники — седые болтуны,
По-разному неся свои печали,
«Что делать?» — поминутно восклицали.
Потон, Ла Гир и смелый Дюнуа
Враз крикнули надменные слова:
«Соратники, вперед, вся кровь — отчизне,
Мы дорого продать сумеем жизни».
«Господь свидетель! — восклицал Ришмон.—
Дотла весь город должен быть сожжен;
Пускай ворвавшиеся англичане
Найдут лишь дым и пепел в Орлеане».

Был грустен Ла Тримуйль: «Ах, злой удел
Мне в Пуату родиться повелел!
В Милане я оставил Доротею;
Здесь, в Орлеане, я в разлуке с нею.
В боях пролью я безнадежно кровь,
И — ах! — умру, ее не встретив вновь!»
А президент Луве, министр монарший,
На вид мудрец, с осанкой патриаршей,
Сказал: «Должны мы все же до тех пор
Просить парламент вынесть приговор
Над англичанами, чтоб в этом деле
Нас в упущеньях упрекать не смели».
Луве, юрист, не знал того,— увы! —
Что было достоянием молвы:
А то бы он заботился не меньше,
Чем о врагах, о милой президентше.
Вождь осаждающих, герой Тальбот,
Любя ее, любим был в свой черед.
Луве не знал; его мужское рвенье
Лишь Франции преследует отмщенье.
В совете воинов и мудрецов
Лились потоки благородных слов,
Спасать отчизну слышались призывы;
Особенно Ла Гир красноречивый
И хорошо, и долго говорил,
Но все-таки вопроса не решил.

Пока они шумели, в окнах зала
Пред ними тень чудесная предстала.
Прекрасный призрак с розовым лицом,
Поддержан светлым солнечным лучом,
С небес отверстых, как стрела, несется,
И запах святости в собранье льется.

Таинственный пришлец украшен был
Ушастой митрой, сверху расщепленной,
Позолоченной и посеребренной;
Его долматик по ветру парил,
Его чело сияло ореолом,
Его стихарь блистал шитьем тяжелым,
В его руке был посох с завитком,
Что был когда-то авгурским жезлом.
Он был еще чуть зрим в огне своем,
А Ла Тримуйль, святоша, на колени
Уже упал, твердя слова молений.
Ришмон, в котором сердце как булат,
Хулитель и кощунственник исправный,
Кричит, что это сатана державный,
Которого им посылает ад,
Что это будет шуткой презабавной —
Узнать, как с Люцифером говорят.
А президент Луве летит стрелою,
Чтоб отыскать горшок с водой святою.
Потон, Ла Гир и Дюнуа стоят,
Вперив в пространство изумленный взгляд,
Простерлись слуги, трепетом объяты.
Видение все ближе, и в палаты
Влетает тихо, на луче верхом,
И осеняет всех святым крестом.
Тут каждый крестится и упадает.
Он их с улыбкой кроткой поднимает
И молвит: «Не дрожите предо мной;
Ведь я Денис, а ремеслом — святой.
Я Галлии любимой просветитель.
Но я оставил вышнюю обитель,
Увидя Карла, внука моего,
В стране, где не осталось ничего,
Который мирно, позабыв о бое,
Две полных груди гладит на покое.
И я решил прийти на помощь сам
За короля дерущимся бойцам,
Кладя предел скорбям многотревожным.
Зло исцеляют противоположным.
И если Карл для девки захотел
Утратить честь и с нею королевство,
Я изменить хочу его удел
Рукой юницы, сохранившей девство.
Коль к небу вы подъемлете главы,
Коль христиане и французы вы,

Для церкви, короля и государства
Вы призваны помочь мне без коварства,
Найти гнездо, где может обитать
Тот феникс, что я должен отыскать».

Так старичок почтенный объяснялся.
Когда он кончил, смех кругом раздался.
Ришмон, насмешник вечный и шутник,
Вскричал: «Клянусь, мой милый духовник,
Мне кажется, вы вздумали напрасно
Покинуть ваш приют весьма прекрасный,
Чтобы отыскивать в стране гуляк
Игрушечку, что цените вы так.
Спасать посредством девственности крепость —
Да это вздор, полнейшая нелепость.
Притом не видно дев у нас в краю,
Зато они кишмя кишат в раю!
Свечей церковных в Риме и в Лорете
Не более, чем дев в нагорном свете.
Но вот во Франции — увы! — их больше нет.
В монастырях и то пропал их след.
От них стрелки, сеньоры, капитаны
Давно освободили наши страны;
Подкидышей побольше, чем сирот,
Наделал этот воровской народ.
Святой Денис, не нужно споров длинных;
В других местах ищите дев невинных».

Угодник покраснел пред наглецом;
Затем, опять на луч вскочив верхом,
Как на коня, не говоря ни слова,
Пришпоривает и взлетает снова,
За безделушкою, милей цветка,
Что так нужна ему и так редка.
Оставим же его; пока он рыщет
Везде, где есть дневным лучам пути,
Читатель-друг, желаю вам найти
Алмаз любви, которого он ищет!

Конец песни первой

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Иоанна, получив снаряжение от святого Дениса, отправляется к Карлу VII в Тур; что она совершила по пути и как ей был дан патент на звание девы

Блажен возлегший с девою на ложе!
Добро ему; но волновать сердца,
По-моему, во много раз дороже.
Любимым быть — вот счастье мудреца.
К чему лишать цветок его венца?
Пусть нас Любовь подарит этой розой.
Толковники нам исказили прозой
Прекрасный текст; когда принять их толк,
То с наслажденьем несовместен долг.
Я против них готовлю сочиненье,
Где изложу искусство из искусств,
Как в самом долге черпать наслажденье,
Обуздывая треволненья чувств.
Святой Денис мое поддержит рвенье,
Ко мне склоняясь в горней вышине;
Я пел его, и он поможет мне.
Но, в ожиданье, должен рассказать я
Конец его святого предприятья.

Среди Шампанских невысоких гор,
Где сто столбов, увенчанных гербами,
«Вы в Лотарингии»,— вещают сами,
Был городок, безвестный до тех пор;
Но он стяжал невянущую славу,
Затем что спас французскую державу
И галльских лилий искупил позор.
О Домреми, твои поля и воды
На годы да прославятся и годы!

Твоих холмов убогих не пестрят
Ни апельсин, ни персик, ни мускат,
И твоего вина я пить не стану;
Но Франции ты подарил Иоанну.
Здесь родилась она: кюре-петух,
Производивший всюду божьих слуг,
За мессой, за столом, в постели рьяный,

Когда-то инок, был отцом Иоанны;
Стан горничной, дебелой и румяной,
Был формою, в которой отлита
Британцам памятная красота.
В шестнадцать лет при лошадях таверны
Ей отыскали заработок верный,
И в краткий срок о молодой красе
В округе Вокулера знали все.
Решительна осанка, но пристойна;
Огромные глаза пылают знойно;
Зубов блестящих ровно тридцать два;
Гордиться ими вправе ротик алый,
На строгий вкус не маленький, пожалуй,
Но выписанный кистью божества,
Волнующий и яркий, как кораллы.
Грудь смуглая, но тверже, чем скала,
Попу, бойцу и книжнику мила.
Жива, ловка, сильна; в одежде чистой,
Рукою полною и мускулистой
Мешки таскает, в чаши льет вино
Сеньору и крестьянину равно
И мимоходом оплеухи сыплет,
Когда повес нескромная рука
Ее за грудь или за бедра щиплет.
Смеется, трудится до огонька,
Коней впрягает, водит к водопою
Иль, их сжимая стройною ногою,
Летит резвее римского стрелка.

О глубина премудрости верховной!
Как ты играешь гордостью греховной
Всех величайших, малых пред тобой!
Как малый вознесен твоей рукой!
Святой Денис, служитель верный твой,
По замкам ослепительным не рыщет,
Средь вас, о герцогини, он не ищет,
Денис спешит,— чудно, но это так,—
На поиски невинности в кабак.
Он в самый раз явился, чтобы девству
Обида не была нанесена.
Уже беда грозила королевству.
Известно, сколь коварен Сатана;
И, опоздай святитель на минутку,
Он с Францией сыграл бы злую шутку.
Один монах, прозваньем Грибурдон,

Покинувший с Шандосом Альбион,
Был в это время в том же самом месте,
И он решил лишить Иоанну чести.
Разведчик, проповедник, духовник,
Он был бы первым в воровском собранье.
Повсюду он свой нос совать привык;
И был к тому ж искусен в тайном званье.
Египетское ведал волшебство,
Что некогда хранилось колдунами,
Еврейскими седыми мудрецами;
Но наши дни утратили его;
Век тьмы, когда не помнят ничего!

Ему поведала его кабáла,
Что гибелью Иоанна угрожала
Его друзьям, под юбкою своей
Нося судьбу обоих королей.
И, будучи в союзе с василиском,
Поклялся он ни спать, ни пить, ни есть,
Поклялся чертом и святым Франциском
Бесценный сей палладий приобресть,
Над чувствами Иоанны торжествуя;
Он восклицал, гнусавя аллилуйя:
«И родине и церкви послужу я;
Монах и бритт обязан жить, любя
Свою страну и, главное, себя».

У некоего грубого невежды
Явились те же самые надежды,
С правами теми же на страстный пыл
Уж потому, что конюхом он был;
Он предлагал вниманию подруги
Страсть грубую и грубые услуги;
Случайности ежеминутных встреч
Могли бы девушку к нему привлечь,
Но стыд ее торжествовал, по счастью,
Над проникающею в душу страстью.
И Грибурдон опасность увидал:
Как книги, он сердца людей читал.
Он страшного соперника находит
И разговор с ним ласковый заводит:
«Могучий витязь, вы, без лишних слов,
Изрядней всех вам вверенных ослов
И девственницы стоите, конечно;
Как вы, я тоже страстью к ней палим.

Усилия свои соединим;
Я, как и вы, любовник безупречный.
Поделим же сей лакомый кусок,
Который, если ссориться бесплодно,
Из наших рук и ускользнуть бы мог.
Когда меня вам к ней свести угодно,
Я вызову немедля духа сна;
И очи нежные смежит она,
Чтоб бдили мы над ней поочередно».

Взяв книгу черную, монах скорей
Зовет того из сумрачных чертей,
Чье имя было некогда Морфей.
Сонливый бес гостит сейчас в Париже:
Когда поутру модный адвокат
Приводит ряд блистательных цитат,—
Он с судьями кивает лбом все ниже;
А днем внимает проповеди он
Учеников в искусстве Массильона,
Приемам, взвешенным со всех сторон,
Многообразию пустого звона;
И вечером в партере крепко спит.

Он к колеснице, слыша зов, спешит,
И две совы влекут его неслышно
По воздуху в молчанье ночи пышной.
Закрыв глаза, скривив зевотой рот,
Он к ложу девы ощупью бредет
И, грудь ей посыпая маком черным,
Томит ее дыханием снотворным.
Так, уверяли нас, монах Жирар,
Младую исповедуя девицу,
Сумел вдохнуть в нее любовный жар
И похотью воспламенил юницу.

Меж тем, желанья грешного полны,
Монах и конюх, слуги Сатаны,
Стащили с девственницы одеяло;
Уж кости, по ее скользя груди,
Должны решить, чье место впереди,
Кому из них принадлежит начало.
Монах взял верх: счастливы колдуны;
Его желания распалены,
Он прыгнул на Иоанну; но нежданно
Денис явился — и встает Иоанна.

Как слаб перед святыми грешный люд!
Соперники в смятении бегут,
И душу им трепещущую жгут
И лютый страх, и замысел злодейский.
Видали, верно, вы, как полицейский
Вступает в дом любви ночной порой:
Любовников раздетых юный рой,
Постели кинув, прыгает с балкона
От мрачных глаз блюстителя закона;
Так наши блудники бегут с тоской.
Денис стремится усмирить волненье
Иоанны, плачущей от возмущенья.
Он говорит: «Избрания сосуд,
Бог королей твоей рукой невинной
Решил отмстить честь Франции старинной
И водворить в их островной приют
Надменных англичан, народ бесчинный.
Бог превращает дуновеньем недр
Трепещущий тростник в ливанский кедр,
Сметает горы, сушит океаны
И воскрешает вымершие страны.
От шага твоего родится гром,
Повиснет ужас над твоим челом,
Ты с огнезарным ангелом победы
О дивной славе поведешь беседы.
Иди, о темной позабудь судьбе,—
Иное уготовано тебе».

При этой речи, грозной и прекрасной,
Весьма духовной и весьма неясной,
Иоанна широко раскрыла рот
И думала — что это он плетет?
Но благодать сильна: от благодати
В ее уме редеет мрак понятий,
Как будто там взошло светило дня,
И в сердце — пыл священного огня.
Она теперь не прежняя служанка,
Она — уже герой, она — гражданка.
Так мещанин, досель неприхотлив,
От богача наследство получив,
Дворцом сменяет домик свой смиренный,
Свой скромный вид — развязностью надменной;
Слепит вельможу блеск его щедрот,
И светлостью простак его зовет.

Или, скорей, так швейка молодая,
Которую природа с юных лет
Готовила в бордель или в балет,
Которую кормила мать простая
Для счастья с мужиком в тиши пустынь, —
Когда ее Амур, везде порхая,
Кладет под короля, меж двух простынь,
Меняется в манерах и в походке,
На всех теперь лишь свысока глядит,
И в голосе слышны другие нотки,
И — впору королеве — ум развит.

Решив начать скорее подвиг бранный,
Денис во храм отправился с Иоанной,
И здесь явилась им средь бела дня
(Как нашей Деве это было странно!),
Спустившись с неба, дивная броня.
Из арсенала крепости небесной
Архистратиг великий Михаил
Извлек ее десницею чудесной.
И тут же рядом шлем Деборы был,
Гвоздь, что Сисаре голову пронзил;
Булыжник, пущенный пращой Давида
В гиганта отвратительного вида,
И челюсть та, которую Самсон,
Когда возлюбленной был продан он,
Разил врагов с неслыханною силой;
Клинок Юдифи, дивно заострен,
Ужасный дар предательницы милой,
Которым небо за себя отмстило,
Прервав ее возлюбленного сон.
Все это видя, Дева в восхищенье
Стальное надевает облаченье,
Рукою крепкою схватить спешит
Наплечник, наколенник, шлем и щит,
Булыжник, челюсть, гвоздь, клинок кровавый,
Примеривает все и бредит славой.

У героини конь обязан быть;
У злого ль конюха его просить?
И вдруг осел явился перед нею,
Трубя, красуясь, изгибая шею.
Уже подседлан он и взнуздан был,
Пленяя блеском золотых удил,
Копытом в нетерпенье землю роя,

Как лучший конь фракийского героя;
Сверкали крылья на его спине,
На них летал он часто в вышине.
Так некогда Пегас в полях небесных
Носил на крупе девять дев чудесных,
И Гиппогриф, летая на луну,
Астольфа мчал в священную страну.
Ты хочешь знать, кем был осел тот странный,
Подставивший крестец свой для Иоанны?
Об этом я потом упомяну,
Пока же я тебя предупреждаю,
Что тот осел довольно близок к раю.

Уже Иоанна на осле верхом,
Уже Денис подхвачен вновь лучом
И за девицей поспешает следом
Приуготовить короля к победам.
То иноходью шествует осел,
То в небесах несется, как орел.
Монах, как прежде, полный сладострастья,
Оправившись от своего несчастья,
Погонщика, посредством тайных сил,
Без промедленья в мула обратил,
Верхом садится, шпорит неустанно,
Клянется всюду гнаться за Иоанной.
Погонщик мулов и отныне мул
По ним рванулся и вперед скакнул;
И дух из грубого такого теста
Едва заметил перемену места.

Иоанна и Денис стремятся в Тур,
Где держит короля в цепях Амур.
Когда настала ночь, под Орлеаном
Пришлось им проезжать британским станом.
Британцы, сильно пьющие досель,
Храпели, просыпая тяжкий хмель;
Прислуга, караул — все было пьяно.
Не слышалось ни труб, ни барабана:
Тот, поперек пажа разлегшись, спит,
А этот нагишом в шатре храпит.

И вот святитель, в справедливом гневе,
Такую речь нашептывает Деве:
«Наверное о Нисе знаешь ты,
Который под покровом темноты,

Сопутствуем любезным Эвриалом,
Уснувших рутулов разил кинжалом.
И так же Рес могучий был сражен
В ту ночь, когда отважный сын Тидея,
Союзником имея Одессея,
Преобразил, не повстречав препон,
Спокойный сон троянцев в вечный сон.
Ты можешь ту же одержать победу.
Пойдешь ли ты по доблестному следу?»
Иоанна молвит: «Прекратим беседу;
Нет, низкой доблесть стала бы моя,
Когда бы спящих убивала я».
Так говоря, Иоанна видит рядом
Шатер, залитый лунным серебром,
Рисующийся восхищенным взглядам
По меньшей мере княжеским шатром.
У входа — бочки с дорогим вином.
Она хватает кубок превеликий,
Закусывает жирным пирогом
И чокается с дивным стариком
За здравие французского владыки.

Хозяином шатра был Жан Шандос.
Великий воин спал, задравши нос.
Иоанна похищает меч у бритта
И пышные штаны из аксамита.
Так некогда Давид, к его беде,
Царя Саула встретив кое-где,
Не захотел закрыть царевы вежды,
А только вырезал кусок одежды
И показал вельможам тех сторон,
Что мог бы сделать, но не сделал он.
Шандосов паж спал тут же безмятежно,
Четырнадцатилетний, милый, нежный.
Он спал ничком. Была обнажена,
Как у Амура, вся его спина.
Невдалеке чернильница стояла,
Служившая ему, когда, бывало,
Поужинав, он песни сочинял
Красавицам, чей взор его пленял.
И вот рисует Дева, шутки ради,
Три лилии на юношеском заде,
Для Галлии обет счастливых дней
И памятник величья королей.
Глаза святого с гордостью следили

На заде бритта рост французских лилий.
Кто поутру обескуражен был?
Шандос, проспавший пиршественный пыл,
Когда увидел на паже красивом
Три лилии. Во гневе справедливом
Он о предательстве заводит речь;
Он ищет возле изголовья меч.
Напрасно ищет; нет его в помине,
Как нет штанов; он, точно лев в пустыне,
Кричит, бранится, думая со сна,
Что в лагерь забирался Сатана.

Стремительно, как солнца луч блестящий,
Осел крылатый, Деву уносящий,
Всю землю мог бы облететь вокруг!
Святой с Иоанной прибыл ко двору.
Денису вмиг подсказывает опыт,
Что здесь царят насмешки, свист и шепот.
Он, вспоминая дерзновенный тон,
В котором с ним беседовал Ришмон,
Не хочет вновь отдать на посмеянье
Епископа святое одеянье.
Для этого прибегнул он к игре:
Он скромный вид и наименованье
Берет Рожера, твердого в добре,
Усердного и в битве, и во храме,
Советника с правдивыми речами,
Любимого, однако, при дворе.

«Клянусь Христом,— промолвил он владыке,—
Возможно ль, чтоб дремал король великий
В цепях Амура средь таких трущоб!
Как! Ваши руки чужды состязанью!
Ваш лоб, ваш гордый королевский лоб
Венчан лишь миртом, розами да тканью!
Вы грозных оставляете врагов
На троне ваших царственных отцов!
В сражении умрите смертью славной
Иль сатанинских изничтожьте слуг;
Достойны вы носить венец державный,
И лавры ожидают ваших рук.
Господь, чей дух во мне отвагу будит,
Господь, который помогать вам будет,
Через меня вещает о судьбе.
Решитесь верить и помочь себе:

Последуйте за этой девой смелой;
То Франции спасительница целой;
Ее рукой вернет нам царь царей
Законы наши, наших королей.
Иоанна с вашей помощью изгонит
Врага, который страшен и жесток;
Мужчиной станьте; и когда сам рок
Вас юной деве подчиниться клонит,
По крайней мере, избегайте той,
Что в сердце гасит пламень боевой,
А, веруя в чудесное спасенье,
Спешите вслед за приносящей мщенье».

У короля французов в сердце есть
Не только томный пламень, но и честь.
Суровый голос старого витии
Его исторг из сонной летаргии.
Так в некий день, средь тверди голубой,
Архангел, потрясая мир трубой,
Прах оживляя, гробы разверзая,
Пробудит смертных к ликованью рая.
Карл пробужден, он яростью кипит,
В ответ на речь он восклицает: «К бою!»
Он увлечен теперь одной войною,
Хватает пику и хватает щит.

Но тотчас же за первой вспышкой гнева,
Которым чувства в нем опьянены,
Он хочет знать: таинственная дева —
Посланница творца иль Сатаны,
И это столь нежданное явленье —
Святое чудо или наважденье.
К надменной деве обратив вопрос,
Он величавым тоном произнес
Слова, какими всякая смутится:
«Иоанна, слушайте, а вы — девица?»
Она в ответ: «Велите, я снесу,
Чтоб доктора с очками на носу,
Аптекарь, бабка и писец случайный
Те женские исследовали тайны;
И кто еще знаток по тем делам,
Пусть подойдет и пусть посмотрит там».

Карл в этой речи, мудрой и смиренной,
Ответ увидел боговдохновенный.

Он молвил: «Чтоб поверил я вполне,
Скорей, не думая, скажите мне,
Чем в эту ночь я с милой занимался».
Но коротко: «Ничем!» — ответ раздался.
Склонился Карл пред божиим перстом
И крикнул: «Чудо» — осенясь крестом.
Выходят, меховым кичась убором,
Ученые, в руке их Гиппократ,
Колпак на голове; они глядят
На девушку, открытую их взорам
Совсем нагой, и господин декан,
Вотще искав какой-нибудь изъян,
Вручает миловидной внучке Евы
Пергаментный патент на званье девы.

Священной гордости горя огнем,
Она склоняется пред королем
И, внемля свиты радостному кличу,
Развертывает славную добычу —
Штаны Шандоса, скрытые дотоль.
«Позволь мне,— говорит,— о мой король,
Вернуть под власть твою, твои законы,
Ту Францию, где ныне скорбь и стоны.
Клянусь, я превзойду твои мечты:
Клянусь тебе моей чудесной силой,
Моим мечом и девственностью милой,
Что будешь в Реймсе коронован ты;
Ты прилетишь грозою к англичанам,
Которые стоят под Орлеаном.
Иди, взнесись до дивной высоты;
Иди, простившись с тихою рекою,
И мне дозволь повсюду быть с тобою».

Придворные теснятся перед ней,
С нее и с неба не сводя очей,
Ей хлопают, дивятся, ободряют,
Восторгом бурным зову отвечают.
И каждый, поднимающий копье,
Оруженосцем хочет быть ее.
Жизнь за нее отдать согласен каждый,
И в то же время каждый одержим
Мечтой о славе и палящей жаждой
Отнять тот клад, что ею так храним.
Все в путь готовы, всякий суетится:
Один спешит с любовницей проститься,

Тот, отощав, к ростовщику идет,
Тот, не платя, свой разрывает счет.
В руке Дениса орифламма реет.
При этом виде в сердце Карла зреет
Высокая надежда. Грозный стяг,
Перед которым убегает враг,
Иоанна и осел, парящий в небе,
Ему бессмертный обещают жребий.

Денис хотел, бросая этот кров,
Лишить любовников прощальных слов,
Чтоб слез они зазря не проливали
И времени напрасно не теряли.
Агнеса, не подозревая зла,
Хоть был и поздний час, еще спала.
Счастливый сон, пленительный и лгущий,
Ей рисовал восторг, ее бегущий,
Ей снилось, что с любовником своим
Она любви вкушает наслажденье;
Ты обмануло, сладкое виденье:
Ее любовник уведен святым.
Так иногда в Париже врач бездушный
На жирные блюда кладет запрет,
Больному не дает доесть обед,
К его прожорливости равнодушный.

Добряк Денис, насилу оторвав
Монарха от пленительных забав,
Бежит скорей к своей овечке милой,
К Иоанне, девственнице с львиной силой.
Теперь он снова, как и был, святой:
Тон набожный, смиренные повадки,
Жезл пастыря и перстень золотой,
Епископская митра, крест, перчатки.
«Служи,— сказал он,— храбро королю
И знай, что я тебя навек люблю.
Но с лаврами отваги горделивой
Сплетай цветы невинности стыдливой.
Твои стопы направлю в Орлеан.
Тогда Тальбот, начальник англичан,
Возрадуется сердцем злого зверя,
В свое свиданье с президентшей веря,
Твоя рука швырнет его во тьму.
Но, грех казня, не подражай ему.
Отважна будь, но с набожною думой.

Теперь прощай; о девственности думай».
Она дала торжественный обет,
И пастырь возвратился в горний свет.

Конец песни второй

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Описание дворца Глупости. Сражение под Орлеаном. Агнеса, облачившись в доспехи Иоанны, отправляется к своему возлюбленному; она попадает в плен к англичанам и стыдливость ее весьма страдает

Еще не все — быть смелым и спокойным,
Встречая смерть в пороховом дыму,
И хладнокровно в грохоте нестройном
Командовать отряду своему;
Везде героев мы нашли бы тьму,
И каждый был бы воином достойным.
Кто скажет мне, что Франции сыны
Искусней и бестрепетней убийцы,
Чем дети гордой английской страны?
Иль что германцев выше иберийцы?
Все били, все бывали сражены.
Конде великий был разбит Тюренном,
Виллар бежал с позором несомненным,
И, Станислава доблестный оплот,
Солдат венчанный, шведский Дон-Кихот,
Средь смельчаков смельчак необычайный,
Не уступил ли северный король
Сопернику, презренному дотоль,
Победный лавр во глубине Украйны?

По-моему, полезнее вождям
Уменье очаровывать невежду:
Облечь себя в священную одежду
И ею ослеплять глаза врагам.
Так римляне — мир падал к их ногам —
Одолевали при посредстве чуда.
В руках у них была пророчеств груда.
Юпитер, Марс, Поллукс, весь сонм богов

Водили их орла громить врагов.
Вакх, в Азию низринувшийся тучей,
Надменный Александр, Геракл могучий,
Чтоб над врагами властвовать верней,
За Зевсовых сходили сыновей:
И перед ними чередой смиренной
Клонились в прах властители вселенной,
На них взирая робко издали.

Дениса те примеры увлекли,
И он хотел, чтобы его Иоанне
Те ж почести воздали англичане,
Чтобы Бедфорд и влюбчивый Тальбот,
Шандос и весь его безбожный род
Поверили, что грозная девица —
Карающая божия десница.

Чтоб этот смелый план его прошел,
Бенедиктинца он себе нашел,
Но не из тех, чьи книжные громады
Всей Франции обогащают склады,
А мелкого, кому и книг не надо,
Когда латинский требник он прочел.
И брат Лурди, слуга смиренный богу,
Снаряжен был в далекую дорогу.

На вечно мрачной стороне луны
Есть рай, где дураки расселены.
Там, на откосах пропасти огромной,
Где только Хаос, только Ночь и Ад
С начала мироздания царят
И силою своей кичатся темной,
Находится пещерная страна,
Откуда благость солнца не видна,
А виден, вместо солнца, свет ужасный,
Холодный, лживый, трепетный, неясный,
Болотные огни со всех сторон,
И чертовщиной воздух населен.
Царица Глупость властвует страною:
Ребенок старый с бородой седою,
Producing Кося и, как Данше, разинув рот,
Гремушкой вместо скипетра трясет.
Невежество — отец ее законный,
А чада, что стоят под сенью тронной,—
Упрямство, Гордость, Леность и затем

Наивность, доверяющая всем.
Ей каждый служит, каждый ей дивится,
И мнит она, что истинно царица,
Хотя на деле Глупость — только тень,
Пустышка, погрузившаяся в лень:
Ведь Плутня состоит ее министром,
Все делается этим другом быстрым,
А Глупость слушается целый день.
Он ко двору ее приблизил скопы
Тех, что умеют делать гороскопы,
Чистосердечно лгущих каждый час,
И простаков, и жуликов зараз.

Алхимиков там повстречаешь тоже,
Что ищут золота, а без штанов,
И розенкрейцеров, и всех глупцов,
Для богословья лезущих из кожи.

Посланником в сию страну чудес
Лурди был выбран из своих собратий.
Когда закрыла ночь чело небес
Завесою таинственных заклятий,
В рай дураков на легких крыльях сна
Его душа была вознесена.
Он удивляться не любил некстати
И, будучи уже при том дворе,
Все думал, что еще в монастыре.

Сперва он погрузился в созерцанье
Картин, украсивших святое зданье.
Какодемон, воздвигший этот храм,
Царапал для забавы по стенам
Наброски, представляющие верно
Все наши сумасбродства, планов тьму,
Задуманных и выполненных скверно,
Хоть «Вестник» хвалит их не по уму.
В необычайнейшем из всех музеев,
Среди толпы плутов и ротозеев
Шотландец Лоу прежде всех поспел;
Король французов новый, он надел
Из золотой бумаги диадему
И написал на ней свою систему;
И не найдете вы руки щедрей
В раздаче людям мыльных пузырей:

Монах, судья и пьяница отпетый
Из алчности несут ему монеты.

Какое зрелище! Одна из пар —
С достаточным Молиной Эскобар;
Хитрец Дусен, приспешник иезуита,
Стоит с чудесной буллою раскрытой,
Ее творец склоняется над ним.
Над буллой той смеялся даже Рим,
Но все ж она источник ядовитый
Всех наших распрей, наших крикунов
И, что еще ужаснее, томов,
Отравой полных ереси негодной,
Отравой и снотворной и бесплодной.

Беллерофонты новые легки,
Глаза закрывши, на химерах рыщут,
Своих противников повсюду ищут,
И, вместо бранных труб, у них свистки;
Неистово, кого, не видя сами,
Они разят с размаху пузырями.
О, сколько, господи, томов больших,
Постановлений, объяснений их,
Которые ждут новых объяснений!

О летописец эллинских сражений,
Воспевший также в мудрости своей
Сражения лягушек и мышей,
Из гроба встань, иди прославить войны,
Рожденные той буллой беспокойной!
Вот янсенист, судьбы покорный сын.
Потерянный для вечной благодати;
На знамени — блаженный Августин;
Он «за немногих» вышел против рати
И сотня согнутых спешит врагов
На спинах сотни маленьких попов.

Но полно, полно! Распри, прекратитесь!
Дорогу, простофили! Расступитесь!
В Медардовом приходе видит взор
Могилы бедный и простой забор,
Но дух святой свои являет силы
Всей Франции из мрака той могилы;
За исцеленьем к ней спешит слепой
И ощупью идет к себе домой;

Приводят к ней несчастного хромого,
Он прыгает и вдруг хромает снова;
Глухой стоит, не слыша ничего;
А простаки кричат про торжество,
Про чудо явленное, и ликуют,
И доброго Париса гроб целуют,
А брат Лурди глядит во все глаза
На их толпу и славит небеса,
Хохочет глупо, руки поднимая,
Дивится, ничего не понимая.

А вот и тот святейший трибунал,
Где властвуют монах и кардинал,
Дружина инквизиторов ученых,
Ханжами-сыщиками окруженных.
Сидят святые эти доктора
В одеждах из совиного пера;
Ослиные на голове их уши,
И, чтобы взвешивать, как должно, души,
Добро и зло, весы у них в руках,
И чашки глубоки на тех весах.
В одной — богатства, собранные ими,
Кровь кающихся чанами большими,
А буллы, грамоты и ектеньи
Ползут через края второй бадьи.
Ученейшая эта ассамблея
На бедного взирает Галилея,
Который молит, на колени став:
Он осужден за то лишь, что был прав.

Что за огонь над городом пылает?
То на костре священник умирает.
Двенадцать шельм справляют торжество:
Юрбен Грандье горит за колдовство.

И ты, прекрасная Элеонора,
Парламент надругался над тобой,
Продажная, безграмотная свора
Тебя в огонь швырнула золотой,
Решив, что ты в союзе с Сатаной.
Ах, Глупость, Франции сестра родная!
Должны лишь в ад и папу верить мы
И повторять, не думая, псалмы!
А ты, указ, плод отческой заботы,
За Аристотеля и против рвоты!

И вы, Жирар, мой милый иезуит,
Пускай и вас перо мое почтит.
Я вижу вас, девичий исповедник,
Святоша нежный, страстный проповедник!
Что скажете про набожную страсть
Красавицы, попавшей в вашу власть?
Я уважаю ваше приключенье;
Глубоко человечен ваш рассказ;
В природе нет такого преступленья,
И столькие грешили больше вас!
Но, друг мой, удивлен я без предела,
Что Сатана вмешался в ваше дело.
Никто из тех, кем вы очернены,
Монах и поп, писец и обвинитель,
Судья, свидетель, враг и покровитель,
Ручаюсь головой, не колдуны.

Лурди взирает, как парламент разом
Посланья двадцати прелатов жжет
И уничтожить весь Лойолин род
Повелевает именным указом;
А после — сам парламент виноват:
Кенель в унынье, а Лойола рад.
Париж скорбит о строгости столь редкой
И утешает душу опереткой.

О Глупость, о беременная мать,
Во все века умела ты рождать
Гораздо больше смертных, чем Кибела
Бессмертных некогда родить умела;
И смотришь ты довольно, как их рать
В моей отчизне густо закишела;
Туп переводчик, толкователь туп,
Глуп автор, но читатель столь же глуп.
К тебе взываю, Глупость, к силе вечной:
Открой мне высших замыслов тайник,
Скажи, кто всех безмозглей в бесконечной
Толпе отцов тупых и плоских книг,
Кто чаще всех ревет с ослами вкупе
И жаждет истолочь водицу в ступе?
Ага, я знаю, этим знаменит
Отец Бертье, почтенный иезуит.

Пока Денис, о Франции радея,
Подготовлял с той стороны луны

Во вред врагам невинные затеи,
Иные сцены были здесь видны,
В подлунной, где народ еще глупее.
Король уже несется в Орлеан,
Его знамена треплет ураган,
И, рядом с королем скача, Иоанна
Твердит ему о Реймсе неустанно.
Вы видите ль оруженосцев ряд,
Цвет рыцарства, чарующего взгляд?
Поднявши копья, войско рвется к бою
Вослед за амазонкою святою.
Так точно пол мужской, любя добро,
Другому полу служит в Фонтевро,
Где в женских ручках даже скипетр самый
И где мужчин благословляют дамы.

Прекрасная Агнеса в этот миг
К ушедшему протягивала руки,
Не в силах победить избытка муки,
И смертный холод в сердце ей проник;
Но друг Бонно, всегда во всем искусный,
Вернул ее к действительности грустной.
Она открыла светлые глаза,
И за слезою потекла слеза.
Потом, склонясь к Бонно, она шепнула:
«Я понимаю все: я предана.
Но, ах, на что судьба его толкнула?
Такая ль клятва мне была дана,
Когда меня он обольщал речами?
И неужели я должна ночами
Без милого ложиться на кровать
В тот самый миг, когда Иоанна эта,
Не бриттов, а меня лишая света,
Старается меня оклеветать?
Как ненавижу тварей я подобных,
Солдат под юбкой, дев мужеподобных,
Которые, приняв мужскую стать,
Утратив то, чем женщины пленяют,
И притязая тут и там блистать,
Ни тот, ни этот пол не украшают!»
Сказав, она краснеет и дрожит
От ярости, и сердце в ней болит.
Ревнивым пламенем сверкают взоры;
Но тут Амур, на все затеи скорый,
Внезапно ей внушает хитрый план.

С Бонно она стремится в Орлеан,
И с ней Алиса, в качестве служанки.
Они достигли к вечеру стоянки,
Где, скачкой утомленная чуть-чуть,
Иоанна захотела отдохнуть.
Агнеса ждет, чтоб ночь смежила вежды
Всем в доме, и меж тем разузнает,
Где спит Иоанна, где ее одежды,
Потом во тьме тихонечно идет,
Берет штаны Шандоса, надевает
Их на себя, тесьмою закрепляет
И панцирь амазонки похищает.
Сталь твердая, для боя создана,
Терзает женственные рамена,
И без Бонно упала бы она.

Тогда Агнеса шепотом взывает:
«Амур, моих желаний господин,
Дай мощь твою моей руке дрожащей,
Дай не упасть мне под броней блестящей,
Чтоб этим тронулся мой властелин.
Он хочет деву, годную для боя,—
Молю, Агнесу преврати в героя!
Я буду с ним; пусть он позволит мне
Бок о бок с ним сражаться на войне;
И в час, когда помчатся стрелы тучей,
Ему грозя кончиной неминучей,
Пусть поразят они мои красы,
Пусть смерть моя продлит его часы;
Пусть он живет счастливым, пусть умру я,
В последний миг любимого целуя!»
Пока она твердила про свое,
Бонно к седлу ей прикрепил копье...
А Карл был лишь в трех милях от нее!

Агнеса захотела той же ночью
Возлюбленного увидать воочью.
Стопой неверною, кляня броню,
С трудом бедняжка тащится к коню,
В седло садится с помраченным взглядом
И с расцарапанным штанами задом.
Толстяк Бонно на боевом коне
Похрапывает тут же в стороне.
Амур, боясь всего для девы милой,
Посматривает на отъезд уныло.

Едва Агнеса путь свой начала,
Она услышала из-за угла,
Как мчатся кони, как брящают латы.
Шум ближе, ближе; перед ней солдаты,
Все в красном; в довершение невзгод
То был как раз Шандосов конный взвод.
«Кто тут?» — раздалось у опушки леса.
В ответ на крик наивная Агнеса
Откликнулась, решив, что там король:
«Любовь и Франция — вот мой пароль!»
При этих двух словах,— а божья сила
Узлом крепчайшим их соединила,—
Схватили и Агнесу и Бонно,
И было их отправить решено
К тому Шандосу, что, ужасен с виду,
Отмстить поклялся за свою обиду
И наказать врагов родной страны,
Укравших меч героя и штаны.

В тот миг, когда уже освободила
Рука дремоты сонные глаза,
И зазвучали пташек голоса,
И в человеке вновь проснулась сила,
Когда желанья, вестники любви,
Кипят бурливо в молодой крови,—
В тот миг Шандос увидел пред собою
Агнесу, что затмила красотою
Рассветный луч, горящий в каплях рос.
Скажи мне, что ты чувствовал, Шандос,
Увидев королеву нимф приветных
Перед тобой в твоих штанах заветных?

Шандос, любовным пламенем объят,
К ней устремляет похотливый взгляд.
Дрожит Агнеса, слушая, как воин
Ворчит: «Теперь я за штаны спокоен!»
Сперва ее он заставляет сесть.
«Снимите,— говорит он в нетерпенье,—
Тяжелое, чужое снаряженье».
И в то же время, предвкушая месть,
Ее раскутывает, раздевает.
Агнеса, защищаясь, умоляет,
С мечтой о Карле, но в чужих руках.
Прелестный стыд пылает на щеках.
Толстяк Бонно, как утверждает говор,

Шандосу послужить пошел как повар;
Никто, как он, не мог украсить стол:
Он белые колбасы изобрел
И Францию прославил перед миром
Жиго на углях и угревым сыром.

«Сеньор Шандос, что делаете вы? —
Агнеса стонет жалобно.— Увы!»
«Клянусь,— в ответ он (все клянутся бритты),—
Меня обидел вор, в ночи сокрытый.
Штаны — мои; и я, ей-богу, рад
Свое добро потребовать назад».
Так молвить и сорвать с нее одежды —
Был миг один; Агнеса, без надежды,
Припав в слезах к могучему плечу,
Стонала только: «Нет, я не хочу».

Но тут раздался шум невероятный,
Повсюду слышен крик: «Тревога, в бой!»
Труба, предвестник ночи гробовой,
Трубит атаку, звук бойцам приятный.
Встав поутру, Иоанна не нашла
Ни панциря, ни ратного седла,
Ни шлема с воткнутым пером орлиным,
Ни гульфика, потребного мужчинам;
Не думая, она хватает вдруг
Вооруженье одного из слуг,
Верхом садится на осла, взывая:
«Я за тебя отмщу, страна родная!»
Сто рыцарей за нею вслед спешат
В сопровожденье шестисот солдат.

А брат Лурди, заслышав шум тревоги,
Оставил вечной Глупости чертоги
И опустился между англичан,
Согнув под ношей свой дородный стан:
Он на себя различный вздор навьючил,
Труды монахов и безмозглых чучел.
Так нагружен, он прибыл и тотчас
Широкий плащ старательно потряс
Над бриттами, и лагерь их погряз
В святом невежестве, в дремоте жирной,
Давно привычных Франции обширной.
Так ночью сумрачное божество

С чернеющего трона своего
Бросает вниз на нас мечты и маки
И усыпляет нас в неверном мраке.

Конец песни третьей

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Иоанна и Дюнуа сражаются с англичанами. Что с ними происходит в замке Гермафродита

Будь я царем, не знал бы я коварства.
Я мирно бы народом управлял
И каждый день мне вверенное царство
Благодеяньем новым одарял.
Будь государственным я человеком,
Порадовал бы я и там и тут
Талантливых людей пристойным чеком;
Ведь, правда, стоит этого их труд.
Будь я епископ несколько минут,
Я постарался б вслед за молинистом
Договориться с грубым янсенистом.
Но если б я прелестницу любил,
Я с нею никогда б не расставался,
Чтоб праздником день каждый начинался,
Чтоб вечно новым этот праздник был,
Поддерживая в ней любовный пыл.
Любовники, как горько расставанье!
В нем множество опасностей для вас,
И можете вы заслужить названье
Рогатого на дню по десять раз.

Едва Шандос последние завесы
Сорвал с дрожащих прелестей Агнесы,
Как вдруг Иоанна из рядов в ряды
Несется воплощением беды.
Непобедимое копье Деборы
Пронзило Дильдо грозного, который
Уворовал сокровища Клерво
И осквернил монахинь Фонтевро.
Потом второй удар, такой же ловкий,

Сбил Фонкинара, годного к веревке;
Хоть он и был на севере рожден,
В Гибернии, где снег со всех сторон,
Но, словно отпрыск южного народа,
Во Франции повесничал три года.
Затем погиб и рыцарь Галифакс,
И брат его двоюродный Боракс,
И Мидарблу, родителя проклявший,
И Бартонэй, жену у брата взявший.
И каждый, кто с ней рядом мчался в бой,—
И рыцарь знатный, и солдат простой,
Копьем с десяток англичан пронзает.
Смерть мчится сзади, страх опережает:
Могло казаться в тот ужасный миг,
Что грозный бог сражается за них.

В разгаре брани, в пекле битвы шумной
Наш брат Лурди взывает, как безумный:
«Дрожите, бритты! Девушка она,
Святым Денисом вооружена.
Да, девушка, и чудеса свершает,
Ее рука препятствия не знает;
Пади же ниц, грязь английская вся,
Ее благословения прося!»
Неистовый Тальбот, не зная страха,
Приказывает захватить монаха;
Его связали, но, мученьям рад,
Не устает вопить смиренный брат:
«Я мученик; британец гордый, ведай,
Что девственность останется с победой!»

Наивны люди; в слабых их сердцах
Все оставляет след, как в мягкой глине.
Всего же легче, кажется, поныне,
Ошеломить нас и внушить нам страх!
Добряк Лурди своим ужасным криком
Гораздо больше напугал солдат,
Чем амазонка в наступленье диком
И все герои, что за ней летят.
Привычка верить чуду без сомнений,
Дух заблуждений, головокружений,
Видений без начала и конца,
Совсем смутил британские сердца.
Британцы знали боевые громы,
Но были с философией они

В те времена не очень-то знакомы,—
Встречаешь умных только в наши дни.

Шандос, уверенный в удачном бое,
Кричит своим: «Британские герои,
За мной, направо!» Он сказал, но тут
Все повернули влево и бегут.
Так некогда в равнине плодородной,
Там, где Евфрат струится многоводный,
Когда решил людской надменный род
Воздвигнуть столп до божиих высот,
Бог, этого соседства не желая,
В сто языков язык их превратил.
Кому была нужна вода простая,
Тому сосед известку подносил,
И весь народ, осмеян богом сил,
Рассеялся, постройку оставляя.

Тотчас же осажденный Орлеан
Узнал про пораженье англичан:
Летит молва на легких крыльях птицы,
Повсюду славя доблести девицы.
Вы знаете великолепный пыл
Французов; он всегда таким же был.
Они идут на битву, как на праздник.
Бастардов украшенье, Дюнуа,—
За Марса приняла б его молва,—
За ним Сентрайль, Ла Гир, Ришмон-проказник
И Ла Тримуйль спешат из стен в луга
И, будто бы преследуя врага,
Кричат: «Кому здесь жизнь не дорога?»
Но враг их поджидал: за воротами
Тальбот, весьма благоразумный вождь,
Учтя их возрастающую мощь,
Расположился с десятью полками.

Он, руки к небу страстно вознося,
Амуром и Георгием клялся,
Что скоро въедет в город осажденный.
Жила мечта в нем, нет, пожалуй, две:
Давно пылала страстью потаенной
К нему супруга толстого Луве.
И гордый воин, смелый и упрямый,
Мечтал владеть и городом и дамой.
Лишь выступили рыцари, и вот

Им на голову падает Тальбот;
Они смешались, и борьба идет.
Равнины орлеанские, вы были
Свидетелями тягостных усилий,
Кровь человечья веществом своим
Вас унавозила на двести зим.
Нет, никогда ни Мальплакэ, ни Зама,
Ни сам Фарсал, классическая яма,
Все знаменитые места боев
Не видели так много мертвецов.
И друг о друга копья ударялись
И, словно щепки, пополам ломались;
Копыта вздыбившихся лошадей
Давили обезумевших людей;
Снопы огней, рождаясь под мечами,
С полуденными спорили лучами;
Отрубленные, посреди травы,
Катались руки, ноги и главы.

С высот небесных ангелы сраженья,
Надменный Михаил и тот, другой,
Что персов усмирил своей рукой,
Склонились вниз, полны благоволенья,
И наблюдали этот страшный бой.

Архангел в руку взял весы закона,
Какими взвешивают в небесах;
И вот уже лежат на тех весах
Судьба и Франции и Альбиона.
Герои наши, взвешенные тут,
Не вытянули надобного счета,
Их перевесила судьба Тальбота;
Так порешил небесный тайный суд.
Ришмон, усердно несший ратный труд,
Пронзен стрелой от задницы до ляжки;
Старик Сентрайль был сильно ранен в пах,
Куда — Ла Гир, не назову я, ах!
Но как мне жаль любовницы-бедняжки!
А Ла Тримуйль был загнан в ров с водой
И вышел с переломленной рукой.
Пришлось вернуться воинам увечным,
И лечь в постель понадобилось им.
То было карой, посланной предвечным
За дерзкую насмешку над святым.

Бог и казнит и милует, как хочет:
Никто, Кенель, не вступит в спор с тобой;
И Дюнуа не поражен судьбой,
Которую творец безумцам прочит.
Тогда как те, оставив страшный бой,
В носилках были снесены домой,
Свой рок и Девственницу проклиная,
Мой Дюнуа, как молния летая,
Нигде не ранен, рубит англичан,
Сбивает их ряды, как ураган,
Дорогу пролагает и нежданно
Выходит к месту, где разит Иоанна.
Так два потока, ужас пастухов,
С вершины гор стремительно слетая,
Смешавшеюся яростью валов
Сметают прочь богатства урожая:
Еще грозней Иоанна с Дюнуа,
Соединенные для торжества.

Упоены, они так быстро мчались,
Так дико с англичанами сражались,
Что скоро с войском остальным расстались,
Спустилась ночь; Иоанна и герой,
Не видя никого перед собой,
«За Францию!» — последний раз вскричали
И на опушке леса тихо стали.
При лунном свете ищут путь назад,
Но только даром по лесу кружат;
Они клянут обманчивую славу,
Измучены и страшно голодны;
Не ужинав, ложиться спать в канаву —
Дурная привилегия войны.
Так судно без руля, в ночи беззвездной,
По воле ветра носится над бездной.

Пред ними пробежав, какой-то пес
Надежду на спасенье им принес;
Он приближается, он громко лает,
Кивает мордой и хвостом виляет,
То побежит вперед, то повернет,
Как будто их по-своему зовет:
«Идите, господа, вослед за мною,
Приятнейший я вам ночлег открою».
Герои наши поняли тотчас,
Что́ хочет он, по выраженью глаз;

С надеждою пустились вновь в дорогу,
О благе Карла помолившись богу,
И состязались в лести меж собой,
Хваля друг друга за недавний бой.
Порою рыцарь сладострастным взглядом
Смотрел на девушку, скача с ней рядом;
Но ведал он, что от ее цветка
Зависит честь французского народа,
Что Франция погибла на века,
Когда он будет сорван раньше года.
Он усмирил желания свои:
Он Францию предпочитал любви.
Но все ж, когда, попав в ухаб дороги,
Святой осел неверно ставил ноги,
Воспламенен, но сдержан, Дюнуа
Одной рукой поддерживал подругу,
А та в ответ, по воле естества,
Плечом склонялась на его кольчугу,
И головы касалась голова.
И вот, пока герои наши мчались,
Нередко губы их соприкасались —
Конечно, чтобы говорить вблизи
Об Англии с их родиной в связи.

О Кенигсмарк, в истории прочли мы,
Что шведский Карл, воитель нелюдимый,
Монархов победитель и любви,
К двору не принял прелести твои:
Боялся Карл плененным быть тобою;
Он мудр был, отступив перед бедою.
Но быть с Иоанною и помнить честь,
За стол голодным сесть и все ж не есть,—
Такой победе мы венок уделим.
Был рыцарь схож с Робертом д'Арбрисселем,
Святым, который некогда любил,
Чтоб с ним в постели две монашки спали,
Ласкал округлость двух мясистых талий,
Четыре груди — и не согрешил.

На утренней заре предстал их взглядам
Дворец великолепный с пышным садом,
Сияя беломраморной стеной,
Дорической и длинной колоннадой,
Балконами из яшмы дорогой,
Из дивного фарфора балюстрадой.

Герои наши, смущены, стоят,
Им кажется, что это райский сад.
Собака лает, и тотчас же трубы
Играют марш, и сорок гайдуков,
Все в золоте, на сапогах раструбы,
Выходят, принимая пришлецов.
Двух молодых пажей услыша зов,
Они за ними в помещенье входят;
Там в золотые бани их уводят
Служанки; и, омытые, потом
Едою подкрепившись и вином,
Они легли в расшитые постели
И до ночи героями храпели.

Но надо вам узнать, что господин
Такого замка и таких долин
Был сыном одного из тех высоких
Небесных гениев, что иногда
Свое величье духов звездооких
Средь смертных забывают без труда.
Сошелся этот гений исполинский
С монахиней одной бенедиктинской,
И родился у них Гермафродит,
Великий некромант, волшебник лысый,
Сын гения и матери Алисы.
Вот год пятнадцатый ему стучит,
И дух, покинув горнюю обитель,
Ему речет: «Дитя, я твой родитель!
Я волю прихожу узнать твою;
Проси, что хочешь; все тебе даю».
Гермафродит, рожденный похотливым —
Он в этом мать с отцом не посрамил,—
Сказал: «Я создан, чтобы быть счастливым;
В себе я чую всех желаний пыл —
Так сделай же, чтоб я их утолил!
Мне надо — страсть моя тому причиной —
И женщиной в любви быть, и мужчиной,
Мужчиной быть, когда пылает день,
И женщиной — когда ложится тень».
Инкуб сказал: «Исполнено желанье!»
И с той поры бесстыдное созданье
Двойное получает ликованье.
Так собеседник божества Платон,
О людях говоря, был убежден,

Что первыми из первозданной глины
Чудесные явились андрогины;
Как существа двуполые, они
Питались наслаждением одни.
Гермафродит был высшее созданье.
Ведь к самому себе питать желанье —
Совсем не самый совершенный рок;
Блаженней, кто внушить желанье мог
Вкусить вдвоем двойное трепетанье.
Ему его придворных хор поет,
Что он то Афродита, то Эрот:
Ему повсюду ищут дев прекрасных,
И юношей, и вдов, на все согласных.

Но попросить Гермафродит забыл
О даре, для него необходимом,
Без коего восторг не полным был,
О даре... ну, каком? — да быть любимым.
И сделал бог, карая колдуна,
Его уродливей, чем сатана.
Его глаза не ведали победы,
Напрасно он устраивал беседы,
Балы, концерты, всюду лил духи
И даже иногда писал стихи.
Но днем, в руках красавицу сжимая,
И по ночам, покорно отдавая
Возлюбленному женственный свой пыл,
Он чувствовал, что он обманут был.
Он получал в ответ на все объятья
Презрение, обиды и проклятья:
Ему являл воочью божий суд,
Что власть и мощь блаженства не дают.
«Как,— говорил он,— каждая служанка
Покоится в возлюбленных руках,
У каждого солдата — поселянка,
У каждой послушницы есть монах.
Лишь я, богач, владыка, гений — ах! —
Лишь я лишен в круговороте этом
Блаженства, ведомого целым светом!»
Он четырьмя стихиями клялся
Карать и дев, и юношей коварных,
Которым полюбить его нельзя,
Чтоб стала окровавленной стезя
Сердец жестоких и неблагодарных.

По-царски относился он к гостям,
И бронзовая Савская царица,
Фалестра, македонская девица,
Любезные двум царственным сердцам,
Таких даров, какие ожидали
К нему въезжавших рыцарей и дам
От данников своих не получали
Но если гость в неведенье своем
Отказывал ему в благоволенье
Или оказывал сопротивленье,
Бывал посажен на кол он живьем.

Спустился вечер,— господин был дамой,
Четыре вестника подходят прямо
К красавцу Дюнуа сказать, что он
От имени хозяйки приглашен
На антресоли в час, когда Иоанна
Пойдет за стол под музыку органа.
И Дюнуа, весь надушен, вошел
В ту комнату, где ждал накрытый стол,
Такой же, как у дщери Птолемея,
Что, вечным вожделеньем пламенея,
Великих римлян милыми звала,
И возлежали у ее стола
Могучий Цезарь, пьяница Антоний;
Такой же, полный яств и благовоний,
Как тот, за коим пил со мной монах,
Король обжор в пяти монастырях;
Такой же, за каким в чертогах вечных,—
Когда не лгали нам Орфей, Назон,
Гомер, почтенный Гесиод, Платон,—
Отец богов, пример мужей беспечных,
Вдали Юноны ужинал тайком
С Европой иль Семелою вдвоем.
На дивный стол принесены корзины
Руками благородной Евфрозины
И Талии с Аглаей молодой,—
Так в небесах трех граций называют;
Педанты наши их, увы, не знают;
Там вместе с Гебою нектар златой
Льет сын царя, поставившего Трою,
Который, вознесенный над землей,
Утехою был Зевсу потайною.
Вот за таким столом Гермафродит
С бастардом поздно вечером сидит.

Блистает госпожа своим нарядом,
На ней алмазы — удивленье взглядам;
Вкруг желтой шеи и косматых рук
Обвязаны рубины и жемчуг;
Еще страшней она была такою.
Она бросается на грудь герою,
И Дюнуа впервые побледнел.
Но даже средь смелейших был он смел
И попытался нежностью взаимной
Хозяйке отплатить гостеприимной.
На безобразие ее смотря,
Он думал: «Совершу же подвиг я!»
Но не свершил: чудеснейшая доблесть
Ей недоступную имеет область.
Гермафродит почувствовал печаль,
Но все ж ему бастарда стало жаль,
И был в душе польщен он, без сомненья,
Усильем, явственным для зорких глаз.
Им были почтены на этот раз
Отвага и похвальные стремленья.
««На завтра,— молвил,— можно отложить
Реванш. Но примените все уменье,
Чтоб страсть преодолела уваженье,
И приготовьтесь мужественней быть».

Прекрасная предшественница света
Уж на востоке в золото одета:
А в этот самый миг меняет вид,
Мужчиной делаясь, Гермафродит.
Тогда, от нового желанья пьяный,
Отыскивает он постель Иоанны,
Отдергивает занавес и, грудь
Рукой бесстыдной силясь ущипнуть,
К ней поцелуем приникая страстно,
На стыд небесный посягает властно.
Чем он страстней, тем более урод.
Иоанна, гневом праведным вскипая,
Могучую затрещину дает
По гнусной образине негодяя.
Так видел я не раз в моих полях:
На мураве зеленой кобылица,
По масти — настоящая тигрица,
На мускулистых и тугих ногах,
Сбивает неожиданным ляганьем
Осла, который был настолько глуп,

Что, полный грубым и тупым желаньем,
Уже взобрался на любимый круп.
Иоанна поспешила, вне сомненья:
Просить хозяин вправе уваженья.
Стыд под защиту мудрецы берут,
Не потерплю я на него гонений;
Но если принц, особенно же гений,
Становится пред вами на колени,
Тогда ему пощечин не дают.
И сын Алисы, хоть урод и плут,
Досель таких не ведал приключений
И никогда избитым не был тут.
Вот он кричит; и мигом разный люд,
Пажи, прислуга, стражи, все бегут:
Один из них клянется, что девица
На Дюнуа не стала бы сердиться.
О клевета, ужасный яд дворцов,
Доносы, ложь и взгляд косой и узкий,
И над любовью властен тот же ков,
Которым преисполнен двор французский!

Гермафродит наш вдвое оскорблен
И отомстить немедля хочет он.
Он произнес как только мог сердитей:
«Друзья, обоих на кол посадите!»
Они ему внимают, и тотчас
Подготовляться пытка началась.
Герои, драгоценные отчизне,
Должны погибнуть при начале жизни.
Веревкой связан Дюнуа и гол,
Готовый сесть па заостренный кол.
И сразу же, чтоб угодить тирану,
К столбу подводят гордую Иоанну;
За прелесть и пощечину ее
Ей злое отомстит небытие.
Удар кнута терзает плоть бедняжки,
Она последней лишена рубашки
И отдана мучителям своим.
Прекрасный Дюнуа, покорный им,
Сбирается в последнюю дорогу
И набожно творит молитву богу;
Но как найти в глазах его тревогу?
Он палачей своих дивил порой;
В его лице читалось: вот герой!
Когда ж героя взоры различили

Чудесную отмстительницу лилий,
Готовую сойти в могильный склеп,
Непостоянство вспомнил он судеб;
И, зная, что ее посадят на кол,
Такую благородную в борьбе,
Прекрасную такую, он заплакал,
Как никогда не плакал о себе.

Не менее горда и человечна,
Иоанна, страха чуждая, сердечно
На рыцаря смотрела своего
И сокрушалась только за него;
Их юность, тел прекрасных белоснежность
В них против воли пробуждали нежность.
Такой прекрасный, скромный, нежный пыл
Родился лишь у края их могил,
В тот миг, как колокольчиком зазвякал,
С досадой прежней ревность слив теперь,
И подал знак, чтоб их сажали на кол
Противный небесам двуполый зверь..

Но в тот же миг громоподобный голос,
На головах вздымая каждый волос,
Раздался: «Погодите их сажать!
Постойте!» И решили подождать
Злодеи, обнаружив не без страха
На ступенях огромного монаха;
Веревкою был препоясан он,
И в нем легко был узнан Грибурдон.
Как гончая, несясь между кустами,
Почует вдруг привычными ноздрями
Знакомый запах, сквозь лесную сень,
Где скрылся убегающий олень,
И вот летит вперед на резвых лапах,
Не видя дичи, только чуя запах,
В погоне перепрыгивает рвы,
Назад не поворотит головы;
Так тот, кому патрон Франциск Ассизский,
Примчался на погонщике верхом
Пройденным Девственницею путем,
Упорно добиваясь цели низкой.

«О, сын Алисы,— так воскликнул он,—
Во имя сатанинских всех имен,
Во имя духа вашего папаши,

Во имя вашей набожной мамаши,
Спасите ту, по ком томлюсь, любя.
Я за обоих отдаю себя,
Когда на рыцаря и на Иоанну
Негодованье охватило вас,
На место непокорных сам я стану;
Кто я такой — вы слышали не раз.
Вот, на придачу, мул, весьма пристойный,
Примерный скот, меня носить достойный;
Он ваш, и я б охотно присягнул,
Что скажете вы: по монаху мул.
О Дюнуа я толковать не стану,
Что проку в нем? Подайте нам Иоанну;
За девушку, которой пленены,
Не пожалеем мы любой цены».

Иоанна слушала слова такие
И содрогалась: помыслы святые,
И девственность, и слава для нее
Дороже сделались, чем бытие.
И благодать, святой подарок божий,
Прекрасного бастарда ей дороже.
Она в слезах молила небеса,
Да пронесут они опасность мимо,
И, закрывая грустные глаза,
Незрячая, желала быть незримой.

И Дюнуа был скорбью обуян.
«Как,— думал он,— расстриженный болван
Возьмет Иоанну, Францию погубит!
Судьба волшебников бесчестных любит,
Тогда как я, послушный до сих пор,
Я потуплял горящий страстью взор!»

Услыша вежливое предложенье,
Улыбкой отвечал Гермафродит;
Готов его принять без возраженья,
Уже доволен он и не сердит.
«Вы с мулом,— он монаху говорит,—
Готовы оба будьте: я прощаю
Французов; я их вам предоставляю».

Владел монах Иакова жезлом,
И перстнем Соломона, и ключом;
Он также обладал волшебной тростью,
Придуманной египетским жрецом,

И помелом, принесшим с дикой злостью
Беззубую к цару Саулу гостью,
Когда в Эндоре, заклиная тьму,
Она призвала мертвеца к нему.
Был Грибурдон не хуже по уму:
Круг начертав, он взял немного глины,
Помазал ею нос своей скотины
И произнес слова — источник сил,
Которым персов Зороастр учил
Услыша сатанинское наречье,—
О, чудеса! О, власть нечеловечья! —
На две ноги тотчас поднялся мул,
Передними уздечку отстегнул,
Густая шерсть сменилась волосами,
И шапочка явилась над ушами.
Не так ли некогда великий царь,
За злобу сердца осужденный богом
Быком щипать траву по всем дорогам,
Стал человеком наконец, как встарь?

Под синим куполом небесной сферы
Святой Денис, печален свыше меры,
Услышал Девственницы слабый стон;
К ней на подмогу устремился б он,
Когда бы сам он не был затруднен.
Денисовой поездкой оскорблен,
Один весьма почтенный небожитель,
Святой Георгий, Англии святитель,
Открыто возмущался, что Денис
Без позволения спустился вниз,
Стараясь, как непрошеный воитель.
И скоро, слово за слово, они,
Разгорячась, дошли до руготни.
В характере британского святого
Всегда есть след чего-то островного:
Пускай душа в раю поселена,
Родная всюду скажется страна;
Так выговор хранит провинциальный
Сановник важный и официальный.

Но мне пора, читатель, отдохнуть;
Мне предстоит еще немалый путь.
Когда-нибудь, но только не сегодня,
Я расскажу вам, с помощью господней,

К каким событьям это привело,
Что сталось с Девой, что произошло
На небе, на земле и в преисподней.

Конец песни четвертой

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Монах Грибурдон, пытавшийся обесчестить Иоанну, по заслугам попадает в ад. Он рассказывает о своем приключении чертям

Друзья мои, пора, поверьте мне,
Остепениться и зажить вполне,
Как истые, прямые христиане!
Среди гуляк, рабов своих желаний,
Я молодости проводил года
В трактирах вечно, в церкви никогда.
Мы пьянствовали, ночевали с девкой
И провожали пастыря с издевкой.
И что же? Смерть, которой не уйти,
С косою острой стала на пути
Весельчаков, курносая, седая,
И лихорадка, вестница хромая,
Рассыльная Атропы, Стикса дочь,
Терзает их умы и день и ночь;
Сиделка иль нотариус свободно
Им сообщают: «Вы умрете, да;
Скажите же, где вам лежать угодно».
И позднее раскаянье тогда
Слетает с уст: печальная картина.
Ждут помощи блаженного Мартина,
Святой Митуш великих благостынь,
Поют псалмы, коверкают латынь,
Святой водою их кропят, но тщетно:
Лукавый притаился незаметно
У ног постели, когти распустил.
Летит душа, но он ее схватил
И увлекает в подземелья ада,
Где грешных ждет достойная награда.

Читатель мой! Однажды Сатана,
Которому принадлежит страна
Большая, с населением немалым,
Блестящий пир давал своим вассалам.
Народ в те дни без счета прибывал,
И демоны гостей встречали славно:
Какой-то папа, жирный кардинал,
Король, что правил Севером недавно,
Три интенданта, двадцать черных ряс,
Четырнадцать каноников. Богатый
Улов, как видите, был в этот раз.
И черной сволочи король рогатый
В кругу своих придворных и друзей
Нектар бесовский пил, весьма довольный,
И песенке подтягивал застольной.
Вдруг страшный шум раздался у дверей:
«Эй, здравствуйте! Вы здесь! Вы к нам, почтенный!
Ба! Это Грибурдон, наш неизменный,
Наш верный друг! Входите же сюда,
Святой отец! Вниманье, господа!
Прекрасный Грибурдон, апостол ада,
Ученый муж! Таких-то нам и надо!
Сын черта, несравненный по уму!»
Его целуют, руку жмут ему
И быстро увлекают в подземелье,
Где слышно пира шумное веселье.

Встал Сатана и говорит: «Сынок,
Драчун, кого давно оставил бог,
Так рано я тебя не ждал; жалею,
Что голову свою ты не берег.
Духовной Академией моею
Ты сделал Францию в короткий срок:
В тебе я видел лучшую подмогу.
Но спорить нечего с судьбой! Садись
Со мною рядом, пей и веселись!»
В священном ужасе целует ногу
У господина своего монах,
Потом глядит с унынием в глазах
На пламенем объятое пространство,
Где обитают в огненных стенах
Смерть, вечные мученья, окаянство,
Где восседает зла нечистый дух,
Где дремлет прах классического мира,

Ум, красота, любовь, наука, лира,—
Все, что пленяет глаз и нежит слух,
Неисчислимый сонм сынов господних,
На радость черту сотворенных встарь!
Ведь здесь, читатель, в муках преисподних,
Горит тиран и рядом лучший царь.
Здесь Антонин и Марк Аврелий, оба
Катона, бичевавшие разврат,
Кротчайший Тит, всех угнетенных брат,
Траян, прославленный еще до гроба,
И Сципион, чья пламенная власть
Преодолела Карфаген и страсть.
Мы видим в этом пекле Цицерона,
Гомера и премудрого Платона.
За истину принявший смерть Сократ,
Солон и Аристид в смоле кипят.
Что доблести их, что благодеянья,
Раз умерли они без покаянья!

Но Грибурдон был крайне удивлен,
Когда в большом котле заметил он
Святых и королей, которых ране
Себе примером чтили христиане.
Одним из первых был король Хлодвиг.
Я вижу, мой читатель не постиг,
Как может статься, что король великий,
Который в рай открыл дорогу нам,
В аду кромешном оказался сам.
Я признаюсь, бесспорно, случай дикий.
Но объясняю это без труда:
Не может освященная вода
Очистить душу легким омовеньем,
Когда она погибла навсегда.
Хлодвиг же был ходячим преступленьем,
Всех кровожадней слыл он меж людьми;
Не мог очистить и святой Реми
Монарха Франции с душой вампира.

Меж этих гордых властелинов мира,
Блуждавших в сумраке глухих долин,
Был также знаменитый Константин.
«Как так?— воскликнул францисканец серый.—
Ужель настолько промысел суров,
Что основатель церкви, всех богов
Языческих преодолевший верой,

Последовал за нами в эту тьму?»
Но Константин ответствовал ему:
«Да, я низвергнул идолов, без счета
Моей рукою капищ сожжено.
Я богу сил кадил куренья, но
О вере истинной моя забота
Была лишь лестницей. По ней взошел
Я на блестящий кесарский престол,
И видел в каждом алтаре ступень я.
Я чтил величье, мощь и наслажденья
И жертвы приносил им вновь и вновь.
Одни интриги, золото и кровь
Мне дали власть; она была непрочной;
Стремясь ее незыблемо вознесть,
Я приказал, чтоб был убит мой тесть.
Жестокий, слабосильный и порочный,
В кровавые утехи погружен,
Отравлен страстью, ревностью сожжен,
Я предал смерти и жену и сына.
Итак, не удивляйся, Грибурдон,
Что пред собою видишь Константина!»

Но тот дивиться каждый миг готов,
Встречая в сумраке ущелий диких
Повсюду казуистов, докторов,
Прелатов, проповедников великих,
Монахов всяческих монастырей,
Духовников различных королей,
Наставников красавиц горделивых,
В земном раю — увы! — таких счастливых!
Вдруг он заметил в рясе двух цветов
Монашка от себя довольно близко,
Так, одного из набожных скотов,
С густою гривой, с ряшкою, как миска,
И, улыбаясь: «Эй, кто ты таков? —
Спросил наш францисканец у монашка.—
Наверное, изрядный озорник!»
Но тень ответила, вздыхая тяжко:
«Увы, я преподобный Доминик».

Услышав это, точно оглушенный,
Наш Грибурдон попятился назад.
Он стал креститься, крайне пораженный.
«Как,— он воскликнул,— вы попали в ад?
Святой апостол, божий собеседник,

Евангелья бесстрашный проповедник,
Ученый муж, которым мир велик,
В вертепе черном, словно еретик!
Коль так — мне жаль мою земную братью,
Обманутую лживой благодатью.
Подумать только: за обедней им
Велят молиться этаким святым!»

Тогда испанец в рясе бело-черной
Унылым голосом сказал в ответ:
«Мне до людских ошибок дела нет.
Их болтовне я не внимаю вздорной.
Несчастные, мы изнываем тут,
А люди нам акафисты поют.
Иному церковь строится до смерти,
А здесь его поджаривают черти.
Другого же осудит целый свет,
А он в раю, где воздыханий нет.
Что до меня, то вечные мученья
Я по заслугам на себя навлек.
На альбигойцев я воздвиг гоненья,
А в мир был послан не для разрушенья,
И вот горю за то, что сам их жег».
О, если б я имел язык железный,
Я б говорил, покуда время есть,
И не успел бы — подвиг бесполезный —
Святых, в аду горящих, перечесть.

Когда сынка Ассизского Франциска
Вся эта публика довольно близко
С судьбою познакомила своей,
Они заговорили без затей.
«Милейший Грибурдон, скорей, не мучай,
Скажи, какой необычайный случай
Подстроил так, что в адские края
Безвременно сошла душа твоя?»
«Извольте, господа, к чему ломаться;
Я расскажу престранный случай мой.
Вы будете, конечно, удивляться,
Но в истине ручаюсь головой:
Не лжет мой рот, засыпанный землей!

Когда еще я не был в этом месте,
Для чести рясы и для вашей чести

Любовный подвиг был исполнен мной,
Какого не запомнит шар земной.
Погонщик мой, соперник содостойный,
Великий муж и доблестный осел,
Погонщик мой, усердный и спокойный,
Мечты Гермафродита превзошел.
И я для самки-чудища все знанья
Собрал и все способности напряг;
И сын Алисы, оценив старанья,
Иоанну дал нам, как доверья знак,
И Девственница, гордость королевства,
Спустя мгновенье потеряла б девство:
Погонщик мой обхватывал ей зад,
Я крепко заключил ее в объятья;
Гермафродит был чрезвычайно рад.

Но тут, не знаю, как и передать, я,
Разверзлась твердь, и вдруг из синевы
(Из царства, где я никогда не буду,
Не будете, друзья мои, и вы)
Спустилось — как не подивиться чуду! —
Известное по пребольшим ушам
Животное, с которым Валаам
Беседовал, когда всходил на гору.
Ужаснейший осел явился взору!
Он был оседлан. У луки блестел
Палаш с изображением трех лилий.
Стремительнее ветра он летел
При помощи остроконечных крылий.
Иоанна тут воскликнула: «Хвала
Творцу: я вижу моего осла!»
Услыша эту речь, я содрогнулся.
Крылатый зверь, колени преклоня
И хвост задрав, пред Дюнуа согнулся,
Как будто говоря: «Сядь на меня!»
Садится Дюнуа, и тот взлетает,
Своими побрякушками звеня,
И Дюнуа внезапно на меня,
Мечом размахивая, нападает.
Мой господин, владыка адских сил,
Тебе война подобная знакома;
Так на тебя когда-то Михаил
Напал по манию владыки грома,
Которого ты тяжко оскорбил.

Тогда, глубокого исполнен страха,
Я к волшебству прибегнул поскорей:
Я бросил облик рослого монаха,
Надменное лицо с дугой бровей,
И принял вид прелестный, безмятежный
Красавицы невинной, стройной, нежной.
Играла по плечам кудрей волна,
И грудь высокая была видна
Сквозь легкое прикрытье полотна.
Я перенял все женские повадки,
Все обаянье юной красоты,
Испуга и наивности черты,
Которые всегда милы и сладки.
Сияньем глаз и прелестью лица
Я мог очаровать и мудреца,
Смутил бы сердце, будь оно из стали;
Так дивно прелести мои блистали.
Мой паладин был очарован мной.
Я был у края гибели: герой
Занес палаш неумолимый свой
И руку опустил наполовину.
Минута — и мне не было б помину.
Но Дюнуа, взглянув, застыл на миг.
Кто видел в древности Медузы лик,
Тот превращался в равнодушный камень.
А рыцаря я так сумел привлечь,
Что он почувствовал, напротив, пламень,
Вздохнул и выпустил ужасный меч.
И, на него взглянув, я понял ясно,
Что он влюбился преданно и страстно.
Я победил, казалось. Кто б постиг
То, что случилось в следующий миг?

Погонщик, плотные красы Иоанны
Сжимавший крепко, тяжело дыша,
Узрев, как я мила и хороша,
В меня влюбился, олух окаянный.
Увы, не знал я, что способен он
Быть утонченной прелестью пленен!
О, род людской, о, род непостоянный!
И вот, ко мне воспламенившись вдруг,
Дурак Иоанну выпустил из рук.
Как только та свободу ощутила,
Блестящий меч, забытый Дюнуа,
Увидев на земле, она схватила

И с грозною отвагой занесла;
И в миг, когда погонщик мой — о, горе! —
Спешил ко мне с желаньями во взоре,
Иоанна за косы меня взяла.
Ужасный взмах меча — я погибаю
И больше ничего с тех пор не знаю
Про Дюнуа, погонщика, осла,
Гермафродита, Девственницу злую.
Пусть все они погибнут на колу!
Пусть небо им пошлет судьбу худую,
Отправит всех в кипящую смолу!»
Так изливал монах свою досаду,
Вздыхая горько на потеху аду.

Конец песни пятой

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Приключение Агнесы и Монроза. Храм Молвы. Трагическое приключение Доротеи

Покинем грязное ущелье, ад,
Где Грибурдон и Люцифер горят,
Раскроем крылья в небесах пошире
И поглядим, что происходит в мире.
Увы, такой же ад и белый свет,
И здесь невинности покою нет.
Здесь добродетель топчут лицемеры;
Ум, вкус, искусство, славные дела
Умчались прочь, в заоблачные сферы;
Политика — труслива и подла —
Над всем главенствует, все заменяет;
Исподтишка святоша направляет
Оружье дураков на мудреца;
И Выгода, чьей власти нет конца,
Чей слух не режет гром сражений гулкий,
Разлегшись возле денежной шкатулки,
Сильнейшему слабейших подает.
О люди! Жалкий и виновный род!
К чему все это? Что за наважденье?

Вам ведомо распутство, но, увы,
Без удовольствия! Познайте вы,
Коль так, хоть прелести грехопаденья.
И если адский пламень — доля всех,
Пусть нас туда приводит сладкий грех.

Сорель Агнеса это понимала.
Одно поставить можно ей в упрек:
Любовь ее сверх меры донимала.
Но кто бы оправдать ее не мог?
К ней, верю, будет милостивым бог.
Святой — и то порою не без пятен;
Но кающийся — господу приятен.

Спасала Девственница честь свою,
И Грибурдон, в кощунстве виноватый,
Сказал «прости» земному бытию.
В тот миг задумал наш осел крылатый,
Который рыцаря столь дивно спас,
Невероятнейшую из проказ:
Его с Иоанной разлучить. Какая
Была причина этому? Любовь,
Любовь, неодолимая, слепая,
Таинственно волнующая кровь.
Когда-нибудь узнаешь, друг читатель,
Отважный план священного осла.
Он был дитя Аркадии, мечтатель.
Итак, ему фантазия пришла
Лететь в Ломбардию и, не случайно:
Ему Денис внушил все это тайно,
Когда он Дюнуа на крыльях нес.
Но для чего?— предчувствую вопрос.
В душе бастарда и в душе ослиной
Денис огонь почувствовал единый,
Который рано или поздно мог
Разрушить план его, сорвать цветок,
И Францию унизить и Иоанну.
Он верил, что разлука и года
Любовь в сердцах изгладят навсегда.
Я упрекать за то его не стану,
И вы, надеюсь, тоже, господа.
Святитель наш к тому же в этом деле
Преследовал еще другие цели.
Итак, осел, которому Денис
Доверил честь, и рыцарь, взмыв высоко

Над берегом Луары, унеслись
К верховьям Роны во мгновенье ока,
И Дюнуа глядел издалека
На Девственницу. Совершенно голой
Она шагала, вся в крови. Рука
Сжимала яростно булат тяжелый.
Напрасно силится Гермафродит
Остановить шаги ее святые,
Над ней напрасно реют духи злые,—
Иоанна их с презрением разит.
Так улей иногда в тени ракит
Увидит юноша и с удивленьем
Любуется диковинным строеньем,
Но вдруг жужжащий рой со всех сторон
Отважно на зеваку нападает.
Крылатой армией облеплен, он
Беснуется, танцует, приседает,
Но быстро оправляется и вот
Всю эту дрянь немилосердно бьет
И дерзких побеждает неизменно.
Так Девственница гордая надменно
Справлялась с легкой армией высот.

Погонщик же, дрожащий от испуга,
Боясь лишиться головы, взывал:
«О Девственница, о моя подруга,
Тебе я на конюшне помогал.
Яви же милосердье на примере
И сохрани мне жизнь, по крайней мере.
О, сжалься, сжалься и не убивай!»

Иоанна отвечает: «Негодяй,
Я милую тебя: меч богоданный
Не хочется марать в крови поганой!
Но пошевеливайся! Видно, мне
Придется ехать на твоей спине.
Кудесничество — дело не девичье,
Но каково ни есть твое обличье,
Ты мне сейчас заменишь лошака.
Осел мой улетел за облака.
Беру тебя, чтоб не было заминки;
Нагнись же»,— говорит она, и тот
Склоняет лысину, на четвереньки
Становится, и вздохи издает,
И рысью Девственницу мчит вперед.

Взбешенный гений поклялся сурово
Французам пакостить по мере сил;
Он Англию с досады полюбил
И, справедливо рассердясь, дал слово
У шутников отбить к проделкам вкус.
Чтоб каждый легкомысленный француз
Достойное изведал наказанье,
Он строить приказал большое зданье,
Ловушку, лабиринт, где месть его
Поймала бы, потомкам в назиданье,
Героев Франции — до одного.

Но что произошло с Агнесой милой?
Вы помните испуг ее, когда
Она, полуживая от стыда,
Была готова уступить пред силой.
Мгновенно выпустив ее из рук,
Умчался Жан Шандос на бранный звук.
Из затрудненья выпутавшись вдруг,
Агнеса тут же начала божиться,
Еще недавним страхом смущена,
Что впредь такого с нею не случится.
И Карлу мысленно клялась она,
Что будет одному ему верна,
Что с королем своим не разлучится,
Что не изменит и умрет скорей.
Увы, не следовало клясться ей!

В той сутолоке, грохоте, смятенье,
Когда врасплох военный лагерь взят,
Когда и полководец и солдат —
Один бежит, другой спешит в сраженье,
Когда сопровождающие стан
Мошенники спешат набить карман
И крики слышатся сквозь дым зловонный,—
Вдруг очутившись вовсе обнаженной,
В Шандосов гардероб она идет,
Рубашку, туфли и халат берет,
Не позабыв и колпака ночного.
Все впору ей: она одета снова!
На счастье, конь огромный вороной,
Шандоса ожидая у палатки,
Оседланный, с блестящею уздой,
Стоял, и, погруженный в отдых сладкий,
Спал конюх-пьяница, держа его,

Вокруг не замечая ничего.
Агнеса боязлива, как овечка,
Но вот уже в ее руках уздечка;
Какое-то бревно ей помогло
Взобраться на высокое седло,
И, шпоры дав, она летит мгновенно,
Страшась и радуясь одновременно!
Толстяк Бонно брел пеший средь полей
И брюхо проклинал свое, а вместе
Агнесу, англичан, и королей,
И путешествие, и поле чести.

В то время паж, по имени Монроз,
Которого с собой возил Шандос,
Спешил домой, исполнив порученье;
Увидев издали все приключенье,
Коня, летящего в лесной овраг,
Халат Шандоса и ночной колпак,
Он все не мог понять, что за причина
В таком наряде мчит, как на рожон,
Его возлюбленного господина.
Испуган юноша и поражен,
Летит галопом, крик его отчаян:
«О господин! О дорогой хозяин!
Куда вы мчитесь? Кто кого сразил?
Сдержите же неистовый свой пыл,
Постойте! Я умру в разлуке с вами».
Так сыпал он тревожными словами,
И только ветер крики разносил.

Пажом преследуемая Агнеса,
Рискуя жизнью, мчится в чащу леса.
Она летит как ветер, но туда ж,
Еще стремительней, несется паж.
Конь спотыкается, и в чаще темной
Красавица растерянная томный,
Упав на землю, испускает крик.
И тотчас же Монроз ее настиг.
Над чувствами мгновенно власть утратя,
Глядел Монроз, не смея и вздохнуть,
На белоснежную, как жемчуг, грудь,
Рубашкою прикрытую чуть-чуть,
На все, что было видно из-под платья.

Ты удивлен был милый Адонис,
Когда любовница, чьей красотою
Владели Марс суровый и Анхиз,
В лесной глуши явилась пред тобою.
Был на Венере не такой наряд,
На кудрях не колпак, ручаюсь смело,
И с лошади божественное тело,
Лишаясь сил, на землю не летело,
Не расцарапан был лилейный зад:
Но выбрал бы наш Адонис прелестный
Венеру иль Агнесу — неизвестно.
Была взволнована душа пажа
Боязнью, состраданьем и любовью.
Он руку ей поцеловал, дрожа.
«Увы,— сказал он,— вашему здоровью
Не повредило ль это?» И она,
Подъемля взор, в котором скорбь видна,
Ответствует, томна и смущена:
«Преследователь мой, во имя неба,
Когда хоть капля милосердья есть
В твоей душе — любви моей не требуй.
О, пощади! О, сохрани мне честь!
Будь избавителем моим, опорой».
И большего не в силах произнесть,
Она, заплакав, опустила взоры,
Смущенным сердцем небеса моля
Взять под защиту счастье короля.
Монроз безмолвно постоял немного,
Потом сказал ей с нежной теплотой:
«Чудеснейшее из созданий бога,
Прелестней вас не видел мир земной!
Я — ваш вполне, располагайте мной,
Вся жизнь моя, отвага, кровь, именье
У ваших ног. Имейте снисхожденье
Принять все это. Я служить вам рад,
Не ожидая никаких наград.
Быть вам слугою — сердцу упоенье!»
И склянку с кармелитскою водой
Он проливает робкою рукой
На прелести оттенка роз и лилий,
Что скачка и паденье повредили.
Красавица румянцем залилась,
Но приняла услуги без опаски.
Быть верной королю она клялась,
Монрозу в то же время строя глазки.

Когда же из бутылки пролилась
До капли влага, несшая целенье,
Сказал Монроз: «О дивная краса,
Отправимтесь в соседнее селенье;
Нам не грозит дорогой нападенье,
И мы там будем через полчаса.
Есть деньги у меня. Для вас из платья,
Наверно, что-нибудь смогу достать я,
Чтоб не стыдилась наготы своей
Красавица, достойная царей».

Агнеса соглашается с советом.
Монроз был так почтителен при этом
И так красив, так чуток ко всему,
Что трудно было возразить ему.

Повествованья прерывая нити,
Мне возразят, пожалуй: «Но, простите,
Возможно ли, чтоб ветреный юнец
Так нравствен был, что даже под конец
Не допустил игривого движенья?»
Оставьте, сударь, ваши возраженья.
Мой паж влюбился. Дерзостна рука
У сладострастья, а любовь робка.

Итак, они пошли дорогой вместе,
Беседуя о доблести и чести,
О пользе верности, вреде измен,
О старых книгах, полных нежных сцен.
Паж, приближаясь, целовал порою
Агнесе руки, замедляя шаг,
Но так почтительно и нежно так,
Как будто бы он шел с родной сестрою;
И все. Желаний целый мир носил
Он в сердце, но подачек не просил!
Вот наконец они достигли цели.
Усталую Агнесу паж ведет
В укромный дом. На пуховой постели
Меж двух простынь она покой найдет.
Монроз бежит и, запыхавшись, всюду
Одежду, гребешки, еду, посуду
Без устали разыскивает он,
Красавицею нежною пленен.
О милый мальчик, сам Амур — свидетель,
Что, охраняя честь любви своей,

Ты проявил такую добродетель,
Какую редко сыщешь меж людей.

Но в этом доме — отрицать не стану —
Жил духовник Шандоса, а смелей
В делах любви носящие сутану.
Наш негодяй, проведавший уже
О путешественнице и паже
И зная, что находится так близко
Заветное сокровище любви,
Не видя в этом приключенье риска,
С горящим взором, с пламенем в крови,
С душой, исполненной отваги низкой,
Ругаясь гнусно, похотлив, как зверь,
Вбежал в покой и крепко запер дверь.
Но поглядим, читатель мой, теперь,
Куда умчался наш осел летучий;
Прекрасный Дюнуа, где ныне он?

Альпийских гор величественный склон
Вершинами пронизывает тучи,
И вот утес, для римлян роковой,
Где Ганнибал прошел стопой железной,
У ног его провал, над головой
Холодный свод, то солнечный, то звездный.
Там есть дворец из драгоценных плит,
Без крыши и дверей, всегда открыт;
Внутри же зеркала без искаженья
Любого отражают, кто войдет:
Старик, дитя, красавица, урод
Вернейшее находят отраженье.

И множество дорог туда ведет,
В страну, где мы себя увидим ясно,
Но путешествие весьма опасно
Среди непроходимых пропастей.
Подчас дойти иному удается,
Не замечая гибельных путей,
Но все-таки, пока один взберется,
Другие сто не соберут костей.

Там есть хозяйка, пожилая дама,
Болтушка, по прозванию Молва;
Она горда, капризна и упряма,
Но каждый признает ее права.

Пускай мудрец налево и направо
Вещает нам, что побрякушка слава,
Что в ней он не находит ничего,—
Он глуп иль врет: не слушайте его.
Итак, Молва на этих склонах горных
Живет в кругу блистательных придворных.
Ученый, принц, священник и солдат,
Отведавшие сладостной отравы,
Вокруг нее толпятся и твердят:
«Молва, могучая богиня славы,
Мы так вас любим! Хоть единый раз
Промолвите словечко и про нас!»

Для этих обожателей нескромных
Молва имеет две трубы огромных:
В ее устах находится одна —
О славных подвигах гласит она.
Другая — в заднице,— прошу прощенья,—
Назначенная для оповещенья
О тысяче вновь изданных томов,
О пачкотне продажных болтунов,
О насекомых нашего Парнаса,
Блистающих в теченье получаса,
Чтобы мгновенно превратиться в прах,
О ворохах бумаги истребленной,
В коллегиях навек похороненной,
О всех бездарностях, о дураках,
О гнусных и тупых клеветниках,
О Саватье, орудии подлога,
Который рад оклеветать и бога,
О лицемерной шайке пустомель,
Зовущихся Гийон, Фрерон, Бомель.

Торгующие смрадом и позором,
Они гурьбой преследуют Молву,
Заглядывая в очи божеству
Подобострастным и тщеславным взором.
Но та их гонит плеткою назад,
Не дав и заглянуть ей даже в зад.

Перенесенным в этот замок-диво
Себя узрел ты, славный Дюнуа.
О подвигах твоих — и справедливо —
Провозгласила первая труба.
И сердце застучало горделиво,

Когда в те зеркала ты поглядел,
Увидев отраженье смелых дел,
Картины добродетелей и славы;
И не одни геройские забавы
Там отражались — гордость юных дней,
А многое, что совершить трудней.
Обманутые, нищие, сироты,
Все обездоленные, чьи заботы
Ты приносил к престолу короля,
Шептали «Ave», за тебя моля.
Пока наш рыцарь, доблестями гордый,
Свою историю обозревал,
Его осел с величественной мордой
Гляделся тоже в глубину зеркал.

Но вот раскаты трубного напева
Рокочут о другом, и весть слышна:
«Сейчас в Милане Доротея-дева
По приговору будет сожжена.
Ужасный день! Пролей слезу, влюбленный,
О красоте ее испепеленной!»
Воскликнул рыцарь: «В чем она грешна?
Какую ставят ей в вину измену?
Добро б дурнушкою была она,
Но красоту — приравнивать к полену!
Ей-богу, если это не обман,
Должно быть, помешался весь Милан».
Пока он говорил, труба запела:
«О Доротея, бедная сестра,
Твое прекрасное погибнет тело,
Коль паладин, в котором сердце смело,
Тебя не снимет с грозного костра».

Услышав это, Дюнуа, во гневе,
Решил лететь на помощь юной деве;
Вы знаете, как только находил
Герой наш случай выказать отвагу,
Не рассуждая, он вперед спешил
И обнажал за угнетенных шпагу.
Он жаждал на осла скорее сесть:
«Лети в Милан, куда зовет нас честь».
Осел, раскинув крылья, в небе реет;
За ним и херувим едва ль поспеет.
Вот виден город, где суровый суд
Уже творит приготовленья к казни.

Для страшного костра дрова несут.
Полны жестокосердья и боязни,
Стрелки, любители чужой беды,
Теснят толпу и строятся в ряды.
На площади все окна растворились.
Собралась знать. Иные прослезились.
С довольным видом, свитой окружен,
Архиепископ вышел на балкон.

Вот Доротею, бледную, без силы,
В одной рубашке, тащат альгвасилы.
Отчаянье, смятенье и позор
Ей затуманили прекрасный взор,
И заливается она слезами,
Ужасный столб увидев пред глазами.
Ее веревкой прикрутивши тут,
Тюремщики уже солому жгут.
И восклицает дева молодая:
«О мой любимый, даже в этот час
В моей душе твой образ не погас!..»
Но умолкает, горестно рыдая,
Возлюбленное имя повторяя,
И падает, безмолвная, без сил.
Смертельный цвет ланиты ей покрыл,
Но все же вид ее прекрасен был.

Боец архиепископа бесчестный,
Скот, называвшийся Сакрогоргон,
Толпою зрителей проходит тесной,
Мечом и наглостью вооружен,
И говорит направо и налево:
«Клянусь, что еретичка эта дева.
Пусть скажет кто-нибудь, что я не прав.
Будь он простолюдин иль знатный граф,
Но моего отведает он гнева,
И я с большой охотой смельчаку
Мечом вот этим проломлю башку».
Так говоря, идет он, горделиво
Напыжась, губы поджимает криво
И палашом отточенным грозит.
И все дрожат, никто не возразит.
Желающего нет подставить шею
Под саблю, защищая Доротею.
Сакрогоргон, ужасный, как палач,
Всех запугал. Был слышен только плач.

И своего подбадривал клеврета
Прелат надменный, наблюдая это.

Над площадью витавший Дюнуа
Не мог стерпеть такого хвастовства.
А Доротея так была прекрасна
В слезах, дрожащая в тенетах зла,
Такою трогательною была,
Что понял он, что жгут ее напрасно.
Он спрыгнул наземь, гнева не тая,
И громким голосом сказал: «Вот я
Пришел поведать храбростью своею,
Что ложно обвинили Доротею.
А ты — не что иное, как хвастун,
Сообщник низости и гнусный лгун.
Но я хочу у Доротеи ране
Узнать подробно, в чем ее позор
И почему возводят на костер
Подобную красавицу в Милане».
Он кончил, и восторженный народ
Крик радостной надежды издает,
Сакрогоргон, от страха умирая,
Пытается держаться храбрецом.
Прелат надменный, злобы не скрывая,
Стоит с перекосившимся лицом.

А Дюнуа стал слушать Доротею,
Почтительно склоняясь перед нею.
Красавица, не поднимая глаз,
Вздохнув, печальный повела рассказ.
Осел, расположившись на соборе,
Внимательно вникал в девичье горе;
И был доволен набожный Милан,
Что знак господня милосердья дан.

Конец песни шестой

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Как Дюнуа спас Доротею, приговоренную к смерти Инквизицией

Когда однажды на рассвете дней
Я брошен был подругою моей,
Так был я опечален, что, признаться,
Решил навек от страсти отказаться.
Но даже в голову мне не пришло
Обиду нанести иль сделать зло,
Изменнице доставить огорченье,
Неудовольствие или мученье,
Стеснять желанья не по мне, друзья.
Раз я зову к неверным снисхожденье,
То, ясно, к женщинам жестоким я
Могу питать одно лишь уваженье.
Нельзя терзать преследованьем ту,
Чье сердце осаждали вы напрасно.
И если молодую красоту
Желанье ваше покорить не властно —
Не может сердце быть всегда несчастно:
Нежнейших уз ищите у другой
Иль пейте, это тоже путь благой.
Когда б такую мысль внушил создатель
Влюбленному прелату одному
И красоты столь редкой угнетатель
Последовал совету моему!

Уж Дюнуа, величественный в гневе,
Внушил надежду осужденной деве.
Но прежде надо знать, за что она
Была к сожженью приговорена.

«О сын небес,— потупившись прелестно,
Она сказала,— раз своим мечом
Меня вы защитили, вам известно,
Что обвинить меня нельзя ни в чем!»
«Не ангел я — ответил рыцарь,— верьте;
Я очень рад, что случай мне помог
Избавить вас от столь жестокой смерти,
Но ваше сердце видит только бог.

Оно, я верю, голубю подобно,
Но расскажите обо всем подробно».

И отвечает на его вопрос
Красавица, не сдерживая слез:
«Любовь — причина всей моей печали.
Сеньора Ла Тримуйль вы не встречали?»
«Он лучший друг мой,— Дюнуа в ответ,—
Души смелей и благородней нет.
У короля нет воина вернее,
У англичан соперника страшнее.
Его любить для всех красавиц честь!»
«Да,— дева молвит,— это он и есть!
Лишь год, как он уехал из Милана.
О господин! Он был в меня влюблен.
В моей груди горит разлуки рана,
Но верю я, что вновь вернется он.
Он клятву дал, когда пришел проститься.
Я так его люблю! Он возвратится!»

«Не сомневайтесь,— Дюнуа сказал.—
Кто красоты подобной не оценит?
Он слову никогда не изменял,
И если поклялся, то не изменит».

Она ответила: «Я верю вам.
О, день счастливый нашей первой встречи!
Как были сладостны моим ушам
Его благовоспитанные речи,
Иных бесед чудесные предтечи!
Его я полюбила без ума,
Еще не зная этого сама.
Ах! У архиепископа в столовой
Произошло все это! Сладкий сон!
Он, рыцарь знаменитый и суровый,
Сказал, что без ума в меня влюблен.
Почувствовав блаженное томленье,
Я разом потеряла слух и зренье,
Не зная, что за муки сердце ждут!
От счастья я простилась с аппетитом!
Наутро он пришел ко мне с визитом,
Но пробыл только несколько минут,
Ушел — и, полная любовным бредом,
Моя душа за ним помчалась следом.
На следующий день пришел он вновь

И вел беседу про свою любовь.
Зато на следующий день в награду
Похитил он два поцелуя кряду.
На следующий день наедине
Он обещал, что женится на мне.
На следующий день просил так тонко,
На следующий сделал мне ребенка.
Но что я говорю! Увы! Увы!
Я вам открыла весь мой стыд и горе,
А я еще не ведаю, кто вы,
Узнавший ныне о моем позоре!»

Герой ответил скромно: «Дюнуа».
Он не хвалил себя самодовольно,
Но было имени его довольно.
Вскричала дева: «Господу хвала!
О, неужели воля провиденья
Меня рукою Дюнуа спасла!
Сколь ваше явственно происхожденье,
Бастард прекрасный, победитель зла!
Любовь меня мученью обрекла,—
Дитя Любви несет мне исцеленье.
Надежда вновь овладевает мной!

Так слушайте же дальше, о герой!
С возлюбленным я прожила недолго.
Его к оружью призвала война,
И он покорствует веленью долга.
О, Англия, будь проклята она!
Я слезы лить была принуждена.
Вы понимаете, сеньор достойный,
Перенести все это каково?
Ах, я изнемогала без него,
Чудовищные проклиная войны.
Меня лишил всего ужасный рок,
Но я не жаловалась, видит бог.
Он подарил, со мною расставаясь,
Сплетенный из волос его браслет.
Я приняла, слезами обливаясь,
Из рук любимого его портрет.
Оставил он еще письмо большое,
Где нежность, в каждом завитке дыша,
Свидетельствует, что с его душою
Навеки скована моя душа.
Он говорит там: «Одержав победу,

Без промедленья я в Милан приеду
И, послужив, как должно, королю,
Женюсь на той, которую люблю!»
Но до сих пор он бьется в Орлеане,
Разит врагов, наносит им урон.
Он верен долгу, но моих страданий,
Моей судьбы, увы, не знает он.
Когда б он видел, как меня карает
Любовь! Нет, хорошо, что он не знает.

Итак, уехал он на долгий срок,
А я уединилась в уголок,
Который был от города далек.
Вдали от света, посреди просторов,
Переносила я разлуки гнет,
Томленье сердца, тяготу забот
И прятала от любопытных взоров
И слезы горькие, и свой живот.
Но я, увы, племянница родная
Архиепископа. О, доля злая!»
Тут слезы начали сильнее течь
Из глаз ее, и, горестно рыдая,
Так Доротея продолжала речь:
«В уединенье рощ, под солнцем юга,
Я плод своей любви произвела
И, утешаясь им, ждала я друга.
Как вдруг архиепископу пришла
Фантазия узнать, как поживает
Его племянница в глуши полей.
Дворец он для деревни оставляет
И... там пленяется красой моей.
О красота, подарок злобных фей,
Зачем пронзила ты, к моей досаде,
Опаснейшей стрелою сердце дяди!
Он объяснился. Я пыталась тут
О долге говорить, о чести, сане,
О незаконности его желаний
И святости родства. Напрасный труд!
Он, оскорбляя церковь и природу,
Мне не давал решительно проходу
И возражений слушать не желал.
Ах, заблуждаясь, он предполагал,
Что, сохранив сердечную свободу,
Я никого на свете не люблю,
Он был уверен, что я уступлю

Его мольбам, его заботам скучным,
Желаниям упорным и докучным.

Но ах! когда однажды в сотый раз
Я пробегала дорогие строки
И лились слезы у меня из глаз,
Меня настиг мой опекун жестокий.
Враждебною рукою он схватил
Листок, что мне дороже жизни был,
И, прочитав его, увидел ясно,
Что я люблю, что я любима страстно.
Тогда, отравлен ревностью и зол,
Он сам себя в упрямстве превзошел.
Он окружил меня продажной дворней;
Ему сказали про мое дитя.
Другой отстал бы. Но, напротив, мстя,
Архиепископ стал еще упорней
И, превосходством пользуясь своим,
Сказал: «Уж не со мною ли одним
Вы щепетильны? Ласки вертопраха,
Обманщика вам не внушали страха,
Вы до сих пор тоскуете по ним.
Так перестаньте же сопротивляться,
Примите незаслуженную честь.
Я вас люблю! Вы мне должны отдаться
Сейчас же, или вас постигнет месть».
Я, вся в слезах, ему упала в ноги,
Напоминая о родстве и боге,
Но в этом виде, к горю моему,
Еще сильней понравилась ему.
Он повалил меня, срывая платье.
Припуждена была на помощь звать я.
Тогда, любовь на ненависть сменя,—
О, тяжелее нету оскорбленья! —
Он бьет рукою по лицу меня.
Вбегают люди. Дядя без смущенья
Свои удваивает преступленья.
Он молвит: «Христиане, вот моя
Племянница, отныне дщерь злодейства;
Ее от церкви отлучаю я
И с нею плод ее прелюбодейства.
Да покарает господа рука
Отродье подлого еретика!
Их проклинаю я, служитель бога.
Пусть Инквизиция их судит строго».

То не были слова пустых угроз.
Едва успев в Милане очутиться,
Он тотчас Инквизиции донес.
И вот мой дом — унылая темница,
Где пленнице, безмолвной от стыда,
Терзанья — пища, реки слез — вода;
Подземная тюрьма черна, уныла,
Обитель смерти, для живых могила!
Через четыре дня на белый свет
Меня выводят, но — о, доля злая! —
Затем лишь, чтоб на плахе, в двадцать лет,
Сожженная безвинно, умерла я.
Вот ложе смерти для моей тоски!
Здесь, здесь, без вашей мстительной руки
И жизнь и честь мою бы схоронили!
Я знаю, что нашлись бы смельчаки,
Которые меня бы защитили;
Но смелость их поработил прелат,—
Все перед церковью они дрожат.
Ах, итальянец обречен бессилью,
Затем, что устрашен епатрахилью.
Француз же не боится ничего,
Он нападет на папу самого».

Герой, задетый за живое девой,
Исполнен жалости глубокой к ней,
К архиепископу исполнен гнева,
Решил дать волю доблести своей,
В победе скорой убежденный твердо,
Как вдруг заметил, что, подкравшись гордо,
Не спереди, а сзади, что солдат
Отважно в тыл ему напасть хотят.
Какой-то черный чин с душой чернильной
Гнусавил, словно пел псалом умильный:
«Во имя церкви объявляем мы,
Да радуются верные умы
Во славу бога: по распоряженью
Его преосвященства, решено
С ослом его проклятым заодно
Богоотступника предать сожженью.
Как еретик и чернокнижник, он
Да будет вместе с грешницей сожжен».

Бузирис хитрый в образе прелата,
Страшась, что приближается расплата,

Ты свой прием обычный применил:
В согласье с Инквизицией ты был,
И ждал вердикт суровый супостата,
Который вздумал бы сорвать покров
С твоих неописуемых грехов.

Немедля отвратительная свора,
Святейшей Инквизиции опора,
Идет на Дюнуа, построясь в ряд,
Шаг делая вперед, а два назад.
Горланят, топчутся, творят молитву.
Сакрогоргон, дрожа, ведет их в битву.
Он щелкает зубами и орет:
«Смелей! Хватайте колдуна! Вперед!»
За ними вслед, блистая стихарями,
Плетутся дьяконы с пономарями:
Один с кропилом и с крестом другой,
Они своей соленою водой
Кропят смиренно верующих братью,
Отца лукавства предают проклятью;
И, все еще взволнованный, прелат
Им шлет благословение стократ.

Чтоб доказать, что он не сын геенны,
Великий Дюнуа спешит извлечь
Могучею рукой громадный меч,
Другою четки, инструмент священный,
Являемый порукой несомненной,
Что он ничем не связан с духом зла.
«Ко мне!» — зовет он своего осла.
Тот подлетает, и герой, проворно
Вскочив на зверя, сыплет, точно зерна,
В толпу врагов удары без числа.
Здесь изувечен стернум или шея,
Тот, поражен в атлант, упал, немея;
Кто челюсть потерял, кто глаз, кто нос,
Кто еле-еле голову унес
И удирает, бормоча молитвы,
Кто удаляется навек во тьму.
И, вторя господину своему,
Осел в сумятице кровавой битвы
Не устает лягать, топтать, кусать
Мошенников испуганную рать.
Сакрогоргон утратил облик бравый
И пятится, бледнея, как мертвец,

Но вот настигнут он, и меч кровавый,
Войдя в лобок, выходит сквозь крестец.
Он падает, и весь народ, сияя,
Кричит: «Виват! Издох Сакрогоргон!»
Еще в предсмертных корчах бился он
И сердце трепетало, замирая,
Когда герой сказал ему: «Подлец,
Тебя ждет ад; признайся наконец,
Что твой архиепископ — плут, негодник,
Предатель в митре, низкий греховодник,
Что Доротея, чести образец,
Любовницей и католичкой верной
Всегда была, а сам ты — олух скверный!»
«Да, храбрый рыцарь! — отвечает он.—
Да, олух я, вы совершенно правы.
В том доказательство ваш меч кровавый».
Сказавши это, испускает стон
И умирает злой Сакрогоргон.

В тот самый миг, когда, покинув тело,
Душа злодея к дьяволу летела,
На городскую площадь въехал смело
Оруженосец с шлемом золотым.
В ливреях ярко-желтых перед ним
Шли два гонца. И стало всем понятно,
Что близится какой-то рыцарь знатный.
Обрадована и изумлена
Была, увидев это, Доротея.
«Ах, боже мой! — воскликнула она.—
Ужели радость свыше мне дана?
Ужели он? Ужели не во сне я?»

В Милане любопытны стар и млад;
Все устремили на прибывших взгляд.

Читатель дорогой, мы с вами тоже
На этот ветреный народ похожи:
Миланским происшествием умы
Уж слишком долго занимали мы!
Но разве в этом замысел романа?
Подумаем о стенах Орлеана,
О добром Карле, о тебе, Иоанна,
Которая, прославив слабый пол,
За Францию отмщаешь и престол,
Которая, без лат и без одежды,

Кентавром скачешь, в поле пыль клубя,
И возлагаешь бо́льшие надежды
На всемогущего, чем на себя;
И о тебе, святой Денис, предстатель
За Галлию, который в этот миг
Георгию сплетаешь сеть интриг.

Но главное — не позабудь, читатель,
Сорель Агнесу. Чары красоты
Приятны смертным. Это всем известно.
И, будь хоть черный меланхолик ты,
Тебе судьба Агнесы интересна.

И то сказать, без лести небесам:
Ведь если сожигают Доротею
И с горней высоты создатель сам
Ее спасает, сжалившись над нею,
То это — случай, близкий к чудесам.
Но если та, чье сердце — ваша плаха,
По ком вы слезы точите ручьем,
Увлечена молоденьким пажом
Или в объятьях грузного монаха,—
Такими случаями полон свет:
Чудесного, пожалуй, в них и нет.
Скажу, что приключенья в этом роде
Понятней человеческой природе:
Я человек, и в том я вижу честь,
Что мне не чужды немощи людские;
Я сам ласкал красавиц в дни былые,
И у меня, как прежде, сердце есть.

Конец песни седьмой

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Как прекрасный Ла Тримуйль встретил англичанина у храма Лоретской богоматери и что затем случилось с его Доротеей

Как наш рассказ возвышен и приятен,
Как *ум* и *сердце* образует он,
Как в нем отражены без всяких пятен
И доблесть, храбрых рыцарей закон,
И право королей, и верность жен!
Имеет сходство он с богатым садом,
Который доставляет радость взглядам.
В нем целомудрие всего видней,
Цветок, затмивший все цветы собою,
Как лилия, в невинности своей
Блистающая дивной белизною.

О девы, юноши, прошу я вас,
Прочтите сей божественный рассказ.
Принадлежит он мудрому Тритему;
Ученый пикардиец и аббат
Иоанну и Агнесу взял как тему.
Как я его ценю, и как я рад,
Что явно отдавал он предпочтенье
Тебе, полезное, простое чтенье,
Пред хламом современных повестей,
Которые живут так мало дней,
Безвкусный плод фантазии туманной!
Правдивая история Иоанны
Переживет и зависть и года.
Так торжествует истина всегда.

Однако об Иоанне д'Арк тебе я,
Читатель мой, не расскажу сейчас,
Затем что ныне занимают нас
Лишь Дюнуа, Тримуйль и Доротея,
На то причины веские имея.
Мы с полным основаньем знать хотим,
Что с ними сталось, как живется им.

Вы помните, как, защищая славу
Французского монарха, весь в поту,

Тримуйль отважный, гордость Пуату,
Близ Орлеанских стен попал в канаву.
Оруженосцами был наш герой
Из грязной ямы поднят еле-еле,
Помятый, с поврежденною рукой,
С кровоподтеками на нежном теле.
Его хотели в город отнести,
Но тут явилась новая забота:
Закрыты были в Орлеан пути
Усилиями дерзкого Тальбота.
Тогда решили, в страхе пред врагом,
Тримуйля кружным отнести путем
В Тур, город твердый в вере и законе,
Покорный христианнейшей короне.
Здесь из Венеции заезжий плут
Ему довольно ловко руку вправил,
Кость лучевую к плечевой приставил.
Оруженосцы же понять дают,
Что к королю вернуться он не может,
Что враг везде теснит нас и тревожит.
«Что ж, если так,— наш рыцарь молвил тут,—
Раз мне не суждено решать победу,
Я хоть к любовнице своей поеду».

Итак, превратностям теряя счет,
В Ломбардию свершает он поход.
Там перед городскими воротами
Был окружен и сдавлен наш герой
Бесчисленной и глупою толпой,
В Милан спешащей, хлопая глазами,
Стуча подкованными башмаками.
Купцы, крестьяне, дети, всякий сброд,
Бенедиктинцы, горожане; в ход
Пускают кулаки, всем душно, тесно,
Бегут, кричат: «Скорей, пустите нас!
Такие зрелища не каждый час!»

Тут паладину сделалось известно,
Какого празднества так жадно ждет
Ломбардский добрый и простой народ.
«О Доротея! Страшное известье!» —
Кричит он и, пришпорив вдруг коня,
Всех опрокидывая и тесня,
Несется через людное предместье,
Вдоль узких улиц к площади туда,

Где бьется благородный Дюнуа,
Где растерявшаяся Доротея
Глядит, поверить истине не смея.
Не мог бы и Тритем картины той
Нам передать, со всем своим искусством,
Дать имена разнообразным чувствам,
Возникшим в сердце девы молодой,
Возлюбленного встретившей, как в сказке.
Какие кисти, ах, какие краски
Живописать могли бы этот вид,
Где все смешалось: боль былых обид,
И исчезающая безнадежность,
И радость, и смущение, и стыд
И где растет, все поглощая, нежность?
Освобожденная от козней зла,
Она лишь слезы сладкие лила
В его руках, а рыцарь благородный
От счастья целовал поочередно
То Дюнуа, то деву, то осла.

Прекрасный пол, по окнам и балконам,
Рукоплескал, сочувствуя влюбленным;
Монахи убегали прочь. Вдали
Костра полуразрушенного балки
Имели вид необычайно жалкий.
С его развалин медленно сошли
Красавица и Дюнуа. Он видом
Соперничать бы мог с самим Алкидом,
Который, победив в стране могил
Тройного пса, тройную Эвмениду,
Алкесту мужу гордо возвратил,
Ревнуя, но не подавая виду.

Была домой в носилках снесена
Красавица. За ней скакали следом
Два рыцаря, привыкшие к победам.
Наутро благородный Дюнуа,
Прекрасную чету застав в кровати,
Сказал: «Мне кажется, здесь лишний я!
Не буду нарушать часы объятий.
Пора мне бросить этот край; меня
Зовут мой повелитель и Иоанна;
Я к ним вернусь. Я знаю, постоянно
Тоскует Дева о своем осле.
Денис, заботливый к родной земле,

Явился мне сегодняшнею ночью.
Поверьте мне, я зрел его воочью.
Божественного зверя он мне дал,
Чтоб дам и королей я защищал:
Теперь он требует меня обратно.
Я Доротее послужил. И мной
Располагает ныне Карл Седьмой.
Вкушайте же плоды любви приятной.
В моей руке нуждается престол.
Не терпит время, ждет меня осел».

«Я на коне последую за вами»,—
Любезный Ла Тримуйль сказал в ответ.
И Доротея говорит: «Мой свет,
Я тоже еду — знаете вы сами,
Уж я давно хочу утешить взор,
Увидеть пышный королевский двор,
Агнесу, отличенную владыкой,
Иоанну, славную душой великой.
Вы — мой спаситель, вы — любовь моя,
За вами я последую хоть в битву.
Но на костре, когда читала я
Марии-деве тайную молитву,
Я ей дала торжественный обет
Паломницей отправиться в Лорет,
Коль уцелею случаем чудесным.
Святая дева, услыхав меня,
Вас ниспослала на осле небесном,
И спасена была я из огня.
Я вновь живу: обет свершить должна я,
А то меня накажет пресвятая».

«Мне по сердцу такая речь,— в ответ
Ей молвил добрый Ла Триймуль.— Обет,
По-моему, свершить необходимо.
Позвольте вас сопровождать. Лорет
Давно уж ждет меня как пилигрима.
Летите, благородный Дюнуа,
Полями звездными к стенам Блуа.
Нагоним мы чрез месяц вас, не боле.
А вы, сударыня, господней воле
Покорная, направьте путь в Лорет.
Достойный вас даю и я обет:
Доказывать везде, во всяком месте,
Кому угодно, шпагой и копьем,

Что вы пример являете во всем
Любой замужней и любой невесте,
Как высший образ красоты и чести».
Она зарделась. Между тем осел
Ногою топнул, крыльями повел
И, быстро исчезая с небосклона,
Мчит Дюнуа туда, где плещет Рона.

Цель Ла Тримуйля — славная Анкона;
Идет он с дамой, с посохом в руках
И в страннической шляпе. Божий страх
Их речи наполняет, взоры кротки,
Висят на их широких поясах
Жемчужные и золотые четки.
Перебирал их часто паладин,
Читая тихо «Ave». Доротея
Молилась тоже, глаз поднять не смея,
И «я люблю вас» был припев один
Молитв, несущихся среди равнин.
Они проходят Парму и Модену,
Идут в Урбино, видят и Чезену,
Открыт им всюду ряд прекрасных зал,
Их чествует то князь, то кардинал.
Наш паладин, день ото дня вернее,
Свершая благородный свой обет,
Везде твердил, что в целом мире нет
Прекрасней женщины, чем Доротея,
И, прекословить рыцарю не смея,
Никто не спорил: вежливость всегда
Поддерживали эти господа.

Но наконец на берегах Музоны,
Близ Реканати, в округе Анконы,
Блеснул вдруг пилигримам, как звезда,
Хранимый небом дом святой мадонны,
Обитель благодати и труда;
Корсаров эти стены отразили,
И некогда их ангелы носили
По беспредельным облачным полям,
Как бы корабль, плывущий по волнам.
В Лорето ангелы остановились,
И там же стены сами водрузились.
Все, что искусства составляет честь
И что великолепного в нем есть,
Наместники небес, владыки света,

Чтоб отличить святое место это,
Рассыпались здесь в щедрости своей.
Любовники спешат, сойдя с коней,
Колена преклонить в священном страхе
И сделать вклад. От них берут монахи
Дары на украшение церквей,
И пилигримов наших благосклонно
Устами их благодарит мадонна.

Любовников в харчевне ждет обед.
Был за столом ближайший их сосед
Какой-то англичанин, злой, надменный,
Приехавший сюда издалека
И втайне насмехавшийся слегка
Над этою обителью священной.
Британец истинный, не знал он сам,
Зачем скитается. Платил он вдвое,
Как за антики, за поддельный хлам
И презирал святых и все святое.
Он в жизни признавал одну лишь цель —
Вредить французам; звался — д'Арондель.
Теперь он путешествовал, скучая.
Любовница была с ним молодая,
В дороге развлекавшая его,
Еще надменней друга своего,
Еще заносчивей, еще грубее,
Но хороша и телом и лицом,
Прелестна ночью, нестерпима днем,
Порывиста в кровати, за столом,—
Во всем она несхожа с Доротеей.
Барон прекрасный, гордость Пуату,
Сначала ограничился приветом,
Затем упомянул про местность ту,
Потом сказал о том, как он обетом
Себя связал, тому немного дней,
Доказывать везде, пред целым светом,
Достоинства любовницы своей,
А после заявил британцу прямо:
«Я верю, благородна ваша дама;
Она прекрасна и притом скромна
И, хоть молчит все время, несомненно,
Блистательным умом одарена.
Но Доротея с нею несравненна.
Признайте это; я отдать готов
Второе место ей без дальних слов».

Британец гордый, с ним сидевший рядом,
Тримуйля смерил леденящим взглядом
И вымолвил: «Поймете вы иль нет,
Что безразличны мне и ваш обет,
И то, что ваша милая подруга
Из знатного или простого круга?
Пусть каждый удовольствуется тем,
Что он имеет, не хвалясь ничем.
Но так как вы, столь дерзко и столь ложно,
Предположили, что хоть раз возможно
Перед британцем первенство занять,
Я должен вам сейчас же доказать,
Что нас, британцев, и в подобном деле
Затмить еще французы не успели
И что моя любовница лицом,
Плечами, грудью, крупом, животом
И даже, я сказал бы, чувством чести,
Конечно, вашей не чета невесте.
А мой король (хоть толку мало в нем)
Прикончит вашего одним щелчком,
С его мясистой героиней вместе».
«Ну, что же! — Ла Тримуйль ответил, встав.—
Идем, узнаем, кто из нас не прав.
Мне кажется, я защитить сумею
Французов, короля и Доротею.
Но я намерен, как заведено,
Вам предоставить выбрать род дуэли,
Верхом иль на ногах — мне все равно,
Исполню все, чего б вы не хотели».
«Нет, на ногах!— ответил грубый бритт.—
Не думаю коню предоставлять я
Плоды и труд подобного занятья,
И к черту все — нагрудник, панцирь, щит!
Не признаю их даже на войне я.
Сегодня жарко, и удобней нам
Сражаться голыми за наших дам:
Наш поединок будет им виднее».
«Извольте, сударь! Как угодно вам!» —
Француз любезно молвил. Доротея,
От страха за любовника бледнея,
Была в душе, однако, польщена,
Что возбудила этот спор — она;
Но страшно ей, как бы суровый бритт
Не проколол Тримуйля милой кожи,

Которую тайком и не без дрожи
Она слезами нежными кропит.
А д'Арондель был занят англичанкой.
Всегда спокойна, с гордою осанкой,
Вовек не проливала слез она;
Ей нравились тревога и война,
И петушиный бой в ее отчизне
Служил ей главным развлеченьем в жизни.
Она звалась Юдифь де Розамор,
Цвет Кембриджа, честь Бристольских контор.

Вот наши доблестные паладины
Готовы к бою посреди равнины,
Обрадованы оба, что пришел
Час битвы за красавиц и престол.
Подняв высоко головы, всем телом
Вполоборота встав движеньем смелым,
Врагу не уступая ни на шаг,
Они скрестили сталь блестящих шпаг.
Не наслажденье ль наблюдать за ними,
Их взмахи различая, их прыжки,
Следить за их движеньями крутыми,
За тем, как сыплют искры их клинки!
Так созерцал в восторге иногда я
На юге где-нибудь, под ясным Псом,
Весь горизонт, от края и до края
Горящий ослепительным огнем:
За молнией другая чередом.

Пуатевинцу удалось, не целя,
Царапнуть подбородок д'Арonделя,
И тотчас же он прыгает назад
И ждет атаки. Англичанин гордый,
На забияку бросив гневный взгляд,
Ему наносит вдруг рукою твердой
Удар в бедро; и, нежное, оно
Горячей кровью вмиг обагрено.

Они, в пылу воинственной забавы,
Желали умереть во имя славы
Своих любезных, чтоб узнать скорей,
Которая прекрасней и милей;
Но в это время путь держал в обитель
Земель его святейшества грабитель,
Искавший отпущения грехов.

Носил разбойник имя Мартингера,
На преступленье был всегда готов,
Но в нем горела истинная вера,
И, в покаянье не жалея сил,
Быть начисто прощенным он любил.
Он на лугу заметил двух красоток,
Перебиравших крупный жемчуг четок,
Их лошадей, их вьюченных ослов;
Увидел их — и с ними был таков.
Он англичанку вместе с Доротеей
Захватывает, их добро берет
И исчезает, молнии быстрее.

А поединок между тем идет.
Бойцы сражаются, тверды, упрямы,
За честь французской и британской дамы.
Наш добрый Ла Тримуйль заметил вдруг
Любовницы своей исчезновенье.
Он быстро озирается вокруг:
Его оруженосец через луг
Куда-то убегает в отдаленье.
Британец тоже замер и стоит.
Окаменев, они не знали сами.
Что предпринять, и хлопают глазами
Друг против друга. «О! — воскликнул бритт,—
Нас обокрали, бог меня простит!
Сражаясь, мы покрылись только срамом;
Бежим скорей на помощь нашим дамам,
Сперва освободим их, а потом
Единоборство наново начнем».
Наш Ла Тримуйль сошелся с ним во мненье,
И, как друзья, идут они в смущенье
На поиски. Но, сделав два шага,
Один кричит: «Ах, шея! Ах, нога!»
Другой за лоб хватается рукою;
И, не имея более в груди
Огня, необходимого герою,
Когда готовится он храбро к бою,
Оставив пыл и ярость позади,
Едва дыша, не в силах двигать ноги,
Они упали посреди дороги,
И кровь их заалела на песке.
Оруженосцы были вдалеке,
Идя по следу дерзостного вора.

Герои же, без денег, без призора
И без одежд, покинуты, одни,
Считали, что окончены их дни.
Куда-то проходившая старуха,
Увидев их, лежащих на пути,
И христианского исполнясь духа,
В свой дом их приказала отнести,
Дала лекарства, привела в сознанье
И в прежнее вернула состоянье.

Старуху эту все в округе той
Считали мудрой, чуть ли не святой:
В окрестностях Анконы мы б едва ли
Кого-нибудь почтенней увидали,
В ком явственней была бы благодать.
Не стоило труда ей предсказать
И засуху, и дождевую влагу,
Она больных умела врачевать
И обращала грешников ко благу.

Герои наши, ей поведав все,
Совета испросили у нее.
Задумалась старуха, помолчала,
Открыла рот и наконец сказала:
«Бог милостив! Любите дам своих,
Но дайте мне навеки обещанье
Не убивать себя во имя их.
Узнать суровейшие испытанья
Подругам вашим ныне пробил час;
Поверьте, я жалею их и вас.
Скорей оденьтесь, на коней садитесь,
Смотрите же, в пути не заблудитесь;
Мне богом вам поручено сказать:
«Чтоб их найти, вам надо их искать».

Был восхищен столь бодрыми словами
Наш Ла Тримуйль, а бритт, пожав плечами,
Задумчиво сказал: «Я верю вам.
Мы тотчас же поедем по следам
Разбойника. Но только для погони
Нужны вооруженье, платье, кони».
Она в ответ: «Все это вам дадут».
По счастью, некий очутился тут
Потомок Исааков и Иуд,
Обрезанного люда украшенье,

Всегда готовый сделать одолженье.
Израильтянин, видя случай их,
Деньгами их ссудил, как все евреи,
И, как велось еще при Моисее,
Из сорока процентов годовых;
Нажитой этим способом полушкой
Он поделился со святой старушкой.

Конец песни восьмой

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Как Ла Тримуйль и д'Арондель нашли своих возлюбленных в Провансе и о странном случае, происшедшем на Благоуханной горе

Два рыцаря отважных, после боя,
Будь то на шпагах или же верхом,
С мечом в руке или стальным копьем,
В доспехах или голые,— героя
Охотно признают один в другом
И воздают хвалу с сердечным жаром
Бесстрашию врага, его ударам,
В особенности, если гнев утих.
Но если, после поединка, их
Прискорбная случайность посещает
И общая невзгода у двоих,
Тогда несчастье их объединяет.
Печальная судьба — их дружбы мать —
Толкает братьями героев стать.
Случилось так и здесь: таким союзом
Себя связали хмурый бритт с французом.
Природа д'Арonделя создала
С душой, не знающей добра и зла.
Но даже это грубое созданье
К Тримуйлю ощутило состраданье;
А тот, внезапной дружбой увлечен,
Осуществлял природное стремленье:
Имел чувствительное сердце он.
«Какое,— он промолвил,— утешенье
Вниманьем вашим мне даете вы!

Я Доротею потерял, увы!
Но отыскать ее следы, быть может,
Освободить ее, вернуть назад
Мне ваша мощная рука поможет.
Меня ж опасности не устрашат,
Чтоб вам добыть Юдифь, мой милый брат».

Два новых друга, движимые страстью,
Отправились на поиски. К несчастью,
Им на Ливорно указали путь.
А Мартингер меж тем решил свернуть
Как раз долиной противоположной.
Пока неслись они дорогой ложной,
Успел он без препятствий и легко
Увлечь свою добычу далеко.
Уводит пленниц он, немых от горя,
В пустынный замок свой на берег моря,
Меж Римом и Гаэтой, мрачный склеп,
Ужасный, отвратительный вертеп,
Где алчность, хитрость и обжорство,
Заносчивость хмельная, им под стать,
Кровавых распрей и насилий мать,
Неудержимость гнусного разгула,
В котором нежность и любовь уснула,
Все, все соединилось, чтобы дать
Образчик верный нравов человека,
Который не стеснен ни в чем от века.
О чудно́е подобие творца,
Так, значит, вот ты каково с лица!

Достигнув замка своего, мерзавец
За стол садится между двух красавиц.
Не соблюдая правил никаких,
Он обжирается и пьет за них,
Затем им задает вопрос: «А кстати,
Кто будет эту ночь со мной в кровати?
Все женщины равно годятся мне:
Худа, толста, испанка, англичанка,
Магометанка или христианка —
Различья их я утоплю в вине!»
От этих слов бессовестных краснея,
Рыданий не сдержала Доротея,
И бурно облака ее очей
Льют слезы на точеный носик ей,

На подбородок с ямкой небольшою,
Что сам Амур ваял своей рукою;
Ей скорбь и гибель чудятся кругом.
Британка же задумалась, потом
На дерзостного вора поглядела
И улыбнулась холодно и смело:
«Признаюсь, я была б совсем не прочь
Добычей вашей стать на эту ночь,
На что способна, доказав на деле,
Дочь Англии с разбойником в постели».
На эту речь достойный Мартингер
Сказал, уж будучи немного пьяным:
«В делах любви — британки всем пример», —
И снова пьет стакан он за стаканом,
Ее целует, ест и снова пьет,
Ругается, смеется и поет.
Рукою дерзкой — я сказать чуть смею —
Он треплет то Юдифь, то Доротею.
Та плачет; эта, виду не подав,
Не покраснев, ни слова не сказав,
Все позволяет грубому созданью.
Но наконец окончен пир, и вот,
Пошатываясь и с невнятной бранью,
Разбойник наш из-за стола встает,
Сверкнув глазами, к выходу идет
И, Бахусу воздав даров без меры,
Готовится на празднество Венеры.

Британке Доротея, вся в слезах,
Тогда испуганно сказала: «Ах,
Ужель разделите вы с вором ложе?
Ужель разбойник заслужил, о боже,
Чтоб наслажденье дали вы ему?»
«Нет, я готовлюсь вовсе не к тому, —
Утешила подруга Доротею, —
И постоять за честь свою сумею:
Я рыцарю любимому верна.
Бог наградил, как знаете вы сами,
Меня двумя могучими руками;
Недаром я Юдифью названа.
Умерьте же напрасную тревогу,
Побудьте здесь и помолитесь богу».
Она идет, окончив эту речь,
В постель хозяина спокойно лечь.

Завесой сумрачной ночная дрема
Укрыла стены проклятого дома.
Разбойники толпою, охмелев,
Ушли проспаться, кто в сарай, кто в хлев,
И в этот миг, дышать почти не смея,
Совсем одна осталась Доротея.

Был Мартингер необычайно пьян.
Не говоря, не поднимая взгляда,
Расслабленный парами винограда,
Усталою рукой он обнял стан
Красавицы. Но все же, без сомненья,
Он жаждал сна сильней, чем наслажденья.
Юдифь, в коварной нежности своей,
Его заманивает в глубь сетей,
Что смерть ему коварно расставляет,
И вскоре обессиленный злодей
Зевает тяжело и засыпает.

У Мартингера был над головой
Повешен, по привычке, меч стальной.
Британка тотчас же его хватает,
Аода, Иаиль припоминает,
Юдифь, Дебору, Симона-Петра,
От чьей руки ушам не ждать добра
И подвиг чей затмится все же ею.
Затем, спокойно наклонясь к злодею,
Приподнимает медленно она
Тяжелую, как камень, от вина
Хмельную голову. Нащупав шею,
Она с размаху опускает меч
И сносит голову с широких плеч.
Вином и кровью залиты простыни;
У нашей благородной героини
На лбу, как и на теле, места нет,
Где не виднелся бы кровавый след.
Тут прыгает с кровати амазонка
И убегает с головой в руках
К своей подруге, для которой страх
Был нестерпимее, чем для ребенка;
И, плача, Доротея говорит:
«О, господи! Какой ужасный вид!
Какой поступок и какая смелость!
Бежим, бежим! Займется скоро свет,
И опасаюсь я за нашу целость!»

«Прошу вас, тише,— Розамор в ответ,—
Еще не все окончено, не скрою,
Ободритесь и следуйте за мною».
Но бодрости у Доротеи нет.

А их любовники далеко были,
Искали их и все не находили.
Уже и в Геную они пришли
И собираются пуститься в море
И ждать вестей хоть на морском просторе
О тех, чей милый след исчез с земли,
Их в нестерпимое повергнув горе.
Уносят волны их то к берегам,
Где, христиан усердных ободряя,
Отец святейший наш, на страх врагам,
Смиренно бережет ключи от рая,
То ко дворцам Венеции златой,
Где правит муж Тефии — дож седой,
Или к Неаполю, к долинам лилий,
Где рядом с Санназаром спит Вергилий.
Несут их боги резвые ветров
По темно-голубым хребтам валов
К столь знаменитой в древности пучине,
Где обитала прежде смерть, а ныне
Невозмутимо ровных волн покой
Не помнит больше о Харибде злой
И где не слышен больше рев унылый
Псов, помыкаемых жестокой Сциллой,
Где, не кичась уже былою силой,
Под Этною гиганты мирно спят:
Так землю изменил столетий ряд!
Они проходят через Сиракузы,
Приветствуют источник Аретузы
И заросли густые тростника,
Но где, увы, подземная река?
И море вновь, и вновь видений смена:
Край Августина, берег Карфагена,
Безмерно пышный прежде, а теперь
Обитель зла, где мусульманин-зверь
Объят пороком, жадностью и тьмою.
И наконец, ведомые судьбою,
Причаливают к Франции они.

Там, утопая в сладостной тени,
Стоят Марселя древние строенья,

Подарок вымершего поколенья.
О гордый град, где жил свободный грек,
Ты прошлого не возвратишь вовек!
Но быть под властию французских лилий,
Как знают все, прекраснее стократ.
К тому ж твои окрестности укрыли
Благословенный и целебный клад.
Мария-Магдалина, по преданьям,
Служа Амуру в юности своей,
Потом исправилась и с содроганьем
Оплакивала жизнь минувших дней.
Ей сделалась постылой Палестина,
Она ушла во Францию и там
В ущелии, на скалах Максимина
Жестоко бичевалась по ночам.
И вся округа с той поры, по слухам,
Наполнена волшебным, чудным духом.
К священным тем камням спешат припасть
Паломники, которых мучит страсть,
Которых тяготит Амура власть.

Предание гласит, что Магдалина,
Уже готовясь к смерти, как-то раз
Просила милости у Максимина:
«О, если некогда наступит час,
Что на мою скалу, к моей пещере
Любовники придут служить Венере,
Пусть тотчас же погаснет пламень их,
Пусть станет стыдно им страстей своих
И пусть лишь горестное отвращенье
Заменит их любовь и их волненье!»
Благочестивый старец внял словам,
Что молвила бывалая святая,
И с этих пор, ту местность посещая,
Мы ненавидим самых милых нам.

Сначала ознакомившись с Марселем
И чудесам его воздав хвалу,
Наш Ла Тримуйль с суровым д'Аронделем
Отправились на дивную скалу,
Которую зовут Благоуханной
И чье могущество, на гибель злу,
Монахи прославляют неустанно.
Влечет француза набожность туда,
Британца ж — любопытство, как всегда.

Взойдя наверх, на каменных ступенях
Они увидели перед собой
Толпу людей, стоящих на коленях.
Две путницы там были. У одной
Струились слезы, жалость вызывая;
Была надменна и горда другая.

О, встреча сладостная! Чудный час!
Они своих любовниц отыскали!
Они от них не отрывают глаз
В том месте покаянья и печали.
Юдифь рассказывает в двух словах,
Как за позор и пережитый страх
Ее рука разбойнику отмстила.
Она в опасности не позабыла
Кошель, набитый туго, захватить,
Решив разумно, что не может быть
Он нужен Мартингеру в преисподней.
Затем, добравшись, с помощью господней,
Со смертоносной саблею в руках,
До выхода из замка, впопыхах
Они с подругой побежали к морю
И сели на корабль какой-то вскоре;
Без торгу капитану заплатив
И тотчас же оставивши залив,
Они помчались по Тирренским волнам,
И небо, вняв моленьям их безмолвным,
Свело счастливиц с рыцарями их
Под дивной сенью этих скал святых.

О, чудо! О, волшебное явленье!
Рассказ Юдифи в силах вызвать был
В ее любовнике лишь отвращенье.
О, небо! Что за злобное презренье
В его душе сменило прежний пыл!
Юдифи он не менее претил.
А Ла Тримуйль, в чьем сердце Доротея
Жила одна, соперниц не имея,
Ее находит вдруг совсем дурной
И к ней повертывается спиной.
Красавица была не в силах тоже
На рыцаря взглянуть без мелкой дрожи;
И лишь высоко, в роще неземной,
Спокойно радовалась Магдалина,
Что этим чудесам — она причина.

Увы! Была обманута она;
Ей, правда, обещали все святые
На нескончаемые времена,
Что на ее скале, как в чарах сна,
Влюбленные разлюбят; но Мария
Забыла попросить, чтоб, исцелясь
От чувства прежнего, в другую связь
Любовники вступить не пожелали.
Предвидел то и Максимин едва ли.
Поэтому тотчас же обняла
Юдифь Тримуйля, не храня приличий,
И Доротея сладостной добычей
Британцу восхищенному была.
Аббат Тритем считал, что, без сомненья,
Мария улыбалась с облаков,
Подобные увидев измененья.
Я оправдать ее вполне готов.
Нам добродетель нравится; но все же
И к прежнему занятью тянет тоже.
Едва спустились вниз со скал святых
Герои и красавицы, как сразу
К ним возвратился прежний разум их.
Вам ведомо по моему рассказу,
Что чары действуют лишь в месте том.
Тримуйль, припоминая со стыдом,
Как он возненавидел Доротею,
Ей целовал лицо, и грудь, и шею,
И никогда, казалось, ни верней,
Ни более покорным не был ей;
Она ж от слез не находя покоя,
В объятьях дорогого ей героя
Ему дарила прежнюю любовь.
Юдифь вернулась к д'Аронделю вновь,
Не гневаясь и не гордясь нимало,
И снова все, как было раньше, стало;
И даже Магдалина без труда
Грехи им отпустила навсегда.

Француз отважный и герой британский,
К себе на седла милых посадив,
Отправились дорогой Орлеанской;
Один и тот же дышит в них порыв:
За родину померяться с врагами.
Но, как вы понимаете и сами,

Они остались добрыми друзьями,
И ни красавицы, ни короли
Меж ними распрей вызвать не могли.

Конец песни девятой

ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Агнеса Сорель, преследуемая духовником Жана Шандоса. Сетования ее любовника и пр. Что случилось с прекрасной Агнесой в некоем монастыре

Как! Предисловье делать всякий раз
Ко всякой песни! Мне мораль постыла;
Бесхитростно поведанный рассказ
О том, что истинно происходило,
Спокойный, без затейливых прикрас,
Не блещущий ни юмором, ни сметкой,
Вот чем цензуру можно сделать кроткой.
Итак, читатель, приглашаю вас
Отправиться своей дорогой прямо.
Ведь главное картина, а не рама.

Карл набожный, придя под Орлеан,
Одушевлял бойцов отважных стан,
В них жар любви к отчизне разжигая,
И все рвались вперед, ему внимая.
Он проповедовал им бранный пыл,
И вид его надменно-весел был,
Но в глубине души, увы, вздыхал он,
Своей возлюбленной не забывал он.
Ведь то, что он ее покинуть мог,
Расстаться с нею хоть на краткий срок,
Конечно, было доблестью большою:
Простившись с ней, простился он с душою.
Вернувшись восвояси и смирив
Воинственной отваги опьяненье,
Он испытал старинных чувств прилив,
Любви благословенное мученье.
Амур на смену демону побед
Летит, и с ним бороться силы нет.

Король, прослушавший не без досады
Придворных бестолковые доклады,
Спешит уединиться в свой покой
И пишет там дрожащею рукой
Письмо любви, обеты постоянства.
Слезами было залито оно:
Чтоб осушить их, не было Бонно.
Один осел, из мелкого дворянства,
Был отвезти записку снаряжен.
Прошло не больше часа и, о горе,
С запискою обратно скачет он.
Король встревоженный, с тоской во взоре:
«Как! Ты вернулся? — задает вопрос.—
Мое письмо? Его ты не отвез?»
«Мужайтесь, государь! Страшна утрата!
Ах! Все погибло: в плен Агнеса взята.
Увы! Иоанны тоже след пропал».

Услыша это грубое признанье,
Король упал немедля без сознанья,
И только для того он снова встал,
Чтоб до конца испить свое страданье.
Кто вынести удар подобный мог,
Тот не любил глубоко, видит бог.
Агнесу Карл любил, и этот случай
Его пронзил тоской и злобой жгучей.
Хоть общею заботой окружен,
Едва не потерял рассудка он;
Его отца свела с ума причина
Ничтожнее,— он был слабее сына.
«Ах! — вскрикнул Карл.— Я уступить готов
Все рыцарство мое и духовенство,
Иоанну д'Арк, остатки округов,
Где признают еще мое главенство!
Пускай берут британцы, что хотят,
Но пусть мою любовь мне возвратят!
Монарх злосчастный, где твое блаженство?
Что толку в том, что волосы я рву?
Я потерял ее, я в сердце ранен,
Ах, может быть, пока я смерть зову,
Какой-нибудь бесстыдный англичанин
Овладевает, дерзостен и груб,
Красой, рожденной для французских губ!
Другой лобзанья с уст твоих срывает,
Другому светит твой прекрасный взор,

Рука другого грудь твою ласкает,
Другой... О, небо! О, какой позор!
И в этот миг ужасный, может статься,
Она не думает сопротивляться.
Ах, с темпераментом твоим, дитя,
Ты можешь друга позабыть шутя!»
Король унылый, неизвестность эту
Не в силах вытерпеть, прибег к совету
Астрологов, монахов, колдунов,
Евреев, сорбоннистов, докторов
И всех, кто бродит с книгою по свету.
Он говорит им так: «Без лишних слов,
Скажите, как дела с моей любезной:
По-прежнему ль она в любви верна
И обо мне вздыхает ли она;
Не смейте лгать; таиться бесполезно».
Они советуются, вздор меля,
На всех наречьях, думая о плате:
Тот изучает руку короля,
Тот чертит треугольники в квадрате,
Один следит Меркурия полет,
Другой псалмы Давида достает,
Твердит «аминь», и шепчет, и поет,
Иной, чертя круги, взывает к бесу,
А тот в стакане изучает дно,
Как было в древности заведено,
Чтоб приподнять грядущего завесу.
Устав потеть, шептать и колдовать,
Они свидетельствуют громогласно,
Что добрый Карл спокойно может спать:
С Агнесою все обстоит прекрасно,
Монарху своему она верна,
И что благоприятствуют влюбленным
Все силы неба, звезды и луна.
Извольте верить господам ученым!

Шандоса беспощадный духовник
Использовал благоприятный миг,
И, несмотря на слезы, стоны, крик,
Он овладел Агнесой грубой силой.
Он счастие неполное постиг,
Слепую страсть одну, без ласки милой,
Союз без нежности, союз унылый,
Которого любовь не признает.
Взаимность сладкая — всего дороже!

Скажите мне, на самом деле, кто же
Приятно время проводил на ложе
С любовницей, что горько слезы льет,
Царапается, губы не дает?
Но этого монах не понимает,
Он лошадь непокорную стегает,
Нимало не заботясь, каково
Красавице в объятьях у него.

Влюбленный по уши в свою подругу
Паж, побежавший в город поживей,
Чтоб оказать избраннице своей
Достойную заботу и услугу,
Спешит домой. Ах, что он увидал!
Пред ним монах, сей изверг беспощадный,
Сей похотливец, мерзостный и жадный,
Как зверь, свою добычу пожирал.
При этом виде паж, кипя отвагой,
Напал на сволочь с обнаженной шпагой.
Тогда монаха нечестивый пыл
Самозащите место уступил.
Вскочив с кровати, палку он схватил
И на Монроза опустил с размаха.
Сцепились два отважные бойца,
И запылали яростно сердца,
Пажа — любовью, злобою — монаха.

Счастливцы, чей удел — спокойный труд,
Далеких сел благочестивый люд,
Привыкли наблюдать вблизи дубравы,
Как волк жестокий с мордою кровавой
Зубами шерсть овцы несчастной рвет
И кровь своей невинной жертвы пьет.
А если добрый пес с зубастой пастью,
Сочувствующий ближнего несчастью,
Летит к нему стрелой — свирепый волк,
Клыками издавая страшный щелк,
Овечку полумертвую бросает
Лежать беспомощно в траве густой,
Спешит к собаке, рвет ее, кусает
И с недругом вступает в страшный бой;
Израненный, он злобою пылает,
Рычит и брызжет пеной и слюной;
И всею силой своего сердечка
Трепещет за спасителя овечка.

Здесь было то же самое: монах
Рассвирепевший, с палкою в руках,
Дрался с Монрозом, полон зла и яда;
И тут же — победителю награда —
Агнеса на измятых простынях.

Хозяин и хозяйка, дети, слуги,
Услышав шум, бросаются в испуге
Наверх. Они бегут со всех сторон
И гнусного монаха тащат вон.
Все за пажа, все против негодяя,
Всем по душе отвага молодая.
Итак, Монроз свободен и спасен;
С красавицей вдвоем остался он.
Его соперник, дерзок, хоть сражен,
Отправился служить святую мессу.

Но как утешить бедную Агнесу?
В отчаянье, что увидал Монроз
Ее красы в столь недостойном виде,
При мысли о позоре, об обиде,
Красавица лила потоки слез.
Стыдом терзаемая, только смерти
Она желала в этот миг, поверьте,
И повторяла лишь одно: «Увы,
Я вас прошу, меня убейте вы!»
«Как? Вас убить? — вскричал Монроз, не в силе
Сдержать волненья нежного.— Убить!
Да если б даже вы и согрешили,
Вы жить должны, чтоб грех ваш искупить.
Подумайте, зачем вам жизнь губить.
Вы злого ничего не совершили,
Агнеса, дорогое божество!
Все это грех монаха одного!»
Хоть речь его была не слишком ясной,
Зато огонь его влюбленных глаз
Внушил желанье грешнице прекрасной
Земную жизнь не прерывать тотчас.

Пришла пора обедать. А печали
(По опыту я это знаю, ах!)
От века жалким смертным не мешали,
Страдая, объедаться на пирах.
Вот почему великие поэты,
Добряк Вергилий и болтун Гомер,

Которых с детства ставят нам в пример,
Не упускают случай про банкеты
Поговорить среди военных гроз
Итак, друзья, Агнеса и Монроз
Обедать сели у кровати рядом.
Сперва в стыдливой скромности своей
Они не подымали и очей,
Затем, случайным обменявшись взглядом,
Оправились и стали посмелей.

Известно каждому, что в цвете лет,
Когда нет меры нашему здоровью,
Недурно приготовленный обед
Воспламеняет страсть. Горячей кровью
Пылает сердце, полное любовью,
И мозг бутылкою вина согрет.
Мы чувствуем приятное томленье,
Ах, плоть слаба и сильно искушенье.

Монроз влюбленный далее не мог
Бороться с дьяволом в тот миг опасный;
Упал он на колени и у ног
Красавицы молил: «Кумир прекрасный,
О, сжальтесь над моей любовью страстной,
Не то умру я тотчас, видит бог!
Вы не лишите страсть награды милой,
Которую злодей похитил силой!
Он преступленьем счастлив был. Увы,
Ужель не наградите верность вы?
Она взывает! Иль вы так черствы?»
Был довод недурен, скажу без лести;
Красавица признала вес его,
Но не сдалась сейчас же оттого,
Что наслажденье с соблюденьем чести
Для сердца нежного милей всего,
И легкое в любви сопротивленье
Лишь подливает масло в упоенье.
Но наконец Монроз счастливый, ах,
Был утвержден в приятнейших правах,
Войдя в благословенный рай влюбленных.
Что слава Генриха пред этим? Прах!
Да, королей свергал он побежденных,
Да, Франция сдалась ему, дрожа,
Однако сладостней судьба пажа.

Но как обманчиво земное счастье!
Как быстро рвется наслажденья нить!
От чистого потока сладострастья
Прекрасный паж едва успел вкусить,
Как вдруг отряд британцев подъезжает,
Идет наверх, стучится, дверь ломает.
Монах проклятый, ты, не кто иной,
Так подшутил над нашею четой.
Агнеса чувств лишилась от испуга;
Хватают бритты и ее и друга;
Обоих их к Шандосу поведут.
К чему присудит их ужасный суд?
Увы! Любовникам придется туго;
По опыту уже известно им,
Что Жан Шандос бывает очень злым.
В глазах у них невольное смущенье,
А на душе тревога и волненье,
Но щеки вспыхивают ярче роз
При мысли о недавнем наслажденье.
Ах, что их ждет? Как встретит их Шандос?
На счастье их, случилось, что в тумане
Дорогою ошиблись англичане,
И показалось вдруг до двадцати
Французских рыцарей на их пути,
Которым об Агнесе и Иоанне
Приказ был всюду справки навести.

Когда сойдутся носом против носа
Два петуха, любовника, барбоса,
Иль узрит янсенист издалека
Лойолы бритого ученика,
Или, ультрамонтанца вдруг завидя,
Дитя Кальвина смотрит, ненавидя,
Сейчас же начинается игра
Когтей иль копий, клюва иль пера.
Так точно даром время не теряют
Французы и отважною гурьбой,
Как соколы, на бриттов нападают,
А те, конечно, принимают бой;
Удары сыплются, мечи сверкают.
Кобыла, что красавицу везла,
Подобно всаднице, резва была;
Она в пути вертелась и лягала,
Прекрасную наездницу трясла;
И вдруг как закусила удила:

Ее ночная схватка испугала.
Агнеса хочет слабою рукой
Ее сдержать, но та галопом мчится.
Напрасный труд! С неведомой судьбой
Красавице придется помириться.

В разгаре боя не видал Монроз,
Куда Агнесу резвый конь унес.
Летит она, как ветер, в туче пыли
Без отдыха уже четыре мили.
Но утомился конь и свой полет
У монастырских задержал ворот.
Кругом монастыря был лес тенистый;
Река, блиставшая волною чистой,
То медленно, то быстро, как стрела,
Невдалеке извилисто текла.
Поодаль холм зеленый возвышался;
Он каждой осенью обогащался
Дарами сладкими, что дал нам Ной,
Когда, покинув свой сундук большой,
Предотвратил народов истребленье
И выдумал вина приготовленье,
За дни потопа утомлен водой.
Кругом Помона с Флорой молодой
Разлили всюду нежную усладу,
Блаженство обонянью, радость взгляду.
Рай прародителей едва ли цвел
Роскошнее, чем этот тихий дол;
И не было еще полей на свете
Прекрасней, чище, сладостней, чем эти.
Вдыхая сей целительный эфир,
Сердца смятенные позабывали
Свои обиды, муки и печали,
И роскошь городов, и целый мир.

Вздохнув, взглянула нежная Агнеса
На монастырь, белевший в чаще леса,
На холм зеленый, реку, неба ширь.
То был, читатель, женский монастырь.
«Ах, наконец-то,— так она сказала,—
Мне божия десница указала
Молитвы и невинности приют.
Увы! Должно быть, воля провиденья
Меня сюда послала, чтобы тут
Оплакала свои я прегрешенья:

Здесь чистые затворницы живут,
Не ведая мирского заблужденья,
А я известна до сих пор была
Лишь тем, что жизнь распутную вела».
Агнеса, громко говоря все это,
Заметила над воротами крест.
Пред символом спасенья дольних мест
Она склонилась, верою согрета,
И, чувствуя раскаянье в крови,
Покаяться в грехах решила честно;
Прийти нетрудно к вере от любви:
То и другое — сладость, как известно.
Игуменья отправилась в Блуа
Два дня назад (возможность представлялась
Поправить монастырские дела),
А здесь ее наместницей осталась
Сестра Безонь. Ей все повиновалось.
Она, Агнесу увидав, велит
Открыть ворота, ласково встречает
Несчастную. «Войдите,— говорит,—
Какой благой святитель посылает
Нам эту гостью? Дивной красотой
Блистаете вы, взоры удивляя.
Скажите, вы не ангел, не святая,
Которую господь нам шлет из рая,
К обители смиренной и простой
Особенную милость проявляя?»

Агнеса скромно отвечает: «Нет,
Я та, которыми наполнен свет,
Опутана греховной паутиной,
И если в рай мне суждено попасть,
То там мне место рядом с Магдалиной.
Судьбы капризной роковая власть,
Господь, а главное — мой конь примчали
Меня сюда в тревоге и печали.
Грешней, чем я, отыщется едва ли;
Но сердцем я не огрубела, нет;
Ища добро, я потеряла след,
Теперь нашла. Благодаренье богу,
Который к вам мне указал дорогу».
Ободрила почтенная сестра
Агнесу, каявшуюся так мило,
И, воспевая прелести добра,
Пред нею двери кельи растворила.

Там было чисто и освещено,
Красиво убрано, цветов полно,
Постель мягка и широка. Казалось,
Что для любви она предназначалась.
Агнеса радовалась от души,
Узнав, как сладко каяться в тиши.

Поужинав (об этом я ни разу
Не умолчу, чтоб не вредить рассказу),
Безонь сказала: «Милая сестра,
Уже довольно поздно, спать пора.
Вы знаете — лукавый, без сомненья,
Захочет вас ввести во искушенье;
Но против этого есть верный меч:
Нам надо на одной кровати лечь;
Тогда нечистый вас не испугает.
Увидите, как это помогает».
Агнеса добрый приняла совет:
Они легли в постель и гасят свет.
Агнеса, рано радоваться чуду:
Судьба тебя преследует повсюду.

Читатель! Я не в силах говорить.
Сестра Безонь... Но пред таким моментом
Нельзя молчать! Я должен все открыть!
Сестра Безонь — она была студентом,
В наружности которого слились
И Геркулес, и нежный Адонис.
Лет двадцать он имел, никак не боле,
Был свеж, румян, силен и белокур.
Игуменью — увы! — в земной юдоли,
Как видите, преследовал Амур.
Сестра-студент в покое и богатстве
Довольно весело жила в аббатстве.
Так некогда у Ликомеда жил
Переодетый девушкой Ахилл
И с Деидамией блаженство пил.

Едва в постель успела лечь Агнеса
С монашенкой, как тотчас же нашла,
Что перемена к лучшему (повеса
Взялся за дело) в той произошла.
Кричать, сопротивляться — мало толку,
Когда овца попала в зубы к волку.
Страдать безмолвно, не борясь со злом,

Исходом лучшим было, без сомненья,
Что размышлять! Да в случае таком
И времени-то нет для размышленья.
Когда студент (ведь люди устают)
Прервал на время свой усердный труд,
Прекрасная Агнеса в сокрушенье
Так думала об этом приключенье:
«Увы! не слышит бог мою мольбу,
Как я желала бы остаться честной;
Но трудно спорить с истиной известной,
Что смертному не победить судьбу».

Конец песни десятой

ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Англичане оскверняют монастырь. Сражение святого Георгия, патрона Англии, со святым Денисом, патроном Франции

Я расскажу вам без затей напрасных,
Что утром два затворника прекрасных,
Запретной негою утомлены,
Лежали рядом, тесно сплетены,
И видели счастливейшие сны.

Ужасный шум заставил их проснуться.
Кругом сверкают факелы войны,
Смерть торжествует, стоны раздаются,
Повсюду кровь и павшие видны.
То конница британцев оголтелых
Осилила отряд французов смелых.
Французы, оттесненные назад,
С мечами наголо летят по лесу;
Британцы, их преследуя, кричат:
«Умрите иль отдайте нам Агнесу».
Но где она? Кто знает, наконец?
Старик Колен, пастух, седой мудрец,
Сказал им: «Господа, пася овец,
Я видел, как вошла в ворота эти
Красавица, милее всех на свете».
«Агнеса!» — бритты радостно кричат:

«Она в монастыре, сомненья нету,
Идем, друзья!» Безбожным нет запрету;
Перелезают стены, все громят,
И волчья стая — посреди ягнят!
Бегут, предавшись дикому веселью,
Из спальни в спальню и из кельи в келью,
В часовню, в погреб, в монастырский сад.
Бесстыдники хватают что придется!
Сестра Урсула, о сестра Мартон,
В очах у вас смятенье, сердце бьется,
Вы мечетесь — враги со всех сторон,
Бежать хотите, путаетесь в юбке,
Но все напрасно, бедные голубки!
Вы обнимаете алтарь святой,
Слова молитв коверкая с испугу.
Но тщетно обращаетесь с мольбой
Вы к своему небесному супругу.
Господне стадо на его глазах
Неистовые нечестивцы, ах,
Насилуют на самых алтарях,
Не слушая их крик, их лепет детский.

Я знаю, что иной читатель светский,
Бесстыдный человек, монахинь враг,
Плохой шутник, напыщенный дурак,
Смеяться станет. Головы пустые,
Им все смешно! Но, сестры дорогие,
Вам каково, неопытным таким,
Стыдливым, целомудренным, простым,
Вздыхать и биться, сердцем холодея,
В объятьях беспощадного злодея,
Снося противных поцелуев грязь!
От крови свежепролитой дымясь,
Ответствуя на тихий стон проклятьем,
Они мешают ненависть с объятьем,
Неистовствуют, бога не страшась.
Колючи бороды, свирепы руки,
Дыханье отвратительно смердит,
И жгут тела. Чудовищен их вид,
А ласки причиняют только муки.
В обители святой они совсем
Как демоны, громящие Эдем.

Ликуя, злодеянье с наглым взором
Невинных упивается позором.

Мартон, свершительницей добрых дел,
Барклай неумолимый завладел,
Шипэнк жестокий и Уортон проклятый
Гоняются за кроткою Беатой.
Богохуленья, слезы и огонь.
Вот в суматохе на сестру Безонь
Напали двое, спереди и сзади;
Студент напрасно молит о пощаде:
То вопиющего в пустыне глас.
Настигли хищники в святенном стаде,
Агнеса благородная, и вас,
И вы своей не избежали доли —
Быть грешницей помимо вашей воли.
Начальник святотатцев, рослый бритт,
Бросается к сопернице Харит.
Ему, о дисциплине помня свято,
Агнесу уступают два солдата.

Святое небо и в разгаре бед
Нам иногда ниспосылает свет.
В тот час, когда исчадья Альбиона,
Невиность попирая и закон,
Творили мерзость посреди Сиона,—
С высот небесных Франции патрон,
Добряк Денис, насильем возмущен
И ловко за нос проведя святого
Георгия — врага французов злого,
Стремительно из рая мчится вон.
Луча полдневного он не седлает
На этот раз для спуска — оттого,
Что тотчас бы заметили его.
Он с богом тайны в договор вступает.
Загадочное это божество
Мошенникам нередко помогает
(И это очень жалко), но порой
Его услуги ищет и герой;
Во храме и дворце — он всюду нужен
И с нежными любовниками дружен.
Дениса в облако он поместил
И незаметно наземь опустил,
Святого окружив глубокой тайной,
С предосторожностью необычайной.

Денис в Блуа окольным шел путем;
Святителю Иоанна повстречалась,

Которая, на конюхе верхом,
Проселочной дорогой пробиралась,
Моля усердно, чтоб помог творец
Ей отыскать доспехи наконец.
Едва Денис заметил в отдаленье
Свою избранницу, он ей кричит:
«О Девственница, Франции спасенье,
Невинных и монархов крепкий щит,
Иди! Я долее терпеть не в силе.
Иди! И прояви священный гнев.
Иди! Пускай спасительница лилий
Спасет моих благословенных дев.
Вот монастырь! Там зло одолевает:
Скорей!» И Девственница поспешает.
Святой Денис, ей заменя слугу,
Погонщика стегает на бегу.

И вот Иоанна посреди военных,
Которые терзают дам почтенных.
Была она без платья. Некий бритт
Ее увидел. Гнусный безобразник
Подумал, что она пришла на праздник.
Ему по вкусу героини вид,
И в наготе, его привлекшей взгляды,
Он грубо ищет низменной услады.
Ему ответом был удар меча
В нос! Негодяй упал с лицом багровым,
Ругаясь громко непристойным словом,
Тем, что, довольно коротко звуча,
Таит намек на родственные узы;
Его, к несчастью, любят и французы.

«Остановитесь, нечисти сыны,
Побойтесь бога, дети Сатаны!» —
Кричит сурово этим оголтелым
Иоанна над его кровавым телом.
Но нечестивцы, занятые делом,
Не слушают ее призыва. Так
Побеги молодые жрет лошак
И окрика садовников не слышит.
Иоанна, разъяренная вдвойне
При виде их бесстыдства, гневом пышет
И, полная отваги, вся в огне,
Летит бесстрашно от спины к спине,
От ребер к ребрам и от шеи к шее,

Святым копьем разя все горячее.
И тот, который только начинал,
И тот, который вот уже кончал,
Ударом страшным по спине, по ляжке,
Повержен — всякий на своей монашке;
И, похотью еще напоены,
Летят их души в лапы Сатаны.

Один Уортон, злодей, могучий телом,
Покончивший всех раньше с гнусным делом,
Жестокий воин, Исаак Уортон,
С монашенки вскочил один лишь он;
Схватив оружье и меняя позу,
Иоаннину встречает он угрозу.

Вы наблюдали бой свирепый весь,
Святой Денис, французов покровитель!
Почтительно прошу, не подтвердите ль
То, что Иоанна совершила здесь.
Вскричала удивленная Иоанна:
«О мой Денис, мой дорогой святой,
Вот мой нагрудник и камзол, как странно!
Да ведь на нем и шлем небесный мой!
О, что я вижу! Негодяй проклятый
Тобой подаренные носит латы!»
Все это было верно. Дело в том,
Что (вы, читатель, не забыли это)
Агнеса их надела и потом
Была Шандосом вскоре же раздета.
Оруженосец рыцаря Уортон
Теперь был в эти латы облечен.

Иоанна д'Арк! На удивленье миру
Ты занесла десницу из десниц
За честь, за королевскую порфиру
И за невинность сотни голубиц,
Которых твой патрон хранил неважно.
Он молча созерцает, как отважно
Ты собственные латы сгоряча
Разбить готова взмахами меча.
В ужасном подземелье Этны дальней
Вулкана одноглазые друзья
Стучат по искрометной наковальне
Куда слабее, чем рука твоя,

Когда они, сильны, свирепы, дики,
Куют оружье своему владыке.

Надменный бритт, закованный в булат,
Смущенный, отступает шаг назад,
Дивясь тому, как ловко и как метко
Его колотит голая брюнетка.
Обезоружен этой наготой,
Боясь ее коснуться, как святыни,
Он держит меч трепещущей рукой
И только защищается отныне,
Любуясь прелестями героини.

Отсутствие Дениса-добряка
Меж тем святой Георгий замечает;
Он понял тотчас же, что помогает
Французам их патрон исподтишка.
Законною тревогою объятый,
Он озирает горние палаты
И наконец, сомнения гоня,
Велит подать известного коня.
Коня подводят, и, закован в латы,
С копьем в руке, святой во весь опор
Пускается в неведомый простор,
Где сонм шаров светящихся мелькает,
Которые мечтательный Рене
В тончайшем прахе, в вихревой волне
Без устали вращаться заставляет,
Несчетных звезд неистовый циклон,
Где все покорно воле притяженья
Иль, может быть, о фантазер Ньютон,
Полету твоего воображенья.

Разгневанный Георгий на лету
Одолевает эту пустоту
И скачет по святителеву следу,
Когда Денис уже трубит победу.
Так ночью зажигает небосвод
Лучами ослепительного света
Внезапно налетевшая комета
И поражает ужасом народ;
Трепещет папа; в горе, поселяне
Неурожай предчувствуют заране.

Едва святой Георгий вдалеке
Узрел Денисов облик, для примера

Он грозное копье потряс в руке
И произнес, совсем как у Гомера:
«Соперник немощный, Денис, Денис,
Поддержка нечестивцам и смутьянам,
Ты, значит потихоньку сходишь вниз
И пакостишь героям англичанам!
Начертан ход событий на века:
Ни твой осел, ни женская рука
Над ним не властны. Бойся ж, бойся мести
Тебе, Иоанне и французам вместе!
Уже твоя трясучая башка
С убогих плеч однажды отлетела;
Ее вторично отделить от тела
Не постесняется моя рука;
Достойный пастырь воровского края,
Которому ты милости творишь,
Снеси ее еще разок в Париж,
Держа в руках и нежно лобызая».

Ответил, руки к небесам воздев,
Патрон прекрасной Франции смиренно:
«Святой Георгий, мой собрат почтенный!
Ты все еще не позабыл свой гнев?
Давно в раю мы обитаем оба,
А в сердце у тебя все та же злоба.
Как! Мы, которым ото всех почет,
Почиющие в драгоценных раках,
Не сеем мира, а, наоборот,
Проводим время в бесполезных драках?
Зачем упорно хочешь ты войны
Взамен спокойствия и тишины?
Зачем святителей твоей страны
Мутить обитель рая так и тянет?
Безбожники британцы! Есть предел
Долготерпенью. Гром небесный грянет,
И за свершителей ужасных дел
Молить всевышнего никто не станет.
Ужасен будет грешников удел.
Заступник рьяный адовых исчадий,
Святитель желчный, я тебя молю,
Будь кротче! Не мешай мне, бога ради,
Помочь своей стране и королю!»

При этой речи, от волненья красный,
Георгий вспыхнул яростью ужасной;

И, слушая, что говорит француз,
Он всей душою рвется в бой опасный,
Предполагая, что соперник — трус.
Он налетает, взорами сверкая,
Как сокол, пташку встретив на пути.
Денис, благоразумно отступая
И времени напрасно не теряя,
Осла крылатого зовет: «Лети,
Лети сюда, чтоб жизнь мою спасти».
Так говоря, он позабыл, конечно,
Что жизнь его не прекратится вечно.

Осел наш возвращался в этот миг
Из солнечной Италии обратно
(Зачем, куда — читателю понятно).
Дениса доброго услышав крик,
К святителю он быстро подлетает,
С лазурной высоты спускаясь вниз.
Взобравшись на спину ему, Денис
Булат британца павшего хватает
И, яростно размахивая им,
Вступает в бой с соперником своим.
Георгий, обозленный, наступает
И делает мечом ужасный взмах
Над головой святого. Но сноровка
Не помогла. Тот уклонился ловко,
И голова осталась на плечах.
Вновь всадники несутся друг на друга,
Сверкают лезвия, звенит кольчуга.
Какая мощь, какая красота!
Упоены отвагою своею,
Стараются попасть в забрало, в шею,
В сиянье, в пах и в прочие места.
Оспаривая друг у друга славу,
Они победы отдаляли миг,
Как вдруг неистовый раздался крик:
Осел запел ужасную октаву,
Которая все небо потрясла;
И Эхо повторило крик осла.

Георгий побледнел. Денис смышленый,
Использовав момент, удар нанес
И отрубает у героя нос.
Обрубок катится, окровавленный.

Хоть нету носа, но отвага есть;
В душе Георгия пылает месть.
С проклятием он бога поминает
И, яростный удваивая пыл,
Заступнику французов отрубает
Тот член, что Петр у Малха отрубил.

Святой осел пронзительно завыл,
И райские чертоги содрогнулись.
Небесные ворота распахнулись;
Блистательный архангел Гавриил,
Своими огнезарными крылами
Спокойно рассекая высоту,
В пространстве показался над бойцами,
Неся в руке лилейной ветку ту,
Что веяла когда-то, зеленея,
В божественной деснице Моисея,
Когда он в море, покидая Нил,
Египетское войско утопил.

«Что я тут вижу? — закричал сердито
Архангел на дерущихся святых.—
Как! Слава аналоев золотых,
Смиренье, крест — все вами позабыто!
Приличны страсти и огонь войны
Для тех, что женщинами рождены.
Пусть, вечно недовольные собою,
Безумцы смертные, земли сыны,
С мирскою ратоборствуют судьбою.
Но вас зачем сражаться черт понес!
Чего вы меж собой не поделили?
Блаженство ли наскучило вам, или
С ума сошли вы? Боже! Ухо! Нос!
Как вы решились, дети совершенства,
Позабывая вечное блаженство,
Сражаться, крови не щадя своей,
Из-за каких-то жалких королей!
Довольно! Слушаться меня живей,
Иль с раем вам придется распроститься.
Я вам приказываю помириться,
Вы, господин Денис, берите нос
И помолитесь, чтобы он прирос.
Георгий-злюка, ухо подберите
И поскорей на место водворите».

Денис послушный тотчас же спешит
Исполнить все, что Гавриил велит.
Георгий тоже поднимает ухо
С травы. Соперники бормочут глухо
«Oremus», умилительный для слуха.
Все пристает прекрасно. Все спешит
Немедленно принять обычный вид.
И нос и ухо прирастают плотно,
От ран не остается и следа:
Настолько тело жирно и добротно
У жительниц небесных, господа!

Тут Гавриил начальническим тоном
«Теперь поцеловаться!» — говорит.
Добряк Денис, не помнящий обид,
Охотно, первый, поцелуй дарит.
Георгий покоряется со стоном,
Клянясь в душе, что после отомстит.
Затем архангел следом за собою
Велит лететь смирившимся святым
В цветущий рай дорогой голубою,
Где сладостный нектар готовят им.

Вы сомневаетесь, читатель строгий,
В моих словах? Я, право, не солгал.
У стен, что ток Скамандра омывал,
Не раз в боях участвовали боги.
И разве не поведал вам Мильтон
Про ангелов крылатый легион,
Который бился в голубых просторах?
Как щепками, швырял горами он
И применял, что много хуже, порох.
Коль Сатана и Михаил сошлись
Когда-то в небесах, чтоб насмерть биться,
Тем более Георгий и Денис
Могли друг другу в волосы вцепиться.
Но если мир на небесах зацвел,
То человеческий унылый дол
Был, как обычно, преисполнен зол.
Благочестивый Карл к Агнесе милой
Летел мечтой, страдая с прежней силой.
А между тем Иоанна с торжеством
Работала блистающим мечом;
Ее соперника ждала могила:
Она ему то место отрубила,

Которым монастырь позорил он;
Пошатываясь, Исаак Уортон
Роняет меч, проклятье изрыгает
И, нераскаявшийся, умирает.
Монахинь древних величавый строй,
Увидев, что неистовый герой
Лежит во прахе, кровию измазан,
Воскликнул «Ave», в радости живой,
Что, чем грешил злодей, тем и наказан.

Сестра Беата, чей девичий стыд
Не пощадил неумолимый бритт,
Благодарила небо с тихим стоном,
Тайком любуясь яростным Уортоном,
И причитала сладко, прочим в лад:
«Увы! Никто так не был виноват».

Конец песни одиннадцатой

ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Монроз убивает духовника. Карл находит Агнесу, утешавшуюся с Монрозом в замке Кютандра

Я поклялся, что сух и точен буду,
Мораль и отступленья позабуду,
Но бог любви всесилен, и пером
Моим он, как ему угодно, водит.
Пишу я все, что в голову приходит,
Капризным вдохновляем божеством.
Красавицы! Девицы, вдовы, жены,
Амуром созванные под знамена
Заманчивой, но яростной войны,
Бывает так, что двое влюблены
В одну из вас. Во всем они равны:
В талантах, в грации, в любви до гроба.
К себе располагают сердце оба:
Трепещет грудь, Амур велит любить,
И вы не знаете, как поступить.
Учителя рассказывают в школах

Историю осла (не из веселых).
Сему ослу был кем-то принесен
Обед в двух мерках и поставлен он
На равном расстоянье с двух сторон.
Томимый этим искушеньем равно,
Осел не знал, какой избрать удел,
Стоял, ушами шевеля, не ел
И, равновесье сохранив, бесславно
От голода, близ пищи, околел.
Страшитесь следовать таким примерам,
Мои красавицы! Поверьте мне:
Шепнув «твоя» обоим кавалерам,
Окажетесь вы счастливы вдвойне.

Вблизи обители благословенной,
Увы, опустошенной и растленной,
Где за своих монахинь отомстил
Денис рукою Девы вдохновенной,
На берегу Луары замок был
С боями, башнями, мостом подъемным,
С глубоким рвом, который окружал
Стоячею водой высокий вал,
С величественным парком, дряхлым, темным,
Куда полдневный луч не проникал.
В прекрасном замке этом был сеньором
Барон Кютандр, старик с орлиным взором.
Гостеприимно всех встречали там.

Барон Кютандр, добряк меж добряками,
От сердца радовался всем гостям.
Французов, бриттов — всех он звал друзьями;
Будь странник босиком иль в сапогах,
Принц, турок, женщина или монах —
Всех принимал охотно рыцарь старый,
Но требовал, чтоб приходили парой.
Своей причуды вовсе не тая,
Он блюл ее суровее закона
И нечета не признавал. Своя
Фантазия у каждого барона.
Когда попарно гости шли к нему,
Все было превосходно, но тому,
Кто приходил один, бывало худо:
Он голодал и долго ждал, покуда
Другой не подкрепит его права,
Совместно с ним составив цифру два.

Иоанна, облачась в доспехи брани,
Бряцавшие на величавом стане,
С Агнесою, под вечер, без труда,
Ведя беседу, прибыла туда.
Монах, не потерявший их следа,
Монах, исполнен злобы и нечестья,
Подходит к стенам мирного поместья.
Как волк, которым бедная овца
Была обглодана не до конца,
Стуча зубами и сверкая взором,
Вокруг овчарни крадется дозором,
Так этот англичанин, поп и вор
(В душе пылает похоть, алчен взор),
Отыскивал, блуждая ночью темной,
Добычу, отнятую у него.
Звонит, вопит он. Слуги одного
Увидев гостя, грузный и огромный
Сейчас же поднимают мост подъемный,
И духовник Шандоса, поражен,
Цепей тяжелых слышит гулкий звон;
Подъемный мост на воздух вознесен.
При этом зрелище — судите сами,
Кто стал божиться? Гнусный духовник.
Он бесновался, он махал руками,
Хотел кричать, но в горле замер крик.
Нередко наблюдаем мы в окошко,
Как, пробираясь между черепиц,
Пытается из голубятни кошка
Достать когтистой лапкой милых птиц.
Она глядит свирепо, и с испугу
Бедняжки жмутся в глубине друг к другу.
Монах еще сильнее был смущен,
Когда под деревом заметил он
Красавца с золотыми волосами,
С отважным взглядом, с черными бровями,
С пушком на подбородке, в цвете сил,
Блистающего красотою смелой
И молодостью, розовой и белой.
То был Амур, или, верней, то был
Прекрасный паж: Монроз осиротелый
Искал предмет своей любви день целый.
Блуждая так, он в монастырь попал.
Его улыбка всех сестер пленила,
Он был ничуть не хуже Гавриила,
Который их с небес благословлял.

И каждая при взгляде на Монроза
Краснела, точно молодая роза,
Шепча: «Зачем он не пришел в тот час,
Господь, когда насиловали нас!»
Все окружили юношу зараз,
И вот, узнав, что ищет он Агнесу,
Игуменья коня ему дает
И провожатого, чтоб он по лесу
Напрасно не плутал и без хлопот
Доехал до Кютандровых ворот.

Монроз спешит и видит, подъезжая,
Стоящего у моста негодяя.
Тут, злобою и радостью пылая,
Кричит он: «А! Так это ты, подлец!
Клянусь Шандосом и святою мессой,
Нет, более того, клянусь Агнесой,
Что будешь ты наказан наконец».
Монах отчаянный не отвечает,
Рука его от ярости дрожит.
Берет он пистолет, курок спускает:
Бац! Порох вспыхивает и блестит,
Шальная пуля наугад летит,
Но направляемый рукой заблудшей —
Из выстрелов, конечно, самый худший.
Паж метко целится и сразу — хлоп
Ужасного монаха в медный лоб,
Где подлых замыслов была обитель.

Тот падает. Прекрасный победитель,
Внезапный сострадания порыв
Отзывчивой душою ощутив,
«Ах! — произнес.— Умри, по крайней мере,
Как человек, в раскаянье и вере.
Прочти «Te Deum». Ты собакой жил,
Так помолись, чтоб бог тебя простил».
«Нет,— отвечал преступник рясоносный,—
Прощай, прощай, я к дьяволу иду!»
Сказал — и умер. Дух его поносный
Умножил первый легион в аду.

В то время, как монаха в полном сборе
Встречал, вздувая пламя, сонм чертей,
Благочестивый Карл, с тоской во взоре,
Вздыхая по возлюбленной своей,
Гулял верхом, чтоб успокоить горе,

Унылый, со своим духовником.
Читателю еще он незнаком.
Я парой строк сейчас исправлю это
И поясню, кто ради этикета
Был к королю, как ментор, приближен.
Он снисхожденье возводил в закон:
Добра и зла неточные мерила
Приятно зыблила его рука,
Его улыбка смертным говорила,
Что ноша добродетели легка.
Он отпускал грехи во имя веры,
Имел приятный голос и манеры,
Все примечал и превосходно льстил,
Всегда любезный и на все согласный.

Аббат монарха Франции прекрасной
(Он имя Бонифация носил)
Ученейшим доминиканцем был.
Прощая слабости людей охотно,
Он набожно и сладко говорил:
«Как жаль мне вас! Со стороны животной
Уязвлены вы. Это доля всех.
Любить Агнесу несомненный грех,
Но этот грех простится всех скорее.
Народ господень, древние евреи,
Ему нередко предавались. Сам
Отец всех верующих, Авраам,
Решил иметь ребенка от Агари,—
Его пленил служанки юной взгляд,
Недаром возбуждавший ревность в Саре.
Иаков на двух сестрах был женат.
Все патриархи жили в сладкой смене
Различнейших любовных наслаждений.
Старик Вооз — и тот решил позвать
Старуху Руфь с ним разделить кровать.
Натешившись с Вирсавией вначале,
Давид великий прожил без печали
Душой и телом в избранном серале.
И храбрый сын его, известный тем,
Что волосы врагам его предали,
Раз переведал весь его гарем.
Вам ведома и участь Соломона:
Он был мудрец, пророк и веры щит,
Иеговы опора, меч закона,
И волокита был из волокит.

Так было с первого грехопаденья.
Так есть и будет — это доля всех.
Утешьтесь! Юность ищет наслажденья,
А старость мудрая замолит грех».

«О,— Карл промолвил,— ваша речь прекрасна,
Но, к сожаленью, я не Соломон.
Он счастлив был, а я скорблю ужасно.
Имел любовниц целых триста он,
А я одну, и с этой разлучен».
По носу слезы потекли, мешая
Унылому монарху говорить.
Тут видит он, во всю несется прыть
Какой-то всадник, реку огибая,
Подпрыгивая на седле смешно.
Король узнал в нем толстяка Бонно.
Вы знаете, наперсник тайны милой
Неотразимой обладает силой,
Когда терзает нас разлуки гнет.
Король, взволнован, как при виде чуда,
Кричит ему: «Кой черт тебя несет?
Что делает Агнеса? Сам откуда?
Где взор ее блестит светлей зари?
Скорей же отвечай мне, говори!»

Бонно, монаршим не смущен допросом,
От точки и до точки рассказал
О том, как куртку он переменял,
Как поваром вождя британцев стал,
Как он удачливо порвал с Шандосом,
Когда в бою забыли про него,
Чем он обязан хитрости и чуду;
Как он красавицу искал повсюду;
О том, что знал, наговорил он груду;
А, собственно, не знал он ничего:
Не знал он рокового приключенья,
Монаха страсти, не пропавшей зря,
Любви пажа, исполненной почтенья,
И мерзости в стенах монастыря.

Все злоключения перебирая,
Вздыхая, плача и считая дни,
Судьбу и злых британцев проклиная,
Еще печальней сделались они.
Настала ночь. Сияя кротко миру,

Медведица направилась к надиру.
Задумчивому королю аббат
Сказал: «Уж поздно, в это время спят
Иль ужинают все без исключенья,
Будь то король или монах простой».
Карл, горестно поникнув головой,
Тая в груди любовные мученья
Все из-за той, которую искал,
Не отвечая, молча поскакал,
И очутились перед замком вскоре
Все трое — Карл с аббатом и Бонно.
Прах пастыря, погрязшего в позоре,
Швырнувши, как негодное бревно,
В канаву, паж, задумчивый и томный,
Глядел с досадою на мост подъемный,
Который разделял его и ту,
Чью мысленно ласкал он красоту.
Трех всадников увидев в лунном свете,
Он сладкую надежду ощутил,
Что выручат его сеньоры эти,
И выступил вперед, пригож и мил,
Скрывая имя и любовный пыл.
Как только с ними он заговорил,
К себе внушил Монроз расположенье.
Он королю понравился. Аббат
На нем остановил елейный взгляд
И пастырское дал благословенье.

Они составили все вместе чет.
Мост тотчас опускается, и вот
Коней копыта с грохотом суровым
Стучат по доскам четырехдюймовым.
Толстяк Бонно на кухню поспешил
И принялся за ужин у камина.
Аббат колена тотчас преклонил
И набожно творца благодарил;
А Карл, принявший имя дворянина,
Почтенного Кютандра отыскал.
Барон, с приветом (он еще не спал),
Ведет его к роскошному покою.
Карл только одиночества желал,
Чтоб насладиться нежною тоскою;
Он об Агнесе лил потоки слез,
Не зная, где искать свою подругу.

Осведомленнее был наш Монроз.
Он очень ловко расспросил прислугу,
Где спит Агнеса, где ее покой,
Все осторожным взглядом замечая.
Как кошка, что идет, подстерегая
Застенчивую мышку, чуть ступая,
Неслышною походкой воровской,
Глазами блещет, коготки готовит
И, жертву увидав, мгновенно ловит,—
Так юный паж, к красавице спеша,
На цыпочках, едва-едва дыша,
Шел ощупью, и наконец завеса
Отдернута, и перед ним Агнеса.
Быстрей, чем пуля из ружья летит,
Быстрее, чем железные опилки
Притягивает яростный магнит,
Войдя, любовник, молодой и пылкий,
Пал на колена пред софой, где спит
Его красавица, подобно розе,
В непринужденной и прелестной позе.
Для размышленья не было ни сил,
Ни времени. Огонь их подхватил
В одно мгновенье ока. В раскаленных
Лобзаньях нежные уста влюбленных
Слились. Заволокло желанье взор.
Слова любви? Они остались в горле.
Их языки друг друга нежно терли,
И был красноречив их разговор.
О, вздохи нег, безмолвье упоенья,
Прелюдия оркестра наслажденья!
Но этот сладостный дуэт прервать
Пришлось им по причине неизбежной.

Агнеса помогла рукою нежной
Пажу постылые одежды снять.
Век золотой не знал их, безмятежный;
Придуманная, чтобы нас стеснять,
Противная природе, эта шкура
Всего невыносимей для Амура.

Кто это, боги! Флора и Зефир?
Психея ли божка любви ласкает?
Венеру ли твой юный сын, Кинир,
В объятьях сжал, позабывая мир,
Меж тем как Марс ревнует и вздыхает?

Карл, этот Марс французский, уж давно
Вздыхает рядом в обществе Бонно.
Он ест задумчиво и пьет печально.
Старик слуга, болтлив професьонально,
Чтоб мрачное высочество развлечь,
Никем не прошенный, заводит речь
О том, что на дворянской половине
Спят двое путешественниц — одна
Брюнетка с гордым видом героини,
Другая — точно лилия нежна.
Карл вздрогнул: «Ах, Агнеса, где ты, где ты?»
Он заставляет повторить приметы:
Какие волосы, улыбка, цвет
Лица и глаз, сложенье, сколько лет.
Он узнает своей любви предмет,
Ее, жемчужину земных жемчужин,
И, убежденный, забывает ужин.
«Прощай, Бонно! Я к ней бегу тотчас».
Сказал — и улетел, стуча при этом:
Король, он редко прибегал к секретам.

«Агнеса!» — повторял оп столько раз,
Что до Агнесы крики долетели.
Чета любовников дрожит в постели.
Как избежать беды им, вот вопрос.
Но был изобретателен Монроз.
Он замечает в выступе светлицы
Подобие молельни иль божницы,
Алтарь миниатюрный, где порой
За деньги служит капуцин седой.
Пустая ниша в глубине алькова
Еще ждала пристойного святого,
Закрытая завесой голубой.
Что делает Монроз? Быстрее мыши
За занавескою в алтарной нише
Он быстро прячется и впопыхах,
Конечно, забывает о штанах.
Король вбегает в спальню, обнимает
Свою Агнесу, нежный вздор меля,
И, весь в слезах, использовать желает
Права любовника и короля.
Святой за занавескою, с тоскою
Все это видя, испускает стон.
Король подходит, трогает рукою
И восклицает, крайне удивлен:

«Отцы святые! Черт! Я это вскрою!»
В нем полуревность, полустрах кипит.
Он дергает порывисто и резко —
И падает с карниза занавеска.
Прекрасный паж, испытывая стыд,
Спиною повернулся. Выделяясь,
Белело то, что в дни былых побед
Могучий Цезарь, вовсе не стесняясь,
Вручал тебе, красавец Никомед,
За что Великий Грек во время оно
Особенно любил Гефестиона,
Что Адриан явил средь Пантеона...
Герои, сколько слабостей у вас!

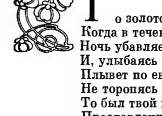
Читатели, вы помните ль рассказ
О том, как, в сердце вражеского стана,
Уснувшего Монроза нежный зад
Тремя цветами лилии подряд
Ночной порой украсила Иоанна
И как святой Денис ей помогал?
При виде лилий и при виде зада
Король смутился и молиться стал,
Вообразив, что это козни ада.
Агнесу жгут раскаянье и страх,
Она теряет чувства, крикнув: «Ах!»
Взволнованный король, в порыве муки,
Зовет, держа несчастную за руки:
«Сюда! Здесь дьявол!» Слыша эти звуки,
Встревоженный монах, забыв еду,
Спешит помочь попавшему в беду;
Испуганный Бонно, пыхтя, несется;
Иоанна пробудилась и берется
За добрый меч, что в битвах закален,
Готовая на бой идти отважно;
И только в спальне у себя барон,
Не слыша ничего, храпел протяжно.

Конец песни двенадцатой

ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Выезд из замка Кютандра. Сражение девы с Жаном Шандосом; странный боевой обычай, коему подчинена и Дева. Видение отца Бонифация. Чудо, спасающее честь Иоанны



То золотое время года было,
Когда в течении своем светило
Ночь убавляет, прибавляя к дням,
И, улыбаясь благосклонно нам,
Плывет по европейским небесам,
Не торопясь пересекать экватор.
То был твой праздник, о святой Иоанн,
Прославленный Иоанн, пустынь оратор.
Ты возвестил для всех времен и стран,
Что грешникам залог спасенья дан,
И я люблю тебя, пророк великий.
Другой Иоанн по лунным областям
С Астольфом путешествовал и там
Вернул рассудок другу Анджелики,
Коль верить Ариостовым словам.
Иоанн Второй, верни и мне мой разум!
Ты своего не отвращал лица
От сладостного, дивного певца,
Который пестро сотканым рассказом
Властителей Феррары веселил;
Ему ты строфы вольные простил,
Которые тебе он посвятил;
Прошу и я о помощи чудесной:
Я в ней нуждаюсь. Ведь тебе известно,
Что против героических годов,
Когда гремела Ариоста лира,
У нас гораздо больше дураков.
Спаси меня от всех болванов мира,
От всех хулителей моих стихов.
Порою шутки легкая отрада
Сойдет, смеясь, мой труд развеселить,
Но я серьезен, если это надо,
И только не желаю скучным быть.
Води моим пером и в сени вечной
Снеси Денису мой привет сердечный.

В окошко выглянув, Иоанна д'Арк
Увидела, что полон войска парк.
Гарцуют рыцари, горды собою,
Дам посадив на крупы лошадей;
Сто грозных всадников, готовы к бою,
Брящают сталью копий и мечей.
На ста щитах кочующей Дианы
Дрожащие играют огоньки;
Ста шишаков колеблются султаны,
И, развеваясь посреди поляны
На древках копий, будто мотыльки,
По ветру вьются пестрые флажки.
Иоанна д'Арк решила, что ворвалась
Британцев рать со стороны реки.
Но героиня наша ошибалась,—
Ошибки в бранном деле не редки,
Как, впрочем, и в других делах. Бывало,
Впросак и наша Дева попадала
Без помощи Денисовой руки.

Но нет, не властелины Океана
Пришли Кютандр осыпать градом пуль,
А Дюнуа вернулся из Милана,
Герой, которого ждала Иоанна,
И с Дюнуа — прекрасный Ла Тримуйль,
Который с нежной Доротеей вместе
Так долго странствовал по всем краям,
Любовник постоянный, рыцарь чести,
Защитник ревностный прекрасных дам.
Избегнув мести своего злодея,
О родине нисколько не жалея,
С ним путешествовала Доротея.

Итак, составив четное число,
Все это воинство в Кютандр вошло.
Иоанна мчится вниз; король решает,
Что это бой, и следом поспешает,
Палаш блистающий в руке держа
И бросив вновь Агнесу и пажа.

Был юный паж счастливей без сравненья,
Чем тот, кто славой свой украсил трон.
Чистосердечно он вознес хваленья
Святителю, чье место занял он.
Ему пришлось одеться как попало.

Одной рукою прикрывая грудь,
Красавица другою помогала
Счастливцу панталоны натянуть.
Ее уста, прекрасные, как роза,
Дарили поцелуями Монроза.
Рука, полна желанья и стыда,
Все время попадала не туда.
Спустился в парк, не говоря ни слова,
Монроз прекрасный. Господин аббат
При виде Адониса молодого
Вздохнул печально и потупил взгляд.

Меж тем Агнеса привела в порядок
Лицо, улыбку, речь и волны складок.
Монарха отыскавший своего,
Стал Бонифаций уверять его,
Что это милость божья, что чудесный
Святое место посетил гонец,
Что Франции прекрасной наконец
Знак явный подан милости небесной,
Что англичан отныне ждет беда.
Король поверил; верил он всегда.
Иоанна подтверждает эти речи:
«Нам помощь шлет всевышнего рука;
Великий государь, вас ждут войска,
Спешите к ним скорей для новой сечи».
Тримуйль и благородный Дюнуа
Свидетельствуют, что она права.
Стоявшая невдалеке, робея,
Пред королем склонилась Доротея.
Агнеса обняла ее, и вот
Из замка выезжает гордый взвод.

Смеются часто небеса над нами.
Вот и тогда их равнодушный взгляд
Следил, как бодро двигался полями
Героев и любовников отряд.
Прекрасный Карл с Агнесой нежной рядом
Дарил возлюбленную пылким взглядом,
И, королевской верностью горда,
Приветная, похожая на розу,
Красавица кивала иногда —
Какая слабость! — юному Монрозу.
Молитву путников творил аббат,
Но очень часто, утомленный ею,

Он направлял медоточивый взгляд
То на Агнесу, то на Доротею,
То на Монроза и на требник вновь.
Доспехи в золоте, в груди любовь —
Вот Ла Тримуйль! Он гарцевал, ликуя,
С прекрасной Доротеею воркуя.
Нежна, застенчива и влюблена,
Твердила о своей любви она,
Украдкою любовника целуя.
Он повторял ей, что одну мечту
Хранит в душе: окончив подвиг чести,
На лоне наслажденья в Пуату
Зажить с возлюбленной прекрасной вместе.
Иоанна, девственной отваги цвет,
Одета в юбку и стальной корсет.
В великолепном головном уборе,
На благороднейшем осле своем
Беседовала важно с королем,
Но душу ей, увы, терзало горе.
Порой Иоанна испускала стон,
Раздумывая с видом невеселым
О Дюнуа: ей рисовался он
В воспоминаньях совершенно голым.

Бонно, едва переводивший дух,
Украшен бородою патриарха,
Шел, как слуга великого монарха,
В хвосте, заботясь о хозяйстве. Двух
Ленивых мулов вел он с индюками,
Цыплятами, вареньем, пирогами,
Вином, отборными окороками.

В то время Жан Шандос меж диких скал
Исчезнувших любовников искал
И показался вдруг на повороте
Героям, размышлявшим об Эроте.
Порядочная свита с ним была,
Но были там лишь грубые вояки,
И прелесть женская в ней не цвела,
На нежных лицах не пылали маки
И на сосках бутоны алых роз.
«О, о! — воскликнул грозно Жан Шандос,—
У вас, я вижу, две, нет, три девицы,
Французы, род презренный и смешной,
А у Шандоса нету ни одной!

Без проволочек, я хочу сразиться,
Стоит Фортуна за моим плечом.
Я вызываю вас. Мы будем биться
Попеременно шпагой и копьем!
Пускай выходит драться, кто посмеет.
Тому, кто в поединке одолеет,
Из трех любая пусть принадлежит».

Бесстыдством оскорбленный, Карл дрожит
От гнева, тотчас за копье берется,
Но Дюнуа великий говорит:
«Сеньор, позвольте мне за вас бороться».
Сказавши это, он летит вперед.
Но Ла Тримуйль прекрасный в свой черед
Кричит: «Нет, я!» Никто не уступает.
Толстяк Бонно им жребий предлагает.
Так в героические времена
На узелки тянулись имена
Героев, доблестной искавших смерти.
Так участь избираемых в конверте
Таит республиканская страна.
И если смею приводить примеры,
Достойные неоспоримой веры,
Я вам скажу, что и святой Матвей
Так утвержден был в должности своей.
Дрожит за короля, кряхтит, вздыхает
Добряк Бонно и жребий вынимает.
С высот сияющих святой Денис
Глядит с отеческой улыбкой вниз,
Любуясь Девственницею могучей,
И направляет бестолковый случай.
Он счастлив: узелок Иоанной взят.
Ему хотелось, чтобы вновь, без страха,
Забыв мечты и гнусного монаха,
Она схватила боевой булат.

Священною отвагой обуянна,
За кустик скромно прячется Иоанна,
Чтобы надеть кольчугу, юбку снять,
Из рук оруженосца меч принять,
И наконец, исполненная гнева,
На своего осла садится Дева.
Колени сжав, она копьем трясет,
Одиннадцати тысяч дев зовет
Себе на помощь силу. А Шандосу

Нельзя к святым показывать и носу,
И, как безбожник, он на бой идет.
Бросается к Иоанне Жан проклятый.
Их мужество равно, блистает взор;
Осел и конь, закованные в латы,
Почуяв шпоры, мчат во весь опор.
И крепкий лоб, такой же лоб встречая,
Рождает в воздухе зловещий треск.
Кровь лошади струится, обагряя
Разбитого доспеха мрачный блеск.
Раздалось эхо страшного удара;
Неистовый пронесся крик осла;
И, разом выбитые из седла,
Лежат герои. Привязав два шара
К веревкам одинаковой длины,
Пустите их с двух точек полукруга:
Они стремятся, ярости полны,
С размаху налетают друг на друга,
И оба сплющены в единый миг;
Их вес и натиск был равновелик.
Взволнованы французы, как и бритты.
Они страшатся, что бойцы убиты.

Спасительница Франции, увы,
Как ни храбры, как ни прекрасны вы,
Но такова уж женская натура:
Сильней Шандосова мускулатура,
Устойчивее ноги, крепче кость.
Он вскакивает, источая злость.
Иоанна тоже хочет встать во гневе,
Но помешал ей глупый взбрык осла,
И на лопатки, как и должно деве,
Иоанна побежденная легла.

Шандос решает, что в ужасной схватке
Им Дюнуа положен на лопатки
Иль там король. Спешит узнать Шандос,
Кому он поражение нанес.
Снимает шлем и видит смоль волос,
Глаза прекрасные. Снимает латы
И видит, изумлением объятый:
Пред ним две груди, прелестью равны,
Разделены, округлы и нежны,
На них цветут два алые бутона,
Как розы две у тихого затона.

Предание гласит, что в этот час
Шандос творца прославил в первый раз:
«Она моя, надменная Иоанна,
Опора Франции досталась мне!
Клянусь святым Георгием, желанна
Мне Девственница гордая вдвойне.
Пускай святой Денис меня осудит:
Марс и Амур — моя защита будет».
Оруженосец вторил: «Да, милорд,
Упрочьте судьбы английского трона.
Отец Лурди в уверенности тверд,
Что Франция не понесет урона,
Пока верней, чем Лациума щит,
Вот эта девственность ее хранит,
Сулящая отчизне нашей беды.
Берите с бою этот стяг победы».
«Да,— отвечал британец,— их оплот
Теперь становится моим уделом».

Иоанна бедная, дрожа всем телом,
Обеты всевозможные дает
Денису, лишена защиты лучшей.
Герой прекрасный, Дюнуа могучий
Вздыхает. Что поделать может он,
Раз поединка свято чтут закон
Все нации? Какой ужасный случай!
Копыта врозь, с поникшей головой
И уши опустив, с Иоанной рядом
Лежит осел; с глубокою тоской
Следит он за Шандосом смутным взглядом,
Давно питая в сердце тайный пыл
К прекрасной девственнице, полной сил,—
Строй нежных чувств, которые едва ли
Ослы простые на земле знавали.

Доминиканец тоже стал дрожать:
Его пугает злой британский воин.
Он, главное, за Карла неспокоен:
Вдруг, чтобы честь отчизны поддержать
И дерзкому не дать над ней глумиться,
Король с Агнесою соединится,
И в те же воды повернут свой руль
С прекрасной Доротеей Ла Тримуйль?
Он стал под дубом, с горьким сокрушеньем,
И предался печальным размышленьям

Над действием и над происхожденьем
Приятного греха, чье имя блуд.

Почтенный брат, уединившись тут,
Был осенен таинственным виденьем,
Похожим на пророческие сны
Иакова, проныры в рукавицах,
Нажившего кой-что на чечевицах,
Как делают Израиля сыны.
Старик Иаков увидал когда-то
В вечерний час на берегу Евфрата
Баранов, лезших на хребты овец,
Которые встречали их покорно.
В том, что увидел наш святой отец,
Таились мудрости не меньшей зерна.
Он видел рыцарства грядущий цвет,
Он наблюдал, как баловни побед
С роскошными красавицами рядом
Их пожирали сладострастным взглядом,
И каждого их них (о, козни зла!)
Любовь неудержимая влекла.
Так в дни весны, когда, с небес слетая,
Зефир и Флора дарят жизнь цветам,
Разноголосая пернатых стая
Любовью тешится по всем кустам;
Целуются стрекозы здесь и там,
А львы бегут с рыканьем исступленным
К своим подругам, страстью истомленным.

Он зрит того, чья слава, как лучи,—
Франциска Первого, бойца. И что же?
С прекрасной Анной тот забыл на ложе
Утраченные в Павии мечи.
Уводят Карла Пятого от лавров
Дочь Фландрии и дочь неверных мавров.
Цвет королей! Один на склоне дней
Схватил подагру, а другой — скверней.
Вокруг Дианы резво вьются смехи,
Когда Амур, для сладостной потехи,
Ее любовной радует игрой
С тобою, Генрих, именем Второй.
Клорису для пажа позабывает
Девятый Карл, преемник твой пустой,
Не беспокоясь, что Париж пылает.

Блеск незакатной славы окружает
Тебя, о Борджа, Александр Шестой!
Ты явлен взору в образах без счета:
Здесь — без тиары, как супруг простой,
С Веноццой делишь радости Эрота,
Немного ниже — с дочерью своей
Лукрецией, признанье шепчешь ей.
О Лев Десятый, славный Павел Третий!
Все короли в любви пред вами дети;
И все же вы уступите ему,
Великому беарнцу моему;
Не столько доблесть в брани и в совете
И громкое над Лигой торжество,
Как Габриель, прославили его.
А дальше — век счастливого владыки,
Век пышных празднеств. О, не чудеса ль
Твой дивный двор, Людовик наш Великий,
Амуром выстроенный твой Версаль,
Где были призваны служить любови
Все грации, где каждый был влюблен;
Цветочным ложем стал твой славный трон,
И бог войны напрасно жаждал крови;
Амур, ты приводил их к королю,
Нетерпеливо шепчущих: «Люблю»,—
Соперниц — знаменитую доныне
Племянницу лукавца Мазарини,
Горячую, как солнце, Монтеспан
И Лавальер. Всем час блаженства дан.
Одна вкушает страстное мгновенье,
Другая ожидает наслажденья.

О времена Регентства, дни утех,
Когда никто уже не ищет славы,
А только наслажденья и забавы,
Позабывая, что такое грех,
Когда беспечного безумья смех
Доносится и в сельские дубравы!
Из своего роскошного дворца
Регент примером зажигал сердца,
И в Люксембурге Дафна молодая,
Влюбленному призыву отвечая,
Звездой двора веселого цвела;
Ее вели к постели, обнимая,
Амуры с Бахусом из-за стола.
Но я смолкаю; нынешние лета

Не смею я в стихах живописать.
Опасность не хочу я накликать;
Дни современные — ковчег завета:
И кто его посмеет тронуть, тот,
Сраженный небом, замертво падет.
Я замолчу. Но если б только смел я,
То вас бы, о красавица, воспел я,
Вас, поклоненья моего предмет,
Любви, красы и благородства цвет,
И положил бы в беспредельной вере
У ваших ног дань сердца, как Венере.
О, если бы Амур и девять муз
Мне помогли, воспел бы я союз
Любви и славы, но, увы, словами
Восторга мне не выразить пред вами.

А погрузившийся в святой экстаз
Аббат, конечно, зрел тогда и вас.
Он взором жадным, но, как прежде, скромным,
Светлейшее из зрелищ созерцал,
Как двое несравненных, с видом томным,
Пьют до конца запретных нег бокал.
«Увы, коль все великие на свете
Ведут попарно поединки эти,—
Воскликнул он,— то разъяренный бритт,
Который перед Девою стоит,
Свершает промысла закон, не боле.
Так подчинимся же господней воле,
Аминь, аминь»,— он прошептал, и вот
Благоговейно продолженья ждет.

Но нет, Денис, за Францию предстатель,
Не мог позволить, чтобы Жан Шандос
Иоанне роковой удар нанес.
Вы знаете, конечно, друг читатель,
Что будет, если завязать тесьму.
То средство страшное и колдовское;
Святой не должен прибегать к нему,
Когда он может приискать другое.
Огонь Шандоса превратился в лед.
Он, ничего не сделав, устает;
Бессилием внезапным утомленный,
На берегу желанья он поблек,
Как увядает в засуху цветок,
С согнутым стеблем, с головой склоненной,

Мечтающий с напрасною тоской
О животворной влаге, насмерть ранен.
Так усмирен был гордый англичанин
Дениса чудотворною рукой.

Иоанна быстро покидает бритта,
Приходит в чувство и, смеясь над ним,
Кричит Шандосу: «Англии защита,
Нельзя сказать, что ты непобедим.
Господь, услышавший мои молитвы,
Лишил тебя меча в начале битвы.
Но мы еще поборемся с тобой,
И отомщу я поздно или рано.
Всех англичан зову сейчас на бой.
Прощай до встречи возле Орлеана».
Шандос надменный произнес в ответ:
«Прощайте; девушка вы или нет,
Когда опять мы вступим в бой открытый,
Святой Георгий будет мне защитой».

Конец песни тринадцатой

ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Как Жан Шандос пытается обольстить набожную Доротею. Сражение Ла Тримуйля с Шандосом. Надменный Шандос побежден Дюнуа

О наслаждение, о мать природы,
Венера, просветившая народы,
Ты, чье величье славил Эпикур,
Ты, пред которою никто не хмур,
Ты, открывающая чудной властью
Дорогу к плодовитости и счастью
Бессчетной, суетной толпе людей,
Которым жизни ты самой милей;
Ты, в чьих руках искали миг забвенья
И бог небес, и грозный бог сраженья;
Ты, чья улыбка разгоняет мрак,
Ты, кем в сады обращена пустыня,
Когда по ней стремишь неслышный шаг;

Спустись с небес, прекрасная богиня,
На колеснице из живых цветов,
Которую амуры окружают,
Уносят крылья нежных голубков,
Целующихся между облаков,
И легкие зефиры провожают;
Приди в наш мир, будь ласковой к нему,
Приди; пусть подозрения и ссоры,
Отчаянье, и зависть, и раздоры
Уйдут навек в ужасный ад, во тьму,
В глубокую и вечную тюрьму:
Пусть все, что враждовало и боролось,
Услышав твой животворящий голос,
Восторженно склонится пред тобой:
Один закон да будет — только твой.

О нежная Венера, будь опорой
Монарху нашей Франции, который
Опасности предвидит впереди.
Дай мир Агнесе на его груди,
Умножь их радость, горе услади.
О девственной Иоанне не молю я:
Она еще не знала поцелуя
И власти не изведала твоей;
Святой Денис защитой будет ей.
Но Ла Тримуйля ты и Доротею
Своею милостью благослови,
Пусть вечно он не расстается с нею,
Вкушая сладкие плоды любви;
Пусть мир ее не возмутят до гроба
Былых врагов предательство и злоба.

А ты, о Комос, награди Бонно
Подарком пышным и его достойным:
Им перемирие заключено
Меж Карлом и Шандосом беспокойным.
Он, охраняя честь обеих стран
И множа пользу Франции сторицей,
Согласье получил от англичан
Луару счесть военною границей.
Он полн заботы о британцах был,
Он знал их вкусы, нравы изучил;
Им ростбифы на масле подавали,
Плумпудинги и вина предлагали,
А более изящные блюда

Пошли на стол французам, как всегда:
Тончайшие рагу, и соус сладкий,
И с красными ногами куропатки.
Шандос надменный, кончив пить и есть,
Поехал вдоль Луары. Он клянется
Раз начатое до конца довесть
И с бою взять у Девственницы честь,
А в ожиданье за пажа берется.
Близ Дюнуа, по-прежнему смела,
Иоанна снова место заняла.

Король французов, со своим отрядом,
С духовником в хвосте, с Агнесой рядом,
Поднялся по течению с версту,
Избрав для остановки местность ту,
Где замедляется волна Луары.

Плавучий мост на лодках, очень старый
И в дырах весь, годился лишь на слом;
В конце его скрывал часовню ельник.
Торжественно и важно там отшельник
Читал обедню. Мальчик дискантом
Монаху помогал в труде святом.
Но Карл молиться не повел Агнесу:
Он поутру в Кютандре слушал мессу.
Лишь Доротея нежная, с тех пор
Как испытала ужас и позор
И все ж спаслась, благодаря лишь чуду,
Не упускала случая повсюду
Воспользоваться мессою второй.
Она спешит, сойдя с коня, смиренно
Три раза окропить себя водой
И молится коленопреклоненно,
Сложив ладони с кроткою мольбой.
Ее заметив вдруг, отшельник хилый
Был ослеплен и, тяжело дыша,
Забыв воскликнуть: «Господи, помилуй!» —
Воскликнул: «Господи, как хороша!»

Шандос зашел туда же, без сомненья,
Не для молитвы, а для развлеченья.
С надменным видом, мимоходом он
Красотке делает полупоклон,
Разгуливает, свищет без стесненья
И наконец становится за ней,

Не слушая божественных речей.
Несясь к всевышнему духовным взглядом,
Моля дать сил сопротивляться злу,
Француженка лежала на полу,
Лоб опустив к земле и кверху задом.
Ее короткой юбки легкий край,
Откинувшись, как будто невзначай,
Открыл очам Шандоса очерк тайный
Двух ножек красоты необычайной.
Подобных тем, что, тронут и смущен,
Увидел у Дианы Актеон.
Тут наш Шандос, забыв богослуженье,
Почуял очень светское волненье
И, дерзко оскорбляя божий храм,
Рукою начинает шарить там,
Где было все с атласом белым схоже.
Я не намерен, о великий боже,
Описывать читателям-друзьям,
Краснеющим перед таким вопросом,
Что было дальше сделано Шандосом.

Но Ла Тримуйль, заметивший, куда
Ушла его любовь, его звезда,
В часовню за красавицею входит.
Куда, куда Амур нас не заводит?
Как раз в тот миг священник обращал
Лицо назад. Шандос же начинал
С красоткой обходиться все смелее,
И крик дрожащей, бледной Доротеи,
Казалось, слышен был на целый свет.
Я славному художнику предмет
Подобный дал бы на изображенье,
Чтоб он нарисовал всех четверых,
Их удивление и лица их.
Наш Ла Тримуйль тут закричал в волненье:
«Британец дерзкий, рыцарства позор,
Как ты решился, богохульный вор,
Во храме на такое предприятье?»
С надменным видом оправляя платье
И к выходу идя, ему Шандос
На это предложил такой вопрос:
«А вы-то, сударь, здесь при чем? И кто вы?»
«Я,— возразил француз, на все готовый,—
Ее любовник гордый и суровый,
И, знайте, у меня привычка есть

Отмщать ее нетронутую честь».
«Что ж, если так, ясна мне ваша злоба,—
Сказал Шандос.— Столкуемся мы оба.
Хоть иногда я на спину гляжу,
Но все же вам своей не покажу».

Француз прекрасный и британец гордый
Идут к коням, друзьям бессчетных сеч,
Берут рукой неколебимо твердой
Из рук оруженосцев щит и меч,
Потом, вскочив в седло, не зная страха,
Сшибаются друг с другом в вихре праха.
Прекрасной Доротеи стон и плач
Противников остановить не в силе.
Тримуйль, несясь на поединок вскачь,
«Отмщу за вас,— успел ей крикнуть,— или
Умру». Но он ошибся, потому
Что отомстить не удалось ему.

Уже он панцирь из блестящей меди
Пробил Шандосу в двух иль трех местах
И близок был к решительной победе,
Как вдруг споткнулся конь его, и, ах,
Он падает посередине боя,
И смят копытом шлем на лбу героя,
И на траву течет густая кровь.
Бежит отшельник, увидав несчастье,
Вопит «In manus», хочет дать причастье.
О Доротея! Бедная любовь!
Близ друга распростертая безгласно,
Сперва ты крикнуть силилась, напрасно,
Но наконец шепнула, чуть дыша:

«О мой любимый! Я его убила...
Покинь же тело, жалкая душа!
Меня часовня эта погубила.
Несчастие случилось оттого,
Что я на миг оставила его,
Любви и Ла Тримуйлю изменила,
Чтоб слушать две обедни в день, о, стыд!»
Так, плача, Доротея говорит.
Шандос доволен был концом сраженья.
«Француз прекрасный, храбрых украшенье,
А также ты, прекрасная моя,
Вас объявляю пленниками я.

Обычай наш известен вам, наверно.
Агнеса чуть моею не была,
Я Девственницу выбил из седла.
Но, признаю, свой долг исполнил скверно.
Все это наверстаю я сейчас
И честь британцев поддержу примерно,
А в судьи, Ла Тримуйль, беру я вас».

Отшельник, Ла Тримуйль и Доротея,
Услышав речь подобную, дрожат.
Так в глубине глухих пещер, робея,
Пастушка к небесам возводит взгляд.
Толпится стадо близ нее без толка,
И пес дрожит, увидев рядом волка.

Но хоть святая запоздала месть,
Не в силах было небо перенесть
Грехов Шандоса мерзостный излишек.
Он грабил, жег, он лгал во все часы,
Насиловал девчонок и мальчишек,
И ангел смерти это на весы
Все положил, суровый и бесстрастный.
На берегу был Дюнуа прекрасный,
Он видел поединок вдалеке,
Недвижного Тримуйля на песке,
Красавицу, безмолвную от страха,
Коленопреклоненного монаха
И гордого Шандоса на коне:
И он летит, как ветер в вышине.

В то время был обычай в Альбионе
По имени все вещи называть.
Уж победителя успел нагнать
Наш Дюнуа, уж встретились их кони,
Как вдруг непобедимый паладин
Отчетливо услышал: «Шлюхин сын!»
«Да, я таков! Но это не обида:
Таков удел и Вакха и Алкида,
Таков был Ромул и Персей таков,
Отчизны слава и гроза врагов.
Я в честь их буду биться,— то не шутка.
Припомни лучше, что рукой ублюдка
Отечество покорено твое.
О вы, чью мать ласкал властитель грома,
Мой меч направьте и мое копье!

Докажем, что ублюдкам честь знакома!»
Была молитва, может быть, грешна;
Но мифы знал прекрасно Дюнуа,
Их Библии всегда предпочитая.
И вмиг сверкнула пика золотая,
И шпоры золоченые, звеня,
Вонзились в стройные бока коня.
Ударом первым, налетев с откоса,
Разбил он многоцветный щит Шандоса
И расколол ему на два куска
Негнущуюся сталь воротника.

Удар наносит храбрый англичанин
По панцирю тяжелому копьем,
Гремят доспехи, но никто не ранен.
Вновь рыцари в порыве боевом,
Пылая гневом, чуждые испуга,
Отважно налетают друг на друга.
Их кони, сбросив грузных седоков,
Вдоль зеленью покрытых берегов
Пошли пастись спокойно в отдаленье.
Как оторвавшиеся от скалы
Во время сильного землетрясенья
Две страшных глыбы, гулко-тяжелы,
Грохочут, падая на дно долины,—
Так падают и наши паладины.
Ужасным эхом потрясен простор,
Трепещет воздух, стонут нимфы гор.
Когда Арей, сопутствуемый Страхом,
Пылая гневом, кровию покрыт,
Спускался с неба, чтобы мощным взмахом
Поднять над берегом Скамандра щит,
Когда Паллада, не смутясь нимало,
Рать ста царей на бой одушевляла,—
Была вот так же твердь потрясена;
Дрожала преисподней глубина;
И сам Плутон, бледнея в царстве теней,
Страшился за судьбу своих владений.

Подобно волнам, что о берег бьют,
Герои наши яростно встают,
Мечи свои стремительно хватают,
Сталь панцирей друг другу разрубают,
Друг друга ранят в грудь, и в пах, и в бровь.
Уже течет пурпуровая кровь

По шлемам, по разрубленным кольчугам,
И, отовсюду собираясь кругом,
На битву зрители глядят с испугом,
Молчат, не дышат и не сводят глаз.
Толпа всегда одушевляет нас;
Ее вниманье — возбудитель славы.
А поединок, грозный и кровавый,
Лишь начал разгораться в этот час.
Ахилл и Гектор, гневные без меры,
Или теперешние гренадеры,
Или голодные и злые львы,
Не так горды, не так жестоки вы,
Как наши рыцари. Ободрив чувства
И к силе присоединив искусство,
Француз британца за руку схватил,
Ударом метким меч его разбил,
Подпожку дал — и на траву откоса
В мгновенье ока повалил Шандоса.
Но, повалив его, упал и сам.
И продолжают оба битву там —
Француз поверх, а снизу англичанин.
Наш Дюнуа, почти совсем не ранен,
Великодушья сохраняя вид,
Врага давя коленом, говорит:
«Сдавайся!» — «Как же,— отвечает бритт,—
Вот получи-ка просьбу о пощаде!»

И, как-то извловчившись пред концом,
Ударил он с большою силой сзади
Коротким и отточенным ножом
Того, кто заплатил ему добром.
Но, встретив крепкие стальные латы,
Сломался пополам клинок проклятый.
Тут Дюнуа воскликнул: «Если так,
Умри, о подлый и бесчестный враг!»
И, воздавая дерзкому сторицей,
Его мечом ударил под ключицей.
Пред смертию британский паладин
Пробормотал невнятно: «Шлюхин сын!»
Его душа, где обитала злоба,
Себе осталась верною до гроба.
Его движения, черты лица
Еще врагу надменно угрожали,
И, повстречавшись с ним в аду, едва ли
Не испугался дьявол пришлеца.

Так умер, как и жил, суров и странен,
Французом побежденный англичанин.

Был благороден гордый Дюнуа
И не прельстился бранною добычей,
Презрев постыдный греческий обычай.
Он занят Ла Тримуйлем. Чуть дыша,
Тот наблюдал за битвой. Доротея
Не смеет верить гибели злодея.
Она поддерживает по пути
Любовника рукой. А он почти
Оправился, он ранен — между нами —
Лишь глаз ее прекрасными лучами.
Он снова бодр. И радость обрести
Спешит опять красавица младая,
И к чистому веселью призывая,
Уже мелькает на ее устах
Улыбка сквозь струящиеся слезы.
Так, выступив меж тучек в небесах,
Порою солнце озаряет розы.
Великий Карл, любовница его,
Сама Иоанна — все поочередно
Спешат обнять того, кто благородно
Умножил славу края своего.
И восхищаются все с удивленьем
Его отвагой чудной и смиреньем.
Искусство чести в нем воплощено:
Быть скромным и могучим заодно.

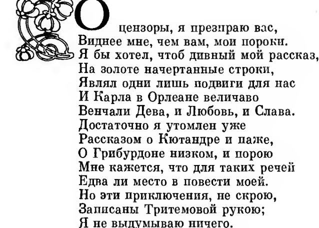
Но Девственница не совсем довольна:
В душе она завидует, ей больно,
Что не ее лилейная рука
Сразила низкого еретика,
И в памяти ее встает всечасно,
Двойным стыдом румяня цвет ланит,
Тот час, когда неукротимый бритт
Ее поверг на землю — и напрасно.

Конец песни четырнадцатой

ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Великое пиршество в Орлеанской ратуше, за которым следует общее наступление. Карл нападает на англичан. Что приключается с прекрасной Агнесой и с ее попутчиками



О цензоры, я презираю вас,
Виднее мне, чем вам, мои пороки.
Я бы хотел, чтоб дивный мой рассказ,
На золоте начертанные строки,
Являл одни лишь подвиги для нас
И Карла в Орлеане величаво
Венчали Дева, и Любовь, и Слава.
Достаточно я утомлен уже
Рассказом о Кютандре и паже,
О Грибурдоне низком, и порою
Мне кажется, что для таких речей
Едва ли место в повести моей.
Но эти приключения, не скрою,
Записаны Тритемовой рукою;
Я не выдумываю ничего.
И ежели читатель, углубившись
В подробности рассказа моего
И на создателя их рассердившись,
Решит сурово осудить его,
Пусть проведет он пемзою по строкам,
Которые посвящены порокам.
Но истину он все же должен чтить.

О Истина, невинная богиня.
Когда ж твоя восславится святыня?
Ты, призванная вечно нас учить,
Зачем в колодце предпочла ты жить?
Когда придешь ты нас благословить?
Когда писатели в моей отчизне,
Забывши ненависть, оставив лесть,
Расскажут нам про трудность бранной жизни,
Про паладинов подвиги и честь?
О, как был осторожен Ариосто,
Когда, столь величаво и столь просто,
Епископа Турпина в первый раз
Он имя ввел в свой сладостный рассказ!

Еще не одолев своей тревоги,
По Орлеанской ехал Карл дороге,
Сопутствуемый свитой золотой,
Блиставшей роскошью и красотой.
У Дюнуа он спрашивал совета.
Таков царей обычай искони:
В несчастье обходительны они,
Заносчивы в удачливые дни.
Агнеса и доминиканец где-то
Скакали следом. Королевский взгляд
Уж обращался много раз назад,
И был рассеян царственный повеса;
Когда бастард, отвагою объят,
Звал: «В Орлеан»,— король шептал: «Агнеса».

Счастливый Дюнуа, душою тверд
И зоркостью врагам отчизны страшен,
Под вечер обнаружил некий форт,
Который плохо укрепил Бедфорд,
Поблизости от осажденных башен.
Он взял его, Карл водворился в нем.
Здесь находились английские склады.
Бог страшных битв, не знающий пощады,
Бог пиршеств, управляющий столом,
Наполнить это место были рады —
Один снарядами, другой вином.
Все принадлежности войны ужасной,
Все то, что услаждает мир прекрасный,
Здесь были соединены в одно,
Как бы для Дюнуа и для Бонно.

Весь Орлеан, забыв на день тревогу,
Спешил принесть благодаренье богу.
Молебствия многоголосный гам,
Собравший городскую знать во храм;
Обед, где, буйной радостью объяты,
Епископ, мэр, монахи и солдаты
Вповалку оказались на полу;
Огонь, пронзающий ночную мглу
И бьющий ввысь сквозь пелену тумана,
Народа крик, веселый звон тимпана —
Все точно пело громкую хвалу
Тому, что Карл, среди французов снова,
Подходит к стенам города родного.

Но крики радости в единый миг
Сменил отчаянья протяжный крик.
Повсюду слышится: «Бедфорд! Тревога!
На стены! В брешь! Вперед! Нужна подмога!»
Пока, хваля весь королевский род,
Беспечно пьянствовали горожане,
Без шума положили англичане
Две толстые сосиски у ворот,
Но не телячьи и не кровяные,
Бонно придуманные для рагу,
А порохом набитые, стальные,
Кровь заставляющие стыть в мозгу
И гибель приносящие врагу;
Снаряд ужасный, мощный, как стихия,
И брызжущий средь ночи или дня
Клубами Люциферова огня.
Фитиль, таящий смерть и разрушенье,
Воспламеняется в одно мгновенье —
И вдруг летят на тысячу шагов
Крюк, створы, подворотня и засов.
Тальбот надменный через брешь вбегает,
Успехом, местью, страстью он пылает.
Инициалы госпожи Луве
Сияют золотом на синеве
Стального шлема. Гордый и упрямый,
Он полон был любезной сердцу дамой
И средь развалин и недвижных тел
Ее ласкать и целовать хотел.

Герой суровый, столь привычный к бою,
Ведет полки британцев за собою
И говорит: «Товарищи, пройдем
По городу пожаром и мечом,
Напьемся вволю и вином и кровью
И насладимся досыта любовью!»
Не мог бы, кажется, и Цезарь сам,
Умевший доблесть прививать сердцам,
Удачней речь держать своим бойцам.

На месте, где с протяжным, долгим стоном
Завесой дыма землю взрыв застлал,
Тянулся каменный, широкий вал,
Построенный Ла Гиром и Потоном.
Он мог преградой послужить врагам

И оказать хоть в первое мгновенье
Бедфорду гневному сопротивленье.

И вот уже Потон с Ла Гиром там.
Тьма удальцов сопутствует героям,
Орудия грохочут с перебоем,
И леденит сердца команда: «Пли».
Лишь черный дым рассеялся вдали,
По лестницам, приставленным рядами,
Полки британцев движутся волнами,
И, меч или копье держа, солдат
Торопит верхних, яростью объят.

Разумных мер принять не забывали
В опасности Ла Гир, как и Потон.
Их каждый шаг был взвешен и решен,
И все они предвидели и знали.
Большие чаны масла и смолы,
Отточенные, острые колы,
Кос беспощадных лезвия стальные,
Как бы эмблемы Смерти роковые,
Мушкеты, сыплющие без конца
На головы британцев град свинца,
Все, что необходимость, и искусство,
И ужас, и отчаяния чувство
В сражениях пускают в ход умно,
Все было в битве употреблено.
В канавах, у орудий — всюду бритты,
Обварены, изранены, убиты.
Так летом под серпами у межи
Ложатся на землю колосья ржи.
И все же не слабеет наступленье:
Чем больше жертв, тем яростнее гнев.
Ужасной гидры го́ловы, слетев
И отрастая вновь и вновь, в смятенье
Не привели тебя, герой Алкид;
Так и теперь готов был каждый бритт,
Опасности и гибель презирая,
Идти вперед за честь родного края.

Ты был на стенах, дымом окружен,
Цвет Орлеана, пламенный Ришмон.
Пять сотен горожан со всех сторон
За паладином шли, шатаясь, следом,
Еще перегруженные обедом.

Еще вино пылало в них огнем,
И глас Ришмона прогремел, как гром:
«Несчастные! У вас ворот не стало,
Но с вами я,— а это ведь не мало!»
И с яростью он на врага летит.
Уже Тальбот, храня надменный вид,
Был на верху стены. Одной рукою
Несет он смерть и гибель пред собою,
Другой — солдат одушевляет к бою,
Крича: «Луве!» — как Стентор. Из окна
Луве услышала и польщена,
Британцы также все «Луве!» кричали,
Хотя причины этому не знали.
О, как легко, людской презренный род,
Тебе вложить любую глупость в рот!

Карл на форту, в уныньe погруженный,
Британскими войсками окруженный,
Не в состоянье сделать ничего.
Омрачена тоской душа его.
Он говорит: «Ужели я не в силах
От гибели спасти французов милых?
Они тут собрались встречать меня,
Торжественно войти собрался я
И вырвать их из рук врагов надменных:
И вот теперь мы сами вроде пленных».
«Нет,— молвила Иоанна,— пробил срок,
Идем сражаться! Покарает рок
Британцев под стенами Орлеана.
Идем, король! Для вражеского стана
Грознее вы, чем тысяча бойцов!»
Ей Карл в ответ: «Не надо льстивых слов!
Немногого я стою, но, быть может,
Мне защитить французов бог поможет».
Он мчится на коне в огонь и дым,
Белеет орифламма перед ним;
За ним несутся Дюнуа с Иоанной,
Оруженосцы Карлу в рот глядят,
И вся округа полнится осанной:
«Король, Монжуа, святой Денис, виват!»

Карл, Дюнуа воинственный и Дева
Летят на бриттов, бледные от гнева.
Так с темных гор, в которых рождена
Дунайская и Рейнская волна,

Орел, паря широкими крылами,
Готовя когти и блестя глазами,
Несется к соколу и торжество
Над цаплей отнимает у него.

Французы наступают очень бойко,
Но держатся и англичане стойко:
Они как сталь, которая в огне
Становится упорною вдвойне.
Вы видите ль героев Альбиона
И эту рать потомков Клодиона?
Отважные и пылкие, на бой
Они летят, как ветер грозовой.
Сошлись, и вот стоят, друг с другом споря,
Как каменный утес под пеной моря.
Они, нога к ноге, к виску висок,
Плечо к плечу, глаз к глазу, к телу тело,
Хулу на бога изрыгают смело
И падают без счета на песок.

Ах, отчего, потомкам для примера,
Гекзаметром не смог я овладеть!
Счастливый жребий одного Гомера —
О приключеньях и о битвах петь,
Описывать удачи, раны, беды,
Их прославлять, считать и повторять
И Гектора великие победы
Победами другими умножать.
Успеха в том заключено искусство.
И все же я сдержать не в силах чувство,
Меня толкающее рассказать,
Что довелось Агнесе испытать,
Пока наносит Карл врагам удары.

Дорогою на берегах Луары
Она вела с аббатом разговор,
А тот, отеческий склоняя взор,
Ей о лукавом говорил, умея
Нравоученья спрятать острие
Под вымыслом, приятным для нее.
Невдалеке Тримуйль и Доротея
Вели беседу о любви своей,
Мечтая о прекраснейшем из дней,
Когда вполне они займутся ей.
На их пути природой благодатной

Разостлан был ковер травы приятной,
Как бархат, гладкий, равный тем лугам,
Где Аталанту представляют нам.
Пленившись им, поблизости от леса,
К любовникам подъехала Агнеса.
Ее нагнал аббат. Все вчетвером
Держали путь, беседуя о том,
Как бог всесилен, как любовь прекрасна,
Как козни дьявола узнать опасно.
И вдруг все точно обернулись сном,
И каждый, зыбкой застилаясь мглою,
Скрываться начал тихо под землею,—
Конь, всадник, ноги, тело, голова,—
И все покрыла мягкая трава;
Так в опере поэта-кардинала,
Которая в неделю раза два
Иль даже три нам уши раздражала,
Героев, претерпевших много мук,
Глотает ад или, вернее, люк.

Монроз, случайно выходя из лесу,
Увидел проезжавшую Агнесу
И побежал навстречу, чтоб скорей
Почтенье засвидетельствовать ей,
Но вдруг остановился, столбенея:
Агнесы нет, пропала Доротея;
Как мрамор бледен, неподвижен, прям,
Раскрывши рот, он исчезает сам.

Поль Тирконель, заметив издалека
Все происшедшее, спешит туда,
Но, прискакав на место, волей рока
Он тоже тихо тает без следа.
Они летят всё вглубь, и напоследок
Пред ними возникает сад, каким
Не наслаждался сам Людовик, предок
Того, кто презираем и любим.
А сад вел к замку. Изукрашен чудно,
Он сада пышного достоин был.
В нем жил... (мне даже выговорить трудно)
Гермафродит безжалостный в нем жил.
Агнеса, Бонифаций, Доротея!
Что с вами станется в гнезде злодея?

Конец песни пятнадцатой

ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Как святой Петр успокоил святого Георгия и святого Дениса и как он обещал великую награду тому из них, кто явится с лучшею одою. Смерть прекрасной Розамор

Разверзнитесь, небесные чертоги!
Пернатые, сияющие боги,
Вы, охранительной рукой своей
Ведущие народы и царей,
Вы, что за радугою крыл таите
Небесных сфер таинственный предел,
Посторониться соблаговолите,
Чтобы и я одно из странных дел,
Происходящих в небе, разглядел,
И любопытство мне мое простите.

Молитву эту сочинил аббат
Тритем, не я. Мой многогрешный взгляд
Подняться не дерзает так высоко
Под самое всевидящее око.

Георгий и Денис, мрачнее туч,
Сидели в небе, заперты на ключ;
Помочь своим, хотя бы те их звали,
Уже не в силах, находясь горе́,
Они отчаянно интриговали,
Как все, кто обитает при дворе,
И беспокоить не переставали
По очереди старого Петра.

Великий вратарь,— чей наместник в Риме,
Объемля судьбы мрежами своими,
Хранит ключи от зла и от добра,—
Петр им сказал: «Вы знаете, наверно,
Друзья мои, как дело было скверно,
Когда я Малху ухо отрубил.
Был господин в ужасном раздраженье;
Он отнял меч мой и меня лишил
Навеки прав участвовать в сраженье.
Я много осторожнее с тех пор,
Но я придумал, как решить ваш спор.

Святой Денис, ищите в рощах рая
Святых-французов, время не теряя;
Георгий соберет со всех сторон
Святых, чьей родиной был Альбион.
Сочувствующий каждому народу
Отряд святых пусть сочиняет оду,
Но — чур! — в стихах. Гудара жалок труд.
Язык богов один приличен тут.
Пусть пиндарическую оду сложат,
Где первенство мое, права, дела
Превознесла бы должная хвала;
Пусть сочинив, на музыку положат:
У смертных медленно идут дела
С рифмовкою стихов довольно гадких;
По части рифм богаче небосвод.
Идите, упражняйтесь в звуках сладких;
Кто лучше всех стихи напишет, тот
Победой увенчает свой народ».
Так с высоты сияющего трона
Соперникам обоим страж закона
Рек лаконично среди райских кущ:
Ведь лаконизм лишь избранным присущ.
Услышав это, мига не теряя,
Георгий и Денис по кущам рая
Идут сбирать товарищей своих,
Из тех, что образованней других.

Святитель, почитаемый в Париже,
Немедля усадил меня поближе
Святого Фортуната, гимны чьи
Монашки распевают голосисто,
И пившего кастальские струи
Проспера, гордеца и янсениста.
Святой Григорий в список был включен,
Епископ, славившийся даром барда,
Из тех краев, где был Бонно рожден;
Не позабыли мудрого Бернарда,
Чья сила в антитезе; лучший цвет
Был приглашен Денисом на совет,
Как повелось с тех пор, что создан свет.

Георгий на его приготовленья
Глядел с улыбкой злого сожаленья,
Однако разыскал и он в раю
Британского святого, Августина,

И так сказал: «Неважно я пою;
Мне с детства нравится одна картина —
Летать с мечом в руках в лихом бою:
Не рифмы слушать, а сраженья звуки,
Пронзая груди и ломая руки.
Ты ж стихотворец, честь родной страны
В твоих руках. Так обратись же к музам.
Один британец на полях войны
Не уступает четырем французам.
В Бретани, в Пикардии — всюду страх
Мы поселяли в этих господах;
Всегда мы были первые в боях,
И если в славных воинских науках
Никто из бриттов не был превзойден,
То и в словесности, и в сладких звуках
Не осрамится гордый Альбион.
Старайся, Августин. Греми на лире.
Искусством песен, силою мечей
Пусть будет Лондон первый город в мире.
Со всех приходов Франции своей
Денис собрал бездарных рифмачей;
Тебе ль страшиться этакого сброда?
Берись за дело, выступай смелей,
Яви талант британского народа!»

Святитель, опуская очи вниз,
Благодарит патрона за доверье.
В укромном уголке он и Денис
Садятся сочинять. Скрипят их перья.
Но вот окончен труд. Как веера,
Над троном разукрашенным Петра
Архангельские крылья золотые
Затмили небо. Ангелы, святые,
Все, кто попроще, чтоб услышать суд,
Расположившись на ступеньках, ждут.

И начал Августин; он воспевает
Жестокие преданья старины
И славу Моисея; вспоминает,
Какие чудеса им свершены:
Как пена жаркой крови обагрила
Спокойно плещущие волны Нила;
Как был ужасен зной пустых полей;
Как лозы превращались в страшных змей;
Он говорит о днях, ночами ставших,

О тучах мошек, на землю упавших,
О вопиющих к небесам костях,
О детях, у отцовского порога
Задушенных с соизволенья бога;
О горести египтян; о путях
Евреев, выкравших у них посуду
И воровству обязанных, как чуду;
О странствованье сорок лет повсюду:
О тысячах убитых за тельца,
А также и за то, что их сердца
Пленялись чарой женского лица;
И об Аоде, что во время оно
Кровь господина пролил в честь закона;
О Самуиле, что был сердцем благ
И кухонным ножом, во имя блага,
На части искромсал царя Агага
За то, что не обрезан был Агаг;
И о красавице, что шутку злую
Сыграла, защищая Ветилую;
О том, как Васой был убит Надад,
И об Ахаве, сшедшем в тень гробницы
За то, что пощажен им Венадад;
О том, как сверг царя Иегозавад,
Сын Атровада; о делах царицы,
Которую так зло казнил Иоад.

Рассказ его, быть может, длинноватый,
Воспоминаньями был перевит
О древности роскошной и богатой,
Где солнце плавится, где вспять бежит
Морская хлябь и где огонь блестящий
Еще владеет сушею дрожащей;
Где мор и разрушенья каждый раз,
Когда проспется бог нетерпеливый;
И тут же шелестящие оливы,
И реки молока, отрада глаз,
И горы, где танцует каждый атом,
Подобно веселящимся телятам.
Почтенный автор пел творцам миров,
Который угрожал царю халдеев
И цепи рабства не снимал с евреев,
Но вечно зубы сокрушал у львов,
Ужасных змей топтал ногой титана
И с Нилом вел беседу, не страшась
Ни василиска, ни левиафана.

Здесь ода Августина прервалась.
Он кончил. Легкий шум неодобренья
Пронесся по толпе блаженных. Знак,
Не очень лестный для стихотворенья.
Тут поднялся его смиренный враг,
Всем видом выразив свое смущенье
Перед небесным сонмом, восхищенье
И трепет перед ним. Потом добряк
С улыбкою любезной и приятной
Поклон отвесил низкий, троекратно,
Судье, советникам и прочим всем
И нежным, слабым голосом затем
Свое стихотворенье начал внятно:

«О Петр, о Петр! Ты, именем Христа
Корабль господень по волнам ведущий,
Первосвященник мудрый, стерегущий
Обители небесной ворота,
Царей владыка, пастырь и хранитель,
Наставник, кормчий и руководитель,
Тебя, о Петр, поют мои уста.
Монархов христианнейших опора,
Твоей десницей сила их жива;
Обереги венцы их от позора:
Чисты права их, то — твои права.
Наместник твой владычествует в Риме,
Распоряжаясь царствами земными,
Но и венец, и королевский сан
Тобой одним, твоею властью дан.
Увы! Парламент наш, сказать обидно,
Монарха доброго прогнал бесстыдно,
Законного наследства сын лишен,
И чужеземец занимает трон.
Спаси же Францию, восставь закон,
Ключарь господень, возмести урон
И Карла утверди на отчем троне».

Святой Денис, начав в подобном тоне,
Остановился. Он одним глазком
Взглянул на слушателей и потом
На самого Петра, чтоб догадаться,
Годятся похвалы иль не годятся,
И скромно опускает очи вниз,
Прочтя во взоре: «Продолжай, Денис».

И старец продолжает осторожно:
«Возлюбленная братия, возможно,
Что мой соперник вас очаровал;
Он бога мести звонко воспевал,
Но бога милосердия пою я:
Любовь сильнее злобы. Аллилуйя».

Затем Денис, уверенно рифмуя,
Приятно рассказал, как пастырь стад
Заблудшую овцу привел назад;
Как добрый фермер заплатил ленивцу,
Негодному работнику, сонливцу,
Рабу, не исполнявшему работу,
И тем его к раскаянью привлек,
И тот наутро, не жалея поту,
С усердием исполнил свой урок;
Как накормил божественный пророк
Пять тысяч человек пятью хлебами;
Как, тронутый горячими мольбами,
Он, к многогрешной снисходя рабе,
Позволил ноги отереть себе
Косою грешницы, познавшей веру.
Он думал об Агнесиной судьбе,
Которая к библейскому примеру
Прекрасно подходила. В глаз, не в бровь
Намек был пущен. Ловкий ход удался,
Растроган суд, и прощена любовь.
Гул одобренья по рядам раздался,
Ко всем сердцам ключ подобрал Денис
И получил единогласно приз.
Был англичанин в проигрыше чистом;
Осмеянный, он скрыться поспешил,
Сопровождаем криками и свистом.
Так некогда в стенах Парижа был
Уничижен педант с лицом Терсита,
Чья речь была насмешками покрыта,
За то, что он, презренный враг добра,
Бесчестил Муз и рыцарей пера.

Два agnus'а приняв из рук Петра,
Денис на землю спешно шлет с посланцем
Судилищем подписанный приказ,
Гласящий, чтобы в тот же день и час
Француз приял победу над британцем.

Гарцующая гордо на коне
Иоанна увидала в вышине
Обличие осла ее патрона.
Так облака в лазури небосклона
Порой знакомый очерк создают.
Она вскричала радостно и гордо:
«Господь за нас! Насильники падут».

Смутило чудо грозного Бедфорда.
Уже не всемогущ, уже смущен,
Растерянно глядит на небо он,
Пытаясь прочитать, за что во мраке
Георгием покинут Альбион.
Британские войска, страшась атаки,
Торопятся оставить Орлеан,
Теснимые толпою горожан,
Крикливой, кое-как вооруженной.
Прекрасный Карл, резнею окруженный,
Прокладывает путь сквозь этот сброд,
И осаждающие, в свой черед,
Осаждены и сжаты отовсюду;
Убитых груда падает на груду
Во рвах, на бастионах, у ворот.
В хаосе ужаса и беспорядка
Тотчас нашли себе по вкусу цель
Бесстрастие, надменная повадка,
Отвага Христофора д'Арондель.
Не произнес отважный бритт ни слова;
Он на свирепый бой глядел сурово
И равнодушно, будто перед ним
Кровь не лилась, не расстилался дым.
Шла молодая Розамор с ним рядом,
В руке лилейной острый меч держа,
Забралом, каской, воинским нарядом
Напоминая стройного пажа;
На солнце искрилась броня стальная,
Вились на каске перья попугая;
Она бесстрашно шла вперед. С тех пор,
Как маленькая ручка Розамор
Однажды Мартингеру отрубила
В кровати голову,— она любила
Сраженья, ей наскучила игла.
Палладой смелой иль самой Иоанной
Она бок о бок с д'Арونделем шла,
Шепча ему чуть слышно: «Мой желанный»

Но демон, что на всех влюбленных зол,
Немедленно на их дорогу свел
Ла Гира молодого, и Потона,
И бессердечного, как сталь, Ришмона.
Невозмутимый д'Арონделя вид
Потона дразнит. Он к нему летит,
И вот, с ужасным брошено размахом,
Копье, пронзая бок, выходит пахом.
Кровь льет рекой. Проклятье, слабый стон,
Последний вздох — и умирает он.

Ни вопля, ни мольбы в тот миг ужасный
Не сорвалось с уст Розамор прекрасной.
Над дорогим возлюбленным своим
В слезах отчаянья она не билась,
Коса ее покровом золотым
Над трупом храбреца не распустилась.
Она вскричала: «Месть!» — и вот, пока
Потон стоял, склонившись перед нею
И поднимал копье, ее рука,
Та, что седую голову злодею
Снесла в кровати, в яростной тоске
Потона хвать с размаху по руке,
Такой могучей и такой виновной.
Она глядит с усмешкой хладнокровной,
Как пальцы вздрагивают на песке,
Как нервы, что под кожею таятся,
В последней судороге шевелятся.
С тех пор писать уже не мог Потон.

Но тут Ла Гир услышал друга стон,
И роковой удар наносит он
Прекрасной Розамор. Она упала,
Открылась грудь, два нежные цветка,
Высокий лоб блеснул из-под забрала,
Рассыпались ее кудрей шелка,
И взор, синеющий ясней сапфира,
Свидетельствует ясно, что она
Была для наслажденья создана.
Тяжелый вздох слетает с уст Ла Гира,
Он слезы льет и жалобно твердит:
«О, небо, я убийца, срам и стыд!
Теперь не рыцарь я — разбойник прямо!
Увы, навеки чести я лишен!
Подумать только — мной убита дама».

Но, как всегда, насмешливый Ришмон
И грубый, как всегда, сказал: «Мне странно
Глядеть на твой сентиментальный пыл;
Ведь англичанка та, что ты убил,
И вряд ли девственница, как Иоанна».

Пока он эту грубость говорил,
Он чувствует, что ранен. Обозленный,
Дрожа от гнева, он летит вперед;
Британскими войсками окруженный,
Он и направо и налево бьет.
Ла Гир и он, рубя с ожесточеньем,
Как бы уносятся вперед теченьем;
Сраженных горы каждый миг растут,
Британцы делают из них редут;
К нему бросаются герои наши.

В кровавой и ужасной этой каше
Король сказал: «Мой милый Дюнуа,
Скажите мне, скажите, где она?»
«Кто?» — Дюнуа спросил. «Она ушла,—
Твердил король,— увы, что с нею стало?»
«С кем?» — «Нет ее! У замкового вала,
Когда мы с вами встретились... Бог мой...
Ее сегодня не было со мной...»
«Ее найдем мы»,— молвила Иоанна.
«О боже, сохрани,— король просил,—
Агнесу верной мне!» — и наносил
Удары англичанам неустанно.

Но вскоре ночь, своею пеленой
Таинственно окутав шар земной,
Остановила гордую забаву
Монарха, пожинающего славу.

Воинственную прекратив игру,
Король узнал, что нынче поутру
Видали несколько особ прекрасных,
Что выделялась между них одна
Улыбкой, белизною рук атласных,
Божественной осанкою. Она
Легко скакала на седле богатом,
Ведя беседу с толстяком аббатом.
Оруженосцы с копьями в руках,
Сеньоры на арабских скакунах,

Которые то прядали, то ржали,
Прекрасных амазонок окружали.
Отряд великолепный проскакал
К дворцу, которого никто не знал,
Который оставался неизвестным
До той поры всем жителям окрестным,
Но роскошью причудливой блистал.

«Кто верен мне, тот следует за мною,—
При этой вести Карл сказал Бонно.—
На поиски поедем мы с зарею.
Пусть мне грозит опасность, все равно.
Я иль умру, иль отыщу Агнесу».
Он спал недолго. И едва в завесу
Небесных туч просунул Фосфор нос,
Предшественник Авроры нежных роз,
Едва еще на небе запрягали
Коней для Солнца, как заведено,—
Король, Иоанна, Дюнуа, Бонно,
Вскочив в седло, немедля поскакали
Отыскивать таинственный дворец.
Карл молвил: «Только б мы ее сыскали!
А англичане подождут, ей-ей:
Всего важней соединиться с ней».

Конец песни шестнадцатой

ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Как Карл VII, Агнеса, Иоанна, Дюнуа, Ла Тримуйль и другие сошли с ума; и как заклинания преподобного отца Бонифация, королевского духовника, вернули им разум

Как много колдунов на этом свете!
Я о колдуньях уж не говорю.
Хоть юности я миновал зарю,
Желаний цепи, увлечений сети,
Но иногда к обману, точно дети,
Склоняются и зрелые умы,
Особенно, когда наш совратитель —
В одеждах пышных мощный повелитель.

Он, вознеся, свергает в бездну тьмы,
Где горечь пьем и смерть находим мы.
Остерегайтесь сталкиваться с силой,
Какой владеют эти ведуны.
Читатель-друг! Коль чары вам нужны,
Пусть это будут чары вашей милой.

Гермафродит соорудил дворец,
Чтоб, задержав Агнесу в этом месте,
Подвергнуть страшной, небывалой мести
Дам, рыцарей, ослов, святых, всех вместе,
За то, что опозорился вконец
Благодаря их святости и чести.
Кто в замок очарованный вступал,
Своих друзей, тотчас позабывал,
Ум, память, чувства, все, чем жизнь прекрасна.
Вода, которой поят мертвецов
У гибельных летейских берегов,
В сравненье с этим — менее опасна.

Под портиком величественным здесь,
Различных стилей представлявшим смесь,
Разгуливал жеманно призрак пышный,
С горящим взором, поступью неслышной,
Стремительный, порывистый, живой,
Украшенный блестящей мишурой.
Он весь непостоянство, весь движенье
И называется — Воображенье.
Не та богиня чудной красоты,
Которая с волшебной высоты
Рим и Элладу озаряла светом,
Свои алмазы и свои цветы
Дарившая торжественным поэтам,—
Гомеру, вдохновенному слепцу,
Вергилию, поэту-мудрецу,
Овидию, изгнаннику-певцу,—
Но божество, чей здравый смысл хромает
И чей девиз: как можно больше ври;
К нему немало авторов взывает,
Оно напутствует и вдохновляет
Сорлена, Лемуана, Скюдери
И чепуху струит из полной чаши
На оперы и на романы наши;
Театр, и суд, и университет —
Вымаливают у него совет.

Воображенье на руках качало
Уродца-болтуна Галиматью;
«Глубокий», «серафический», бывало,
Он богословов поучал семью,
Толкуя томы непонятных бредней;
Нам всем известен труд его последний —
«История Марии Алакок».
Жужжащим роем вкруг Воображенья
Вились Обман, Двусмысленность, Намек,
Навет, и Кривотолк, и Заблужденье,
Нелепая Игра дурацких слов,
И Вымысел, и Толкованье снов.
Так вкруг совы под нежилою крышей
Летучие бесшумно вьются мыши.
Как бы там ни было, ужасный дом
Был сделан так, что, очутившись в нем,
Теряет разум человек, покуда
Судьба не выведет его оттуда.

Агнеса в глубь таинственных палат
Едва вошла на радость адским силам,
Как тотчас показался ей аббат
Не Бонифацием, а Карлом милым,
Любимым ею страстно, всей душой.
Она твердит: «Мой милый, мой герой,
Я счастлива, что вы опять со мной!
Не ранены ли вы? Где ваша свита?
Что армия британская — разбита?
Ах, дайте я кольчугу с вас сниму»
Она, в приливе нежности, желает
Снять рясу с Бонифация, вздыхает
И падает в объятия к нему.
С огнем в крови, со взором, полным света,
Агнеса ждет на поцелуй ответа.
Бедняжка, ты огорчена была,
Когда, ища надушенных фиалкой
Ланит, столкнулась с рыжею мочалкой,
Похожею на бороду козла?
Аббат боится, что сейчас погубит
Священный целомудрия обет,
И убегает. «Он меня не любит!» —
Кричит она, спеша ему вослед.

Пока они бежали друг за другом,
Аббат — крестясь, она — крича: «Постой!» —

Был поражен отчаянной мольбой
Их слух: то женщина, склонясь с испугом
Пред грозным рыцарем, одетым в сталь,
Молила о спасенье. Труд бесцельный:
Он меч схватил, ему ее не жаль,
Сейчас он нанесет удар смертельный,
В злодее этом можно ли узнать
Тримуйля, рыцаря, столь благородно
Готового везде, когда угодно
За Доротею жизнь свою отдать?
Он хочет Тирконеля наказать,
Заклятого врага воображая
В своей возлюбленной. Не узнавая
Тримуйля, Доротея, в свой черед,
На помощь друга верного зовет,
Потом твердит в заботе и печали:
«Ответьте, умоляю, не встречали
Вы господина сердца моего?
Он только что был здесь, и нет его.
О Ла Тримуйль, о дорогой любовник,
Кто нашего несчастия виновник?»
Она напрасно это говорит,
Тримуйль не понимает слов подруги;
Ему мерещится, что гордый бритт
Пред ним — с мечом в руках, в стальной кольчуге
Вступить в борьбу с врагом стремится он,
Меч обнажив, идет на Доротею,
Так говоря: «Британец, я сумею
Заставить вас понизить дерзкий тон.
Наверное, перепились вы пива,
Грубьян,— он восклицает горделиво,—
Но меч мой вас научит на лету
Почтенью к рыцарю из Пуату,
Чьи предки славные во время оно
Без счету отправляли в мир теней
Таких же наглецов из Альбиона,
Но только похрабрей и познатней.
Что ж вы стоите, не берясь за шпагу,
Что ж потеряли вы свою отвагу,
Речь гордую и мужественный вид,
Британский заяц, английский Терсит?
Я знаю вас: в парламенте горланят,
А в битве трусят! Обнажай же меч,
Иль двести пятьдесят плетей изранят
Тебя от жирной задницы до плеч,

И медный лоб твой, заяц злополучный,
Я меткой заклеймлю собственноручной».
Растерянна, едва дыша, бледна;
Внимает дева гордому герою.
«Не англичанин я,— твердит она,—
За что вы так обходитесь со мною?
Я ненавистна вам не потому ль,
Что мой любовник — славный Ла Тримуйль?
О, сжальтесь! Женщина в слезах и муке
Целует ваши доблестные руки!»
Она напрасно молит: глух и нем,
Тримуйль, рассвирепев уже совсем,
Схватить за горло хочет Доротею.

Но, дамой нагоняемый своею,
О них споткнувшись, бедный духовник
Вдруг падает и испускает крик;
Тримуйль его хватает в диком раже
За волосы и падает туда же;
С разбега кубарем — печальный вид —
Агнеса нежная на них летит;
И между ними бьется Доротея,
Зовя Тримуйля и кляня злодея.

С зарей, как это было решено,
Король, сопровождаемый Бонно
И Дюнуа с отважною Иоанной,
Поспешно направлялись в замок странный,
О, чудеса! О, сила волшебства!
Чтоб отыскать скорее след желанный.
Едва сошли они с коней, едва
За ними двери замка затворились,
Все четверо тотчас ума лишились.
Так и у нас в Париже доктора
Бывают и способны и учены,
Пока не настает для них пора
Торжественно вступить под сень Сорбонны,
Где Путаница и нелепый Спор
Устроились удобно с давних пор
И мысль разумная звучит как шутка;
Толпа ученых входит в этот храм;
На вид они не лишены рассудка,
Почтение они внушают вам,
Все смотрят сановито и прилично,
Все по-латыни говорят отлично,

Толкуют обо всех и обо всем,
И все же — это сумасшедший дом.

Карл, опьянен от нежности и счастья,
С блестящим взором, в неге сладострастья,
С сердцебиеньем и огнем в крови,
Твердит на нежном языке любви:
«Мой друг, моя Агнеса дорогая,
Моя красавица, мой рай земной,
Как часто я страдал, тебя теряя,
Как счастлив я, что ты опять со мной,
Опять в моих объятьях тесно, тесно!
О, если б знала ты, как ты прелестна!
Но будто пополнела ты слегка,
Тебя не может обхватить рука,
Не узнаю твой стан: он был так тонок.
Какой живот, и бедра, и бока!
Агнеса! Это будет наш ребенок,
Наш милый сын, любви бесценный плод,
Который Францию превознесет.
Пусти меня скорее к милой детке,
Дай поглядеть, удобно ли ему,
Пусть милый плод к родной приникнет ветке,
Пусти меня к ребенку моему».

Кому, пусть сам читатель отгадает,
Прекрасный Карл восторги расточает?
Кого в объятиях сжимает он?
То был Бонно, пыхтящий, потный, жирный,
То был Бонно, который поражен
Был, как никто на всей земле обширной.
Все в Карле страстью воспламенено;
Он шепчет: «Этот миг я не забуду!»
И вмиг на человеческую груду
Бросает неповинного Бонно.
Какие вопли раздались, о Муза,
Под тяжестью нечаянного груза!
Аббат, слегка опомнившись, вперед
Старается просунуть свой живот,
Агнесу топчет, давит Доротею;
Бонно, вскочив, за ним бежит в аллею.
Но Ла Тримуйлю кажется, что ту,
По ком его душа всегда пылает,
Его красавицу, его мечту
Толстяк бегущий дерзко похищает.

Он за Бонно бежит, крича ему:
«Отдай ее, иль силой отниму!
Стой, подожди!» И бедного детину
Со страшной силой ударяет в спину.
Бонно прекрасную броню носил,
С ней расставаясь лишь в опочивальне;
Удар по ней подобен грому был
Иль стуку молота по наковальне;
Его торопит страх, в глазах темно.
Иоанна, видя бедствие Бонно,
Бегущего в отчаянном испуге,
Иоанна, в шлеме и в стальной кольчуге,
Летит к Тримуйлю, и ее рука
Выплачивает долг за толстяка.
Бастард, прославленный по всей отчизне,
Зрит, что опасность угрожает жизни
Тримуйля дорогого. Не ему ль
В любви и верности клялся Тримуйль?
Бастард прекрасный принимает Деву
За англичанина, несется к ней
И, справедливому отдавшись гневу,
Все, что досталось дружеской спине,
Спешит Иоанне возвратить вдвойне.

Карл благородный, созерцавший это,
Своих желаний не терял предмета
И, видя, что Агнесу бьют, за меч
Хватается, не в силах удержаться.
Он хочет за нее костями лечь,
Он с целой армией готов сражаться.
И кажется ему, что заодно
Все, находящиеся вкруг Бонно.
Он колет Дюнуа куда попало,
А тот с размаху бьет его в забрало,
Несноснейшую причиняя боль.
Когда б он знал, что это был король,
Наш рыцарь ужаснулся бы, наверно.
И устыдился бы себя безмерно!
Бастард и Деву ранит; та его
Разит мечом в неистовстве и гневе;
Но рыцарь, не страшася ничего,
Бросает вызов королю и Деве;
Направо и налево, здесь и там,
Он их с размаху бьет по головам.
Иоанна, Дюнуа, остановитесь!

Как будет горько вашему уму
Понять впоследствии, с кем бился витязь,
Удары Девы сыпала кому!
Тримуйль с неостывающей отвагой
Дерется с кем попало и порой
Иоанны прелести щекочет шпагой.
Бонно не занят этою игрой,
Гул битвы меньше всех его смущает.
Он получает, но не возвращает
И со слезами бегает кругом,
Опережаемый духовником.
Круговоротом бешеная злоба
Бурлит широко по всему дворцу,
И верные друзья, лицом к лицу,
Сражаются, любя друг друга оба,
Агнеса стонет, Доротея льет
Потоки слез и милого зовет.
Тут Бонифаций, полный сокрушенья,
Уже уставший призывать творца,
Заметил, что на битву с возвышенья
Хозяин грозный этого дворца,
Гермафродит, обыкновенно хмурый,
Глядит, держась от смеха за бока.
Мгновенно голова духовника,
Где под защитою святой тонзуры
Еще остался смысл, озарена
Была догадкою, что, без сомненья,
Виновник и зачинщик Сатана
Неслыханного самоизбиенья.
Он вспомнил, что Бонно носил с собой
Мускат, гвоздику, перец, соль, левкой,
При помощи которых наши деды
Различные предотвращали беды.
Духовнику был кстати груз такой.
Молитвенник при нем был. В тяжкой доле
Набрел он на спасительную нить,
При помощи молитв и горсти соли
Лукавого задумав изловить.
Над таинством трудясь, подобно магам,
Бормочет он: «Sanctam, Catholicam,
Papam, Romam, aquam benedictam»;
И, чашу взяв, спешит проворным шагом
Врасплох святою окропить водой
Отродие Алисы молодой.
Едва ли Стикса огненная влага

Для грешников губительней была.
Волшебник загорелся, как бумага,
И вместе с замком, сим жилищем зла,
Его заволокла густая мгла.
Еще не исцелившись от недуга,
Искали рыцари во тьме друг друга.
Мгновение спустя обман исчез;
Нет больше битв, ошибок, злых чудес,
Любовь опять сменила раздраженье,
Ничто не затемняло больше глаз,
Вернулся, бывший в их распоряженье,
Рассудка незначительный запас;
Увы, к стыду людей, на нашем свете
Нетрудно исчерпать запасы эти.
Совсем как напроказившие дети,
Смотрели паладины в этот час;
Полны смиренья и господня страха,
Они поют псалмы у ног монаха.
О благородный Карл! О Ла Тримуйль!
Я восхищенье ваше опишу ль?
Повсюду слышалось: «Моя Агнеса!
Мой ангел! Мой король! Моя любовь!
Счастливый день! Счастливый миг! Завеса
Упала с глаз! Тебя я вижу вновь!»
На сто вопросов с этих уст счастливых
Слетает сто ответов торопливых,
Но чувств не может выразить язык.
Отеческие взоры духовник
На них бросая, в стороне молился.
Бастард к Иоанне нежно наклонился
Со скромным выраженьем чувств своих.
Тут постоянный спутник страсти их,
Осел священный, Франции на славу,
Издал громоподобную октаву
Всей силой легких. Небо потрясла
Октава благородного осла.
Качнулись стены замка. Задрожала
Земля, и Девственница увидала,
Как падают при звуках громовых
Сто башен медных, сто дверей стальных.
Так было раз уже во время оно,
Когда, презрев кровопролитный бой,
Евреи укрепленья Иерихона
В единый миг разрушили трубой.
Теперь чудес подобных не бывает.

Мгновенно замок вид переменяет
И, созданный неверием и злом,
Становится святым монастырем.
Салон Гермафродита стал часовней.
Опочивальня, прочих мест греховней,
Где буйствовал хозяин по ночам,
Преобразилась в величавый храм.
По мудрому творца определенью,
Не изменила местоназначенью
Лишь зала пиршеств, и в стенах ее
Благословляют пищу и питье.
Душою в Реймсе, в стенах Орлеана,
Так говорила Дюнуа Иоанна:
«Все нам благоприятствует. Заря
Любви и славы светит нам отныне;
И дьявол посрамлен в своей гордыне,
Беспомощною злобою горя».
Она ошиблась, это говоря.

Конец песни семнадцатой

ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Злоключения Карла и его золотой свиты

Нет в летописях ни одной страны
Такого мудреца или пророка,
Который бы не потерпел жестоко,
По прихоти завистливого рока,
От происков врагов иль Сатаны.

Французского монарха от рожденья
Испытывала воля провиденья;
Его воспитывали кое-как;
Его преследовал Бургундский враг;
Отец лишил законного владенья;
К суду юнец несчастный призван был
Парламентом Парижа близ Гонессы;
Британец лилии его носил;
Ему порой не удавалось мессы

Прослушать; он скитаться и блуждать
Привык. Любовница, друг, дядя, мать —
Все предали его и все забыли.
Агнесою воспользовался бритт;
Благодаря нечистой адской силе
Искусным волшебством Гермафродит
Ему к любимой преградил дорогу.
Он в жизни много испытал обид,
Но он их вынес,— так угодно богу.

Покинув замок, где не так давно
Агнеса, паладины и Бонно
Коварство Вельзевула испытали,
Любовники, беседуя, скакали;
По краю леса ехали они,
Что назван Орлеанским в наши дни.
Еще супруга сонная Тифона
Едва мешала краски небосклона,
Как вдруг суровой Девственницы взгляд
Заметил за деревьями солдат
В коротких юбках; на их куртках были
Три леопарда средь французских лилий.
Король остановил коня. Ему
Неясна даль была сквозь полутьму.

Сам Дюнуа считал, что дело странно.
Агнеса же, едва тая испуг,
Шепнула королю: «Бежим, мой друг».
Приблизившись, увидела Иоанна
Каких-то пленных, по двое, в цепях;
Их лица выражали скорбь и страх.
«Увы! — она отважно восклицает.—
Ведь это рыцари. Священный долг
Освободить их нам повелевает.
Покажем бриттам, будь их целый полк,
Что может Дюнуа, что может Дева!»
И, копья наклонив, дрожа от гнева,
Они бросаются на часовых.
Заметив вид их грозный и надменный,
Услышав, как ревет осел священный,
Трусливые воители тотчас,
Как стая гончих, исчезают с глаз.
Иоанна, гордая удачной схваткой,
Приветствовала пленных речью краткой:
«О рыцари, добыча злых оков,

Пред королем-защитником склонитесь,
Ему служить достойно поклянитесь,
И бросимся совместно на врагов».
Но рыцари на это предложенье
Не отвечали вовсе. Их смущенье
Еще усилилось. Читатель мой,
Ты хочешь знать, кто эти люди были,
Стоявшие безмолвною толпой?
То были жулики. Их присудили,
И, право же, заслуженно вполне,
Грести на Амфитритиной спине;
Узнать легко их по нарядам было.
Взглянув на них, король вздохнул уныло.
«Увы,— он молвил,— суждено опять
Горчайшую печаль мне испытать.
Державой нашей англичане правят,
Чинят расправу и творят свой суд!
Их величают, их в соборах славят,
Их властью подданных моих ведут
На каторжные страшные работы!..»

И государь, исполненный заботы,
К молодчику приблизиться решил,
Который во главе отряда был.
Мерзавец тот смотрел ужасно скверно:
Он рыжей бороды давно не брил;
Улыбкой рот кривился; лицемерно
Двоился взгляд трусливый и косой;
Казалось, что всклокоченные брови
Какой-то замысел скрывают злой;
На лбу его — бесчинство, жажда крови,
Презренье правил, свой на все закон;
К тому же скрежетал зубами он.
Обманщик гнусный, видя властелина,
Улыбкой, выражением лица
Походит на почтительного сына,
Который видит доброго отца.
Таков и пес, свирепый и громадный,
Охрипнувший от лая, к драке жадный:
Хозяина заметив, он юлит,
Он самый льстивый принимает вид
И кротче агнца ради корки хлеба.
Иль так еще противник дерзкий неба,
Из ада вырвавшись и спрятав хвост,
Является меж нас, любезен, прост,

И, как отшельник, соблюдает пост,
Чтоб лишь верней смутить ночные грезы
Святой сестры Агаты или Розы.

Прекрасный Карл, обманутый плутом,
Его ободрил ласково. Потом
Спросил его, исполненный заботы:
«Скажи мне, друг, откуда ты и кто ты,
Где родился, как жил, чем промышлял,
И кто, сводя с тобой былые счеты,
Тебя так беспощадно наказал?»
Печально отвечает осужденный:
«О мой король, чрезмерно благосклонный!
Из Нанта я, зовут меня Фрелон.
Я к Иисусу сердцем устремлен;
Живал в монастырях, живал и в свете,
И в жизни у меня один закон:
Чтоб были счастливы и сыты дети.
Я отдал добродетели себя.
В Париже с пользою работал я,
Насмешки едкой в ход пуская плети.
Моим издателем был сам Ламбер;
Известен я на площади Мобер;
Там равный мне нашелся бы едва ли.
Безбожники, конечно, обвиняли
Меня в различных слабостях; порой
Не прочь бывали счеты свесть со мной;
Но для меня судья — одна лишь совесть».

Растрогала монарха эта повесть.
«Утешься и не бойся ничего,—
Он говорит ему.— Ответь мне, все ли
Из тех, кого в Марсель угнать хотели,
Добро, как ты, чтут более всего?»
«Любой мое занять достоин место,
Бог мне порукой,— отвечал Фрелон.—
Из одного мы и того же теста.
Сосед мой, например, аббат Койон,
Что б там ни говорили, добрый малый,
Благоразумный, сдержанный, не шалый,
Не забияка и не клеветник.
Вот господин Шоме, невзрачный, серый,
Но сердцем — благочестия родник;
Он рад быть высеченным ради веры.
Вон там Гоша́. Он в текстах, видит бог,

Раввинов лучших посрамить бы мог.
Вот тот, в сторонке,— адвокат без дела:
Он бросил суд, он божий раб всецело.
То Саботье. О, мудрых торжество!
О, ум тончайший! О, святой священник!
Он предал господина своего,
Но ведь немного взял за это денег.
Он продался, но это не беда.
Он занимался, как и я, писаньем,
Печати послужил он с дарованьем,
Полезен будет он и вам всегда.
В наш век ведь отданы успех и слава
Лишь тем из авторов, кто грязен, право!
Нас, бескорыстных, зависть оплела.
Таков удел всего святого. Эти ль
Презренные нас удивят дела?
Всегда, везде гонима добродетель,
Король! Кто знает это лучше вас?»
Внимая звуку слов его столь лестных,
Карл увидал еще двух неизвестных,
Скрывавших лица, словно бы стыдясь.
«Кто это?» — молвил он, с огнем во взоре.

Газетчик отвечал: «Сказать не грех,
Что это доблестнейшие из всех,
Кто собирается пуститься в море.
Один из них Фантен, святой аббат.
Он любит знатных, он незнатным рад.
Он пастырь душ живых. Но все ж толкала
Его порой и к умиравшим страсть,
Чтоб исповедать их и обокрасть,
Другой — Бризе, монахинь попечитель;
Он прелестей их тайных не любитель,
Предпочитая мудро их казну.
Не ставлю это я ему в вину:
Он не любил металла, но боялся,
Чтоб тот безбожным людям не достался.
Последний из ссылаемых в Марсель —
Моя опора, добрый Ла Бомель.
Из всей моей ватаги лицемерной
Он самый подлый, но и самый верный.
Рассеян он немного, грех тот есть;
Ему порою, меж трудов, случалось
В карман чужой, как будто в свой, залезть,
Но чье перо с его пером сравнялось!

Он знает, сколь для немощных умов
Тлетворна истина; он понимает,
Что свет ее опасен для глупцов,
Что им тупица злоупотребляет,
И дал обет сей мудрый человек
Ни слова правды не сказать вовек.
Я, мой король, ее вещаю смело;
Мне дороги и вы, и ваше дело,
И я потомкам говорю о том.
Но я молю вас: не воздайте злом
Нам, клеветой униженным жестоко;
Спасите добрых из сетей порока;
Освободите, оплатите нас;
Клянусь, писать мы будем лишь для вас».

Он тут же речь составил; в ней со страстью
К единству звал он под законной властью,
Клял англичан и утверждал, что в нем
Нашел опору королевский дом.
Карл, слушая, вздыхал посередине,
Глядел на всех, исполненный забот,
И тут же объявил, что их отныне
Под покровительство свое берет.

Прекрасная Агнеса, стоя рядом,
Растроганным на всех сияла взглядом.
Она была добра: известно нам,
Что женщины, служащие Киприде,
Чувствительней других к чужой обиде.
Она сказала: «Этим молодцам
День выдался сегодня очень славный:
Они впервые в жизни видят вас
И празднуют освобожденья час.
Улыбка ваша— счастья признак явный.
О, как могли судейские чины
Не признавать хозяина страны,
С законным государем не считаться!
Им судьями не должно называться!
Я видела, как эти господа,
Блюстители престола и свободы,
Тупые и надменные всегда,
Забрали королевские доходы,
В суд вызвали монарха своего
И отняли корону от него.
Несчастные, стоящие пред вами,

Преследуемы теми же властями;
Они вам ближе сыновей родных;
Изгнанник вы,— отмстите же за них».

Ее слова монарха умилили:
В нем чувства добрые всесильны были.
Иоанна же, чей дух был не таков,
Повесить предложила молодцов,
Считая, что давно бы всем Фрелонам
Пора болтаться по ветвям зеленым;
Но Дюнуа не согласился с ней:
Он был благоразумней и умней.
«У нас порой в солдатах недостаток,
Нам не хватает рук во время схваток;
Используем же этих молодцов.
Для приступов, осады и боев
Нам не нужны писаки и поэты;
Их ремесло я изменить готов,
Им в руки дав не весла, а мушкеты.
Они бумагу пачкали; пускай
Теперь идут спасать родимый край!»
Король французов был того же мненья.
Тут обуял несчастных пленных страх,
Все бросились к его ногам, в слезах.
Их поместили около строенья,
Где Карл, в сопровождении двора,
Решил остаться на ночь до утра.
Агнеса так была душой добра,
Что пир решила им устроить редкий:
Бонно им снес монаршие объедки.

Карл весело поужинал, потом
Лег отдохнуть с Агнесою вдвоем.
Проснувшись, оба раскрывают вежды
И видят, что исчезли их одежды.
Агнеса тщетно ищет их кругом,—
Их нет, как и жемчужного браслета,
А также королевского портрета.
У толстого Бонно из кошелька
Похитила какая-то рука
Все деньги христианнейшей короны.
Ни ложек нет, ни платьев, ни куска
Говядины. Койоны и Фрелоны,
Минуты лишней не теряя зря,
Заботою и рвением горя,

Немедля короля освободили
Ото всего, чем был он окружен.
Им думалось, что мужеству и силе
Противна роскошь, как учил Платон.
Они ушли, храня монарха сон,
И в кабаке добычу поделили;
Там ими был написан и трактат
Высокохристианский о презренье
К земным благам и суете услад.
Доказывалось в этом сочиненье,
Что все на свете — братья, что должно
Наследье божье быть поделено
И каждому принадлежать равно.
Впоследствии святую книгу эту,
По праву полюбившуюся свету,
Дополнила ученых справок тьма,
Для руководства сердца и ума.

Всю свиту королевскую в смущенье
Повергло дерзостное похищенье,
Но не найти нигде уже вещей.
Так некогда приветливый Финей,
Фракийский царь, и набожный Эней
Чуть было не утратили дыханья
От изумленья и негодованья,
Заметив, что у них ни крошки нет,
Что гарпии пожрали их обед.
Агнеса плачет, плачет Доротея,
Ничем прикрыться даже не имея,
Но вид Бонно, в поту, почти без сил,
Их все-таки слегка развеселил.
«Ах, боже мой,— кричал он,— неужели
У нас украли все, что мы имели!
Ах, я не выдержу: нет ни гроша!
У короля добрейшая душа,
Но вот развязка — посудите сами,
Вот плата за беседу с мудрецами».
Агнеса, незлобивая душой
И скорая всегда на примиренье,
Ему в ответ: «Бонно мой дорогой,
Не дай господь, чтоб это приключенье
Внушило вам отныне отвращенье
К науке и словесности родной:
Писателей я очень многих знала,
Не подлецов и не воров нимало,

Любивших бескорыстно короля,
Проживших, о подачках не моля,
И говоривших прозой и стихами
О доблестях, но доблестных делами;
Общественное благо — лучший дар
За их труды: их наставленье строго,
Но полно сладких и отрадных чар;
Их любят все, их голос — голос бога;
Есть и плуты, но ведь и честных много!»

Бонно ей возразил: «Увы! Увы!
Пустое дело говорите вы!
Пора обедать, а кошель потерян».
Его все утешают: всяк уверен,
Что в скором времени и без труда
Забудется случайная беда.
Решили двинуться сию минуту
Все в город, к замку, к верному приюту,
Где и король, и каждый паладин
Найдут постель, еду и много вин.
Оделись рыцари во что попало,
На дамах тоже платья было мало,
И добрались до города гуськом,
Одни в чулках, другие босиком.

Конец песни восемнадцатой

ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Смерть храброго и нежного Ла Тримуйля и прелестной Доротеи. Суровый Тирконель делается картезианцем

Из чрева Атропос ты рождена,
Дочь смерти, беспощадная война,
Разбой, который мы зовем геройством!
Благодаря твоим ужасным свойствам
Земля в слезах, в крови, разорена.
Когда на смертного идут согласно
Марс и Амур и рыцаря рука,
Что в тайные минуты неги страстной

Была так ласкова, нежна, легка,
Пронзает грудь уверенно и грубо,
Которой для него дороже нет,
Грудь, где его пылающие губы
Столь трогательный оставляли след;
Когда он видит, как тускнеет свет
В дышавших преданной любовью взорах,—
Такая участь более мрачна,
Чем гибель ста солдат, за жизнь которых
Монетой звонкой уплатить сполна
Успела королевская казна.

Вновь получив рассудка дар убогий,
Который нам в насмешку дали боги,
Король, отрядом окружен своим,
Скакал вперед, желаньем битв томим.
Они спешили к стенам городским
И к замку, чьи хранили укрепленья
Доспехов Марсовых обширный склад,
Мечей, и пушек, и всего, что ад
Нам дал для страшного употребленья.
Завидев башни гордые вдали,
Они поспешно крупной рысью шли,
Горды, самоуверенны, упрямы.

Но Ла Тримуйль, который, возле дамы
Своей гарцуя, о любви шептал,
От спутников нечаянно отстал
И сбился тотчас же с пути. В долине,
Где звонко плещется источник синий
И, возвышаясь вроде пирамид,
Строй кипарисов сладостно шумит,
Где все полно покоя и прохлады,
Есть грот заманчивый, куда Наяды
С Сильванами уходят в летний зной.
Там ручеек капризною волной
Красивые образовал каскады;
Повсюду травы пышно разрослись,
Желтофиоль, и кашка, и мелис,
Жасмин пахучий с ландышем прелестным,
Шепча как будто пастухам окрестным
Привет и приглашение прилечь.
Всем сердцем славный Ла Тримуйль их речь
Почувствовал. Зефиры, нежно вея,
Любовь, природа, утро, Доротея —

Все чаровало душу, слух и взгляд.
Любовники сойти с коней спешат,
Располагаются на травке рядом
И предаются ласкам и усладам.
Марс и Венера с высоты небес
Достойнее б картины не сыскали;
Из чащи нимфы им рукоплескали,
И птицы, наполняющие лес,
Защебетали слаще и любовней.
Но тут же рядом был погост с часовней,
Обитель смерти, мертвецов приют;
Останки смертные Шандоса тут
Погребены лишь накануне были.
Над прахом два священника твердили
Уныло «De Profundis» *. Тирконель
Присутствовал во время этой службы
Не из-за благочестья, а из дружбы.
Одна у них была с Шандосом цель:
Распутство, бесшабашная отвага
И жалости не ведавшая шпага.
Привязанность к Шандосу он питал,
Насколько мог быть Тирконель привязан,
И, что убийца будет им наказан,
Он клятву злобную у гроба дал.

В окошко он увидел меж ветвей
Пасущихся у грота двух коней.
Он направляется туда; со ржаньем
Бегут к пещере кони от него,
Где, отданные сладостным желаньям,
Любовники не видят ничего.
Поль Тирконель, чей бессердечный разум
Чужого счастия был вечный враг,
Окинул их высокомерным глазом
И, подойдя к ним, закричал: «Вот как!
Так вот какой срамной разгул устроя,
Вы память оскорбляете героя!
Отбросы жалкого двора, так вот
Что делаете вы, когда умрет
Британец, полный доблести и силы!
Целуетесь вы у его могилы,
Пастушеский разыгрывая рай!
Ты ль это, гнусный рыцарь, отвечай,

---

* «Из бездны» *(лат.)*. — заупокойная молитва.

Твоею ли рукой британский воин.
Которому ты даже недостоин
Служить оруженосцем, срам и стыд,
Каким-то странным образом убит?
Что ж на свою любовницу глядишь ты
И ничего в ответ не говоришь ты?»

На эту речь Тримуйль сказал в ответ:
«Средь подвигов моих — такого нет.
Великий Марс всегда распоряжался
Судьбою рыцарей и их побед,—
Он так судил. С Шандосом я сражался,
Но более счастливою рукой
Британский рыцарь был смертельно ранен;
Хотя сегодня, может быть, и мной
Наказан будет дерзкий англичанин».

Как ветер крепнущий сперва чуть-чуть
Рябит волны серебряную грудь,
Растет, бурлит, срывает мачты в воду,
Распространяя страх на всю природу,—
Так Ла Тримуйль и Тирконель сперва,
Готовясь к поединку, говорили
Обидные и колкие слова.
Без панцирей и шлемов оба были:
Тримуйль в пещере бросил кое-как
Копье, перчатки, панцирь и шишак —
Все, что необходимо для сраженья;
Себя удобней чувствовал он так:
Помеха в час любви вооруженье!
Был Тирконель всегда вооружен,
Но шлем свой золотой оставил он
В часовне вместе со стальной кольчугой —
В сражениях испытанной подругой.
Лишь рукояти верного клинка
Не выпускает рыцаря рука.
Он обнажает меч. Тримуйль мгновенно
Бросается к оружью своему;
Противника, смотрящего надменно,
Готовый наказать, кричит ему,
Пылая гневом: «Погоди, дружище,
Сейчас отведаешь ты славной пищи,
Разбойник, притворившийся ханжой,
Чтобы смущать любовников покой!»
Вскричал — и устремляется на бритта.

Так на фригийских некогда полях
В бой с Менелаем Гектор шел открыто
У плачущей Елены на глазах.
Пещеру, небо, воздух Доротея,
Скрывать свои печали не умея,
Стенаньем огласила. Как она,
Несчастная, была потрясена!
Она твердила: «Пламя поцелуя
Последнего на мне еще горит!
О боже, потерять все, что люблю я!
Ах, милый Ла Тримуйль! О гнусный бритт,
Пусть грудь мою ваш острый меч пронзит!»

Так говоря, со взором, полным муки,
Бросается, протягивая руки,
Между сражающимися она.
Уж грудь Тримуйля, что с такой любовью
Она ласкала, вся обагрена
Горячею струящеюся кровью
(Удара сокрушительного след);
Француз отважный на удар в ответ
Коварного британца поражает,
Но Доротея между них, увы!
О небо, о Амур, где были вы!
Какой любовник это прочитает,
Не оросив слезами грустных строк!
Ужель достойнейший любовник мог,
Такой любимый и такой влюбленный
Убить подругу, гневом ослепленный!
Сталь закаленная, орудье зла,
Вонзилась в сердце, где любовь жила...
То сердце, что всегда открыто было
Тримуйлю, пронзено его рукой.
Она шатается... Зовет с тоской
Тримуйля своего... В ней гаснет сила...
Она пытается глаза открыть,
Чтоб милый образ дольше сохранить,
И, лежа на земле, уже во власти
Ужасной смерти, с холодом в крови,
Она ему клянется в вечной страсти;
Последние слова, слова любви,
С коснеющего языка слетели,
И кровь застыла в бездыханном теле.
Ее несчастный Ла Тримуйль увы,
Не слышал ничего. Вкруг головы

Его витала смерть. Облитый кровью,
Упал он рядом со своей любовью,
Своей избранницей, и утопал
В ее крови, и этого не знал.
Оцепенев, британец беспощадный
Стоял в молчании. Он не владел
Своими чувствами. Так Атлас хладный,
Бесчувственный, суровый и громадный,
Скалою стал, навек окаменел.

Но жалость, в чьей благословенной власти
Смягчать суровые людские страсти,
Ему свою явила благодать:
Его душа сочувствием согрета;
Он начал Доротее помогать,
И на ее груди он два портрета
Находит: Доротея их везде
И в радости хранила и в беде.
Изображен великолепный воин
Был на одном портрете. Как гроза,
Был Ла Тримуйль красив. Его глаза
Сияли ясно, словно бирюза.
Сказал британец: «Он любви достоин».
Но что, о Тирконель, промолвил ты,
Увидя на другом свои черты?
Глядит он в изумленье и тревоге.
Какая неожиданность, о боги!
И тотчас вспомнил он, как по дороге
В Милан он с юной Карминеттой свел
Знакомство и подругу в ней нашел,
И как потом, в печальный час разлуки,
Прощаясь с ней три месяца спустя,
Когда она уже ждала дитя,
Ее целуя, положил ей в руки,
Написанный Беллини, свой портрет.
Искусное произведенье это
Узнал он. Мать убитой — Карминетта,
А Тирконель — отец, сомненья нет.

Он был суровым холодом отмечен.
Но не бездушен, не бесчеловечен.
Когда таких людей печаль язвит,
Когда их постигает боль иль стыд,
Они сильней их отдаются власти,
Чем человек, что быть рабом привык

Любого ощущения иль страсти:
Легко сгорает на ветру тростник,
Но в горне медь пылает большим жаром.
Британец, страшным потрясен ударом,
Глядел на дочь, лежавшую у ног,
И зарыдал впервые, видит бог,
Воспользовавшись тем священным даром,
Который в скорби облегчает нас.
Он с трупа дочери не сводит глаз,
Ее целует он и обнимает,
Окрестность жалобами наполняет
И, проклиная этот день и час,
Без чувства падает. Тримуйль прекрасный
Сквозь забытье услышал крик ужасный!
Он взор полуоткрыл и в тот же миг
Он понял, что навек лишился ласки;
Из милой груди он спешит изъять
Свой меч и прямо на клинок дамасский
Бросается. Булат по рукоять
Вошел в него, и кровию своею
Несчастный рыцарь залил Доротею.

На крик британца собрался народ.
Священники, оруженосцы, слуги
На это зрелище глядят в испуге;
В сердцах бесчувственных растаял лед.
О, если бы они не подоспели,
Наверно б жизнь угасла в Тирконеле!

Немного успокоившийся бритт,
Смирив свое волнение и стыд,
Тела влюбленных положить велит
На копья, связанные, как носилки;
И в лагерь королевский скорбный прах
Солдаты хмурые несут в слезах.

Поль Тирконель, в своих порывах пылкий,
Немедля принимал решенья. Вдруг
Возненавидел он любовь, природу,
И дев, и женщин, и свою свободу;
Он на коня садится и без слуг,
С потухшим взглядом, мрачный и безмолвный,
Спешит уехать, размышлений полный.
Спустя немного дней, прибыв в Кале,
Плывет он в Англию на корабле;

Там облачается суровой схимой
Святого Бруно и, тоской томимый,
Над жизнию мирскою ставит крест;
Всегда молчит, скоромного не ест;
Казалось, смерть одна ему желанна.
Однако набожность в нем не жила.

Когда король, Агнеса и Иоанна
Увидели любовников тела,
Недавно столь прекрасных и счастливых,
Покрытых кровью и землей сейчас,
То слезы градом полились из глаз
У нежных жен и мужей горделивых.
Троянцев меньший ужас поразил,
Когда добычей смерти бледнолицей
Стал Гектор и помчал за колесницей
Его в знак скромной радости Ахилл,
Главу героя волоча средь праха,
Топча сраженные тела без страха,
В живых рождая трепет и испуг;
Тогда, по крайней мере, Андромаха
Осталась жить, хотя погиб супруг.
Агнеса, горьким плачем заливаясь
И к плачущему Карлу прижимаясь,
Шептала так: «Быть может, и для нас
Когда-нибудь такой наступит час;
О, если б жить, вовек не разлучаясь,
Душой и телом вечно возле вас!»

Заметив, что не умолкают стоны
И без конца готовы слезы течь,
Иоанна голос грозно-непреклонный
Возвысила и начинает речь:
«Не слезы здесь нужны, а добрый меч;
За них отмстим мы поздно или рано
Британской кровью на полях войны.
Король, взгляните: стены Орлеана
Еще британцами окружены.
Взгляните: взрытые недавним боем,
Еще дымятся кровию поля,
Где полегли французы гордым строем
Во имя Франции и короля.
Так отдадим скорее долг героям
И, нанеся удар британцам злым,
За рыцаря и деву отомстим!

Король не плакать должен, а сражаться.
Агнеса, полно грусти предаваться;
Отвагу вы и ненависть к врагу
Должны внушать любовнику, который
Рожден быть милой родине опорой».
Агнеса отвечала: «Не могу».

Конец песни девятнадцатой

ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Как Иоанна впала в странное искушение; нежная дерзость ее осла; доблестное сопротивление Девы

Весьма нестойки дамы и мужчины;
Людские добродетели хрупки:
Они сосуды дивные из глины,
Чуть тронь — и треснут. Склеить черепки?
Но склеенные не прочны кувшины.
Заботливо оберегать сосуд,
Хранить его от порчи — тщетный труд.
Порукой этому — пример Адама,
И Лот почтенный, и слепец Самсон,
Святой Давид и мудрый Соломон,
Любая обольстительная дама —
Великолепный перечень имен
Из Старого и Нового завета.
Я нежный пол не осужу за это.
К чему лукавить: сладостны для нас
Капризы, выдумки, игра, отказ;
Но все-таки иные положенья,
Иные вкусы стоят осужденья.
Я видел как-то обезьянку, дрянь,
Рябую, волосатую... И что же:
Красавицы ее ласкала длань,
Как будто это купидон пригожий!
Осел крылатый, может быть, в сто раз
Красивей фата в щегольском мундире,
Но все-таки... Красавицы, для вас,
Для вас одних, бряцаю я на лире;

Послушайте правдивый сей рассказ
О том, как обманул осел красивый
На миг Иоаннин разум горделивый;
Не я, а мудрый и красноречивый
Аббат Тритем вам это говорит.

В аду, где пламя вечное горит,
Ужасный Грибурдон, исполнен гнева
На героиню, не забыл того,
Как голову пробитую его
Однажды палашом срубила Дева.
Он мести, богохульствуя, искал.
«Великий Вельзевул! — он умолял.—
Нельзя ли сделать, чтобы грех нежданный
Бесчувственною овладел Иоанной?
Ведь это чести для тебя вопрос».
Когда он это говорил, принес
Внезапный вихорь в ад Гермафродита.
На роже мерзостной его следы
Еще виднелись от святой воды.
Он тоже к мщению взывал открыто.
Монах, кудесник и отец всех бед,
Сойдясь втроем, устроили совет.
Увы, обильны и разнообразны
Для женщин выдуманные соблазны!
Известно было этой шайке грязной,
Что ключ хранит под юбкою своей
От осаждаемого Орлеана
И от судеб всей Франции Иоанна,
Доверенный святым Денисом ей.
Что во вселенной дьявола хитрей?
Спешит на землю он без промедленья
К своим друзьям британцам, чтоб узнать,
Сильна ли в Девственнице благодать.
В то время, ожидая подкрепленья,
Карл с милой, Дева, духовник, Бонно,
Бастард, осел, лишь сделалось темно,
Вернулись в форт. А городские стены
Чинились день и ночь в четыре смены,
Чтоб в брешь враги проникнуть не могли.
Британцы же пока что отошли.
Карл и Бедфорд, британцы и французы
Поужинали и ложатся спать.
Дрожите, целомудренные Музы,
Узнав, о чем хочу я рассказать.

И вы, друзья, к повествованью барда
Прислушайтесь, полезному для всех,
Благодаря Дениса и бастарда
За то, что не свершился страшный грех.

Вы помните, что обещал я с вами
Рассказом поделиться об осле,
Святом Пегасе с длинными ушами,
Который бился с разными врагами
С бастардом иль Иоанною в седле.
Вы видели, как в синеве небесной
В Ломбардию летел осел чудесный.
Вернулся он, но с ревностью в крови.
Нося Иоанну, он общеизвестный
Почувствовал закон, закон любви,
Живительный огонь, дух и пружину
Всего живущего, первопричину,
Которая в пространстве и волнах
Бездушный одухотворяет прах.
Для мира скудного во мраке ночи
Последние лучи его блестят,
Он в небесах был для Пандоры взят,
Но с той поры светильник стал короче,
Он гаснет. Он не разгорится вновь,
И производит в наши дни Природа
Одну несовершенную любовь.
Вы не найдете на земле народа,
Где б сохранился этот чудный свет
В великолепии минувших лет.
Его искать в подлунной — труд напрасный;
Быть может, он в Аркадии прекрасной.

Вы, Селадоны в рясе и броне,
Все, кто в цветочные запутан сети,
Гуляки и степенные вполне
Полковники, аббаты, старцы, дети,
Во избежание ужасных зол,
Ослу не верьте никогда. Осел
Был у латинян, золотой, чудесный,
Своими превращеньями известный,
Но он был человек, и потому
За нашим не угнаться и ему.

Аббат Тритем, ум сильный и свободный,
Ученей вдвое, чем педант Ларше,

Историк Девственницы благородной,
Испуг сильнейший ощутил в душе,
Когда, векам грядущим в назиданье,
Излишеств этих начал описанье.
Едва пером он действовал. Оно
Дрожало, ужасом напоено,
И выпало из рук. Успокоенье
Нашел он, погрузившись в размышленье
О Сатане и о его делах.

Всех смертных злобный и преступный враг,
Понаторелый соблазнитель этот,
Один и тот же применяет метод
Для уловления людских сердец.
Коварный преступления отец,
Соперник бога и всего, что свято,
Мою праматерь соблазнил когда-то
В ее саду. Лукавый этот змей
Дал яблоко отравленное ей
И даже, уверяют, много хуже
С ней поступил по подлости своей,
И вечно ловит на приманку ту же
Он наших жен и наших дочерей.
Тритем достопочтенный понимает,
Как слабы мы и как наш враг хитер.
Послушайте, как он изображает
Осла святого дерзость и позор.

Иоанна, вся горя румянцем алым,
Здоровым отдыхом освежена,
Спокойно нежилась под одеялом,
И вспоминала жизнь свою она.
Казалось ей: возвысилась так чудно
Она своими силами. (Нетрудно
В душе тщеславья прорасти зерну.)
Денис тотчас же, в справедливом гневе,
Решил оставить, в наказанье Деве,
Ее с своими чувствами одну:
Таким путем гордячка поняла бы,
Как женщины в борьбе с природой слабы,
Коль силам предоставлены своим,
И как необходим, как нужен им
Наставник опытный и покровитель.
И вот уже к нечистому во власть
Она готова навсегда попасть.

Воспользовавшись этим, соблазнитель
Принялся тотчас за свои дела.
Он вездесущ. Вселился он в осла,
Смягчил его ужасную октаву,
Его рассудок темный изощрил
И в тонкости искусства посвятил,
Исследованьем коего по праву
Овидий и Бернар стяжали славу.
Святой осел забыл тотчас же стыд:
Из стойла прямо в спальню он спешит,
К постели, где, пленившись сладкой ложью,
Иоанна сердце слушала свое,
И здесь, смиренно опустясь к подножью,
Прекрасным стилем стал хвалить ее,
Твердя, как героиня горделива,
Умна, сильна, а главное — красива.
Так в оно время соблазнитель-змей
Смутил Праматерь сладостью речей.
Известно, что всегда гуляют вместе
С искусством нравиться искусство лести.

«Что это? — вскрикнула Иоанна д'Арк.—
Святой Иоанн, Матвей, Лука и Марк!
Ужели это мой осел? Вот чудо!
Он говорит, и говорит не худо!»

Осел ответил на ее слова:
«Но в этом нет чудес и колдовства;
Я тот осел, что, волей божества,
Воскормлен у седого Валаама,—
Он был жрецом языческого храма,
А я еврей, и если бы не я,
Израиль был бы проклят Валаамом,
Что угрожало бы бедой и срамом.
Заслуга не забылася моя,
И я Еноху отдан был в подарок.
Енох бессмертной жизнью обладал.
Я стал как он; хозяин приказал,
Чтоб злые ножницы жестоких Парок
Моих судеб не пресекали нить,
И припеваючи я мог бы жить,
Когда бы целомудрие хранить
Не приказал мне мой хозяин честный,—
Вещь, неприятнейшая для осла.
Помимо этого во всем была

Дана свобода мне. В стране чудесной
Я жил, и жизнь моя была легка.
Сперва меня томило вожделенье,
Но был я осторожней дурака,
Героя первого грехопаденья.
Умолкла плоть. Я слабостей не знал,
Свой темперамент бурный обуздал.
Мне в воздержанье помогло немало
То, что ослиц там вовсе не бывало.
И так я прожил в радостях простых
Лет тысячу, приятно холостых.
Когда румяный Вакх из рощ Эллады
Принес свой тирс и резвые услады
В долины Ганга, я носился вскачь
И был героя этого трубач;
До сей поры индусы вспомнить рады
Победы наши, пораженье их.
Из всех, кем славны Вакховы отряды,
Силен и я — известней остальных.
Впоследствии — о чем и не жалею —
Я создал знаменитость Апулею.

И, наконец, в небесной вышине,
Когда Георгий, вечный друг войне,
Желая смять французскую лилею,
На английском стал ездить скакуне,
Когда Мартин, своим плащом известный,
Стал на коне красивом гарцевать,
Тогда и Франции патрон чудесный
Не захотел от прочих отставать.
Он счел за лучшее меня избрать;
Он подарил мне пару легких крылий,
И в небеса вспарил я без усилий.
Любим был псом святого Роха я,
Дружна со мной Антоньева свинья,
Монашества эмблема. Я вращался
В прекрасном обществе и, как святой,
Нектаром и амброзией питался.
Но ах, Иоанна! эта жизнь ничто
В сравненье с вами. Ни на что на свете
Я прелести не променяю эти.
Все райские святые и скоты
Не стоят вашей чудной красоты.
Носить вас, ваши созерцать черты —
Из всех моих обязанностей эта

Особенно приятна и мила.
Улыбкой вашею душа согрета,
Ваш взор ее пронзает, как стрела.
С тех пор, как я расстался с небесами,
Моя судьба была прекрасна вами.
Нет, не покинул райских я лучей:
Они из ваших светят мне очей».

При речи этой дерзкой и нежданной
Гнев справедливый овладел Иоанной.
Отдать невинность, полюбив осла,
Невинность, что родной страны защита,
Которую господня власть спасла
От Дюнуа и от Гермафродита,
При помощи которой сам Шандос
Такое посрамление понес?
Но как, однако же, разнообразны
Достоинства осла! Как он умен,
Как много жил, как много видел он!
«Нет... Ни за что... Прочь адские соблазны!»
Такие размышленья, точно шквал,
Летят в ее душе, друг с другом споря.
Так иногда в просторе бурном моря
Сшибается со встречным валом вал:
Несется бешеный порыв циклона
К Бенгалу, к Яве, к берегам Цейлона,
Другой же мчится к северу, туда,
Где море сковано горами льда;
Гонимый волнами, корабль усталый
То, к небу вознесен, летит на скалы,
То вдруг исчезнет в мрачной бездне вод
И снова, как из ада, восстает.

Проказник, людям и богам желанный,
Которому противиться нельзя,
Уже парил с улыбкой над Иоанной,
Отравленной стрелою ей грозя.
Иоанна д'Арк, терзаема сомненьем,
Конечно, втайне польщена была
Таинственным и сильным впечатленьем,
Произведенным ею на осла.
Иоанна протянула руку даже
К нему, не размышляя. Но сейчас же
Отдергивает, покраснев, как мак;
Потом, подумав, начинает так:

«О мой осел, ведь я стою на страже
Прекрасной Франции: повсюду — враг;
Вам строгость нрава моего известна.
Оставьте! Ваша нежность неуместна!
Я не хочу вас слушать! Это грех!»

Осел ответил ей: «Равняет всех
Любовь. Пусть — Франция, война, победа;
Однако лебедя любила Леда,
Однако дочь Миноса-старика
Всем паладинам предпочла быка,
Орел унес, лаская, Ганимеда,
И бог морей, во образе коня
Филиру пышнокудрую пленя,
Был вряд ли обольстительней меня».

Он продолжает речь свою. И демон
Примеры новые исподтишка
Ему внушает; ведь известен всем он
Как автор многих выдумок. Пока
Лилась пропитанная сладким ядом
Речь, славный Дюнуа, дремавший рядом,
Прислушивается. И, поражен
Таким отменным красноречьем, он
Узнать желает, что за Селадон
Пробрался в спальню, запертую худо.
Он входит и (о волшебство, о чудо!)
С ушами поразительной длины
Неистового видит кавалера.

Так некогда поражена Венера
Была в объятьях божества войны,
Когда, по приглашению Вулкана,
Бессмертные на них глядеть сошлись.
Но не была покорена Иоанна,
Не отступился от нее Денис,
Диавольское он разрушил дело:
Собою Девственница овладела.
Так задремавший на посту солдат,
Услышав выстрелы или набат,
Мгновенно просыпается и смело
Бросается наперерез врагу,
Кафтан застегивая на бегу.

Копье Деборы, смоченное кровью,
Испытанное на полях войны,

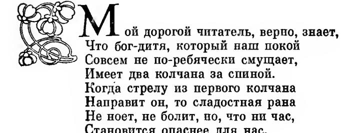
Стояло прислоненным к изголовью.
Она берет его. Мощь Сатаны
Оружием божественным заране
Посрамлена. Спасаясь, бес бежит.
От яростного рева все дрожит
И в Нанте, и в Блуа, и в Орлеане,
И вскормленные в Пуату ослы
Свой голос тоже подают из мглы.
Нечистый убегает, злобы полон;
Но на бегу план мести изобрел он.
Он в Орлеан, быстрей, чем мышь в траве,
Бежит к жилищу самого Луве,
И там он входит в тело к президентше.
У Сатаны был правильный расчет:
Она любила бритта, и не меньше
Был в госпожу Луве влюблен Тальбот.
И бес за дело принялся. Короче,
Внушил он даме с наступленьем ночи
Впустить Тальбота и его друзей
В ограду Орлеана. Хитрый змей
Прекрасно знал, что, ворожа Тальботу,
Себе на пользу делает работу.

Конец песни двадцатой

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Явленное целомудрие Иоанны. Хитрость Диавола. Свидание, назначенное президентшей Луве великому Тальботу. Услуги, оказанные братом Лурди. Примерное поведение скромной Агнесы. Раскаяние осла. Подвиги Девы. Торжество великого короля Карла VII



Мой дорогой читатель, верно, знает,
Что бог-дитя, который наш покой
Совсем не по-ребячески смущает,
Имеет два колчана за спиной.
Когда стрелу из первого колчана
Направит он, то сладостная рана
Не ноет, не болит, но, что ни час,
Становится опаснее для нас.

В другом колчане стрелы — пламень жгучий,
Который нас испепелить грозит:
Все чувства наши крутит вихрь могучий,
Забыто все; лицо огнем горит,
Какой-то новой жизнью сердце бьется,
Кровь новая по жилам буйно льется,
Не слышишь ничего, блуждает взгляд.
Кипящей несколько часов подряд
Воды в котле нестройное волненье
Есть только слабое изображенье
Тех бурных чувств, что нас тогда томят.

О, недостойнейших лгунов орава,
Которых мучила Иоанны слава,
О, бывшие всегда во власти зла
И истину скрывавшие лукаво,
По-вашему, краса всех дев могла
Такой любовью полюбить осла?
Вы честь ее берете под сомненье,
Наносите ей дерзко оскорбленье
И, умножая собственный свой срам,
Не уважаете прекрасных дам.
Не говорите, что Иоанна пала,
То повторять одним глупцам пристало,
Бессмыслица такая всем ясна.
Вы путаете числа, времена,
Бесстыдно лжете, не смутясь нимало.
Почтительнее к памяти осла!
Вам всем не по плечу его дела,
Хоть уши вам судьба длинней дала.
Ведь если Девственница без смущенья
И даже с чувством удовлетворенья
Внимала столь неслыханным речам,
То это извинительно для дам:
Тщеславия безгрешны наслажденья.

И чтоб навек прославить наконец
Иоанны д'Арк немеркнущий венец,
Чтоб доказать, что, овладев собою,
Она отбила натиск темных сил,
Не поддалась ослу,— я вам открою:
Другой любовник у Иоанны был.
То Дюнуа; уже давно она
Ему душой возвышенной верна.
Пускай ослиной речью, столь блестящей,

Она была немного польщена,
Но случай этот, многих веселящий,
Нельзя считать изменой настоящей.

История расскажет нам,
Что Дюнуа, безжалостный к врагам,
Златой стрелой из первого колчана
Был поражен Амуром в сердце. Рана
Была глубокой, но владел собой
И слабостей не ведал наш герой.
Он предан был монарху и отчизне;
Их честь была ему законом в жизни.

Иоанна! Знал он, что тебя своей
Он назовет с исходом бранных дней,
И срока ждал, уверен, тверд и молод;
Так верный пес, одолевая голод,
До устали набегавшись окрест,
Дичь держит в пасти, но ее не ест.
Однако, видя, что осел небесный
О страсти Деве говорит прелестной,
Решил открыть свою любовь и он.
Мудрец порой бывает помрачен.

Конечно, было слишком безрассудно
Отчизну бросить на алтарь любви.
Есть грань страстям. Иоанне было трудно,
Еще не потушив огня в крови,
Сопротивляться своему герою.
Любовь над нею власть брала, не скрою;
И лишь в последний миг святой Денис
С заоблачных селений грянул вниз
И, свет вокруг себя распространяя,
На золотом луче слетел из рая,
Как в оный день, когда из горних стран
Он в первый раз спустился в Орлеан.
Ударил в грудь Иоанны луч небесный,
Она очнулась, и, что было сил,
Кричит: «Остановитесь, друг прелестный.
Еще не время, час не наступил,
Умерьте ваш неудержимый пыл!
Вам одному я верность обещаю,
Вам девства своего отдам я цвет,
Но вы должны еще родному краю
Помочь стереть позор последних лет,

Изгнать врага, исполнить дело чести;
И мы на лаврах ляжем с вами вместе».

Сдержал свои желанья Дюнуа,
Услышав столь разумные слова,
И обещал им подчиниться свято.
Она спешит его поцеловать
Подряд раз двадцать или двадцать пять,
Как добрая сестра целует брата.
Овладевают вновь они собой,
И в их сердцах опять царит покой.
Денис их видит и, довольный ими,
Спешит с предположеньями своими.
Был у надменного Тальбота план
Тайком проникнуть ночью в Орлеан;
Хотел помочь он англичанам бравым,
Скорее мужественным, чем лукавым.

Ты торжествуешь, бог любви! О, срам!
О злой Амур, ведь ты предать собрался
Оплот и славу Франции врагам!
То, перед чем британец колебался,
То, что Бедфорд и опытность его,
То, что рука Тальбота самого
Не сделали, ты совершить берешься.
Ты губишь нас, дитя, а сам смеешься!

И если этот маленький пострел
Иоанну ранил с соблюденьем правил,
То острия других, ужасных стрел
В грудь нашей президентши он направил.
Их мощный и стремительный удар
В душе, в крови ее зажег пожар.

Вообразите страшную осаду,
Кровавый приступ, ужас, равный аду,
Усилья эти, этот страшный бой
В глубоких рвах, на башнях, под стеной,
Когда Тальбот с британскими полками
Стоял пред взорванными воротами
И, мнилось, на него бросала твердь
Огонь, свинец, железо, сталь и смерть.
Уже Тальбот, и дерзостный и рьяный,
Успел войти в ограду Орлеана
И возвышал свой голос громовой:

«Сдавайтесь все! Соратники, за мной!»
Покрытый кровью, в этот миг, поверьте,
Он был похож на бога битв и смерти,
Которому сопутствуют всегда
Раздор, Судьба, Беллона и Беда.

Как бы случайно в президентском доме
Отверстья не забили одного,
И госпожа Луве могла в истоме
Глядеть на паладина своего,
На яркий шлем, султаном осененный,
Могла заметить взор его влюбленный
И гордый вид, с которым бы не мог
Соперничать и древний полубог.
По жилам президентши пламя лилось,
Она забыла стыд, в ней сердце билось.
Так иногда, вся в сладостном чаду,
Из темной ложи госпожа Оду
Глядела на бессмертного Барона,
Не отрывалась от его лица,
Ждала его улыбки и поклона
И страстью наслаждалась без конца.

Черт, президентшей овладев всецело,
К развязке вел без затруднений дело;
Амур и черт, вы знаете,— одно.
Архангел черный, злом неутолимый,
Принять Сюзетты вид решил умно,
Служанки верной, доброй и любимой.
То девушка полезная была:
Она причесывала, завивала,
Любовные записки доставляла,
Вела хозяйки нежные дела,
А кстати и своих не забывала.
Лукавый бес, приняв Сюзеттин вид,
Красавице влюбленной говорит:
«Известны вам мой ум и дарованья;
Я исполненью вашего желанья
От всей души хотела бы помочь.
Мой брат двоюродный сегодня в ночь
Как раз назначен часовым к воротам.
Когда наш город погрузится в сон,
Вы там могли бы встретиться с Тальботом.
Записку дайте мне; мой брат смышлен,
И передать ее сумеет он».

Тут президентша, не предвидя риску,
Поторопилась написать записку,
Где страсть дышала в каждой запятой:
Недаром черт у ней был за спиной.
Тальбот великий, получив признанье,
Решил пойти на позднее свиданье;
Но в эту ночь поклялся он вкусить
Не только негу, но и славу кстати;
И он решился, соскочив с кровати,
Другим скачком победу захватить.

Монах Лурди, вы помните, быть может,
Денисом к англичанам послан был
В надежде, что он там ему поможет.
Он был свободен, пел псалмы, служил
И даже исповедовал порою.
Тальбот не мог предполагать никак,
Что явится помехою герою
Какой-то жалкий выродок, дурак,
Которого на днях он самолично
Распорядился выпороть публично.
Но иначе судил всесильный рок.
В своих решеньях он, как всякий знает,
Возносит часто тех, кто недалек,
И в дураках разумных оставляет.
Небесный луч зажегся вдруг в груди
Тяжелодумного отца Лурди,
И мозг монаха, просветленный раем,
Для мыслей стал отчасти проницаем;
Он понял сам, что в нем рассудок есть.
Ах, что такое наша мысль, бог весть!
Известна ли нам тайная пружина,
Безумия и мудрости причина?
Известна ли нам, атомом каким
Философ от тупицы отличим,
Каких непостижимых клеток сила
Питала дух Гомера и Эсхила
Или какой отравой был вспоен
Какой-нибудь Терсит, Зоил, Фрерон?
Взлелеет иногда царица Флора
Близ лилии прекрасной мухомора;
Так сотворил их бог, так хочет он.
А воля бога скрыта от науки:
Ученый лепет — лишь пустые звуки.

Лурди тотчас же любопытен стал
Все замечал, повсюду нос совал.
Приметил он, что к городу рядами
Тянулись повара за поварами,
Что были к вечеру отнесены
Туда куски отличной ветчины,
И редкостная дичь, и трюфлей груды,
И тонкие граненые сосуды
Во льду, в которых было налито
Вино священных погребов Сито.
Притом все шли поспешно и в молчанье.
Тогда Лурди вдруг осенило знанье,
Но не латынь пустая, а как раз
То, что поступкам нужным учит нас.
Он овладел искусством речи сладким,
Стал нежным, вкрадчивым, на слухи падким,
Подглядывал, умело притаясь,
Молчал, болтал, не ощущая страха,
Собой являя образец монаха.
Их братия, лукава и хитра,
Влезает ловко с заднего двора;
Проныры и лгуны, пример смутьянам,
Войдя сперва в доверие к мещанам,
Ползут затем к носителям порфир
И, наконец, заполоняют мир;
Одни ханжи, другие понаглее,
Лисицы, волки, обезьяны, змеи;
Недаром же британцы в старину
От них очистили свою страну.

Лурди тропинкой, вдоль лесной полянки,
До королевской добежал стоянки
И отыскал, волнением объят,
Где Бонифаций жил, его собрат.
Тот важно в эти миги роковые
Обдумывал вопросы мировые;
Он размышлял о тягостных цепях,
Которые связуют человека,
О судьбах, нам назначенных от века,
Об этом мире, об иных мирах.
Нет областей, закрытых для познанья,
Нетрудно разгадать событий нить.
Он понял все: он знает, что свиданье
Способно государство погубить.
Припоминает, что видал недавно

Он на заду британского пажа
Трех лилий золотых рисунок славный,
И в памяти его еще свежа
Картина гибели Гермафродита.
Он взвесил все. Всецело ж убежден
Стал духовник, что Карлу бог — защита,
Когда в беседе обнаружил он,
Что брат Лурди стал тонок и умен.

Лурди просил, чтобы его представил
Монаршей фаворитке духовник;
Он поклонился ей согласно правил
И рассказал все то, во что проник:
Как, неспособный побороть желанье,
Тальбот назначил вечером свиданье
И близ ворот, где взорвана стена,
С ним президентша встретиться должна.
«Могла бы хитростью, когда не силой,—
Он молвил ей,— быть кончена война.
Ведь так Самсон был побежден Далилой.
Агнеса, предложите королю
За дело взяться».— «Мой отец, молю,—
Она в ответ,— скажите, неужели
Навек мне верен Карл на самом деле?»
«Не знаю,— молвил он.— Любовь ему
Я ставлю в грех по сану своему,
Но сердцем с ним. Не мука, а отрада
Стать из-за ваших глаз добычей ада»,
Агнеса улыбнулась: «Ваш ответ
Любезен и находчив, спору нет,—
И еле слышно, избегая взгляда,
Добавила:— Еще один вопрос:
Встречался вам у англичан Монроз?»
Ответ Лурди был тонок и уместен:
«Его не раз я видел, он прелестен».
Агнеса вся зарделась и рукой
Лицо закрыла. Овладев собой
И улыбнувшись сдержанно и мило,
Она монаха к Карлу проводила.

Лурди достойно там себя держал,
И добрый Карл, не дав ему ответа.
Всех членов королевского совета
И всех военачальников собрал.
На это сборище героев славных

Пришла Иоанна, равная средь равных.
Явилась, незаметна и скромна,
Агнеса с неизменным вышиваньем,
И, что б сказать ни вздумала она,
Карл следовал ее предначертаньям.

Решили, не жалея ничего,
Схватить Тальбота с дамою его;
Так в дни былые Марса с Афродитой
В плен захватили Солнце и Вулкан.
Был тонко разработан этот план,
Лишь небольшому кругу лиц открытый.
Сначала вышел Дюнуа. Тяжел
Был дальний путь, которым он пошел,
И славится в истории доныне.
За ним войска тянулись по равнине,
По направленью к городской стене.
С своей возлюбленной наедине
Герой Тальбот вкушал уж наслажденье,
Себе дав мысленно одно мгновенье
На переход от нежных ласк к войне.
Шести полкам велел идти он следом.
Исход сраженья был заране ведом,
Но после поучения Лурди
Его оцепенелые солдаты
Какой-то были тяжестью объяты
И спали друг у друга на груди.
О, чудо! О, Денис! О, случай странный!

Уже могучий Дюнуа с Иоанной
И ослепительная свита их
Вблизи от укреплений городских
Вдоль цепи осаждающих скакали.
Арабский конь, из самых дорогих,
Которому соперник был едва ли,
Шел под Иоанною. В руке ее
Деборы было древнее копье,
Меч на боку сверкал, тот самый, верно,
Который обезглавил Олоферна.
И вот, благоговения полна,
Молить Дениса начала она:

«О ты, который в Домреми когда-то
Мне поручил исполнить труд солдата
И чудные доспехи вверил мне.

Прости меня, что я наедине
С твоим ослом, лукавым и неверным,
Его речам внимать дерзнула скверным.
Тебе напомнить, покровитель мой,
Позволь, что некогда моей рукой
Ты предал казни англичан бесчинных,
Бесчестивших монашенок невинных.
Предстал еще славнее случай нам.
Подай же ныне мощь моим рукам.
Я без тебя бессильна и убога.
Отчизну охрани во имя бога,
На короля пролей лучи любви
И президента честь восстанови.
Молю, пусть нам удастся это дело.
Я полагаюсь на тебя всецело!»

Денис к ее молитве снизошел,
А в лагере ей внял ее осел:
Ее почуял он; что было силы
Летит он второпях на голос милый
И, со смиреньем на колени став,
Ей признается в том, что был не прав.
«Владел мной дьявол, знаете вы сами.
Раскаиваюсь я». И со слезами
Он умоляет оседлать его
И слушать не желает ничего.
Иоанне ясно, что благая сила
Крылатого осла ей возвратила.
Его слегка побив, ему она
Внушила на другие времена
Быть осмотрительнее и скромнее.
Осел клянется в том и, гордо рея,
Несет ее сквозь тучи и туман.
И вдруг он падает на англичан,
Как молния. На нем летя, Иоанна,
Неукротимым гневом обуянна,
Льет кровь рекой, пронзает сталь щитов
И отрубает тысячи голов.

Над ней ночное тусклое светило
Сияло безразлично и уныло.
Британцы, смущены, изумлены,
Не сводят глаз с туманной вышины,
Но длань разящая укрыта тучей.
Войска бегут растерянною кучей

И попадают в руки Дюнуа.
У Карла закружилась голова
От счастия. Несметными рядами
Его враги на смерть несутся сами
И падают на землю без числа,
Как беззащитные перепела.
Ослиный голос ужас всем внушает;
Иоанна руку сверху простирает,
Преследует, пронзает, рубит, мстит;
Бастард разит; а добрый Карл стреляет
На выбор, в тех, кто в трепете бежит.
Тальбот, любовной негой опьяненный
И без ума от госпожи Луве,
С ней лежа головою к голове,
Услышал боя грохот заглушенный.
Он, торжествуя, молвил про себя:
«Ура! Владею Орлеаном я!
Амур,— он шепчет в радостной гордыне,—
Перед тобою падают твердыни!»
Надежды преисполненный Тальбот
Целует госпожу Луве, встает,
Торопится одеться и, надменный,
Выходит, чтоб взглянуть на город пленный.

Тальбот всегда, на случай спешных дел,
Оруженосца при себе имел;
Тот верный, храбрый и любезный воин,
Хранивший плащ, копье и самострел,
Был господина своего достоин.
«Соратники! Победа! Город пал!» —
Вскричал Тальбот. Но сразу замолчал:
К нему не бритты верные, а Дева
Несется на осле, дрожа от гнева;
Французы ломятся чрез тайный ход;
Был потрясен и задрожал Тальбот.
Французы восклицают: «Карлу слава!
Вперед! Руби налево и направо!
Гасконцы, пикардийцы, где вы там?
Бей, режь, стреляй! Пощады нет врагам!»

Тальбот, как только поборол смущенье
И первое осилил впечатленье,
Сопротивляться до конца решил:
Так, в луже крови, из последних сил,
Эней отстаивал родную Трою.

Тальбот был равен этому герою —
Тальбот своей страны не посрамил,
Готовый драться хоть со всей вселенной.
С ним был оруженосец неизменный.
Они французов отразить хотят,
Но те идут за рядом новый ряд,
И им Тальбот победу уступает.
Сдается он, но чести не теряет.
Иоанна и бастард героя чтят
И, рыцарю сказав по комплименту,
Отводят президентшу к президенту.
Тот простодушно счастлив тем, что с ней:
Не ведать ничего — удел мужей.
Луве не знал до окончанья жизни,
Чем госпожа Луве была отчизне.

Рукоплескал вверху Денис святой;
Святой Георгий был объят тоской;
Осел ревел пронзительно и гордо,
Вселяя трепет в воинов Бедфорда;
Героем Карл Седьмой себя считал
И в городе Агнесе ужин дал,
И в ту же ночь стыдливая Иоанна,
Осла спровадив в райские хлева,
В положенном обете постоянна,
Сдержала слово перед Дюнуа.
А брат Лурди направо и налево
Еще кричал: «Она всем девам дева!»

Конец песни двадцать первой и последней

За и против

(Послание к Урании)
Г-же...

Твое, Урания, веленье —
Чтоб, красоте служа, Лукрецием я стал,
Чтоб ревностное дерзновенье
Все суеверия лишило покрывал;
Чтоб взору твоему я пылко начертал
Священных вымыслов опасное виденье;
И чтоб, приняв мое ученье,

Пред ужасом могил твой разум не дрожал
  И презрел вечное мученье.
Не ожидай, что, чувств соблазном упоен,
Религию клеймя, хулой непросвещенной
Я стану поносить карающий закон,
Как осудившего поносит осужденный.
Нет, скромно вы войдем, избрав достойный час,
  В обитель Божества, когда-то
Нам возвещенного и скрытого от нас.
Я чтить его готов, любить сыновне, свято,—
Мне предстоит тиран, что злобу сеет сам.
Он смертных сотворил, ему во всем подобных,
  Чтоб злей смеяться их скорбям;
  Замкнул нас в круг влечений злобных,
  Чтоб всех судить по их делам.
  Он радость завещал сердцам,
Чтоб стала тем страшней нам вечность мук
загробных,
Чтоб муки здешние больней казались нам.
Он смертных сотворил, не мысля об изъяне,
  И вдруг — стал смертных порицать,
Как будто мастеру не подобает знать
  Свои погрешности заране.
Слеп в милостях своих, слеп в ярости своей,
Едва успев создать, он стал губить людей.
Он морем сокрушил довольство их земное,
Хоть сам его в шесть дней извлек из мрака он.
Быть может, восхвалим провиденье благое,
Увидев лучший мир, что внове сотворен?
  О, нет, из праха вызывая,
  Он мир злодеев создает,
Бесчестнейших рабов, суровейших господ,
  Каких не знала жизнь былая.
Что ж станется теперь, и гром какой падет
Из гневных Божьих рук, ничтожным отомщая?
Стихии вновь смешав, он в хаос их вернет?
Внимайте, о любовь! о тайна всеблагая!
  Отцов волнами затопляя,
  Он за детей на смерть идет.
Есть ветренный народ, тупой, непросвещенный,
Священных вымыслов приверженец пустой,
Родившийся в ярме, от века покоренный,
Народам всем чужой, гонимый их семьей.
Сын Божества, сам Бог, не устрашась паденья,
Народу жалкому становится сродни;

Еврейку он избрал, возжаждав воплощенья;
Он, предан матери, влачит покорно дни
Ребяческого униженья.
Бедняк-ремесленник, корпя над верстаком,
Он свой расцвет сгубил работой принужденной,
Вещал пророчества три года он потом
И пал, бесславно осужденный.
Ужели кровь его, кровь Бога, что за нас
Он пролил, не была избыточным закладом,
Чтоб отвратить казнящий час,
Нам присужденный злобным адом?
Как! Бог пошел на смерть, чтоб всем спасенье дать,
И жертва обернулась ложью!
Как! смеют мне хвалить пустую милость Божью,
Меж тем как, вознесясь, он гневным стал опять,
Меж тем как вновь с высот грозится вечной бездной,
И яростью своей любовь свою поправ,
Он, став за мой же грех расплатой бесполезной,
Казнит меня за то, в чем я пред небом прав!
Карает этот Бог, слепой в любви и в злобе,
Детей — за праотцов, давно истлевших в гробе;
К ответу он зовет семью людских племен,
В ночь лжи поверженных от века;
В своем аду отмщает он
Неодолимому незнанью человека,—
Он, сам пришедший в мир, чтоб мир был озарен.
Америка, пустыни, горы,
Что Богом созданы у солнечных ворот;
Гиперборейские просторы,
Чью вековую глушь неведенье гнетет,—
Ужели отвратил от них Создатель взоры,
Ужели проклял страны те,—
Пусть не дано им знать, что в Сирии безвестной
Сын плотника рожден Марией неневестной,
Пилатом осужден, был распят на кресте?
Нет, Бог мой не таков, и лжет изображенье
Того, кто в этом сердце свят.
Его, боюсь я, оскорбят
Такая похвала, такое поношенье.
Услышь, Господь, молю, рожденное тоской,
Из сердца вырванное слово.
Неверью моему ты не отмстишь сурово,
Мой дух раскрыт перед тобой,
И сердце — не хулить, а чтить тебя готово:
Я — не христианин; тем ты верней любим.

Но что за зрелище очам моим предстало!
Христос — могуч и горд величием своим.
Разверзлось облак покрывало,—
Эмблема смертных мук, сверкает крест над ним.
Склонясь к его ногам, смерть притупила жало;
Из двери адовой он вышел невредим;
Приход его воспет пророчеств голосами;
Кровь мученичества — его скрепила трон;
Пути его святых богаты чудесами;
Превыше всех надежд их награждает он;
Мораль его свята, божественны примеры;
Он мир дает сердцам, познавшим сладость веры,
Средь бедствий тягостных он им в защиту дан;
И если словом уст он сеет ложь без меры,
Блаженство высшее — вкусить такой обман.
В два эти образа, Урания, вникая,
Их сокровенный смысл постигнешь только ты,
В ком сочетала ум природа всеблагая
С очарованьем красоты.
Хвали Всевышнего, кто в разум твой свободный
Премудро заронил живые семена
Своей религии природной.
Верь, что твоей души святая белизна
Его суровости не станет неугодной;
Верь, что всегда, везде, представ пред Божий трон,
Пребудет правый вознесен;
Верь, что любой из бонз, из дервишей примерных
Отыщет путь к нему скорей,
Чем янсенист, погрязший в скверных,
Иль суемудрый иерей.
И как его назвать, в молитвах величая?
Нет должных почестей: мала ему любая.
Не надо Божеству искательных забот;
Святыню оскорбят лишь злые помышленья.
Господь сторицей воздает
За доблесть нам, не за куренья.

Поэма о гибели Лиссабона

или проверка аксиомы: «Все благо»

О жалкая земля, о смертных доля злая!
О ярость всех бичей, что встала, угрожая!
Неистощимый спор бессмысленных скорбей.
О вы, чей разум лжет: «ВСЕ БЛАГО в жизни сей»,
Спешите созерцать ужасные руины,
Обломки, горький прах, виденья злой кончины,
Истерзанных детей и женщин без числа,
Разбитых мрамором сраженные тела;
Сто тысяч бледных жертв, землей своей распятых,
Что спят, погребены в лачугах и палатах,
Иль, кровью исходя, бессильные вздохнуть,
Средь мук, средь ужаса кончают скорбный путь.
Под еле внятный стон их голосов дрожащих,
Пред страшным зрелищем останков их чадящих
Посмеете ль сказать: так повелел закон,—
Ему сам Бог, благой и вольный, подчинен?
Посмеете ль сказать, скорбя о жертвах сами:
Бог отомщен, их смерть предрешена грехами?
Детей, грудных детей в чем грех и в чем вина,
Коль на груди родной им гибель суждена?
Злосчастный Лиссабон преступней был ужели,
Чем Лондон и Париж, что в негах закоснели?
Но Лиссабона нет,— и веселимся мы.
Вы, созерцатели, бесстрашные умы!
Вдали над братьями вершится дело злое,
А вы причину бед здесь ищете в покое;
Но если бич судьбы познать случится нам,
Вы плакать будете, как плачут нынче там.

Поверьте мне: когда бушует море лавы,
Невинна скорбь моя, мои роптанья правы.
Нам, яростью судьбы теснимым там и тут,
Разнузданностью зла, коварством смертных пут,
Чей утлый дом не раз стихии разрушали,—
Дозвольте нам скорбеть, собратья по печали.
Гордыня и соблазн — вещает ваш ответ —
Желать благой судьбы, коль блага в сердце нет.
Отважтесь вопросить кровавый берег Таго;
В обломках и крови откройте ваше «благо».

Спросите гибнущих на роковом пути,
Гордыня ль в них кричит: О НЕБО, ЗАЩИТИ,
О НЕБО, СМИЛУЙСЯ, ДА ИДЕТ ЧАША МИМО!
ВСЕ БЛАГО,— ваш ответ,— ВСЕ НЕОБХОДИМО.
Как? если б этот ад не пригрозил земле,
Не сгинул Лиссабон,— мир закоснел бы в зле?
Иль, скажете, не мог наш двигатель извечный,
Все зная, все творя по воле безупречной,
Нас вовсе не ввергать в печальные края?
Вулканов не зажечь, под почвой смерть тая?
Иль власти у него на это недостало?
Иль к немощи людской в нем состраданья мало?
Иль мастер не имел орудий под рукой,
Чтоб выполнить в веках свой замысел любой?
Смиренно б я желал, с творцом своим не споря,
Чтоб волны серные пылающего моря
Катились без вреда по пустырям земным.
Я бога чтить готов, но мной и мир любим:
Коль стонет человек, от бед изнемогая,
Не гордость то,— увы! — чувствительность людская.

Едва ли б жители той горестной земли
В несчастиях своих утешиться могли,
Когда б сказали им: ВЫ ГИБНЕТЕ НЕДАРОМ:
ДЛЯ БЛАГА ОБЩЕГО ВАШ КРОВ ОБЪЯТ ПОЖАРОМ;
ТАМ БУДЕТ ГОРОД ВНОВЬ, ГДЕ РУХНУЛ ВАШ ПРИЮТ;
НАРОДЫ НОВЫЕ НАД ПЕПЛОМ ВОЗРАСТУТ;
ЧТОБ СЕВЕР БОГАТЕЛ, ВЫ МУКИ ПРЕТЕРПЕЛИ;
ВСЕ ВАШИ БЕДСТВИЯ ВЫСОКОЙ СЛУЖАТ ЦЕЛИ;
РАВНО ПЕЧЕТСЯ БОГ О ВАС И О ЧЕРВЯХ,
ЧТО БУДУТ ПОЖИРАТЬ ВАШ БЕЗДЫХАННЫЙ ПРАХ.

Как ужаснула бы несчастных речь такая!
Умолкните, к скорбям обид не прибавляя.

Нет, слишком в эти дни я сердцем возмущен,
Чтоб неизбежности холодной чтить закон,—
Всю цепь вселенных, тел и душ неуловимых.
О сказки мудрецов! Соблазны истин мнимых!
Никем не скован Бог и держит цепь в руках;
Все выбором его предрешено в веках;

Он благ, он справедлив, он волен без предела.
И та благая мощь — терзать нас захотела?
Вот узел роковой, что должно развязать.
Как исцелить недуг, коль про него не знать?
Все племена земли, дрожа пред небесами,
Искали семя зла, не признанного вами.
Когда, по воле сил, что движут естеством,
Свергается скала в полете буревом,
Когда пылает дуб, зажжен стрелой грозо́вой,—
Для них неощутим удар судьбы суровой.
Но я живу, дышу, но вся печаль моя
Взывает к Господу, которым создан я.
Сыны Всевышнего, рожденные для муки,
Мы к нашему Отцу с мольбой простерли руки.
Кувшин не скажет, в спор с горшечником вступив:
«Зачем так жалок я, непрочен, некрасив?»—
Заведомо лишен речей он и сужденья;
Он создан, как и мы, для краткого мгновенья,
Но вышел неживым из лавки гончара —
Без страждущей души, без чаянья добра.
Зло, говорите вы, добром порой чревато.
Так, бытие червей в гробу моем зачато:
Пред тем как умереть, свой страдный путь кляня,
Утешусь истиной, что червь пожрет меня!
Молчите, счетчики земного униженья,
Не растравляйте боль насмешкой утешенья;
Давно я разгадал бессильный ваш порыв:
Так бедствует гордец, твердя, что он счастлив.

Когда б страдал лишь я — с единством
разобщенный...
Но каждый зверь, на жизнь безвинно осужденный,
Все существа, приняв закон бытия,
Безрадостно живут и встретят смерть, как я.
Вот ястреб, распростерт над жертвой помертвелой,
Справляет, весь в крови, свой пир освирепелый:
Все благо для него; но вскоре, в свой черед,
На ястреба орел свергается с высот.
Орла разит свинец — оружье человека;
А человек, в полях, где правит Марс от века,
Средь груды мертвецов, пронзен, повергнут ниц,
Становится, увы, добычей хищных птиц.
Так стонут и скорбят все члены мирозданья;
Друг друга все гнетут, родившись для страданья.
И в этом хаосе стремитесь вы создать,

Все беды сочетав, в единстве, благодать?
Какую благодать! О смертный, персть земная!
ВСЕ БЛАГО, ты кричишь, но, слезы приглушая:
Ты миром уличен и собственной душой
Стократно опроверг бесплодный довод свой.

Враждует вся земля — стихии, люди, звери.
Признаем: зло сродни печальной этой сфере;
Заботливо от нас укрыт его рычаг.
Иль зло ниспослано подателем всех благ?
Тифоном яростным, жестоким Ариманом
Проклятая юдоль страданья суждена нам?
Мой ум не признает чудовищ этих злых,
Пусть некогда рабы — богов узрели в них.

Но как постичь Творца, чья воля всеблагая,
Отцовскую любовь на смертных изливая,
Сама же их казнит, бичам утратив счет?
Кто замыслы его глубокие поймет?
Нет, зла не мог создать создатель совершенный:
Не мог создать никто, коль он — Творец вселенной.
Все ж существует зло. Как истины грустны!
Как странно крайности к единству сведены!
Бог не дал торжества спасительной надежде;
Он землю посетил, и что ж: там все, как прежде!
Злорадствует софист: «Он мир спасти не мог!»
«Он мог,— кричит другой,— хотел иного Бог!
Он мир еще спасет!» За распрей бесполезной
Забыт и Лиссабон, сметенный гулкой бездной,
И тридцать городов, вдруг превращенных в тлен,
От Таго рдяного до кадиксовых стен.
Иль Бог казнит людей, виновных от рожденья,
Иль этот властелин пространства и творенья,
Без гнева, без любви, бесстрастно служит сам
Тому, что завещал стремительным векам;
Иль слепо на творца материя восстала,
НЕОБХОДИМЫЙ грех лелея изначала;
Иль нас пытает Бог, и смертный этот дом —
Лишь узкий переход пред вечным бытием?
Так, преходящую здесь скорбь претерпевая,
Мы верим: завершит мученье смерть благая;
Но кто, преодолев ужасный переход
И счастье выстрадав, свой путь не проклянет?

Все судьбы нам темны, и горестна любая.
Не знаем ничего, бесплодно вопрошая.

Природа, в немоте, ответов не дает.
Нам, смертным, нужен Бог, глаголящий с высот.
И кто б, как не творец, нам разъяснил творенье,
Мудрейших озарил, дал слабым утешенье?
Отвергнут Божеством, заблудший род людской
От шатких тростников опоры ждет порой.
Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезей незримой
В сей лучший из миров, в порядок нерушимый
Врывается разлад, извечный хаос бед,
Ведя живую скорбь пустой мечте вослед;
Зачем невинному, сродненному с виновным,
Склоняться перед злом, всеобщим и верховным;
Постигнуть не могу в том БЛАГА своего:
Я, как мудрец, увы! не знаю ничего.
Нам говорит Платон: был человек крылатым,
Был телом просветлен и чужд земным утратам;
Он смерти не знавал и не дружил с бедой:
Как нынче он далек от доли светлой той!
Он гнется, он скорбит; он проклят от рожденья;
Природа — царство зла, обитель разрушенья.
Созданье хрупкое из нервов и костей
Под натиском стихий погибнет тем скорей;
Из крова, праха, влаг возникла плоть живая,
Чтоб снова стать ничем, единство вновь теряя;
И нервы тонкие и хрупкие сердца
Подчинены скорбям, прислужницам конца;
Природа такова: мирюсь с ее законом.
Мне темен Эпикур, я во вражде с Платоном.
Бейль умудреней всех,— ему хвалу воздам:
Сомненью учит Бейль, доверясь лишь весам.
Став выше всех систем, на собственное горе,
Он все их ниспроверг и сам с собой в раздоре:
Так некогда слепец разгневанный, Самсон,
Обрушив своды стен, был ими погребен.

Приподнят ли покров великими умами?
Нет: книга жребия закрыта перед нами.
Неведом человек себе же самому.
Кто я, куда иду, какой удел приму?
Рой жалких атомов над этой грудой праха,
У жребия в плену, на поводу у страха,—
Но зрячих атомов, чьи очи мысль зовет
Измерить пустоту безвестную высот;
Мы к бесконечному стремим свои желанья,
Не чая на земле вкусить самопознанья.

Мир, заблуждения и гордости приют,
Кишит несчастными, что счастья тщетно ждут;
Стон, жалобы кругом,— всех, всех мечта прельстила:
Смерть каждому страшна, жизнь каждому постыла.
Средь наших горьких дней пусть слезы нам порой
Веселье осушит беспечною рукой,—
Веселье улетит, оно, как тень, мгновенно;
Печаль, утрата, скорбь пребудут неизменно.
Мы в прошлом свято чтим лишь память наших бед;
Все в настоящем — скорбь, коль будущего нет,
Коль мыслящую плоть разрушит умиранье.
ВСЕ МОЖЕТ СТАТЬ БЛАГИМ — вот наше упованье;
ВСЕ БЛАГО И ТЕПЕРЬ — вот вымысел людской.
Мне лгали мудрецы, Бог честен был со мной.
Смиренно сетуя, влача земную долю,
Не мыслю порицать Божественную волю.
Я некогда воспел, желаньем полонен,
Беспечных радостей прельстительный закон.
Те времена прошли: остепенен годами,
Со смертными сроднен мечтами и скорбями,
Ища в глухой ночи разгадок бытия,
Я стражду лишь, увы,— роптать не в силах я.
Был некогда калиф; предчувствуя кончину,
Молитву он вознес к творцу и господину:
«ДОЗВОЛЬ ТЕБЕ ВРУЧИТЬ, БЕЗМЕРНЫЙ ЦАРЬ ЦАРЕЙ,
ВСЕ ТО, ЧТО НЕ СРОДНИ БЕЗМЕРНОСТИ ТВОЕЙ:
ИЗЪЯНЫ, ГОРЕСТИ, НЕДУГИ И НЕЗНАНЬЕ».
Но в перечне своем забыл он УПОВАНЬЕ.

ФИЛОСОФСКИЕ ПОВЕСТИ

Задиг, или Судьба

Восточная повесть

ПОСВЯТИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СААДИ СУЛТАНШЕ ШЕРАА

18 числа, месяца шеваля, 837 г. Хиджры.

Прельщение очей, мука сердец, свет разума! Не целую праха от ног ваших, ибо вы почти не ходите, а если и ходите, то по иранским коврам или по розам. Преподношу вам перевод книги одного древнего мудреца, который имел счастье быть досужим человеком и мог забавляться писанием истории Задига — произведения, в котором сказано больше, чем это кажется на первый взгляд. Прошу вас прочесть его и высказать свое суждение. Ибо, хотя вы едва достигли весны дней своих и хотя все удовольствия к вашим услугам, хотя вы прекрасны и ваши дарования добавляют блеска к вашей красоте, хотя вас прославляют с вечера до утра, хотя по всем этим причинам здравый смысл для вас отнюдь не обязателен — тем не менее вы обладаете ясным умом и тонким вкусом, и я сам слышал, как вы рассуждали куда разумнее, чем длиннобородые дервиши в остроконечных шапках. Вы сдержанны, но вам чужда недоверчивость, кротки, не будучи слабодушной, делаете добро, но с разбором, любите своих друзей и не создаете себе врагов. Ваше остроумие никогда не подкрепляется злоречием, вы не говорите и не делаете ничего дурного, хотя вам это было бы очень легко. Короче говоря, ваша душа мне всегда казалась такой же чистой, как и ваша красота. Вы даже не чужды философии, и это побуждает меня думать, что вам

скорее, чем всякой другой женщине, понравится это произведение мудреца.

Оно было написано первоначально на древнехалдейском языке, которого ни вы, ни я не понимаем. Его перевели на арабский язык для забавы знаменитого султана Улуг-бека. Это было в те времена, когда арабы и персы начали писать сказки вроде «Тысяча и одна ночь», «Тысяча и один день» и прочие. Улугу больше нравился «Задиг», но султанши предпочитали разные «Тысячи и один». «Как вы можете восхищаться побасенками, в которых нет ничего, кроме глупостей и бессмыслиц?» — говорил им мудрый Улуг. «Именно за это мы их и любим»,— отвечали султанши.

Льщу себя надеждою, что вы не уподобитесь им и что будете настоящим Улугом. Надеюсь даже, что, когда вы устанете от обычных бесед, похожих на всякие «Тысяча и один», только менее занимательных, мне можно будет улучить минуту, чтобы поговорить с вами серьезно. Если бы вы были Фалестридой времен Скандера, сына Филиппа, или царицей Савской времен Сулеймана,— эти владыки сами пришли бы поклониться вам.

Молю силы небесные, чтобы утехи ваши были нескончаемы, чтобы красота ваша никогда не увядала и счастье длилось вечно!

Саади

КРИВОЙ

Во времена царя Моабдара жил в Вавилоне молодой человек по имени Задиг; его природные наклонности, прекрасные сами по себе, были еще более развиты воспитанием. Несмотря на богатство и молодость, он умел смирять свои страсти, ни на что не притязал, не считал себя всегда правым и умел уважать человеческие слабости. Все удивлялись, видя, что при таком уме он никогда не насмехается над пустой, бессвязной и шумной болтовней, грубым злословием, невежественными приговорами, пошлым гаерством и тем пустозвонством, которое зовется в Вавилоне «беседою». Из первой книги Зороастра он узнал, что самолюбие — это надутый воздухом шар и что, если его проколоть, из него вырываются бури. Никогда Задиг не бахвалился презрением к женщинам и легкими над ними победами. Он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ты ешь, давай есть и собакам, даже если потом они тебя укусят». Он был мудр, насколько может быть мудрым человек, ибо старался бывать в обществе мудрецов. Постигнув науку древних халдеев, он

обладал познаниями в области физических законов природы в той мере, в какой вообще их тогда знали, и смыслил в метафизике ровно столько, сколько смыслили в ней во все времена, то есть очень мало. Вопреки тогдашней философии, он был твердо убежден, что в году триста шестьдесят пять дней с четвертью и что солнце — центр вселенной. Когда главные маги с оскорбительным высокомерием называли его человеком неблагонамеренным и утверждали, что только враг государства может верить, будто солнце вращается вокруг собственной оси, а в году двенадцать месяцев, Задиг молчал, не обнаруживая ни гнева, ни презрения.

Обладая большим богатством, а следовательно, и многими друзьями, наделенный здоровьем, приятной наружностью, здравым, светлым умом, благородством и прямодушием, Задиг рассчитывал, что будет счастлив в жизни. Он собирался жениться на Земире, которая благодаря своей красоте, происхождению и богатству считалась первой невестой во всем Вавилоне. Он был к ней глубоко и нежно привязан, а Земира горячо его любила. Приближался счастливый день, который должен был их соединить. Однажды, прогуливаясь у ворот Вавилона под пальмами, обрамлявшими берега Евфрата, они увидели, что к ним приближаются люди, вооруженные саблями и луками. То были телохранители молодого Оркана, племянника одного из министров, которому льстецы его дяди внушили, что ему все дозволено. Не имея ни достоинств, ни добродетелей Задига, он считал, однако, что во всем превосходит его, и был вне себя из-за предпочтения, оказанного Земирой сопернику. И под влиянием ревности, порожденной одним лишь тщеславием, он вообразил, будто без памяти ее любит. Он решил ее похитить. Его сообщники схватили Земиру и, в суматохе ранив ее, пролили кровь девушки, один взгляд которой мог бы смягчить тигров горы Имаус. Земира оглашала окрестность пронзительными воплями и восклицала:

— Дорогой мой супруг! Меня хотят разлучить с тобой!

Не думая о грозившей ей опасности, она тревожилась только о своем милом Задиге. А он тем временем защищал ее с отвагой, которую могут вдохнуть в человека лишь прирожденное мужество и любовь. С помощью двух своих рабов он обратил похитителей в бегство и отнес домой Земиру, окровавленную и потерявшую сознание. Придя в себя, она увидела своего избавителя и сказала ему:

— О Задиг! Я любила вас как будущего супруга, а теперь люблю как человека, которому обязана честью и жизнью.

Никогда еще не было сердца признательнее, чем сердце Земиры, никогда еще более очаровательные уста не выражали более трогательных чувств теми огненными словами, которые внушает признательность за величайшее из благодеяний и нежнейший порыв законной любви.

Рана была легкая, и Земира вскоре выздоровела. Задиг был ранен опаснее: стрела вонзилась ему около глаза и нанесла глубокую рану. Земира неустанно молила богов об исцелении возлюбленного. Ее глаза день и ночь проливали слезы; она ожидала минуты, когда Задиг снова сможет наслаждаться взорами ее очей. Но нарыв, образовавшийся на раненом глазу, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом, который приехал с многочисленной свитой. Он осмотрел больного, объявил, что тот потеряет глаз, и предсказал даже день и час этого злополучного события.

— Будь это правый глаз,— сказал врач,— я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы.

Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. Два дня спустя нарыв прорвался сам собой, и Задиг совершенно выздоровел.

Гермес написал книгу, в которой доказывал, что Задиг не должен был выздороветь. Задиг не читал ее; как только он смог выходить из дому, он собрался посетить ту, с которой были связаны все его надежды на счастье. Только для нее желал он сохранить в целости свои глаза. Но Земира три дня назад уехала за город. Дорогой он узнал, что эта прекрасная дама, презрительно заявив, что чувствует непреодолимое отвращение к кривым, накануне вечером обвенчалась с Орканом. Услышав это, Задиг упал без чувств; отчаяние едва не свело его в могилу; он был долго болен, но наконец рассудок одержал верх над горем, и Задиг нашел утешение в самой жестокости испытанного им потрясения.

«Так как я узнал,— сказал он себе,— как безжалостна и ветрена может быть девушка, воспитанная при дворе, мне надо жениться на простой горожанке».

Он избрал Азору, самую умную девушку и из лучшей семьи в городе, женился на ней и прожил месяц, наслаждаясь всеми радостями нежнейшего брачного союза. Однако вскоре он заметил, что жена его несколько легкомысленна и что у нее непреодолимая склонность считать самыми умными и добродетельными тех молодых людей, чья внешность казалась ей особенно привлекательной.

НОС

Однажды Азора возвратилась с прогулки в сильном гневе, громко выражая свое негодование.

— Что с вами, моя милая супруга? — спросил Задиг.— Кто вас так рассердил?

— Вы были бы точно так же возмущены,— ответила она,— если бы увидели то, чему я сейчас была свидетельницей. Я навещала молодую вдову Козру, похоронившую два дня назад своего юного супруга на берегу ручья, омывающего луг. Безутешно скорбя, она дала обет богам не уходить оттуда, пока не иссякнут воды ручья.

— Что же,— сказал Задиг,— вот достойная уважения женщина, истинно любившая своего мужа!

— Ах,— возразила Азора,— знали бы вы, чем она занималась, когда я пришла к ней!

— Чем же, прекрасная Азора?

— Она отводила воды ручья.

Азора разразилась столь нескончаемыми упреками и так поносила молодую вдову, что эта чересчур многословная добродетель не понравилась Задигу.

У него был друг по имени Кадор, из числа молодых людей, которых жена Задига считала особенно добродетельными и достойными. Задиг сделал его своим поверенным, с помощью ценного подарка заручившись, насколько это возможно, его верностью.

Однажды, когда Азора, проведя два дня за городом у одной из своих подруг, возвратилась на третий день домой, слуги с плачем возвестили ей, что муж ее внезапно умер этой ночью, что ей не решились сообщить столь печальное известие и что его уже похоронили в семейной усыпальнице в самом конце сада. Азора рыдала, рвала на себе волосы и клялась, что не переживет его. Вечером Кадор попросил позволения зайти к ней, и они рыдали вдвоем. На другой день они рыдали уже меньше и вместе пообедали. Кадор сообщил ей, что друг его завещал ему бóльшую часть своих богатств, и намекнул, что почтет за счастье разделить свое состояние с нею. Дама поплакала, посердилась, но наконец успокоилась; ужин длился дольше обеда, и разговаривали они откровеннее. Азора хвалила покойного, но призналась, что у него были недостатки, которых нет у Кадора.

За ужином Кадор стал жаловаться на сильную боль в селезенке. Встревоженная дама приказала принести благовония, которыми она умащалась,— она надеялась, что какое-нибудь из них утолит эту боль. Азора очень сожалела, что

великого Гермеса уже нет в Вавилоне, и даже соблаговолила дотронуться до того места, где Кадор чувствовал такие сильные боли.

— Вы подвержены этой ужасной болезни? — спросила она с состраданием.

— Она иногда приводит меня к самому краю могилы,— отвечал ей Кадор.— Облегчить мои страдания можно только одним способом: приложить мне к больному боку нос человека, умершего накануне.

— Какое странное средство! — сказала Азора.

— Ну, уж не более странное,— отвечал он,— нежели мешочки господина Арну [1] от апоплексии.

Этот довод, в соединении с чрезвычайными достоинствами молодого человека, заставил даму решиться.

«Ведь когда мой муж,— подумала она,— отправится из здешнего мира в иной по мосту Чинавар, не задержит же его ангел Азраил на том основании, что нос Задига будет во второй жизни несколько короче, нежели в первой?»

Она взяла бритву, пошла к гробнице своего супруга, оросила его слезами и наклонилась, собираясь отрезать нос Задигу, который лежал, вытянувшись во весь свой рост. Задиг встал, одной рукой закрывая нос, а другой отстраняя бритву.

— Сударыня,— сказал он ей,— не браните так усердно молодую Козру: намерение отрезать мне нос ничуть не лучше намерения отвести воды ручья.

СОБАКА И ЛОШАДЬ

Задиг убедился, что, как сказано в книге Зенд, первый месяц супружества — медовый, а второй — полынный. Он вынужден был через некоторое время развестись с женой, жизнь с которой стала для него невыносима, и начал искать счастья в изучении природы.

«Нет никого счастливее,— повторял он,— чем философ, читающий в той великой книге, которую бог развернул перед нашими глазами. Открываемые им истины составляют его достояние. Ими он питает и возвышает свою душу; его жизнь спокойна, ему нечего бояться людей, и нежная супруга не придет отрезать ему нос».

---

[1] В это время жил один вавилонянин по имени Арну, который, как сообщалось в газетах, излечивал и предотвращал апоплексию посредством привешенного к шее мешочка.

(Здесь и далее примечания в сносках, кроме перевода иноязычных слов и выражений, принадлежат Вольтеру.— *Ред.).*

Под влиянием этих мыслей Задиг удалился в загородный дом на берегу Евфрата. Он не занимался там вычислением того, сколько дюймов воды проходит в одну секунду под арками моста, или того, выпадает ли в месяц Мыши на одну кубическую линию дождя больше, чем в месяц Овна. Он не помышлял о том, что можно изготовлять шелк из паутины или фарфор из разбитых бутылок, но занимался главным образом изучением свойств животных и растений и приобрел вскоре навык находить тысячу различий там, где другие видят лишь единообразие.

Однажды, когда Задиг прогуливался по опушке рощицы, к нему подбежал евнух царицы, которого сопровождали еще несколько дворцовых служителей. Все они, видимо, находились в сильной тревоге и метались взад и вперед, словно искали потерянную ими драгоценную вещь.

— Молодой человек,— сказал ему первый евнух,— не видели ли вы кобеля царицы?

— То есть суку, а не кобеля,— скромно отвечал Задиг.

— Вы правы,— подтвердил первый евнух.

— Это маленькая болонка,— прибавил Задиг,— она недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши.

— Значит, вы видели ее? — спросил запыхавшийся первый евнух.

— Нет,— отвечал Задиг,— я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака.

Как раз в это время, по обычному капризу судьбы, лучшая лошадь царских конюшен вырвалась из рук конюха на лугах Вавилона. Егермейстер и другие придворные гнались за ней с не меньшим волнением, чем первый евнух за собакой. Обратившись к Задигу, егермейстер спросил, не видел ли он царского коня.

— Это конь,— отвечал Задиг,— у которого превосходнейший галоп; он пяти футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост трех с половиной футов длины, бляхи на его удилах из золота в двадцать три карата, подковы из серебра в одиннадцать денье.

— Куда он поскакал? По какой дороге? — спросил егермейстер.

— Я его не видел,— отвечал Задиг,— и даже никогда не слыхал о нем.

Егермейстер и первый евнух, убежденные, что Задиг украл и лошадь царя, и собаку царицы, притащили его в собрание великого Дестерхама, где присудили к наказанию кнутом и к пожизненной ссылке в Сибирь. Едва этот приговор

был вынесен, как нашлись и собака и лошадь. Судьи были поставлены перед печальной необходимостью пересмотреть приговор; но они присудили Задига к уплате четырехсот унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел.

Задигу пришлось сперва уплатить штраф, а потом ему уже позволили оправдаться перед советом великого Дестерхама. И он сказал следующее:

— Звезды правосудия, бездны познания, зерцала истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и большое сходство с золотом! Так как мне дозволено говорить перед этим высочайшим собранием, я клянусь вам Оромаздом, что никогда не видел ни почтенной собаки царицы, ни священного коня царя царей. Вот что со мной случилось. Я прогуливался по опушке той рощицы, где встретил потом достопочтенного евнуха и прославленного егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что их оставила маленькая собачка. По едва приметным длинным бороздкам на песке между следами лап я определил, что это сука, у которой соски свисают до земли, из чего следует, что она недавно ощенилась. Следы, бороздившие песок по бокам от передних лап, говорили о том, что у нее очень длинные уши, а так как я заметил, что след одной лапы везде менее глубок, чем следы остальных трех, то догадался, что собака нашей августейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться.

Что же касается коня царя царей, то знайте, что, прогуливаясь по дорогам этой рощи, я заметил следы лошадиных подков, которые все были на равном расстоянии друг от друга. Вот, подумал я, лошадь, у которой превосходный галоп. Пыль с деревьев вдоль узкой дороги, шириною не более семи футов, была немного сбита справа и слева, в трех с половиной футах от середины дороги. У этой лошади, подумал я, хвост трех с половиною футов длиной: в своем движении направо и налево он смел эту пыль. Я увидел под деревьями, образующими свод в пять футов высоты, листья, только что опавшие с ветвей, из чего я заключил, что лошадь касалась их и, следовательно, была пяти футов ростом. Я исследовал камень кремневой породы, о который она потерлась удилами, и на этом основании определил, что бляхи на удилах были из золота в двацать три карата достоинством. Наконец, по отпечаткам подков, оставленным на камнях другой породы, я пришел к заключению, что ее подковы из серебра достоинством в одиннадцать денье.

Все судьи восхитились глубиной и точностью суждений Задига, и слух о нем дошел до царя и царицы. В передних дворца, в опочивальне, в приемной только и говорили что о Задиге, и хотя некоторые маги высказывали мнение, что он должен быть сожжен как колдун, царь приказал, однако, возвратить ему штраф в четыреста унций, к которому он был присужден. Актуариус, экзекутор и прокуроры пришли к нему в полном параде и вернули ему четыреста унций, удержав из них только триста девяносто восемь унций судебных издержек; кроме того, их слуги потребовали еще на чай.

Задиг понял, что быть слишком наблюдательным порою весьма опасно, и твердо решил при первом же случае промолчать о виденном.

Такой случай скоро представился. Бежал государственный преступник. Задиг заметил его из окон своего дома, но на допросе не сказал об этом. Однако его уличили в том, что он смотрел в ту минуту в окно. За это преступление он был присужден к уплате пятисот унций золота. По вавилонскому обычаю, Задиг поблагодарил судей за снисходительность. «Великий боже! — подумал он.— Сколько приходится терпеть за прогулку в роще, по которой пробежали собака царицы и лошадь царя! Как опасно подходить к окну и как трудно дается в этой жизни счастье!»

ЗАВИСТНИК

Утешения в посланных ему судьбой несчастьях Задиг искал в философии и дружбе. В одном из предместий Вавилона у него был со вкусом обставленный дом, где он собирал произведения всех искусств и предавался развлечениям, достойным порядочного человека. Утром его библиотека была открыта для всех ученых, а вечером у него обедало избранное общество. Но вскоре он узнал, как опасны бывают ученые. Однажды поднялся великий спор о законе Зороастра, запрещавшем есть грифов. «Как можно есть грифов,— говорили одни,— когда такого животного не существует?» — «Они должны существовать,— говорили другие,— ибо Зороастр запрещает их есть». Задиг попытался примирить их, сказав:

— Если грифы существуют, мы не станем их есть; если же их нет, тем более мы их есть не будем. Таким образом мы в точности исполним завет Зороастра.

Один ученый, написавший о свойствах грифов тринадцать томов, и к тому же великий теург, поспешил очернить Зади-

га в глазах архимага по имени Иебор, глупейшего из халдеев и, следовательно, самого фанатичного из них. Этот человек охотно посадил бы Задига на кол во славу солнца и потом с самым удовлетворенным видом стал бы читать требник Зороастра. Друг Задига Кадор (один друг лучше ста священников) пошел к старому Иебору и сказал ему:

— Да здравствует солнце и грифы! Берегитесь наказывать Задига: он святой и держит в своем птичнике грифов, но никогда их не ест, а его обвинил еретик, осмеливающийся утверждать, что кролики не принадлежат к нечистым животным, несмотря на то, что у них раздельнопалые лапы.

— Хорошо,— сказал Иебор, покачивая лысой головой,— Задига надо посадить на кол за то, что он дурно думал о грифах, а того — за то, что он дурно говорил о кроликах.

Кадор, однако, замял дело через посредство одной фрейлины, которую он осчастливил ребенком и которая пользовалась большим вниманием магов. Никто не был посажен на кол, по поводу чего многие ученые роптали, предрекая гибель Вавилона. Задиг воскликнул:

— Как хрупко человеческое счастье! Меня преследует в этом мире все — даже то, что не существует.— Он проклял ученых и решил иметь дело исключительно со светскими людьми.

Он собирал у себя самых благовоспитанных мужчин и самых приятных дам, давал изысканные ужины, нередко предваряемые концертами и живой беседой, из которой он умел изгонять потуги на остроумие, ибо они-то и убивают остроумие и вносят принужденность в самое блестящее общество. Ни в выборе друзей, ни в выборе блюд он не руководствовался тщеславием, ибо хотел не казаться, а быть, и этим приобрел истинное уважение, которого не думал домогаться.

Против его дома жил некто Аримаз, человек, чья грубая физиономия носила отпечаток злой души.

Желчный и напыщенный, он был к тому же тупоумнейшим из остроумцев. Не добившись успеха в большом свете, он мстил ему клеветою. Несмотря на богатство, ему трудно было собрать вокруг себя льстецов. Аримазу досаждал гул голосов, когда по вечерам гости съезжались к Задигу, но еще более досаждал гул похвал, возносимых последнему. Он иногда приходил к Задигу, садился за стол без приглашения и портил веселье собравшихся, подобно гарпиям, заражающим, как говорят, мясо, до которого они дотрагиваются. Однажды он пожелал устроить празднество в честь одной дамы, но та, не приняв приглашения, поехала ужинать к Задигу. В другой раз, беседуя друг с другом во дворце, они встретили ми-

нистра, который пригласил на ужин Задига, не пригласив Аримаза. Самая непримиримая ненависть часто вызывается не более значительными причинами. Этот человек, которого в Вавилоне называли «Завистником», вознамерился погубить Задига только потому, что того прозвали «Счастливцем».

Случай делать зло представляется сто раз на дню, а случай делать добро — лишь единожды в год, как говорит Зороастр. Завистник пришел к Задигу, прогуливавшемуся в своих садах с двумя друзьями и дамой, которой он говорил комплименты без всякой особенной цели. Разговор шел о счастливом окончании войны, которую царь недавно вел со своим вассалом, князем Гирканским. Задиг, отличившийся храбростью в этой короткой войне, превозносил царя и еще более даму. Он взял свои записные дощечки, написал экспромтом четверостишие и дал его прочитать этой прекрасной особе. Его друзья также просили позволения прочесть, но Задиг по скромности или скорее по разумному самолюбию отказал им в этом, ибо знал, что стихи, написанные экспромтом, хороши лишь для той, кому они посвящены.

Он разломал на две части дощечку, на которой написаны были стихи, и бросил обе половинки в розовый куст, где друзья тщетно искали их. Пошел дождик, и общество возвратилось в дом. Завистник, оставшись в саду, долго искал и наконец нашел часть дощечки, надломленной таким образом, что половина каждой строчки стихов имела определенный смысл и сама составляла стих более короткого размера; но что было еще более странно — в этих коротеньких стишках заключались самые страшные оскорбления особы царя. Вот они:

Исчадье ада злое,
На троне наш властитель,
И мира и покоя
Единственный губитель.

Завистник впервые в жизни почувствовал себя счастливым: в его руках было средство погубить добродетельного и любезного человека. Полный злобной радости, он отправил царю эту сатиру, написанную рукою Задига; последнего вместе с его друзьями посадили в тюрьму. Дело немедленно рассмотрели в суде, причем даже не стали слушать оправданий Задига. Когда последнего вели, чтобы объявить ему приговор, стоявший на его пути Аримаз громко сказал, что стихи его никуда не годны. Задиг не считал себя хорошим поэтом, но он был в отчаянии, что его осудили как виновного в оскорблении величества и что из-за этого не совершенного им преступления посадили в тюрьму двух его друзей и прекрас-

ную даму. Ему не позволили защищаться, потому что против него говорила записная дощечка. Таков был закон в Вавилоне. Задига вели на казнь мимо толпы зевак, из которых ни один не посмел посочувствовать ему; все теснились, стараясь разглядеть его лицо и посмотреть, достаточно ли красиво он умрет. Только родственники Задига были огорчены, потому что его имущество переходило не к ним: три четверти состояния было конфисковано в пользу царя, а последняя четверть — в пользу Аримаза.

В то время, как Задиг готовился к смерти, попугай царя улетел с дворцового балкона и опустился в саду Задига на розовый куст. Под этим кустом лежала вторая половина записной дощечки, к которой прилепился персик, снесенный ветром с соседнего дерева. Птица схватила персик вместе с дощечкою и принесла их на колени монарха. Государь с любопытством прочел на дощечке слова, которые сами по себе не имели никакого смысла, но были, по-видимому, окончаниями каких-то стихов. Он любил поэзию, а от монархов, любящих стихи, можно многого ждать: находка попугая заставила царя призадуматься. Царица, вспомнив о том, что было написано на обломке дощечки Задига, приказала ее принести. Когда сложили обе части, они совершенно пришлись одна к другой, и все прочли стихи Задига в том виде, в каком они были написаны:

Исчадье ада злое, крамола присмирела.
На троне наш властитель восстановил закон.
И мира и покоя пора теперь приспела.
Единственный губитель остался — Купидон.

Царь приказал тотчас же привести к себе Задига и освободить из тюрьмы двух его друзей и прекрасную даму. Задиг упал к ногам царя и царицы и покорнейше попросил у них прощения за столь дурные стихи. Он говорил так изящно, умно и здраво, что царь с царицей пожелали увидеть его снова. Он пришел еще раз и понравился еще больше. Ему отдали имущество несправедливо обвинившего его Завистника, но он все возвратил владельцу; Завистник обрадовался лишь тому, что не потерял своего состояния. Благоволение царя к Задигу росло день ото дня. Он приобщал его ко всем своим развлечениям и советовался с ним обо всех своих делах. Расположение к нему царицы возрастало так, что могло даже сделаться опасным для нее, для царя, ее августейшего супруга, для Задига и для государства. Задиг начинал верить, что не так уж трудно быть счастливым.

ВЕЛИКОДУШНЫЕ

Приближался день великого праздника, который справлялся каждые пять лет. В Вавилоне был обычай в конце каждого пятилетия торжественно провозглашать имя гражданина, совершившего самый великодушный поступок. Судьями при этом были вельможи и маги. Первый сатрап, он же вавилонский градоначальник, докладывал о самых благородных поступках, совершенных за время его пребывания у власти. Собирали голоса, после чего царь выносил решение. На это торжество стекались со всех концов земли. Победитель получал из рук монарха золотую чашу, украшенную драгоценными камнями, и царь говорил ему: «Примите это в награду за ваше великодушие, и да даруют мне боги побольше подданных, подобных вам!»

Достопамятный день наступил. Царь занял место на троне, окруженный вельможами, магами и представителями всех племен, сошедшимися на эти игры, на которых слава приобреталась не быстрым бегом лошадей, не крепкими мышцами, а добродетелью. Первый сатрап перечислил громким голосом поступки, которые могли доставить людям, совершившим их, бесценную награду. Он не упомянул при этом о величии души, которое побудило Задига возвратить Завистнику его состояние: то не был поступок, достойный высокой награды.

Он прежде всего указал на одного судью. Этот судья, видя, что из-за его ошибки, в которой он даже не был виновен, некий вавилонянин проиграл важный процесс, отдал ему все свое имущество, равное по ценности потерянному.

Потом первый сатрап представил молодого человека, который был без памяти влюблен в девушку и собирался на ней жениться. Но он уступил ее своему другу, умиравшему от любви к ней, и вдобавок дал ей приданое.

Наконец, он назвал воина, который во время Гирканской войны проявил еще большее великодушие. Он защищал свою возлюбленную от нескольких неприятельских солдат, пытавшихся ее похитить. Вдруг ему сообщили, что в нескольких шагах от него другие гирканцы уводят с собой его мать; он со слезами оставил возлюбленную и бросился спасать мать. Возвратившись затем к той, которую любил, он застал ее уже умирающей. Воин хотел покончить с собой, но мать напомнила ему, что он — ее единственная опора, и у него хватило мужества примириться с необходимостью жить.

Судьи склонялись в пользу воина. Царь взял слово и сказал:

— И он, и двое других поступили прекрасно, но их поступки не удивляют меня. А вот вчера Задиг совершил нечто поистине удивительное. Я разжаловал несколько дней назад моего министра и фаворита Кареба. Я с негодованием говорил о нем, и все придворные уверяли меня, что я еще слишком кроток, все наперебой старались очернить Кареба. Я спросил Задига, что он думает о бывшем министре, и он осмелился хорошо о нем отозваться. Я встречал в нашей истории примеры, когда люди имуществом платили за свои ошибки, уступали невест и предпочитали матерей возлюбленным, но, признаюсь, никогда не приходилось мне слышать, чтобы придворный одобрительно отозвался о разжалованном министре, на которого разгневался его государь. Я дарю двадцать тысяч золотых каждому из тех, о чьих великодушных поступках здесь было доложено, но чашу отдаю Задигу.

— Ваше величество,— сказал Задиг царю,— вы один заслуживаете чаши, ибо совершили самый неслыханный поступок: будучи царем, не рассердились на своего раба, когда он осмелился противоречить вам в минуту вашего раздражения.

Все восторгались царем и Задигом. Судья, отдавший свое имущество, влюбленный, уступивший невесту другому, воин, спасший мать, а не невесту, получили подарки монарха, и имена их были записаны в книгу великодушных, но чаша досталась Задигу. Царь приобрел славу доброго государя, которой он, однако, пользовался недолго. День этот был ознаменован празднествами, продолжавшимися дольше, чем предписывалось законом. Память об этом дне еще сохраняется в Азии. Задиг говорил: «Я наконец счастлив!» Но он ошибался.

МИНИСТР

Царь, лишившись своего первого министра, назначил на его место Задига. Все вавилонские красавицы одобрили этот выбор, потому что с самого основания государства не бывало еще такого молодого министра. Все придворные злились; Завистник стал даже харкать кровью, и нос у него чудовищно распух. Задиг, поблагодарив царя и царицу, пошел также поблагодарить и попугая.

— Прекрасная птица,— сказал он,— ты спасла мне жизнь и сделала меня первым министром; собака и лошадь их величеств причинили мне много зла, а ты сделала добро. Вот от чего иногда зависят судьбы людей! Но,— прибавил

он,— такое необыкновенное счастье, быть может, недолговечно.

Попугай ответил: «Да». Это слово поразило Задига, но, будучи хорошим натуралистом и не веря в пророческие способности попугаев, он вскоре успокоился и начал самым усердным образом заниматься своими обязанностями министра.

Он дал почувствовать всю священную власть законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял членов Дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на себя его немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, судьей был закон, а не его личная воля. Когда закон был слишком строг, он смягчал его, а если соответствующего закона вообще не было, он сам создавал новые законы, не менее справедливые, чем Зороастровы.

Это от него унаследовали народы великое правило, что лучше рискнуть и оправдать виновного, нежели осудить невинного. Он считал, что законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Его отличительная способность состояла в том, что он легко раскрывал истину, тогда как обычно люди стараются ее затемнить.

С первых же дней своего управления он стал применять эту способность. В Индии умер известный вавилонский купец; состояние свое он разделил поровну между двумя сыновьями, предварительно выдав замуж дочь. Кроме того, он назначил тридцать тысяч золотых тому из сыновей, о ком станет известно, что он больше другого любит отца. Старший сын поставил ему памятник, а младший частью своего наследства увеличил приданое сестры. Все говорили: «Старший больше любит отца, а младший — сестру, старшему и должны достаться тридцать тысяч».

Задиг призвал обоих сыновей, одного за другим. Он сказал старшему:

— Ваш отец вовсе не умер, он выздоровел и возвращается в Вавилон.

— Слава богу,— ответил молодой человек,— только напрасно я так потратился на памятник.

Задиг сказал то же самое младшему.

— Слава богу,— отвечал тот,— я отдам моему отцу все, что получил в наследство, но желал бы, чтобы он не отбирал у сестры того, что я ей выделил.

— Вы не отдадите ничего,— сказал Задиг,— а получите еще тридцать тысяч золотых, вы больше любите своего отца, чем ваш брат.

Одна очень богатая девица одновременно дала согласие выйти замуж за двух магов и после нескольких месяцев их поучений забеременела. И тот и другой хотели на ней жениться.

— Моим мужем станет тот из вас,— сказала она,— кто дал мне возможность подарить государству гражданина.

— Я совершил это благое дело,— сказал один.

— Эта заслуга принадлежит мне,— возразил другой.

— Хорошо,— сказала она,— я признаю отцом моего ребенка того из вас, кто сможет ему дать лучшее воспитание.

Она родила сына. Каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до Задига. Он призвал обоих магов.

— Чему ты будешь учить своего воспитанника? — спросил он у первого.

— Я научу его,— отвечал ученый,— восьми частям речи, диалектике, астрологии, демономании, я разъясню ему, что такое субстанция и акциденция, абстрактное и конкретное, монады и предустановленная гармония.

— Я,— сказал второй,— постараюсь сделать его справедливым и достойным дружбы.

Задиг произнес:

— Отец ты ему или нет, но ты женишься на его матери.

ДИСПУТЫ И АУДИЕНЦИИ

Так Задиг ежедневно выказывал тонкий ум и добрую душу. Им восторгались и тем не менее его любили. Его считали счастливейшим из людей. Имя его гремело по всему государству, все женщины на него заглядывались, все мужчины восхваляли его справедливость, ученые считали Задига своим оракулом, и даже жрецы признавали, что он знает больше архимага Иебора. Никому не приходило в голову спорить теперь с ним о грифах. Верили только тому, что он считал достойным веры.

Полторы тысячи лет длился в Вавилоне великий спор, разделивший всех граждан на две непримиримые секты. Члены одной утверждали, что в храм Митры должно вступать непременно с левой ноги, а члены другой считали этот обычай гнусным и входили туда только с правой ноги. Все ждали торжественного праздника священного огня, дабы узнать наконец, какой секте покровительствует Задиг. Взоры граждан были прикованы к его ногам, люди замерли от волнения и тревоги. Сжав пятки, Задиг не вошел, а прыгнул в храм, после чего красноречиво доказал собравшимся, что бог неба

и земли чужд пристрастия и равно относится и к правой ноге и к левой. Завистник и его жена утверждали, что речь Задига была бедна образами и что он не заставил пуститься в пляс горы и холмы.

— Он слишком сух и лишен воображения,— говорили они.— У него и море не отступает от берегов, и звезды не падают, и солнце не тает, как воск. Ему недостает хорошего восточного слога.

Задиг довольствовался тем, что обладал разумным слогом. Все были на его стороне, но не потому, что он был прав, не потому, что был разумен, не потому, что был любезен, а лишь потому, что он был первым визирем.

Так же удачно закончил он великую распрю между белыми и черными магами. Белые утверждали, что нечестиво, молясь богу, обращаться на северо-восток; черные уверяли, что бог гнушается молитвами людей, обращающихся к юго-западу. Задиг приказал обращаться в ту сторону, в какую каждый хочет.

Он нашел способ управляться со всеми частными и государственными делами утром, а дневное время посвящал заботам об украшении Вавилона. Он распорядился представлять в театрах трагедии, которые заставляют плакать, и комедии, которые вызывают смех; такие пьесы давно уже вышли из моды, но он эту моду возродил, так как был человеком со вкусом. Он не был убежден в том, что понимает в театральном искусстве больше, нежели актеры, осыпал их дарами и отличиями и не завидовал втайне их талантам. По вечерам Задиг очень развлекал царя и особенно царицу. Царь говорил: «Превосходный министр!» Царица говорила: «Пленительный министр!» И оба добавляли: «Как было бы жаль, если бы его тогда повесили!»

Еще ни одному сановнику в мире не приходилось давать столько аудиенций дамам, как ему. Большинство приходило по делам, которых у него не было, только для того, чтобы иметь дело с ним. Жена Завистника явилась одной из первых; она поклялась Митрой, Зендавестою и священным огнем, что поведение ее мужа было ей омерзительно; затем она призналась Задигу, что муж ее ревнив и груб, и намекнула, что боги покарали его, отказав в том проявлении священного огня, которое одно только и уподобляет человека небожителям. В заключение она уронила свою подвязку. Задиг поднял ее с обычной своей учтивостью, но не завязал над коленом дамы. И его оплошность (если только это была оплошность) явилась причиной ужасных бедствий. Задиг за-

был и думать об этом случае, но жена Завистника о нем не забыла.

Дамы являлись к нему ежедневно. В секретных анналах Вавилона есть сведения, что один раз он все же не выдержал характера, но при этом с крайним изумлением заметил, что в объятиях женщины не испытал наслаждения и целовал свою любовницу весьма рассеянно. Женщина, которой он подарил, сам того почти не заметив, знаки своего расположения, была одна из придворных дам царицы. Эта нежная вавилонянка говорила себе в утешение: «Должно быть, у этого человека ужасно много дел в голове, если он думает о них даже тогда, когда предается любви». В одно из тех мгновений, когда одни не говорят ни слова, а другие произносят только слова, для них священные, Задиг вдруг воскликнул: «Царица!» Вавилонянка подумала, что наконец-то он вернулся на землю и в увлечении сказал ей: «Моя царица!» Но Задиг, все еще в рассеянии, произнес имя Астарты. Дама, которая в этих счастливых обстоятельствах толковала все к выгоде для себя, вообразила, будто он хотел сказать: «Вы прекраснее царицы Астарты». Она вышла из сераля Задига с великолепными подарками и немедленно рассказала о случившемся Завистнице, ближайшей своей подруге. Последняя была жестоко оскорблена этим предпочтением.

— А мне он даже не пожелал завязать вот эту подвязку, и я не хочу ее больше носить.

— О, у вас такие же подвязки, как у царицы,— сказала Завистнице ее счастливая соперница.— Должно быть, вы заказываете их одной и той же мастерице?

Завистница так глубоко задумалась, что ничего не ответила, а затем пошла советоваться к своему мужу Завистнику.

Между тем Задиг стал замечать, что он постоянно рассеян — и в суде, и на аудиенциях. Он не понимал, в чем дело, и это было единственное, что омрачало его жизнь.

Однажды ему привиделся сон. Сперва ему приснилось, что он лежит на сухой траве и его беспокоят колючки, а потом — что он сладко отдыхает на ложе из роз. И вдруг из этих роз выползает змея, которая вонзает ему в сердце острое и ядовитое жало. «Увы! — подумал он,— я долго лежал на сухой и колючей траве, теперь я на ложе из роз, но кто же будет змеей?»

РЕВНОСТЬ

Несчастье Задига было порождено самим его счастьем и еще более — его достоинствами. Каждый день он беседовал с царем и Астартой, его августейшей супругой. Желание нравиться, которое для ума все равно, что наряд для красоты, придавало особый блеск его остроумию. Задиг был молод, привлекателен — и Астарта, сама того не подозревая, поддалась его чарам.

Страсть ее возрастала на лоне невинности. Астарта без колебаний и боязни предавалась удовольствию видеть и слышать человека, любимого ее мужем и всем государством. Она не переставала восхвалять Задига в присутствии царя, говорила о нем с придворными дамами, превозносившими его до небес. Все это укрепляло в ее сердце чувство, которого она еще не сознавала.

Она делала Задигу подарки и вкладывала в них больше нежности, чем сама предполагала. Ей казалось, что она говорит с ним, как царица, довольная своим подданным, но порою слова ее звучали, как слова влюбленной женщины.

Астарта была гораздо красивее Земиры, так ненавидевшей кривых, и той женщины, которая собиралась отрезать нос своему супругу. Дружеское обращение Астарты, ее нежные речи, от которых она сама невольно краснела, ее взоры, против воли устремлявшиеся на Задига, зажгли в нем пламя, удивлявшее его самого. Он старался превозмочь свое чувство, призывал на помощь философию, так часто ему помогавшую, но на этот раз она лишь открыла ему глаза на его положение, а помочь не смогла. Сознание долга, чувство признательности, мысль об оскорблении величия государя представали перед ним словно боги-мстители. Он боролся с собой и побеждал, но эта победа, которую нужно было одерживать беспрестанно, стоила ему многих стенаний и слез. Он уже не смел беседовать с царицей с той приятной непринужденностью, в которой было так много прелести для них обоих. Взоры его туманились, речь была затруднена и бессвязна, глаза устремлены в землю; когда же он невольно поднимал их на Астарту, то встречал ее глаза, чудно блестевшие сквозь слезы. Оба влюбленных, казалось, говорили: «Мы обожаем друг друга, но боимся любить. Мы оба пылаем огнем, который считаем преступным».

Задиг выходил от нее смущенный, растерянный, с невыносимой тяжестью на сердце. Наконец, будучи не в силах долее терпеть душевную муку, он доверил свою тайну Кадору, как человек, долго и терпеливо переносивший жесто-

кие страдания, вдруг выдает себя и криком, вырванным у него приступом особенно острой боли, и холодным потом, выступившим на лбу.

Кадор сказал ему:

— Я уже разгадал чувство, которое вы скрывали даже от самого себя,— есть признаки, по которым нельзя не узнать страсти. Но, мой дорогой Задиг, если в вашем сердце смог читать я, то рано или поздно царь тоже обнаружит в нем столь оскорбительное для него чувство. Единственный его недостаток состоит в том, что он ревнивейший из людей. Вы сопротивляетесь страсти с большей твердостью, чем царица, потому что вы философ и потому что вы Задиг. Астарта — женщина. Не сознавая своей вины, она не думает об осторожности, и взоры ее говорят слишком много. К несчастью, уверенность в своей безгрешности заставляет ее пренебрегать требованиями этикета. Я буду дрожать за нее до тех пор, пока ей не в чем будет себя упрекать. А вот если бы вы сблизились с нею, вы сумели бы отвести глаза всем; страсть зарождающаяся и подавляемая прорывается в каждом жесте, тогда как удовлетворенную любовь не составляет труда утаить.

Предложение изменить царю, своему благодетелю, привело Задига в ужас; никогда он не был так верен государю, как в то время, когда сознавал себя виновным в невольном преступлении. Между тем царица так часто произносила имя Задига, лицо ее при этом заливалось румянцем, она до такой степени одушевлялась или робела, когда говорила с ним в присутствии царя, и впадала в столь глубокую задумчивость, когда он уходил, что царь стал наконец беспокоиться. Он верил всему, что видел, и дополнял воображением то, чего не видел. В особенности его поразило то, что у царицы были голубые туфли и у Задига тоже, что у царицы были желтые ленты, а у Задига — желтая шапка: неопровержимые улики, с точки зрения щепетильного монарха. В его раздраженном уме подозрения превратились в достоверность.

Все рабы царей и цариц шпионят за их сердцами. Придворные быстро обнаружили, что Астарта влюблена, а Моабдар ревнует. Завистница по наущению Завистника послала царю свою подвязку, похожую на подвязку царицы. К довершению несчастья эта подвязка была голубая. С этого мгновения повелитель стал думать только о том, как отомстить за себя. Он решил ночью отравить царицу, а на рассвете — удавить Задига. Сделать это должен был безжалостный евнух, исполнитель мстительных замыслов монарха. В это время в комнате находился немой, но не лишенный

слуха карлик. Его всюду допускали, он, как домашнее животное, бывал свидетелем самого тайного, что происходило во дворце. Карлик был очень привязан к царице и к Задигу и с удивлением и ужасом услышал приказ об убийстве. Но как предупредить о страшном приговоре, который должен быть приведен в исполнение через несколько часов? Писать карлик не умел, зато он научился рисовать, и у рисунков его было большое сходство с изображаемыми предметами. Он провел часть ночи, малюя то, о чем хотел сообщить царице. В одном углу его рисунка был изображен разгневанный царь, отдающий приказание евнуху; затем — стол и на нем ваза, голубой шнурок, голубые подвязки и желтые ленты; в центре картины — царица, умирающая на руках своих дам, а у ног ее удушенный Задиг. На горизонте видно было восходящее солнце — этим карлик хотел сказать, что ужасная казнь совершится на рассвете. Положив последние штрихи, карлик побежал к одной из дам Астарты, разбудил ее и дал ей понять, что рисунок надо тотчас же отнести к царице.

В полночь стучат в дверь к Задигу, будят его и отдают записку царицы; он думает, не сон ли это, и дрожащей рукой развертывает письмо. Как изобразить его удивление, замешательство и отчаяние, когда он прочел следующие слова:

«Бегите немедля, или вас лишат жизни! Бегите, Задиг, я вам приказываю это во имя нашей любви и моих желтых лент. Я ни в чем не виновна, но чувствую, что умру как преступница».

Задиг едва был в силах говорить. Он послал за Кадором и молча передал ему записку.

Кадор убедил его повиноваться и немедленно отправиться в Мемфис.

— Если вы решитесь пойти к царице, то ускорите ее смерть, если попытаетесь объясниться с царем, вы также погубите ее. Я позабочусь о ней, а вы позаботьтесь о себе. Я распущу слух, что вы отправились в Индию. В скором времени я разыщу вас и расскажу, как обстоят дела в Вавилоне.

В ту же минуту Кадор велел привести к потайным дверям дворца двух самых быстроногих дромадеров; он посадил на одного из них Задига, которого пришлось вынести на руках, так как он был почти без чувств. Сопровождал Задига один-единственный слуга, и вскоре Кадор, полный недоумения и скорби, потерял друга из виду.

Именитый беглец, поднявшись на вершину холма, откуда виден был Вавилон, обратил взоры на дворец царицы и тут же потерял сознание; очнувшись, он долго заливался слеза-

ми и призывал к себе смерть. Наконец, горько оплакав судьбу самой очаровательной женщины и самой великой царицы, он на мгновение вернулся к мыслям о собственной судьбе и воскликнул:

— Вот она, жизнь человеческая! О добродетель! Чем ты помогла мне? Две женщины недостойно обманули меня; третья, невинная и прекраснейшая из всех, должна умереть! Все, что я делал хорошего, неизменно становилось для меня источником несчастий, и на высоту величия я был возведен лишь для того, чтобы низвергнуться в ужаснейшую пучину бедствий. Если бы я был столь жестокосерден, как многие, я был бы счастлив, как они.

Задиг продолжал свое путешествие в Египет, погруженный в эти мрачные размышления; глаза его были отуманены печалью, лицо мертвенно-бледно, душа исполнена отчаяния.

ИЗБИТАЯ ЖЕНЩИНА

Задиг направлял свой путь по звездам. Созвездие Ориона и блистающее светило Сириус вели его прямо к звезде Канoп. Он любовался этими громадными светящимися шарами, которые представляются нашим глазам маленькими искорками, между тем как земля, незаметная пылинка, затерянная во вселенной, кажется нам, алчным людям, необъятной и величественной. Задиг видел в ту минуту человеческие существа такими, каковы они на самом деле, то есть насекомыми, поедающими друг друга на маленьком комке грязи. Этот верный образ обратил в ничто все его несчастья, напомнив ему и о его собственном ничтожестве, и о ничтожестве Вавилона. Душа Задига, как бы отторгнутая от тела, витала в бесконечности и созерцала неизменный порядок вселенной. Но затем, спустившись на землю и снова почувствовав биение своего сердца, он вспомнил, что Астарта, быть может, погибла из-за него, и снова вселенной как не бывало, и во всей природе для него остались только умирающая Астарта и несчастный Задиг.

Отданный во власть этим приливам и отливам возвышенной философии и гнетущей печали, он приблизился к границам Египта; его верный слуга поехал вперед на поиски жилища в первом же египетском селении, а Задиг между тем прогуливался в окрестных садах. Невдалеке от большой дороги Задиг увидел разъяренного мужчину, преследующего какую-то женщину, которая с воплями призывала на помощь небеса и землю. Настигнутая наконец своим пресле-

дователем, она стала обнимать его колени, но тот принялся ее бить, не переставая осыпать упреками. По ее мольбам о прощении и по его ожесточению Задиг понял, что то были ревнивый любовник и неверная любовница; увидев, как пленительно красива женщина, и даже заметив в ней некоторое сходство с несчастной Астартой, он преисполнился сострадания и вознегодовал на египтянина.

— Помогите мне! — рыдая, взывала она к Задигу.— Вырвите меня из рук этого ужасного варвара, спасите мне жизнь!

Вняв ее молениям, Задиг бросился между ней и истязателем. Зная несколько египетский язык, он сказал тому:

— Если в вас есть хоть капля человеколюбия, заклинаю вас, пощадите красоту и слабость. Как можете вы так безжалостно обходиться с этим прекрасным созданием, которое лежит у ваших ног и способно защищаться только слезами?

— Ах, так! — воскликнул взбешенный египтянин.— Значит, ты тоже любишь ее, и это тебе я должен мстить!— Он тут же выпустил женщину, которую держал одной рукой за волосы, и, схватив копье, собрался пронзить им чужеземца. С полным хладнокровием Задиг ловко уклонился от неистового удара и перехватил копье возле железного наконечника. Египтянин тянул копье к себе, Задиг — к себе, пока оно не сломалось. Тогда египтянин обнажил меч; Задиг последовал его примеру. Они напали друг на друга. Один наносил стремительные удары, другой искусно их отражал. Женщина, сидя на лугу, поправляла прическу и следила за схваткой. Египтянин превосходил противника силой, Задиг — ловкостью. Последний сражался как человек, у которого голова управляет рукой, первый же, ослепленный гневом, сыпал удары как попало. Наконец Задиг берет верх, обезоруживает египтянина и, в то время как тот в ярости хочет броситься на него, схватывает противника, заламывает ему руки и повергает на землю, приставив меч к его груди. Победитель обещает побежденному жизнь, но египтянин, вне себя, выхватывает кинжал и ранит Задига в ту самую минуту, когда тот дарует ему пощаду. Задиг в негодовании вонзает меч в грудь. Египтянин испускает ужасный крик и умирает в судорогах.

Задиг подходит тогда к женщине и смиренно говорит ей:

— Он сам вынудил меня убить его. Вы отомщены, я освободил вас от самого жестокого человека, какого мне довелось встретить. Что вам теперь угодно от меня, сударыня?

— Чтоб ты умер, разбойник,— отвечала она ему,— чтоб

ты умер! Ты убил моего возлюбленного! Так бы и вырвала твое сердце!

— Ну, в таком случае, сударыня, у вас был странный возлюбленный,— возразил Задиг.— Он безжалостно колотил вас и хотел убить меня только за то, что вы обратились ко мне за помощью.

— Пускай бы продолжал колотить, я заслужила это, я была ему неверна,— завопила женщина.— Будь небо ко мне милосердно, он все еще бил бы меня, а ты лежал бы на его месте.

Задиг, удивленный и рассерженный, как никогда в жизни, сказал:

— Сударыня, хотя вы и прекрасны, но заслуживаете, чтобы и я, в свою очередь, прибил вас за ваше сумасбродство; но я не желаю утруждать себя.— С этими словами он сел на верблюда и направился в селение. Не успел Задиг отъехать на несколько шагов, как услышал шум и, обернувшись, увидел четырех гонцов из Вавилона. Они неслись во весь опор. Один из них, увидев женщину, вскричал:

— Это она! Точно так нам ее описали!

Не обращая внимания на труп, они тотчас же схватили женщину, не перестававшую теперь кричать Задигу:

— Помогите мне еще раз, великодушный чужеземец! Забудьте мои упреки! Помогите мне — и я ваша до гроба!

Но Задиг потерял охоту драться за нее.

— Обманывайте других,— сказал он,— меня вы уже не проведете.

К тому же он был ранен, из раны текла кровь, он нуждался в помощи, да и вид четырех вавилонян, посланных, вероятно, царем Моабдаром, сильно его встревожил. Он поспешил в селение, гадая, чего ради вавилонские гонцы схватили египтянку, и удивляясь странному нраву этой женщины.

РАБСТВО

Когда Задиг въехал в египетское селение, его окружила толпа людей, выкрикивающих:

— Вот похититель прекрасной Мисуфы и убийца Клетофиса!

— Господа,— сказал он,— да избавит меня бог от вашей прекрасной Мисуфы, она слишком капризна; что же касается Клетофиса, я заколол его, защищаясь. Он хотел убить меня за то, что я очень учтиво попросил его простить прекрасную Мисуфу, которую он беспощадно избивал. Я чуже-

земец, ищущий в Египте убежища. Вряд ли человек, который хочет заручиться вашим покровительством, начнет с того, что совершит похищение и убийство.

Египтяне были тогда справедливы и человечны. Задига повели в городское управление. Там ему перевязали рану и, чтобы выяснить правду, допросили сперва его самого, потом слугу. Задиг не был признан убийцей, однако он пролил кровь человека, и закон осуждал его на рабство. Двух верблюдов продали в пользу селения, привезенное Задигом золото роздали жителям, а его самого вместе со спутником выставили на площади для продажи. Арабский купец по имени Сеток купил их с публичного торга; за слугу, как за более пригодного для тяжелой работы, он заплатил дороже, чем за господина. Качества этих рабов казались ему несравнимыми, и Задиг был подчинен своему слуге; их сковали друг с другом ножною цепью, и в таком виде они следовали за арабом, когда он возвращался домой. Дорогою Задиг утешал своего слугу и призывал к терпению, но в то же время, по свойственной ему привычке, не переставал размышлять о человеческой жизни.

— Я вижу,— говорил он слуге,— что неблагосклонность судьбы ко мне переносится и на тебя. До сих пор обстоятельства моей жизни складывались самым странным образом. Меня присудили к штрафу за то, что я видел, как пробежала собака, чуть не посадили на кол за грифа, приговорили к смертной казни за стихи в честь царя, чуть не задушили за то, что у королевы были желтые ленты, и вот теперь мы с тобой рабы потому только, что какой-то скот прибил свою любовницу. Но не будем терять мужества,— все это, быть может, кончится благополучно. Нельзя же арабским купцам обходиться без рабов, так почему мне не быть одним из них? Разве я не такой же человек, как все прочие? Этот купец не будет безжалостен и не станет дурно обращаться со своими рабами, если только он хочет, чтобы они хорошо работали.— Так говорил Задиг, но мысли его были заняты судьбою вавилонской царицы.

Два дня спустя Сеток отправился в Пустынную Аравию вместе со своими рабами и верблюдами. Его племя обитало вблизи пустыни Хорив. Дорога была долгая и трудная. Слуга Задига, который, в отличие от своего господина, умел ловко навьючивать верблюдов, был на гораздо лучшем счету у Сетока и пользовался всякими маленькими преимуществами.

В двух днях пути от Хорива издох один верблюд, и поклажу, которую он нес, пришлось переложить на спины ра-

бов; Задиг получил свою долю. При виде невольников, согбенных под тяжестью ноши, Сеток стал смеяться. Задиг позволил себе объяснить, отчего это происходит, и рассказал о законе равновесия. Удивленный купец стал смотреть на него другими глазами. Задиг, увидя, что возбудил в нем любопытство, постарался укрепить это чувство рассказами о предметах, имевших отношение к торговле Сетока: об удельном весе металлов и товаров одинакового объема, о свойствах некоторых полезных животных и о способах извлечь пользу из таких, которые полезными не считаются. Словом, он показался Сетоку настоящим мудрецом. Сеток стал оказывать ему предпочтение перед его товарищем, которого до тех пор столь ценил, и начал гораздо лучше обращаться с ним, о чем впоследствии не пожалел.

Вернувшись на родину, Сеток потребовал с одного еврея пятьсот унций серебра, которые дал тому взаймы в присутствии двух свидетелей. Но свидетели эти умерли, и еврей, не опасаясь быть изобличенным, отказался от уплаты долга и при этом благодарил бога за то, что он дал ему возможность надуть араба. Сеток поведал о бесчестном поступке еврея Задигу, который успел стать его постоянным советчиком.

— В каком месте,— спросил Задиг,— отдали вы этому неверному ваши пятьсот унций?

— На большом камне, у подножья горы Хорив,— отвечал купец.

— Каков характер у вашего должника? — спросил Задиг.

— Он мошенник,— ответил Сеток.

— Я спрашиваю у вас, горяч он или флегматичен, осторожен или неблагоразумен?

— Сколько я знаю, он самый горячий из всех неисправных должников,— отвечал Сеток.

— Хорошо,— сказал Задиг,— позвольте мне защищать дело перед судом.

И действительно, он вызвал еврея в суд и обратился к судье со следующими словами:

— Подушка на троне справедливости! От имени моего господина я требую, чтобы этот человек возвратил ему пятьсот унций серебра, от уплаты которых он отказывается.

— Есть у вас свидетели? — спросил судья.

— Нет, они умерли, но остался большой камень, на котором отсчитаны были деньги, и если ваше степенство соблаговолит послать за камнем, то, я надеюсь, он будет свидетельствовать об этом; мы с евреем останемся здесь, пока принесут камень, а издержки за его доставку заплатит мой господин Сеток.

— Хорошо,— отвечал судья. И занялся другими делами. К концу заседания судья спросил у Задига:

— Ну что же, вашего камня все еще нет?

Еврей, смеясь, отвечал ему:

— Даже если вы, ваше степенство, останетесь здесь до завтра, все равно вам не дождаться камня, ибо он находится более чем в шести милях отсюда, и нужно пятнадцать человек, чтобы его сдвинуть с места.

— Я говорил вам,— воскликнул Задиг,— что камень будет свидетельствовать в нашу пользу: так как этот человек знает, где он находится, значит, сознается, что деньги отсчитаны были именно на нем.

Растерявшийся еврей принужден был во всем сознаться. Судья приказал привязать его к камню и не давать ему ни пить, ни есть до тех пор, пока он не возвратит пятьсот унций, что тот немедленно и сделал.

С тех пор и раб Задиг, и камень стали пользоваться доброй славой в Аравии.

КОСТЕР

Восхищенный Сеток стал относиться к своему рабу, как к близкому другу. Подобно царю вавилонскому, он уже не мог обойтись без него. Задиг от души радовался, что у Сетока не было жены. Он открыл в своем хозяине хорошие природные наклонности, много прямоты и здравого смысла. Но Задига огорчало, что тот, по древнему арабскому обычаю, поклоняется небесному воинству, то есть солнцу, луне и звездам. Наконец он объяснил хозяину, что светила эти — такие же тела, как дерево или скала, и столько же заслуживают обожания, как и последние.

— Но ведь они — вечные существа,— возразил Сеток,— которые даруют нам все, из чего мы извлекаем пользу, вдыхают жизнь в природу и управляют чередованием времен года; к тому же они так далеки от нас, что не поклоняться им нельзя.

— Вам куда полезнее Красное море, которое несет ваши корабли с товарами в Индию. И почему вы думаете, что оно менее древнее, чем звезды? Если же вы поклоняетесь тому, что далеко от вас, то поклоняйтесь также земле гангаридов, которая находится на краю света.

— Нет,— сказал Сеток,— звезды так блестят, что я не могу им не поклоняться.

Когда наступил вечер, Задиг засветил множество факелов в палатке, в которой он должен был ужинать с Сетоком; как только тот появился, Задиг бросился на колени перед горящими факелами и произнес:

— Вечные и блистательные светильники, будьте всегда милостивы ко мне! — Промолвив это, он сел за стол, не обращая внимания на Сетока.

— Что это вы делаете? — спросил его изумленный Сеток.

— То же, что и вы: преклоняюсь перед светильниками и пренебрегаю их и моим повелителем.

Сеток понял глубокий смысл этих слов. Мудрость раба просветила его, и, перестав курить фимиам творениям, он стал поклоняться творцу.

В то время в Аравии еще существовал ужасный обычай, который сперва был принят только у скифов, но затем, с помощью браминов утвердившись в Индии, стал распространяться по всему Востоку. Когда умирал женатый человек, а его возлюбленная жена желала прослыть святой, она публично сжигала себя на трупе своего супруга. День этот был торжественным праздником и назывался «костер вдовства». Племя, в котором насчитывалось наибольшее количество предавших себя сожжению вдов, пользовалось наибольшим уважением. После смерти одного араба из племени Сетока вдова его, по имени Альмона, очень набожная женщина, назначила день и час, когда при звуках труб и барабанном бое она бросится в огонь. Задиг стал доказывать Сетоку, насколько вреден для блага рода человеческого столь жестокий обычай, из-за которого чуть ли не ежедневно погибали молодые вдовы, способные дать государству детей или, по крайней мере, воспитать тех, которые у них уже были. Задиг утверждал, что следовало бы уничтожить этот варварский обряд. Сеток ответил:

— Вот уже свыше тысячи лет женщины имеют право всходить на костер. Кто из нас осмелится изменить закон, освященный временем? Разве есть что-нибудь более почтенное, чем долговечное заблуждение?

— Разум долговечнее заблуждения,— возразил Задиг.— Поговорите с вождями племен, а я пойду к молодой вдове.

Придя к ней, Задиг сперва снискал ее расположение тем, что расхвалил ее красоту; сказав ей, до какой степени жаль предать огню такие прелести, он все же отдал должное ее верности и мужеству.

— Вы, должно быть, горячо любили своего мужа? — спросил он.

— Нисколько не любила,— отвечала аравитянка.— Он был грубый, ревнивый, невыносимый человек, но я твердо решила броситься в его костер.

— Стало быть, есть особенное удовольствие заживо сгореть на костре?

— Ах, одна мысль об этом приводит меня в содрогание,— сказала женщина,— но другого выхода нет: я набожна, и если не сожгу себя, то лишусь своей доброй славы, все будут надо мной смеяться.

Добившись признания, что ее толкает на костер страх перед общественным мнением и тщеславие, Задиг долго еще говорил с ней, стараясь внушить ей хоть немного любви к жизни, и достиг наконец того, что внушил ей некоторое расположение и к ее собеседнику.

— Что вы сделали бы, если бы тщеславие не побуждало вас идти на самосожжение?

— Увы,— сказала женщина,— мне кажется, я попросила бы вас жениться на мне.

Однако Задиг был слишком полон мыслями об Астарте, чтобы принять ее предложение. Но он немедля отправился к вождям племени, рассказал им о своем разговоре с вдовой и посоветовал издать закон, по которому вдовам разрешалось бы сжигать себя лишь после того, как они не менее часа поговорят с каким-нибудь молодым человеком. И с тех пор ни одна женщина не сжигала себя в Аравии. И одному Задигу жители этой страны обязаны тем, что ужасный обычай, существовавший столько веков, был уничтожен в один день. Задиг стал, таким образом, благодетелем Аравии.

УЖИН

Сеток, не желая разлучаться с человеком, в котором обитала сама мудрость, взял его с собою на большую ярмарку в Бассору, куда должны были съехаться самые крупные негоцианты со всех концов земли. Для Задига было большим утешением видеть такое множество людей из различных стран, собравшихся в одном месте: мир представлялся ему одной большой семьей, сошедшейся в Бассоре. На второй день после приезда ему пришлось сидеть за одним столом с египтянином, индийцем с берегов Ганга, жителем Катая, греком, кельтом и другими чужеземцами, которые во время своих частых путешествий к Аравийскому заливу выучились арабскому языку настолько, что могли на нем объясняться. Египтянин был в сильном гневе.

— Что за отвратительный город эта Бассора! — говорил он.— Мне не дают здесь тысячи унций золота под вернейший в мире залог.

— Как так? — спросил Сеток.— Под какой же залог не дают вам этой суммы?

— Под залог тела моей тетушки,— отвечал египтянин,— женщины, лучше которой не было во всем Египте. Она всегда сопутствовала мне в моих путешествиях, и когда она умерла в дороге, я сделал из нее превосходнейшую мумию,— в моей стране я получил бы под нее все, что попросил; непонятно, почему здесь мне отказывают даже в тысяче унций золота под такой верный залог!

Излив свой гнев, он принялся было за превосходную вареную курицу, как вдруг индиец, взяв его за руку, сказал с горестью:

— Ах, что вы собираетесь сделать?

— Съесть эту курицу,— ответил владелец мумии.

— Остановитесь! — воззвал к нему индиец.— Очень может быть, что душа покойницы переселилась в тело этой курицы, а вы, вероятно, не захотите съесть вашу собственную тетушку? Варить кур — значит наносить оскорбление природе.

— Что вы пристали ко мне с вашей природой и с вашими курами? — вспылил египтянин.— Мы поклоняемся быку, но все-таки едим его мясо.

— Вы поклоняетесь быку? Возможно ли это? — воскликнул житель берегов Ганга.

— Почему же невозможно? — ответил тот.— Вот уже сто тридцать пять тысяч лет, как мы поклоняемся быкам, и никто из нас не видит в этом ничего плохого.

— Как, сто тридцать пять тысяч лет? — воскликнул индиец.— Вы несколько преувеличиваете! С тех пор, как Индия заселена, прошло восемьдесят тысяч лет, а мы, конечно, древнее вас. И Брама запретил нам есть быков прежде, чем вам пришло на ум строить им алтари и жарить их на вертеле.

— Куда же вашему забавнику Браме тягаться с нашим Аписом! — сказал египтянин.— И что он сделал путного?

— Он научил людей читать и писать, и ему обязаны они шахматною игрою,— ответил брамин.

— Вы ошибаетесь,— сказал халдей, сидевший рядом с ним.— Всеми этими великими благами мы обязаны рыбе Оаннесу и по всей справедливости должны почитать только ее. Каждый вам подтвердит, что это было божественное создание с золотым хвостом и прекрасной человеческой голо-

вой, которое ежедневно выходило на три часа из воды и читало людям проповеди. Всякому известно, что у рыбы Оаннеса было несколько сыновей, ставших потом царями. У меня есть ее изображение, и я воздаю ей должные почести. Быков можно есть сколько угодно, но варить рыбу, разумеется, великое святотатство. К тому же вы оба недостаточно древнего и благородного происхождения, чтобы спорить со мною. Египетский народ существует только сто тридцать пять тысяч лет, индийцы могут похвалиться лишь восемьюдесятьютысячелетним существованием, меж тем как наши календари насчитывают четыре тысячи веков. Поверьте мне, откажитесь от ваших глупых басен, и я дам каждому из вас изображение Оаннеса.

Тогда вмешался в разговор житель Камбалу и сказал:

— Я очень уважаю египтян, халдеев, греков, кельтов, Браму, быка Аписа и прекрасную рыбу Оаннеса. Но, может быть, Ли или Тянь [1], называйте его как угодно, стоит и ваших быков и рыб. Я не стану говорить о моей стране: она так велика, как Египет, Халдея и Индия вместе взятые. Не спорю я и о древности происхождения, ибо важно быть счастливым, а древность рода значения не имеет. Что же касается календарей, то должен вам сказать, что во всей Азии приняты наши и что у нас они были еще до того, как в Халдее научились арифметике.

— Вы все просто невежды! — воскликнул грек.— Разве вам не известно, что отец сущего — хаос, что форма и материя сделали мир таким, каков он теперь?

Грек говорил долго, но его наконец прервал кельт, который, выпив лишнее во время спора, вообразил себя ученее всех остальных. Он клялся, что только Тейтат да еще омела, растущая на дубе, сто́ят того, чтобы о них говорить; что сам он всегда носит омелу в кармане; что скифы, его предки, были единственными порядочными людьми, когда-либо населявшими землю; что они, правда, иногда ели людей, но тем не менее к его нации следует относиться с глубоким уважением и, наконец, что он здорово проучит того, кто вздумает дурно отозваться о Тейтате.

После этого спор разгорелся с новой силой, и Сеток начал опасаться, что скоро прольется кровь. Но тут поднялся Задиг, который во время спора хранил молчание, и, обратившись сперва к кельту, как к самому буйному спорщику, сказал ему, что он совершенно прав, и попросил у него омелы;

[1] Катайские слова, которые означают: Ли — свет, разум, Тянь — небо, и употребляются в смысле «божество».

затем он похвалил красноречие грека и постепенно внес успокоение в разгоряченные умы. Катайцу он сказал всего несколько слов, так как тот был рассудительнее остальных. В заключение Задиг сказал им:

— Друзья мои, вы напрасно спорите, потому что все вы придерживаетесь одного мнения.

Это утверждение все бурно отвергли.

— Не правда ли,— сказал Задиг кельту,— вы поклоняетесь не омеле, а тому, кто создал и ее, и дуб?

— Разумеется,— отвечал тот.

— И вы, господин египтянин, вероятно, почитаете в вашем быке того, кто вообще даровал вам быков?

— Да,— сказал египтянин.

— Рыба Оаннес,— продолжал Задиг,— должна уступить первенство тому, кто сотворил и море и рыб.

— Согласен,— отвечал халдей.

— И индиец,— прибавил Задиг,— и катаец признают, подобно вам, некую первопричину. Хотя я не совсем понял достойные восхищения мысли, которые излагал здесь грек, но уверен, что и он также признает верховное существо, которому подчинены и форма и материя.

Грек, которым теперь восхищались и остальные, ответил, что Задиг отлично понял его мысль.

— Итак,— вы все одного мнения,— сказал Задиг,— и, следовательно, вам не о чем спорить.

Все бросились его обнимать. Сеток, очень выгодно продавший свои товары, возвратился с Задигом к себе на родину. Там Задиг узнал, что во время его отсутствия он был судим и приговорен к сожжению на медленном огне.

СВИДАНИЯ

Во время путешествия Задига в Бассору жрецы звезд решили, что его надо покарать. Драгоценные камни и украшения молодых вдов, которых они отправляли на костер, принадлежали им по праву, и им казалось недостаточным даже сжечь Задига за злую шутку, которую он с ними сыграл. Поэтому они обвинили его в еретических взглядах на небесные светила и поклялись, что слышали, как Задиг утверждал, будто звезды не заходят в море. Это ужасающее кощунство привело судей в содрогание; они едва не разорвали на себе одежды, услышав столь нечестивые слова, и, без сомнения, сделали бы это, будь у Задига чем заплатить за них. Теперь же, в припадке скорби, они удовольствовались тем, что присудили его к сожжению на медленном огне. Се-

ток в отчаянии пустил в ход все свое влияние, чтобы спасти друга, но тщетно: его вскоре принудили замолчать. Молодая вдова Альмона, обязанная Задигу жизнью и так сильно привязавшаяся к нему, решила спасти его от костра, отвращение к которому он сумел ей внушить. Она обдумала свой план, не говоря о нем никому ни слова. Казнь Задига была назначена на следующее утро, таким образом в ее распоряжении была ночь. И вот что сделала эта великодушная и разумная женщина.

Надушившись и надев самый роскошный и самый изящный наряд, придавший ее красоте еще более блеска, она попросила личной аудиенции у верховного жреца звезд. Представ перед этим почтенным старцем, она повела такую речь:

— Старший сын Большой Медведицы, брат Тельца, двоюродный брат Большого Пса (таковы были титулы этого духовного лица), я жажду поверить вам свои страхи и сомнения. Я очень боюсь, что совершила ужасный грех, не последовав на костер за моим дорогим супругом. В самом деле, что мне было беречь? Это тленное и уже увядшее тело? — С этими словами она откинула длинные шелковые рукава и обнажила свои прекрасные, ослепительно белые руки.— Вы видите, на них даже смотреть не стоит,— сказала она.

Но верховный жрец считал, что, напротив, очень даже стоит. Его глаза выразили это, а уста́ подтвердили. Он стал клясться, что в жизни не видал таких пленительных рук.

— Увы,— сказала ему вдова,— руки, может быть, еще не так плохи, как остальное, но согласитесь, что о груди совсем уже не стоило жалеть.— И она открыла самую соблазнительную грудь, какую когда-либо создавала природа. Розовый бутон на яблоке из слоновой кости в сравнении с ее грудью казался бы мареной на самшите, а свежевымытые ягнята — грязно-желтыми. Эта грудь, большие черные глаза, томно сиявшие и полные нежной страсти, щеки, розовые, как кровь с молоком, нос, нисколько не напоминавший башни горы Ливанской, губы, скрывавшие в своей коралловой оправе великолепный жемчуг Аравийского моря,— все это так подействовало на старца, что ему стало казаться, будто он снова двадцатилетний юноша. Он пролепетал ей нежное признание. Видя, как он воспламенился, Альмона стала просить о помиловании Задига.

— Увы, прекрасная дама,— сказал верховный жрец,— если я и соглашусь простить его, это ни к чему не приведет, так как помилование его должно быть подписано тремя моими собратьями.

— Все-таки подпишите,— сказала Альмона.

— Охотно,— отвечал жрец,— но с условием, что за мое потворство вы наградите меня вашей благосклонностью.

— Вы оказываете мне слишком большую честь,— сказала Альмона.— Если пожелаете прийти ко мне, когда зайдет солнце и блестящая звезда Шит появится на горизонте, вы найдете меня возлежащей на розовой софе и сделаете с вашей служанкой все, что вам заблагорассудится.

Она вышла, унося с собой бумагу с его подписью. Старец, томимый любовью и недоверием к своим силам, остаток дня употребил на омовения; выпив напиток, составленный из цейлонской корицы и драгоценных тидорских и тернатских пряностей, он с нетерпением ожидал появления звезды Шит.

Между тем прекрасная Альмона отправилась ко второму верховному жрецу. Этот стал уверять ее, что солнце, луна и все небесные светила не более как блуждающие огоньки в сравнении с ее прелестями. Она попросила у него той же милости, а он у нее — той же награды. Альмона дала себя победить и назначила свидание второму верховному жрецу при восходе звезды Альджениб. От него она отправилась к третьему и четвертому, получила от каждого подпись и назначила им свидание на восходе других звезд. Возвратившись после того домой, она попросила судей прийти к ней по очень важному делу. Судьи пришли, она показала им четыре подписи и объяснила, за какую цену жрецы продали помилование Задига. Потом явились жрецы, каждый в назначенное ему время, и очень изумились, застав своих собратьев, а в особенности увидев судей, перед которыми был обнаружен их позор. Задиг был спасен. Сеток же, восхищенный находчивостью Альмоны, женился на ней.

Облобызав стопы прекрасной своей избавительницы, Задиг удалился. Расставаясь, они с Сетоком плакали, клялись в вечной дружбе и обещали, что тот из них, кто первым достигнет славы и богатства, известит об этом другого.

Задиг направился в сторону Сирии, непрестанно думая о несчастной Астарте и размышляя о судьбе, которая так упорно преследовала его, играя его жизнью.

— Как! — говорил он.— Я получил четыреста унций золота за то, что видел, как пробежала собака! Я был присужден к смерти через усечение головы за четыре плохих стиха во славу короля! Едва не был задушен, потому что королева носит туфли такого же цвета, как и моя шапка! Отдан в рабство за то, что помог женщине, которую избивали; и чудом избежал костра, на котором меня хотели сжечь за то, что я спас жизнь всем юным арабским вдовам!

РАЗБОЙНИК

Задиг добрался до сирийской границы Каменистой Аравии. Он ехал мимо укрепленного замка, как вдруг оттуда выскочили вооруженные арабы. Они окружили Задига с криками: «Все ваше принадлежит нам, а вы сами — нашему господину!» Вместо ответа Задиг выхватил меч; храбрый слуга последовал его примеру. Они уложили на месте первых арабов, поднявших на них руку; число нападавших удвоилось, но путники не потеряли присутствия духа и решили погибнуть с оружием в руках. Два человека защищались от целой толпы. Такой неравный бой не мог длиться долго. Владелец замка по имени Арбогад, увидав из окна чудеса храбрости, проявленные Задигом, проникся к нему уважением. Он поспешно вышел, разогнал своих людей и освободил обоих путников.

— Все, что попадает на мою землю,— мое,— сказал он,— так же как и все, что я нахожу на чужих землях. Но вы так храбры, что для вас я делаю исключение.— Затем он привел Задига в замок, приказав своим людям хорошо обходиться с ним, а вечером пригласил его на ужин.

Владелец замка был одним из тех арабов, которых называют ворами; но наряду со множеством дурных поступков он иногда делал и добро; жадный вор и дерзкий грабитель, он был в то же время неустрашимым воином, щедрым и довольно мягким в обхождении человеком, обжорой за столом, веселым кутилой и, главное, простодушным малым. Ему чрезвычайно понравился Задиг, чья оживленная беседа помогла продлить ужин. Наконец Арбогад сказал ему:

— Советую вам поступить ко мне на службу. Вы не пожалеете об этом, потому что ремесло мое прибыльно, и со временем вы сможете занять не менее высокое положение, чем я.

— Разрешите вас спросить,— сказал Задиг,— давно ли вы занимаетесь вашим благородным ремеслом?

— В самой ранней юности я был слугою у одного довольно сметливого араба,— отвечал тот.— Положение мое было невыносимо. Я приходил в отчаяние, видя, что на земле, которая одинаково принадлежит всем, судьба ничего не оставила на мою долю. Я поделился своим горем с одним старым арабом, который сказал мне: «Сын мой, не отчаивайся. Была некогда песчинка, которая печалилась, что она — ничто среди песков пустыни; через несколько лет она стала алмазом и считается теперь лучшим украшением короны индийского царя». Эти слова произвели на меня большое впечатление:

я был песчинкой, но решил сделаться алмазом. Начал я с того, что украл двух лошадей; потом, набрав себе товарищей, стал грабить небольшие караваны. Так я постепенно уничтожил неравенство отношений, существовавшее между мною и остальными людьми. Я получил свою долю из благ мира сего и даже был вознагражден с избытком. Ко мне относятся с большим почтением, я — разбойник-вельможа. С помощью оружия я завладел этим замком; сирийский сатрап хотел отнять его у меня, но я уже был так богат, что ничего не боялся; я дал денег сатрапу и не только удержал за собой замок, но еще и увеличил свои владения. Он даже назначил меня сборщиком податей, вносимых жителями Каменистой Аравии царю царей. Теперь я собираю подати, но не плачу их.

Однажды великий Дестерхам Вавилона послал сюда от имени царя Моабдара некоего сатрапишку с приказанием удавить меня. Но прежде, чем он прибыл со своим поручением, меня уже обо всем известили. Я велел удавить при нем четырех человек, которым поручено было затянуть петлю на моей шее, и затем спросил у него, сколько он должен был заработать на этом деле. Он ответил, что рассчитывал получить до трехсот золотых. Я ему прямо сказал, что у меня он будет зарабатывать гораздо больше. Я его назначил моим подручным. Теперь он один из лучших и богатейших моих помощников. Поверьте мне, вы преуспеете не меньше, чем он. Никогда еще не было более благоприятного времени для разбоя, чем теперь, когда Моабдар убит и в Вавилоне царит смута.

— Как! Моабдар убит? — воскликнул Задиг.— А что же сталось с царицей Астартой?

— Не знаю,— отвечал Арбогад,— знаю только, что Моабдар сошел с ума, что он убит, что Вавилон стал настоящим разбойничьим вертепом, что государство опустошено, хотя для поживы осталось еще немало, и я не раз делал туда чудесные набеги.

— Но царица,— молил Задиг,— ради бога, не знаете ли вы чего-нибудь об ее участи?

— Мне что-то говорили о гирканском князе,— отвечал тот.— Если только она не была убита во время стычки, то, вероятно, находится среди его наложниц; впрочем, меня больше интересует добыча, чем сплетни. Во время моих набегов я захватывал в плен многих женщин, но у себя не оставлял ни одной; когда они хороши собою, я продаю их за дорогую цену, не спрашивая о том, кто они такие. Ведь женщин покупают не за титул, и на безобразную царицу вряд ли найдется охотник. Может быть, я продал царицу Астар-

ту, а может быть, она умерла, но это меня не касается, и вам, я полагаю, тоже нет основания беспокоиться о ней.— Говоря это, он пил так усердно и говорил так несвязно, что ничего определенного Задиг не узнал.

Он неподвижно сидел, подавленный и угнетенный. Арбогад не переставал пить и рассказывать разные басни, беспрерывно повторяя, что он счастливейший из людей, и уговаривая Задига сделаться таким же счастливцем. Наконец, одурманенный вином, он спокойно отправился спать. Задиг провел ночь в сильнейшем волнении. «Итак,— говорил он себе,— царь сошел с ума, убит!.. Я не могу не пожалеть о нем! Государство разорено, а этот разбойник счастлив! О, рок! О, судьба! Вор счастлив, а одно из прекраснейших созданий природы погибло, может быть, самым ужасным образом или живет жизнью, которая хуже смерти. О Астарта! Что сталось с вами?»

Едва наступил день, как он стал расспрашивать всех обитателей замка. Но все были заняты, и никто ему не отвечал: они делили добычу после ночного грабежа. Единственно, чего он мог добиться в этой суматохе, это разрешения уехать. Он не замедлил им воспользоваться, более чем когда-либо погруженный в грустные думы.

В волнении и беспокойстве совершал свой путь Задиг, не переставая думать о несчастной Астарте, о царе Вавилона, о верном Кадоре, о счастливом разбойнике Арбогаде, о своенравной женщине, похищенной вавилонянами на границе Египта, и, наконец, о всех пережитых им горестях и бедствиях.

РЫБАК

Все еще не переставая оплакивать свою судьбу и считать себя воплощением человеческого несчастья, Задиг добрался до речки, в нескольких милях от замка Арбогада. На берегу лежал рыбак; обратив глаза к небу, он держал в ослабевшей руке рыбачьи сети, которые, видимо, забыл забросить.

— Есть ли в мире человек несчастнее меня? — говорил рыбак.— Я был, по всеобщему признанию, самым преуспевающим из вавилонских торговцев сливочными сырами — и разорился. У меня была красавица жена — и она изменила мне. Ветхий домишко, которым я еще владел,— и тот на моих глазах был разграблен и разрушен. Теперь я живу в шалаше: единственное мое пропитание — рыбная ловля, но рыба совсем перестала ловиться. О мои сети! Я не брошу вас больше в воду, я сам туда брошусь.— И с этими словами он

встал и направился к реке с решимостью человека, который хочет броситься в воду и положить конец своей жизни.

«Что я вижу! — удивился Задиг.— Значит, есть люди, такие же несчастные, как я!» Едва промелькнула в его уме эта мысль, как его охватило горячее желание спасти жизнь рыбаку. Подбежав к нему, Задиг остановил его и, полный сердечного участия, стал расспрашивать и утешать. Говорят, что при виде чужого горя люди чувствуют себя менее несчастными; по мнению Зороастра, дело тут не в себялюбии, а во внутренней потребности. К несчастному человеку влечет в таких случаях сходство положений. Радость счастливца была бы оскорбительной, а двое несчастных — как два слабых деревца, которые, опираясь друг на друга, противостоят буре.

— Почему вы даете горю одолеть себя? — спросил Задиг у рыбака.

— Потому что не вижу никакого выхода для себя,— ответил тот.— Я был самым уважаемым лицом в деревне Дерльбак, в окрестностях Вавилона, и изготовлял с помощью моей жены лучшие сливочные сыры во всем государстве. Царица Астарта и знаменитый министр Задиг их очень любили. Я продал им шестьсот сыров. Однажды я отправился в Вавилон — хотел получить за них деньги — и вдруг узнаю, что царица Астарта и Задиг исчезли. Я побежал в дом к господину Задигу, которого до того времени никогда не видел, и нашел там полицейских великого Дестерхама, которые, запасшись царским приказом, на законном основании и с соблюдением порядка грабили его дом. Я помчался на кухню царицы: там одни царские повара говорили, что она умерла, другие — что она в тюрьме, третьи клялись, что она бежала, но все в один голос утверждали, что за сыры мне ничего не заплатят. Я пошел с женой к господину Оркану, который тоже был одним из моих постоянных покупателей. Мы попросили его оказать нам поддержку в нашем несчастье. Он оказал поддержку моей жене, а мне отказал. Она была белее сливочных сыров, от которых пошли все мои беды, и даже тирский пурпур не ярче румянца, оживлявшего белизну ее лица. Поэтому Оркан оставил ее у себя, а меня выгнал. Я написал моей милой жене отчаянное письмо, а она сказала посыльному: «Ах да! Я знаю, кто это пишет, я слышала, что он мастер делать сливочные сыры. Пусть пришлет мне сыру, я ему заплачу».

С горя я решил обратиться к правосудию. У меня оставалось шесть унций золота; две из них пришлось отдать законнику, с которым я советовался, две — стряпчему, взявшемуся вести мое дело, и две — секретарю главного судьи.

Но мое дело так и не началось, а я издержал больше, чем стоили и сыры и жена вместе взятые. Тогда я возвратился к себе в деревню с намерением продать дом, чтобы вернуть жену.

Мой дом стоил добрых шестьдесят унций золота, но все видели, что я беден и мне надо поскорей продать его. Первый, к кому я обратился, предложил мне за него тридцать унций, второй — двадцать, а третий — десять. Я до такой степени был ослеплен горем, что готов уже был согласиться, как вдруг гирканский князь вторгся в Вавилон и на своем пути предал все огню и мечу. Мой дом был сперва разграблен, а потом сожжен.

Потеряв, таким образом, деньги, жену и дом, я удалился в эту местность, где вы меня теперь видите. Я попытался заработать себе на хлеб насущный рыбной ловлей, но рыбы издеваются надо мной, как люди. Ничего у меня не ловится, и я умираю с голоду. Не будь вас, мой высокопоставленный утешитель, я бросился бы в реку!

Рыбак рассказал все это не сразу, потому что Задиг, вне себя от волнения, прерывал его на каждом слове.

— Значит, вам ничего не известно об участи царицы?

— Нет, господин мой,— отвечал рыбак,— я знаю только, что царица и Задиг не заплатили мне за сливочные сыры, что у меня отняли жену и что я в отчаянии.

— Я убежден,— сказал Задиг,— ваши деньги не пропадут. Мне говорили об этом Задиге, что он честный человек: если только он вернется в Вавилон, как он надеется, то возместит вам с избытком все, что должен; что же касается вашей жены, которая не так честна, как Задиг, то вряд ли вам стоит добиваться ее возвращения. Послушайтесь меня, отправляйтесь в Вавилон; я там буду раньше вас, так как еду верхом, а вы пойдете пешком. Обратитесь к прославленному Кадору, скажите ему, что встретили его друга, и ожидайте меня у него. Ступайте... Авось вы не всегда будете так несчастны. О могущественный Оромазд,— продолжал он,— ты избрал меня, дабы я утешил этого человека, но кого ты изберешь, дабы утешить меня? — С этими словами он отдал половину всех денег, что вывез из Аравии, рыбаку, и тот, потрясенный и счастливый, облобызал ноги другу Кадора, повторяя: «Вы мой ангел-спаситель!»

Между тем Задиг продолжал расспрашивать его о Вавилоне, и из глаз его лились слезы.

— Что же это, господин мой,— воскликнул рыбак,— неужели и вы тоже несчастны, вы, делающий столько добра?

— Во сто раз несчастнее тебя,— отвечал Задиг.

— Возможно ли,— продолжал недоумевать простак,— чтобы дающий был несчастнее берущего?

— Дело в том,— отвечал Задиг,— что твое главное несчастье заключается в нужде, а виною моих бед — мое же собственное сердце.

— Не отнял ли у вас Оркан жену? — спросил рыбак. Это напомнило Задигу его злоключения, и он перебрал в уме все свои беды, начиная с царицыной суки и кончая встречей с Арбогадом.

— Да,— сказал он рыбаку,— Оркан заслуживает наказания, но как раз такие люди и пользуются обычно благосклонностью судьбы. Как бы то ни было, иди к господину Кадору и жди у него.

Они расстались: рыбак шел, благословляя судьбу, а Задиг ехал, сетуя на нее.

ВАСИЛИСК

Подъехав к прекрасному лугу, Задиг увидел на нем женщин, которые что-то усердно искали. Он решился спросить у одной из них, не может ли он помочь им в поисках.

— Боже вас сохрани,— отвечала сириянка,— к тому, что мы ищем, могут прикасаться одни только женщины.

— Это очень странно,— сказал Задиг.— Осмелюсь ли задать вам вопрос, что это за вещь, к которой могут прикасаться одни только женщины?

— Это василиск,— отвечала она.

— Василиск, сударыня? А для чего, скажите на милость, вы ищете василиска?

— Для нашего государя и повелителя Огула, дворец которого вы видите вон там, на берегу реки, по ту сторону луга. Мы его покорные рабыни. Господин Огул болен; врач приказал ему съесть василиска, сваренного в розовой воде, а так как это очень редкое животное и дается в руки только женщинам, то господин Огул обещал сделать ту из нас, которая принесет ему василиска, любимой своей женою. Будьте же добры, не мешайте мне искать, потому что понимаете сами, сколько я потеряю, если мои подруги меня опередят.

Задиг не стал больше мешать сириянке и ее подругам искать василиска и продолжал свой путь. Подъехав к небольшому ручью, он увидел женщину, лежавшую на траве и ничего не искавшую. Облик ее был величествен, лицо скрыто покрывалом. Она наклонилась к ручью; тяжелые вздохи вырывались из ее груди. В руке она сжимала палочку и чертила

ею буквы на прибрежном песке, отделявшем траву от ручья. Задиг полюбопытствовал взглянуть, что пишет эта женщина; он подошел поближе и увидел сначала букву «З», потом «а». Это его удивило. Потом появилось «д». Он вздрогнул. Удивлению его не было предела, когда он увидел две последние буквы своего имени. Несколько минут он оставался недвижим, потом проговорил прерывающимся голосом:

— Благородная дама, простите незнакомцу, гонимому судьбой, что он осмеливается спросить вас, по какому удивительному случаю ваша божественная рука начертала здесь имя Задига?

Услыхав голос Задига и его слова, женщина дрожащей рукой приподняла покрывало, взглянула на Задига, испустила крик удивления, любви и радости и, не выдержав столь сильных чувств, разом овладевших ею, упала без памяти в его объятия. То была Астарта, царица вавилонская,— та самая, которую Задиг обожал, не переставая упрекать себя за это, та самая Астарта, которая стоила ему стольких слез и за участь которой он так тревожился. На мгновение он сам лишился сознания, но когда глаза его встретились с томным взором Астарты, полным смущения и нежности, он воскликнул:

— О всемогущие боги! Вы, которые управляете судьбою слабых смертных, ужели вы наконец возвращаете мне Астарту? И где, в какое время, при каких обстоятельствах я вновь ее обретаю! — С этими словами он опустился на колени перед царицей вавилонской и приник лбом к праху у ее ног. Она подняла его и посадила рядом с собой на берегу ручья. Астарта то и дело вытирала глаза, на которые беспрестанно набегали радостные слезы, начинала говорить, но рыдания прерывали ее, принималась расспрашивать о том, какой случай свел их вместе, и, не давая ему ответить, задавала новые вопросы, рассказывала о своих бедах и в то же время требовала, чтобы Задиг поделился с нею своими. Когда оба немного успокоились, Задиг в нескольких словах поведал ей, какие злоключения привели его на этот луг.

— Но, несчастная и достойная царица, как вы оказались здесь, в этой глуши, в одежде рабыни, среди других рабынь, ищущих василиска, которого нужно сварить в розовой воде по предписанию врача?

— Пока они ищут василиска,— сказала прекрасная Астарта,— я расскажу вам все, что я вытерпела и что теперь прощаю небесам, ибо они все же позволили мне вновь свидеться с вами. Как вы знаете, царю, моему супругу, не нравилось, что вы были самым приятным человеком при дворе,

и потому он однажды ночью решил удавить вас и отравить меня. Вы также знаете, что небо помогло моему немому карлику известить меня о приказе его величества. Верный Кадор, заставив вас исполнить мою волю и уехать, глухой ночью решился пробраться потайным ходом ко мне и насильно увел меня в храм Оромазда. Там его брат, маг, спрятал меня в колоссальную статую, которая своим основанием касалась пола, а головою — сводов храма. В ней я была, как в могиле, но мне прислуживал сам маг, и я ни в чем не нуждалась. Между тем на рассвете аптекарь его величества вошел в мою комнату с напитком, составленным из белены, опиума, цикуты, чемерицы и аконита, а к вам в это же время был послан один из царских телохранителей с припрятанным голубым шелковым шнурком. Но ни тот ни другой не нашли своих жертв. Кадор, чтобы лучше обмануть царя, решил выступить перед ним нашим обвинителем. Он сказал, что вы бежали в Индию, а я скрылась в Мемфис; за мной и за вами была послана погоня.

Гонцы, отправленные за мной, не знали меня в лицо, так как я почти никому не показывалась, кроме вас, и то только в присутствии моего супруга и по его приказанию. Им описали меня, и они пустились в путь. На египетской границе они увидели женщину одного со мною роста, но, может быть, более привлекательную. Она была в слезах, вне себя от горя. Не сомневаясь, что это царица вавилонская, они привели ее к Моабдару. Их ошибка сперва разгневала царя, но вскоре, рассмотрев эту женщину поближе, он нашел ее очень красивой и утешился. Ее звали Мисуфа. Я узнала потом, что на египетском языке это имя означает «прекрасная капризница». И действительно, она вполне заслуживала свое прозвище, но ловкость ей была присуща не менее, чем своенравность. Мисуфа понравилась Моабдару и покорила его до такой степени, что он сделал ее своей женой. Тогда-то ее нрав и проявился полностью: она требовала исполнения всех безумных прихотей, какие только приходили ей в голову. Однажды она пожелала, чтобы верховный маг, старый и больной подагрой, плясал перед нею, и, когда он отказался, начала его жестоко преследовать. Потом она приказала главному конюшему испечь ей пирог с вареньем. Сколько тот ни уверял ее, что он не пирожник, все-таки ему пришлось испечь пирог, и его прогнали за то, что пирог пригорел. На место конюшего она назначила своего карлика, а на место канцлера — пажа! Так управляла она Вавилоном. Все стали жалеть обо мне. Царь, который был довольно здравым человеком до той поры, пока не вздумал отравить меня и удавить вас, утопил, казалось,

свои добродетели в чудовищной страсти к прекрасной капризнице. Он пришел в храм в великий день священного огня. Я слышала, как он молился за Мисуфу у подножия той статуи, в которой я была спрятана. Громким голосом крикнула я ему: «Боги отвергают молитвы царя, ставшего тираном, царя, который хотел умертвить благоразумную жену, чтобы жениться на сумасбродке». Моабдар был до того поражен этими словами, что ум его помутился. Моего приговора и тирании Мисуфы оказалось достаточно, чтобы он потерял рассудок. Он сошел с ума через несколько дней.

Его безумие, сочтенное вавилонянами за небесную кару, послужило сигналом к возмущению. Народ восстал и взялся за оружие. Вавилон, с давних пор погруженный в праздную негу, был охвачен страшной междоусобицей. Меня выпустили из моей статуи и поставили во главе одной из двух борющихся партий. Кадор помчался за вами в Мемфис. Между тем князь гирканский, узнав об этих роковых происшествиях, привел с собою и третью партию — свою армию. Он атаковал царя, который вместе со своей сумасбродной египтянкой попытался дать ему отпор. Пронзенный неприятельскими копьями, Моабдар погиб, а Мисуфа попала в руки победителя. К своему несчастью, я тоже была захвачена гирканцами, и меня доставили к князю одновременно с Мисуфой. Вам, без сомнения, лестно будет услышать, что он нашел меня красивее египтянки, но зато вас огорчит, что он предназначил меня для своего гарема. Он очень решительно сказал, что придет ко мне сразу по окончании предпринятой им военной экспедиции. Можете себе представить, в каком я была отчаянье. Мои узы с Моабдаром были разорваны, я могла принадлежать Задигу, а между тем попала во власть к этому варвару! Я отвечала ему с гордостью, внушенной мне моим саном и моими чувствами. Я часто слышала, что особам моего ранга небо дарует то величие, которое одним словом, одним взглядом внушает безумцам, осмелившимся забыться, самое глубокое почтение. Я говорила, как царица, но со мной обошлись, как со служанкой. Гирканец, не удостоив меня даже словом, сказал своему черному евнуху, что я дерзка, но, на его взгляд, хороша собой. Он приказал ему обходиться со мной, как положено с фаворитками, холить и лелеять меня, чтобы оживить цвет моего лица и чтобы я стала более достойной его милости в тот день, когда он пожелает почтить меня ею. Я ему сказала, что убью себя. Он отвечал мне со смехом, что из-за этого женщины себя не убивают, что он привык к таким угрозам, и ушел от меня с видом человека, который раздобыл попугая для своего птичника. Достойное положение для ве-

личайшей на земле царицы и, более того, для сердца, принадлежащего Задигу!

При этих словах Задиг бросился к ее ногам и оросил их слезами. Астарта нежно подняла его и продолжала:

— Итак, я оказалась добычей варвара и соперницей сумасбродной женщины, вместе с которой была заключена. Она рассказала мне о своем приключении в Египте. По ее описанию, по времени, по верблюду и по всем остальным обстоятельствам я догадалась, что за нее бился Задиг. Я не сомневалась в том, что вы находитесь в Мемфисе, и решилась бежать туда. «Прекрасная Мисуфа,— сказала я ей,— у вас куда более веселый нрав, чем у меня, и вы сможете лучше развлечь гирканского князя. Помогите мне бежать, и вы одна будете им править, осчастливите меня и в то же время избавитесь от соперницы». Мисуфа согласилась, и я тайно бежала с рабой-египтянкой.

Я приближалась уже к Аравии, как вдруг знаменитый разбойник по имени Арбогад захватил меня в плен и продал купцам, которые и привели меня в замок, где живет господин Огул. Он купил меня, не зная, кто я такая. Это великий чревоугодник, который думает только о том, чтобы хорошо покушать, и считает, что бог создал его лишь для того, чтобы наслаждаться едой. Он так толст, что ему постоянно грозит опасность задохнуться. Врач, который его пользует, не имеет на него никакого влияния, когда желудок его в исправности, и деспотически управляет им, когда Огул объестся. Он-то и убедил Огула, что вылечить его можно только василиском, сваренным в розовой воде. Огул обещал свою руку той невольнице, которая принесет ему василиска. Как видите, я не спешу оспаривать у них эту честь, особенно с той минуты, как небеса даровали мне встречу с вами.

И тут Астарта и Задиг сказали друг другу все, что внушают благородным и страстным сердцам долго скрываемые чувства, нежная любовь и перенесенные бедствия, и духи, покровительствующие влюбленным, передали их слова самой Венере.

Женщины возвратились к Огулу с пустыми руками. Задиг также явился к нему и сказал следующее:

— Да снизойдет с небес бессмертное здоровье, чтобы заботиться о днях ваших. Я врач. Узнав о вашей болезни, я поспешил к вам и принес василиска, сваренного в розовой воде. Я, конечно, не собираюсь выйти за вас замуж и потому прошу вас только об одном: отпустите на волю молодую рабыню-вавилонянку, которую недавно привели к вам; если я

не буду иметь счастье вылечить прославленного господина Огула, пусть он оставит меня рабом у себя вместо нее.

Предложение было принято. Астарта отправилась в Вавилон со слугою Задига, обещав тотчас же прислать к нему гонца и известить его обо всем, что там произойдет. Их прощание было столь же нежно, как и встреча. Минута, когда люди обретают друг друга, и минута, когда расстаются,— две значительнейших эпохи в жизни человека, говорит великая книга Зенд. Задиг клялся царице в любви — и каждое его слово было правдой, а царица даже не могла выразить, как сильна ее любовь к Задигу.

Между тем Задиг сказал Огулу:

— Повелитель, моего василиска есть нельзя, его целебная сила должна проникнуть в вас через поры. Я зашил его в бурдючок из тонкой кожи, надутый воздухом. Вы должны изо всех сил бросать его мне, а я буду бросать вам его обратно, и через несколько дней вы увидите, как могущественно мое искусство.

В первый день Огул задыхался, ему казалось, что он умрет от усталости. На другой день он устал уже меньше и спал лучше. Через неделю к нему вернулись его прежняя сила, здоровье, легкость и веселое расположение духа, словно он опять переживал лучшую пору своей жизни.

— Вы играли в мяч и были воздержанны в пище и питье,— сказал ему Задиг.— Узнайте же, что василиска в природе не существует, что здоровыми бывают только люди воздержанные и деятельные и что возможность совместить неумеренность со здоровьем — такая же химера, как философский камень, астрология и богословие магов.

Старший врач Огула, видя, как этот человек опасен для медицины, сговорился с придворным аптекарем отправить Задига искать василиска на том свете. Таким образом, Задиг, который всеми несчастьями обязан был своим добрым делам, и тут едва не погиб за то, что вылечил вельможного обжору. Его пригласили на великолепный обед и собирались отравить вторым блюдом, но он еще не доел первого, когда ему доложили о гонце от Астарты. Задиг встал из-за стола и уехал. «Кто любим прекрасной женщиной,— говорил великий Зороастр,— тот всегда вывернется из беды на этом свете».

ПОЕДИНКИ

Царица была принята в Вавилоне с тем восторгом, с каким всегда встречают прекрасных государынь, изведавших превратности судьбы. В городе стало спокойнее. Князь гир-

канский был убит в сражении. Вавилоняне, одержав победу, объявили, что Астарта выйдет замуж за того, кого они изберут царем. Но они не желали, чтобы высочайший в мире сан — сан царя вавилонского и мужа Астарты — зависел от интриг и козней. Они поклялись посадить на престол самого храброго и самого мудрого из претендентов. Для этого в нескольких милях от города устроили обширное ристалище и окружили его великолепно разукрашенным амфитеатром. Претендентам надлежало явиться туда в полном боевом убранстве. Каждому было отведено отдельное помещение позади амфитеатра, где никто не мог бы ни увидеть его, ни поговорить с ним. Им предстояло четырежды сразиться на копьях. Те, кому удалось бы победить четырех соперников, должны были потом сразиться друг с другом; оставшийся последним на поле сражения и будет победителем турнира. Четыре дня спустя он должен снова предстать в том же вооружении перед магами и разгадать предложенные ими загадки. Если он не разгадает загадок, то не сможет быть избран царем, и состязание начнется снова и продолжится до тех пор, пока не сыщется человек, который одержит победу в обоих турнирах. Вавилоняне непременно хотели избрать царем не только самого храброго, но и мудрейшего. Царица в это время должна была находиться под строгим надзором. Ей дозволялось присутствовать на турнирах, но только при условии, что лицо ее будет скрыто покрывалом и она не станет говорить ни с кем из претендентов, дабы устранить возможность пристрастия и несправедливости.

Об этом-то и извещала Астарта своего возлюбленного, выражая надежду, что ради нее он постарается быть и самым мужественным и самым мудрым. Задиг пустился в путь, прося Венеру укрепить его мужество и просветить ум. Прибыв на берег Евфрата накануне великого дня, он вписал свой девиз в список девизов других рыцарей, скрывая, согласно предписанию, свое лицо и имя, и затем отправился отдохнуть в отведенное ему помещение. Его друг Кадор, возвратившийся в Вавилон после тщетных розысков в Египте, распорядился передать ему снаряжение, присланное царицей, а от себя прибавил великолепного персидского коня. Задиг понял, что все это — дары Астарты, и мужество его удвоилось, а любовь преисполнилась новыми упованиями.

На следующий день, когда царица уселась под балдахином, украшенным драгоценными камнями, а вавилонские дамы, вельможи и горожане заняли места в амфитеатре, соперники появились на ристалище. Каждый положил свой девиз к ногам великого мага. Бросили жребий. Девиз Задига

оказался последним. Первым выступил на арену некий богатый вельможа по имени Итобад, человек суетный, не блиставший храбростью, неуклюжий и недалекий. Челядь убедила Итобада, что он непременно должен стать царем, и он все время повторял: «Да, такой человек, как я, создан, чтобы царствовать». Он был вооружен с головы до ног; его золотые доспехи блистали зеленой эмалью, на шлеме развевались зеленые перья, копье украшали зеленые ленты. Уже по тому, как Итобад сидел на лошади, все сразу поняли, что скипетр Вавилона небо предназначило не ему. Первый противник вышиб его из седла, а второй опрокинул вверх тормашками на круп лошади. Итобад опять сел в седло, но так неловко, что весь амфитеатр стал хохотать. Третий противник даже не счел нужным пустить в ход копье; увернувшись от нападения, он схватил Итобада за правую ногу и, заставив описать в воздухе дугу, бросил на песок. Оруженосцы, смеясь, подбежали к нему и снова посадили в седло. Четвертый рыцарь, взяв его за левую ногу, тоже бросил на песок, но уже в другую сторону. Когда под общий свист Итобада вели в помещение, где по правилам ему предстояло провести ночь, он еле тащился, но все-таки повторял: «Как не повезло такому человеку, как я!»

Другие рыцари лучше справились со своей задачей. Некоторые победили двух противников подряд, иные даже трех. Но четырех победил один только князь Отам. Наконец наступил черед Задига: он с необычайной ловкостью выбил из седла четырех рыцарей подряд. Теперь все зависело от того, кто из двоих выйдет победителем, Отам или Задиг. На первом вооружение было голубое, с золотой насечкой и голубые перья на шлеме; доспехи Задига сверкали белизной. Зрители разделились на две партии: одни желали успеха голубому рыцарю, другие — белому. Царица с замиранием сердца молила небо за белый цвет.

Бойцы нападали и увертывались с такой ловкостью, наносили друг другу такие искусные удары копьем и так крепко держались в седле, что всем, за исключением царицы, хотелось возвести на престол одновременно двух царей. Наконец, когда кони устали, а копья сломались, Задиг пустил в ход хитрость: он подъехал к голубому рыцарю сзади, вскочил на круп его коня и, схватив соперника поперек туловища, кинул его на арену. Затем, усевшись в седло, стал гарцевать вокруг распростертого Отама. Все зрители закричали: «Победа за белым рыцарем!» Тут Отам в бешенстве вскакивает и хватается за меч; Задиг спрыгивает с коня и тоже

обнажает меч. И вот они снова сражаются, и сила и ловкость поочередно торжествуют.

Перья их шлемов, бляхи наручей, кольца панцирей разлетаются под градом стремительных ударов. Рыцари колют и рубят направо и налево, целясь то в голову, то в грудь, отступают, сходятся, примериваются друг к другу, снова сходятся, схватываются, извиваются, словно змеи, нападают, словно львы. От наносимых ударов снопами сыплются искры. Но вот Задиг, собравшись с силами, останавливается, делает ложный выпад, потом повергает противника наземь и обезоруживает его.

— О белый рыцарь,— восклицает Отам,— вам царствовать в Вавилоне!

Царица была вне себя от радости. Белого и голубого рыцарей, согласно установленному порядку, отвели каждого в его помещение, так же как и остальных претендентов. Принесли пищу и прислуживали им немые рабы. Легко догадаться, что Задигу прислуживал карлик царицы. Потом им дали выспаться в одиночестве до следующего утра, то есть до того времени, когда победитель должен был представить свой девиз великому магу и назвать себя.

Задиг, хотя и был влюблен, спал от усталости мертвым сном. Но Итобад, чья каморка была рядом, совсем не спал. Он встал ночью, вошел к Задигу и, взяв его белое вооружение с девизом Задига, положил вместо него свое зеленое.

На рассвете он пошел к великому магу и гордо объявил, что победителем был не кто-нибудь, а такой человек, как он. Это было полной неожиданностью для всех, однако его провозгласили победителем. Задиг между тем продолжал спать. Изумленная и повергнутая в отчаяние Астарта вернулась в Вавилон. К тому времени, когда Задиг проснулся, амфитеатр был уже почти пуст. Задиг стал искать свое вооружение, но нашел только зеленые доспехи, которые ему и пришлось надеть, ибо ничего другого не было. Недоумевая и негодуя, облачился он в них и в этом наряде явился на арену.

Все оставшиеся в амфитеатре и в цирке встретили его свистом. Его окружили со всех сторон и осыпали оскорбительными насмешками. Никогда еще человек не испытывал подобного унижения. Наконец Задиг, потеряв терпение, с саблей в руках заставил обидчиков разбежаться. Но он не знал, что ему предпринять. Он не мог увидеться с царицей, не мог потребовать, чтобы ему вернули белое вооружение, которое она ему прислала, потому что это значило бы ее скомпрометировать. Таким образом, в то время как она предавалась печали, он был в ярости и смятении. Перебирая в

уме все свои неудачи, начиная со злоключения с женщиной, ненавидевшей кривых, и кончая пропажею вооружения, он одиноко шел по берегу Евфрата и думал, что родился под несчастливой звездой, обрекавшей его на безвыходные страдания. «Вот что значит,— говорил он себе,— проснуться слишком поздно; если бы я меньше спал, я был бы царем вавилонским и мужем Астарты. Мои знания, честность, мужество постоянно приносили мне только несчастья». Он стал даже роптать на провидение и готов был поверить, что миром управляет жестокий рок, который угнетает добродетельных людей и покровительствует негодяям. Огорчало его и то, что он вынужден был носить зеленые доспехи, навлекшие на него столько насмешек. Он продал их за бесценок проезжавшему мимо купцу и купил у него халат и высокую шапку. В этом наряде он продолжал идти берегом Евфрата и, полный отчаяния, клял в душе провидение, которое неустанно его преследовало.

ОТШЕЛЬНИК

Дорогой он встретил отшельника с почтенной седой бородой, доходившей тому до пояса. Старец держал в руках книгу и внимательно читал ее. Остановившись, Задиг отвесил ему глубокий поклон. Отшельник приветствовал его с таким достоинством и кротостью, что Задига охватило желание побеседовать с ним. Он спросил, какую книгу тот читает.

— Это книга судеб,— сказал отшельник.— Не хотите ли почитать?

Задиг взял у него книгу, но, несмотря на то, что знал много языков, не смог прочесть ни единого слова. Это лишь разожгло его любопытство.

— Мне кажется, вы чем-то опечалены,— сказал старик.

— Увы, я имею на то много причин,— ответил Задиг.

— Если позволите вам сопутствовать,— продолжал тот,— вы, быть может, не пожалеете об этом; мне удавалось иногда влить бальзам утешения в души несчастных.

Задиг почувствовал глубокое уважение к облику, бороде и книге отшельника. В его словах заключалась как будто высокая мудрость. Отшельник говорил о судьбе, справедливости, нравственности, высшем благе, человеческой слабости, добродетелях и пороках с таким живым и трогательным красноречием, что Задиг ощутил непреоборимое влечение к нему. Он стал настоятельно упрашивать старика не оставлять его до возвращения в Вавилон.

— Я сам хотел просить вас об этом как о милости,— ска-

зал отшельник.— Поклянитесь мне Оромаздом не покидать меня несколько дней, что бы я в это время ни делал.

Задиг поклялся, и они уже вместе продолжали путь.

Вечером путники подошли к великолепному замку. Отшельник попросил гостеприимства для себя и своего молодого друга. Привратник, похожий скорее на знатного барина, впустил их с видом презрительного снисхождения и провел к дворецкому, который показал им роскошные комнаты хозяина. За ужином их посадили в конце стола, и владелец замка не удостоил их даже взглядом. Однако их накормили столь же изысканно и обильно, как остальных. Для умывания им подали золотой таз, украшенный изумрудами и рубинами, спать их уложили в прекрасном покое, а на другое утро слуга принес каждому из них по золотому, после чего обоих отправили на все четыре стороны.

— Хозяин дома,— сказал Задиг дорогой,— кажется мне человеком гордым, но великодушным; гостеприимство его исполнено благородства.— Говоря это, он заметил, что сума отшельника чем-то битком набита, и краем глаза увидел в ней украденный старцем золотой таз. Задиг был поражен тем, что старец его украл, но не решился ничего сказать.

Около полудня отшельник подошел к небольшому домику, в котором жил богатый скряга, и попросил у него гостеприимства на несколько часов. Старый, одетый в поношенное платье слуга принял их грубо, отвел на конюшню и принес им туда несколько гнилых оливок, черствого хлеба и прокисшего пива. Отшельник ел и пил с не меньшим удовольствием, чем накануне, потом обратился к старому слуге, смотревшему в оба, чтобы они чего-нибудь не украли, и торопившему их уйти, дал ему два золотых, полученных утром, и поблагодарил его за оказанное внимание.

— Прошу вас, позвольте мне поговорить с вашим господином,— сказал он в заключение.

Удивленный слуга отвел их к хозяину.

— Великодушный господин,— сказал отшельник,— я могу лишь очень скромно отблагодарить вас за ваше благородное гостеприимство. Соблаговолите принять этот золотой таз как слабый знак моей признательности.

Скупец чуть не упал наземь. Не дав ему времени прийти в себя, отшельник поспешно удалился со своим молодым спутником.

— Отец мой,— спросил его Задиг,— как объяснить все то, что я вижу? Вы совсем не похожи на других людей; вы крадете золотой таз, украшенный драгоценными камнями, у

вельможи, оказавшего нам великолепный прием, и отдаете его скряге, который принял вас самым недостойным образом.

— Сын мой,—отвечал старик,— этот гордец, принимающий странников из одного только тщеславия и желания похвастать своими богатствами, станет разумнее, а скряга научится оказывать гостеприимство. Не удивляйтесь ничему и следуйте за мной.

Задиг не мог понять, с кем он имеет дело,— с безрассуднейшим или мудрейшим из смертных, но отшельник говорил так властно, что у Задига, связанного к тому же клятвой, не хватало духа покинуть его.

Вечером они пришли к небольшому, изящной архитектуры, но скромному дому, в котором не было ничего ни от расточительности, ни от скупости. Хозяином оказался философ, который, удалившись от света, целиком посвятил себя занятиям добродетельным и мудрым, и не смотря на это, нисколько не скучал. Он с радостью построил это убежище, где принимал чужестранцев с достоинством, чуждым тщеславия. Он сам встретил обоих путешественников и прежде всего повел их отдохнуть в уютный покой, а немного погодя пригласил к опрятно и вкусно приготовленному ужину, во время которого сдержанно говорил о последних событиях в Вавилоне. Он, видимо, был искренне предан царице и считал, что было бы очень хорошо, если бы на арену в качестве претендента на корону вышел и Задиг.

— Но люди,— прибавил он,— не заслуживают такого государя.

Эти слова заставили Задига покраснеть и еще сильнее почувствовать свои несчастья. В ходе беседы сотрапезники единодушно признали, что события в этом мире не всегда происходят так, как того желали бы наиболее разумные из людей. Но отшельник все время утверждал, что никто не знает путей провидения и что люди не правы, когда берутся судить о целом по ничтожным крупицам, доступным их пониманию.

Заговорили о страстях.

— Как они гибельны! — воскликнул Задиг.

— Страсти — это ветры, надувающие паруса корабля,— возразил отшельник.— Иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать. Желчь делает человека раздражительным и больным, но без желчи человек не мог бы жить. Все на свете опасно — и все необходимо.

Заговорили о наслаждении, и отшельник стал доказывать, что наслаждение — дар божества.

— Ибо,— сказал он,— человек не может сам себе давать

ни ощущений, ни идей; все это он получает. Печали и удовольствия приходят к нему извне, равно как и сама жизнь.

Задиг удивился, как это человек, делавший столь сумасбродные вещи, может так здраво рассуждать. Наконец после беседы, и поучительной и приятной, хозяин проводил обоих путешественников в отведенный для них покой, благословляя небо, пославшее ему столь мудрых и добродетельных гостей. Он с такой непринужденностью и благородством предложил им денег, что они не могли этим оскорбиться. Отшельник от денег отказался и сказал, что хочет проститься с ним, так как еще до рассвета намерен отправиться в Вавилон. Попрощались они очень тепло; особенно был растроган Задиг, который проникся уважением и симпатией к этому достойному человеку.

Когда отшельник и Задиг остались в приготовленном для них покое, они долго восхваляли хозяина. На рассвете старец разбудил своего спутника.

— Пора отправляться,— сказал он ему.— Пока все спят, я хочу оставить этому человеку свидетельство своего уважения и преданности.— И с этими словами он взял факел и поджег дом.

Задиг в ужасе вскрикнул и попытался помешать ему совершить столь ужасное дело, но отшельник со сверхъестественной силой повлек его за собой. Дом был весь в огне. Отшельник, уже далеко отошедший с Задигом, спокойно смотрел на пожар.

— Хвала богу,— сказал он,— дом нашего хозяина разрушен до основания! Счастливец!

При этих словах Задигу захотелось одновременно и рассмеяться, и наговорить дерзостей почтенному старцу, и прибить его, и убежать от него. Но ничего этого он не сделал и, против воли повинуясь обаянию отшельника, покорно пошел за ним к последнему ночлегу.

Они пришли к одной милосердной и добродетельной вдове, у которой был четырнадцатилетний племянник, прекрасный юноша, ее единственная надежда. Вдова приняла их со всем возможным гостеприимством. На другой день она велела племяннику проводить гостей до моста, который недавно провалился и стал опасен для пешеходов. Услужливый юноша шел впереди. Когда они взошли на мост, отшельник сказал ему:

— Подойдите ко мне, я хочу засвидетельствовать мою признательность вашей тетушке.— С этими словами он схватил его за волосы и бросил в воду. Мальчик упал, показался на минуту на поверхности и снова исчез в бурном потоке.

— О чудовище! О изверг рода человеческого! — закричал Задиг.

— Вы же обещали мне быть терпеливым,— прервал его отшельник.— Узнайте же, что под развалинами дома, сгоревшего по воле провидения, хозяин нашел несметные богатства, а мальчик, который погиб по воле того же провидения, через год убил бы свою тетку, а через два — вас.

— Кто открыл тебе все это, варвар? — воскликнул Задиг.— Да если бы ты даже прочел это в книге судеб, кто дал тебе право утопить дитя, которое не причинило тебе зла?

Произнеся эти слова, вавилонянин вдруг увидел, что борода у старца исчезла и лицо его стало молодым. Одежда отшельника как бы растаяла, четыре великолепных крыла прикрывали величественное, лучезарное тело.

— О посланник неба! О божественный ангел! — воскликнул Задиг, падая ниц.— Значит, ты сошел с высоты небес, дабы научить слабого смертного покоряться предвечным законам?

— Люди,— отвечал ему ангел Иезрад,— судят об всем, ничего не зная. Ты больше других достоин божественного откровения.

Задиг попросил дозволения говорить.

— Я не доверяю своему разумению,— сказал он,— но смею ли я просить тебя рассеять одно сомнение: не лучше ли было бы исправить это дитя и сделать его добродетельным вместо того, чтобы утопить?

Иезрад возразил:

— Если бы он был добродетелен и остался жить, судьба определила бы ему быть убитым вместе с женой, на которой бы он женился, и с сыном, который родился бы от нее.

— Что же,— спросил Задиг,— значит, преступления и бедствия необходимы? И необходимо, чтобы добродетельные люди были несчастны?

— Несчастья,— отвечал Иезрад,— всегда удел злодеев, существующих, дабы с их помощью испытывать немногих праведников, рассеянных по земле. И нет такого зла, которое не порождало бы добро.

— А что произошло бы,— снова спросил Задиг,— если бы вовсе не было зла и в мире царило одно добро?

— Тогда,—отвечал Иезрад,— этот мир был бы другим миром и связь событий определила бы другой премудрый порядок. Но такой совершенный порядок возможен только там, где вечно пребывает верховное существо, к которому зло не смеет приблизиться, существо, создавшее миллионы миров, ни в чем не похожих друг на друга, ибо бесконечное много-

образие — один из атрибутов его безграничного могущества. Нет двух древесных листов на земле, двух светил в необозримом пространстве неба, которые были бы одинаковы, и все, что ты видишь на маленьком атоме, где родился, должно пребывать на своем месте и в свое время, согласно непреложным законам всеобъемлющего. Люди думают, будто мальчик упал в воду случайно, что так же случайно сгорел и дом, но случайности не существуют,— все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвозвестие. Вспомни рыбака, который считал себя несчастнейшим человеком в мире. Оромазд послал тебя, дабы ты изменил его судьбу. Жалкий смертный, перестань роптать на того, перед кем должен благоговеть!

— Но...— начал Задиг. Но ангел уже воспарял на десятое небо.

Задиг упал на колени и покорился воле провидения. Ангел крикнул ему из воздушных сфер:

— Ступай в Вавилон!

ЗАГАДКИ

Потрясенный так, словно рядом с ним ударила в землю молния, Задиг слепо шел вперед. Он добрался до Вавилона в тот самый день, когда соперники уже собрались в большом зале дворца, чтобы отгадать загадки и ответить на вопросы великого мага. Все были в сборе, кроме рыцаря в зеленых доспехах. Едва Задиг вступил в город, как его окружила толпа народа. На него не могли насмотреться, люди благословляли его и желали ему стать царем. Завистник, увидев его, вздрогнул и отвернулся. Народ донес Задига на руках до самого входа в собрание. Страх и надежда овладели сердцем царицы, когда ей сообщили о его прибытии. Ее снедало беспокойство, она не могла понять, почему Задиг был без вооружения и каким образом Итобад завладел белыми доспехами. При появлении Задига поднялся невнятный шум. Все были удивлены и обрадованы, увидев его, но присутствовать на собрании позволялось только участникам состязания.

— Я тоже сражался,— сказал Задиг,— но другой носит здесь мои доспехи; в ожидании часа, когда я буду иметь честь доказать это, прошу допустить меня к разгадыванию загадок.

Собрали голоса: всем присутствующим была еще так памятна его безукоризненная честность, что они единодушно уважили его просьбу.

Великий маг предложил сперва такой вопрос:

— Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что легче всего делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя ничего совершить, что пожирает все ничтожное и воскрешает все великое?

Итобад отвечал первый. Он сказал, что такой человек, как он, ничего не смыслит в загадках, и довольно того, что он одержал победу с копьем в руке. Одни говорили, что в загадке речь идет о счастье, другие — о земле, третьи — о свете. Задиг сказал, что в ней говорится о времени.

— Потому что,— добавил он,— на свете нет ничего более длинного, ибо оно мера вечности, и нет ничего более короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений; нет ничего медленнее для ожидающего, ничего быстрее для вкушающего наслаждение; оно достигает бесконечности в великом и бесконечно делится в малом; люди пренебрегают им, а потеряв — жалеют; все совершается во времени; оно уничтожает недостойное в памяти потомства и дарует бессмертие великому.

Все признали, что Задиг прав.

Потом была задана такая загадка:

— Что люди получают, не выражая благодарности, чем пользуются без раздумья, что передают другим в беспамятстве и теряют, сами того не замечая?

Каждый дал свое решение, но только Задиг правильно сказал, что это — жизнь. Так же легко разгадал он и остальные загадки. Итобад твердил, что это совсем не мудрено и что он тоже не ударил бы лицом в грязь, дай он себе труд немножко подумать. Ответы Задига на вопросы о правосудии, о высшем благе, об искусстве управлять государством были признаны самыми основательными.

— Очень жаль,— говорили все,— что такой мудрый человек вместе с тем такой плохой воин.

— О прославленные мужи! — сказал Задиг.— Я имел честь стать победителем на ристалище. Белое вооружение принадлежит мне. Итобад похитил его у меня, когда я спал, полагая, вероятно, что оно ему больше к лицу, чем зеленое. Я готов в вашем присутствии доказать ему с одним лишь мечом против всех прекрасных белых доспехов, которые он у меня утащил, что честь победы над храбрым Отамом принадлежит мне.

Итобад принял вызов весьма самонадеянно. Он не сомневался в легкой победе, поскольку был с головы до ног зако-

ван в броню, а облачение его противника состояло из ночного колпака и халата. Задиг вынул из ножен меч, сперва отвесив поклон царице, которая смотрела на происходящее с радостью и страхом. Итобад обнажил свой меч, никому не поклонившись. Он бросился на Задига, как человек, которому нечего бояться, и намеревался рассечь ему голову. Но Задиг парировал удар, подставив противнику меч у самой рукояти, так что меч Итобада переломился. Тогда Задиг обхватил врага, повергего на землю, приставив острие меча к просвету в латах, и крикнул:

— Сдавайтесь, или я вас убью!

Итобад, изумленный, что такого человека, как он, постигла неудача, перестал сопротивляться, и Задиг спокойно снял с него роскошный шлем, великолепные латы, красивые наручи и блестящие поножи, надел их на себя и в этом снаряжении бросился к ногам Астарты. Кадор без труда доказал, что снаряжение принадлежит Задигу, и тот единодушно был избран царем, к вящей радости Астарты, которая после стольких испытаний наслаждалась тем, что все наконец нашли любимого ею человека достойным быть ее супругом. Итобад утешился тем, что приказал своим домочадцам величать себя монсеньором. Задиг стал царем и был счастлив. Он навсегда запомнил то, что говорил ему ангел Иезрад. Помнил он также о песчинке, ставшей алмазом. Царица и он благословляли провидение.

Задиг даровал свободу прекрасной капризнице Мисуфе. Он приказал разыскать разбойника Арбогада и сделал его военачальником своей армии, обещая возвести в высший чин, если тот будет честно воевать, и повесить, если будет разбойничать.

Сеток был вызван из Аравии вместе с прекрасной Альманой и поставлен во главе торгового ведомства Вавилона. Кадор был награжден и обласкан по заслугам: он остался другом царя, так что Задиг был единственным в мире монархом, имеющим друга. Маленький немой тоже не был забыт. Рыбаку дали превосходный дом и заставили Оркана заплатить ему много денег и вернуть жену. Но рыбак стал разумнее и взял только деньги.

Прекрасная Земира не могла утешиться, что поверила, будто Задиг окривеет, а Азора не переставала раскаиваться в своем намерении отрезать ему нос. Он утешил их богатыми подарками. Завистник умер от злобы и стыда. Государство наслаждалось миром, славой и изобилием. То был лучший век на земле: ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задиг благословлял небеса.

История путешествий Скарметадо, написанная им самим

Я родился в городе Кандии в 1600 году. Мой отец был там правителем; и я вспоминаю, что некий посредственный поэт, но зато выдающийся тупица, по имени Иро, сочинил скверные стишки в мою честь, в коих восхвалял меня как потомка Миноса по прямой линии; но когда отец мой впал в немилость, он сочинил другие стишки, в коих я назывался уже лишь потомком Пасифаи и ее любовника. Дрянной человечишка был этот Иро и самый докучный мошенник на всем острове.

Когда мне минуло пятнадцать лет, отец послал меня учиться в Рим. Я прибыл туда в надежде познать все истины, ибо до тех пор меня обучали прямо противоположному, по обычаю невежественного мира, протянувшегося от Китая до самых Альп. Монсеньор Профондо, коему меня препоручили, был странный человек и один из самых неистовых ученых в свете. Он хотел научить меня аристотелевым категориям и готов был зачислить меня в категорию любимцев своего сердца; мне удалось благополучно избежать этой чести. Я видел торжественные шествия, видел изгнание дьявола и несколько грабежей. Говорили, хотя это было в высшей степени неверно, будто синьора Олимпия, весьма осмотрительная особа, продавала многое, чего не следует продавать. Я был в таком возрасте, что все это казалось мне чрезвычайно занятным. Одна молодая дама весьма покладистого нрава, по имени синьора Фатело, вознамерилась меня полюбить. За ней ухаживали преподобный отец Пуаньярдини и преподобный отец Аконити, молодые монахи ныне уже не существующего ордена; она примирила их между собой, одарив своей благосклонностью меня; но в то же время я подвергался опасности быть отлученным от церкви и отравленным. Я уехал из Рима, весьма довольный архитектурой собора святого Петра.

Я совершил путешествие во Францию; то было время царствования Людовика Справедливого. Первым делом меня спросили, не желаю ли я получить на завтрак кусочек маршала д'Анкр, которого изжарили по требованию народа и теперь продавали в розницу всем желающим по сходной цене.

Это государство постоянно находилось во власти гражданских войн, которые велись иногда из-за места в государ-

ственном совете, иногда из-за контроверзы на двух страницах. Уже более шести десятков лет этот огонь, то угасающий, то раздуваемый с новой силой, опустошал сию прекрасную страну. Так проявлялась свобода галликанской церкви. «Увы,— подумал я.— А ведь народ этот рожден был мягкосердечным, что же могло так извратить его характер? Он шутит и устраивает Варфоломеевскую ночь. Блаженно то время, когда он будет только шутить!»

Я отправился в Англию; такие же распри возбуждали там такое же ожесточение. Благочестивые католики ради блага Церкви решили взорвать при посредстве пороха короля королевскую фамилию и весь парламент, дабы избавить Англию от сих еретиков. Мне показали то место, где, по велению блаженной памяти королевы Марии, дочери Генриха VII, сожгли более пятисот ее подданных. Один иберийский священник заверил меня, что это было весьма доброе дело: во-первых, потому, что сожженные были англичане, во-вторых, потому, что они никогда не употребляли святой воды и не веровали в вертеп святого Патрика. Он в особенности удивлялся, как это королева доныне не причислена к лику святых; но он уповал, что это сделано будет в недолгом времени, как только кардинал-племянник улучит для этого свободную минуту.

Я поехал в Голландию в надежде найти больше покоя у более флегматичных ее народов. Когда я прибыл в Гаагу, как раз отрубали голову одному почтенному старцу. То была плешивая голова первого министра Барневельдта, самого заслуженного человека в Республике. Поддавшись жалости, я осведомился, в чем состояло его преступление, может быть, он совершил государственную измену?

— Он совершил нечто гораздо худшее,— ответил мне проповедник в черной мантии.— Этот человек полагал, будто можно с тем же успехом спастись добрыми делами, как и верою. Вы, разумеется, понимаете, что ни одна республика не выдержит, ежели распространятся подобные суждения, и что надобны суровые законы, дабы пресечь такую мерзость и позор.

Некий глубокомысленный политик тех мест сказал мне со вздохом:

— Увы, сударь, добрые времена не будут длиться вечно: этот народ по чистой случайности проявляет ныне такое рвение; в глубине души он привержен отвратительному догмату терпимости, и когда-нибудь он к этому и придет; от такой мысли я прихожу в трепет.

И я в ожидании зловещего будущего, когда восторжествует умеренность и снисхождение, с великой поспешностью покинул страну, в коей царила суровость, не смягчаемая никакими удовольствиями, и, погрузившись на судно, отправился в Испанию.

Двор находился в Севилье, галионы уже прибыли, все дышало довольством и изобилием, стояло самое прекрасное время года. В конце аллеи из апельсиновых и лимонных деревьев я увидел некое подобие огромного ристалища, окруженного ступенчатыми скамьями, кои покрыты были драгоценными тканями. Под великолепным балдахином восседали король, королева, принцы и принцессы. Напротив августейшего семейства стоял другой трон, но более высокий. Обратившись к одному из моих спутников, я сказал:

— Не вижу, зачем может быть нужен этот трон, разве что он прибережен для самого господа бога.

Эти опрометчивые слова были услышаны одним важным испанцем и дорого мне стоили. Я все еще воображал, что мы сейчас увидим какую-нибудь карусель или бой быков, как вдруг на трон взошел великий инквизитор и благословил оттуда короля и народ.

Вслед за тем явилась целая армия монахов, шествовавших попарно, черных, серых, обутых, босых, бородатых, безбородых, в остроконечных капюшонах и без капюшонов; за ними шел палач; затем, окруженные альгвазилами и грандами, показались человек сорок, одетые в балахоны из мешковины, на коих намалеваны были черти и языки пламени. То были евреи, упорно не желавшие отречься от Моисея, христиане, которые женились на своих кумах, либо не поклонялись божьей матери Аточской, либо не захотели избавиться от своих наличных денег в пользу братьев иеремиев. Сперва проникновенно пропели очень красивые молитвы, а затем сожгли на медленном огне всех преступников, что было чрезвычайно поучительно для всей королевской фамилии.

Вечером, когда я уже ложился спать, ко мне явились два сыщика инквизиции в сопровождении служителей святой Германдады; они нежно обняли меня и, не говоря ни слова, отвели в темницу, весьма прохладную, обстановка которой состояла из циновки и красивого креста. Там оставался я шесть недель, после чего преподобный отец инквизитор послал за мною с просьбой явиться к нему для беседы; некоторое время он сжимал меня в объятиях с чисто отеческой теплотой; он сказал мне, что был искренне огорчен, узнав, что меня поместили в столь скверное жилище, но все апартаменты его дома переполнены, и он надеется, что в следую-

щий раз меня устроят с бо́льшими удобствами. Затем по-дружески спросил меня, не знаю ли я, по какой причине там очутился. Я отвечал преподобному отцу, что, по-видимому, по причине моих прегрешений.

— А за какое именно прегрешение, дорогое дитя мое? Доверьтесь мне безбоязненно.

Но сколько я ни ломал голову, все же никак не мог догадаться, и тогда он милостиво навел меня на верный путь.

Наконец я вспомнил свои опрометчивые слова. Я расплатился за них шестью неделями выучки и штрафом в тридцать тысяч реалов. Меня отвели на поклон к великому инквизитору; то был вежливый человек, он спросил меня, как мне понравился его маленький праздник. Я ответил, что это было восхитительно, и начал торопить моих спутников покинуть эту страну, как она ни была прекрасна. Они успели рассказать мне о всех великих деяниях, кои совершили испанцы во имя религии. Они прочитали записки знаменитого епископа Чиапского, судя по которым десять миллионов неверных в Америке были зарезаны, сожжены либо утоплены во имя обращения их в истинную веру. Я подумал, что сей епископ преувеличивает; но даже если свести число жертв к пяти миллионам, то и это достойно восхищения.

Страсть к путешествиям по-прежнему томила меня. Я рассчитывал завершить обзор Европы Турцией; туда мы и отправились. Я решил не высказывать более своего мнения о празднествах, какие мне доведется узреть.

— Эти турки,— сказал я своим спутникам,— неверные, они не были крещены, а стало быть, окажутся еще более жестокими, нежели преподобные отцы инквизиторы. Пока мы будем у магометан, давайте хранить молчание.

Итак, я отправился к магометанам. К великому моему удивлению, в Турции было гораздо больше христианских храмов, чем в Кандии. Я даже видел многочисленных монахов, коим дозволялось свободно молиться деве Марии и проклинать Магомета то по-гречески, то по-латыни, а иногда по-армянски.

— Что за славные люди турки! — воскликнул я.

В Константинополе греческие и латинские христиане пребывали в смертельной вражде между собою; их рабы грызлись, как уличные собаки, которых хозяева разгоняют палками. В те времена великий визирь покровительствовал грекам. Греческий патриарх обвинил меня в том, что я ужинал с латинским патриархом, и государственный совет единодушно приговорил меня к сотне палочных ударов по пяткам, от коих можно было откупиться пятью сотнями цехинов. На-

завтра великого визиря удушили; на послезавтра его преемник, который стоял на стороне латинской партии и был удушен месяцем позже, присудил меня к такому же штрафу за то, что я ужинал с греческим патриархом. Я очутился перед горестной необходимостью не посещать более ни греческую, ни латинскую церковь. Чтобы утешиться, я нанял на срок чрезвычайно красивую черкешенку, самую нежную особу, когда она бывала со мною наедине, и самую благочестивую, когда она бывала в мечети. Однажды ночью, в упоении нежной любви, она, целуя меня, воскликнула:

— *Аллах, илля Аллах!*

Это сакраментальные слова турков; а я думал, что это сакраментальные слова любви; и я вскричал столь же нежно:

— *Аллах, илля Аллах!*

— Хвала милосердному господу, вы турок,— сказала она.

Я ответил, что благославлял Аллаха за то, что он даровал мне силу, и почувствовал себя весьма счастливым. Наутро явился имам, чтобы совершить надо мною обрезание, и так как я оказал некоторое сопротивление, кади того квартала, человек, приверженный закону, предложил посадить меня на кол; я спас мою крайнюю плоть и мой зад при помощи тысячи цехинов и незамедлительно бежал в Персию, твердо решившись не слушать более ни греческой, ни латинской обедни в Турции и не восклицать «Аллах, илля Аллах!» во время любовных утех.

По прибытии в Исфаган меня спросили, предпочитаю ли я черного либо белого барана. Я отвечал, что мне это глубоко безразлично, было бы нежным его мясо. Надо знать, что еще доныне персияне разделяются на секты *Черного барана* и *Белого барана*. Они подумали, будто я насмехаюсь над обеими сторонами, так что не успел я войти в городские ворота, как уже впутался в серьезное судебное дело; чтобы разделаться с баранами, мне пришлось употребить большое количество цехинов.

Я достиг пределов Китая в сопровождении толмача, который уверил меня, что это страна, где живут весело и свободно. Там хозяйничали татары, предавшие всю страну огню и мечу; и преподобные отцы иезуиты, с одной стороны, так же как преподобные отцы доминиканцы — с другой, говорили, что они втайне от всех отвоевывают души для господа бога. Никогда еще не бывало столь ревностных обратителей в истинную веру, ибо они поочередно преследовали друг друга; они строчили в Рим целые фолианты, заполненные клеветой, они называли друг друга неверными и совратителями

душ человеческих. Особенно ужасная распря возникла у них по вопросу о том, как следует кланяться. Иезуиты желали, чтобы китайцы приветствовали своих отцов и матерей на китайский манер, а доминиканцы хотели, чтобы они делали это по римскому обычаю. Случилось так, что иезуиты приняли меня за доминиканца. Его татарскому величеству доложили, будто я папский шпион. Высший государственный совет поручил первому мандарину, а тот приказал военному чину, который скомандовал четырем сбирам этого округа, арестовать меня и связать по всем правилам церемонии. После ста сорока коленопреклонений я был представлен его величеству. Властитель велел спросить меня, правда ли, что я шпион папы, и верно ли, что этот князь церкви собирается прибыть сюда собственной персоной и свергнуть его с престола. Я отвечал, что папа — это священнослужитель семидесяти лет от роду, что живет он в сорока тысячах лье от его божественного татаро-китайского величества; что у него есть около двух тысяч солдат, которые несут караул, держа над ним балдахин; что он никого не свергает с престола, и его величество может спать спокойно. Это приключение оказалось наименее гибельным из всех мною пережитых. Меня отправили в Макао, а там я погрузился на судно, держащее курс на Европу.

У берегов Голконды мое судно потребовало ремонта. Я воспользовался стоянкой, чтобы посетить двор великого Ауранг-зеба, о котором рассказывали чудеса; он тогда располагался в Дели. Мне выпала утеха лицезреть его в день пышной церемонии вручения ему небесного дара от шерифа Мекки. То была метла, коей подметали каабу — святилище Аллаха. Метла эта — символ, она выметает все нечистоты из души. Ауранг-зеб, казалось, в этом не нуждался: он был самый благочестивый человек во всем Индустане. Правда, он удавил одного из своих братьев и отравил отца. Двадцать раджей и столько же эмиров умерли под пытками; но это не имело значения, и люди говорили только о его благочестии. Его приравнивали лишь к его августейшему величеству, светлейшему султану Марокко Малик-Исмаилу, который рубил головы каждую пятницу после молитвы.

Я не проронил ни единого слова; путешествия должным образом воспитали меня, и я чувствовал, что мне не пристало отдавать предпочтение кому-нибудь из двух августейших особ. Должен признаться, что один молодой француз, с коим вместе я стоял на квартире, не выказал почтение ни императору Индии, ни султану Марокко. Он весьма неосмотрительно осмелился сказать, будто в Европе имеются весьма

благочестивые государи, которые успешно правят своими владениями и даже часто бывают в церкви, не убивая при этом своих отцов и братьев и не рубя головы своим подданным. Наш толмач перевел на хинди нечестивые речи моего молодого приятеля. Наученный прошлым опытом, я велел седлать своих верблюдов, и мы с французом уехали. Впоследствии я узнал, что той же ночью служители великого Ауранг-зеба явились, чтобы схватить нас, но нашли лишь толмача. Он был публично казнен, и все придворные без всякой лести признали, что то была совершенно справедливая казнь.

Мне осталось повидать Африку, дабы насладиться сладостным климатом нашего континента. Я действительно ее повидал. Корабль, на котором я плыл, был захвачен негритянскими корсарами. Хозяин судна разразился жалобами и стенаниями; он спросил, почему они нарушают законы, установленные между народами. Негритянский капитан отвечал ему:

— У вас длинный нос, а у нас плоский; у вас прямые волосы, а у нас курчавые; у вас кожа цвета пепла, а у нас цвета черного дерева; стало быть, в согласии со священными законами природы, мы всегда должны быть врагами. Вы покупаете нас на торжищах на берегах Гвинеи, как вьючный скот, чтобы исполняли для вас столь же тяжелую, как и нелепую работу. Вы заставляете нас под ударами бичей рыться в горах и добывать какую-то желтую землю, которая сама по себе ни на что не пригодна и не стоит доброй египетской луковицы; поэтому, когда мы с вами встречаемся и сила на нашей стороне, мы обращаем вас в рабов, заставляем трудиться на наших полях или отрезаем вам носы и уши.

На столь разумную речь нечего было возразить. Я отправился работать в поле, принадлежащее одной старой негритянке, чтобы сохранить свои уши и нос. Через год меня выкупили. Я насмотрелся на все прекрасное, доброе и достойное восхищения, что есть на земле; отныне я решил смотреть лишь на своих пенатов. Я женился в наших краях, я сделался рогоносцем и увидел, что это самое благостное положение на свете.

Кандид, или оптимизм

Перевод с немецкого доктора Ральфа с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора, когда он скончался в Миндене в лето благодати господней 1759.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как был воспитан в прекрасном замке Кандид и как он был оттуда изгнан

В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он — сын сестры барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени.

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи становились егерями; деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях.

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера.

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом лучшем из возможных миров замок

владетельного барона — прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса — лучшая из возможных баронесс.

— Доказано,— говорил он,— что все таково, каким должно быть; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы их обувать, вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки, и вот монсеньор владеет прекраснейшим замком: у знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели,— мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость,— нужно говорить, что все к лучшему.

Кандид слушал внимательно и верил простодушно: он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что, после счастья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, вторая степень счастья — это быть Кунигундой, третья — видеть ее каждый день и четвертая — слушать учителя Панглоса, величайшего философа того края и, значит, всей земли.

Однажды Кунигунда, гуляя поблизости от замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидела между кустарниками доктора Панглоса, который давал урок экспериментальной физики горничной ее матери, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень покладистой. Так как у Кунигунды была большая склонность к наукам, то она, притаив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявшиеся опыты, свидетельницей которых она стала. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность и ушла взволнованная, задумчивая, полная стремления к познанию, мечтая о том, что она могла бы стать предметом опыта, убедительного для юного Кандида, так же как и он — для нее.

Возвращаясь в замок, она встретила Кандида и покраснела; Кандид покраснел тоже. Она поздоровалась с ним прерывающимся голосом, и смущенный Кандид ответил ей что-то, чего и сам не понял. На другой день после обеда, когда все выходили из-за стола, Кунигунда и Кандид очутились за ширмами. Кунигунда уронила платок, Кандид его поднял, она невинно пожала руку Кандида. Юноша невинно поцеловал руку молодой баронессы, но при этом с живостью, с чувством, с особенной нежностью; их губы встретились, и глаза их горели, и колени подгибались, и руки блуждали. Барон Тундер-тен-Тронк проходил мимо ширм и, уяснив се-

бе причины и следствия, здоровым пинком вышвырнул Кандида из замка. Кунигунда упала в обморок; как только она очнулась, баронесса надавала ей пощечин; и было великое смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Что произошло с Кандидом у болгар

Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, сам не зная куда, плача, возводя глаза к небу и часто их обращая к прекраснейшему из замков, где жила прекраснейшая из юных баронесс. Он лег спать без ужина посреди полей, между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь иззябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергоф-Трарбкдикдорф. Он печально остановился у двери кабачка. Его заметили двое в голубых мундирах.

— Приятель,— сказал один,— вот статный молодой человек, да и рост у него подходящий.

Они подошли к Кандиду и очень вежливо пригласили его пообедать.

— Господа,— сказал им Кандид с милой скромностью,— вы оказываете мне большую честь, но мне нечем расплатиться.

— Ну,— сказал ему один из голубых,— такой человек, как вы, не должен платить; ведь ростом-то вы будете пять футов и пять дюймов?

— Да, господа, мой рост действительно таков,— сказал Кандид с поклоном.

— Садитесь же за стол. Мы не только заплатим за вас, но еще и позаботимся, чтобы вы впредь не нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.

— Верно,— сказал Кандид,— это мне и Панглос всегда говорил, и я сам вижу, что все к лучшему.

Ему предложили несколько экю. Он их взял и хотел внести свою долю, ему не позволили и усадили за стол.

— Вы, конечно, горячо любите?..

— О да,— отвечал он,— я горячо люблю Кунигунду.

— Нет,— сказал один из этих господ,— мы вас спрашиваем, горячо ли вы любите болгарского короля?

— Вовсе его не люблю,— сказал Кандид.— Я же его никогда не видел.

— Как! Он — милейший из королей, и за его здоровье необходимо выпить.

— С большим удовольствием, господа!

И он выпил.

— Довольно,— сказали ему,— вот теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена и слава обеспечена.

Тотчас ему надели на ноги кандалы и угнали в полк. Там его заставили поворачиваться направо, налево, заряжать, прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать палочных ударов. На другой день он проделал упражнения немного лучше и получил всего двадцать ударов. На следующий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на него, как на чудо.

Кандид, совершенно ошеломленный, не мог взять в толк, как это он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел куда глаза глядят, полагая, что пользоваться ногами в свое удовольствие — неотъемлемое право людей, так же как и животных. Но не прошел он и двух миль, как четыре других героя, по шести футов ростом, настигли его, связали и отвели в тюрьму. Его спросили, строго следуя судебной процедуре, что он предпочитает: быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз или получить сразу двенадцать свинцовых пуль в лоб. Как он ни уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того, ни другого,— пришлось сделать выбор. Он решился, в силу божьего дара, который называется свободой, пройти тридцать шесть раз сквозь строй; вытерпел две прогулки. Полк состоял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре тысячи палочных ударов, которые от шеи до ног обнажили его мышцы и нервы. Когда хотели приступить к третьему прогону, Кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше ему раздробили голову; он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король; он спросил, в чем вина осужденного на смерть; так как этот король был великий гений, он понял из всего доложенного ему о Кандиде, что это молодой метафизик, несведущий в делах света, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляемо во всех газетах до скончания века. Искусный костоправ вылечил Кандида в три недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом. У него уже стала нарастать новая кожа и он уже мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как спасся Кандид от болгар, и что вследствие этого произошло

Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создавали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Кандид, дрожа от страха, как истый философ, усердно прятался во время этой героической бойни.

Наконец, когда оба короля приказали пропеть «Te Deum», каждый в своем лагере, Кандид решил, что лучше ему уйти и рассуждать о следствиях и причинах в каком-нибудь другом месте. Наступая на валявшихся повсюду мертвых и умирающих, он добрался до соседней деревни; она была превращена в пепелище. Эту аварскую деревню болгары спалили согласно законам общественного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; там девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами.

Кандид поскорее убежал в другую деревню; это была болгарская деревня, и герои-авары поступили с нею точно так же. Все время шагая среди корчащихся тел или пробираясь по развалинам, Кандид оставил наконец театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая Кунигунду.

Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли, но он слышал, будто в этой стране все богаты и благочестивы, и не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке барона, прежде чем он был оттуда изгнан из-за прекрасных глаз Кунигунды.

Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, и все они ответили ему, что если он будет и впредь заниматься этим ремеслом, то его запрут в исправительный дом и уж там научат жить.

Потом он обратился к человеку, который только что битый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот проповедник, косо посмотрев на него, сказал:

— Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?

— Нет следствия без причины,— скромно ответил Кандид.— Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был разлучен с Кунигундой и изгнан, чтобы я прошел сквозь строй и чтобы сейчас выпрашивал на хлеб в ожидании, пока не смогу его заработать; все это не могло быть иначе.

— Мой друг,— сказал ему проповедник,— верите ли вы, что папа — антихрист?

— Об этом я ничего не слышал,— ответил Кандид,— но антихрист он или нет, у меня нет хлеба.

— Ты не достоин есть его! — сказал проповедник.— Убирайся, бездельник, убирайся, проклятый, и больше никогда не приставай ко мне.

Жена проповедника, высунув голову из окна и обнаружив человека, который сомневался в том, что папа — антихрист, вылила ему на голову полный... О, небо! До каких крайностей доводит женщин религиозное рвение!

Человек, который не был крещен, добросердечный анабаптист по имени Яков, видел, как жестоко и постыдно обошлись с одним из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу; он привел его к себе, пообчистил, накормил хлебом, напоил пивом, подарил два флорина и хотел даже пристроить на свою фабрику персидских тканей, которые выделываются в Голландии.

Кандид, низко кланяясь ему, воскликнул:

— Учитель Панглос верно говорил, что все к лучшему в этом мире, потому что я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги.

На следующий день, гуляя, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с потускневшими глазами, искривленным ртом, провалившимся носом, гнилыми зубами, глухим голосом, измученного жестокими приступами кашля, во время которых он каждый раз выплевывал по зубу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как встретил Кандид своего прежнего учителя философии, доктора Панглоса, и что из этого вышло

Кандид, чувствуя больше сострадания, чем ужаса, дал этому похожему на привидение страшному нищему те два флорина, которые получил от честного анабаптиста Якова. Нищий пристально посмотрел на него, залился слезами и бросился к нему на шею. Кандид в испуге отступил.

— Увы! — сказал несчастливец другому несчастливцу,— вы уже не узнаете вашего дорогого Панглоса?

— Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в таком ужасном состоянии! Какое же несчастье вас постигло? Почему вы не в прекраснейшем из замков? Что сделалось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, лучшим творением природы?

— У меня нет больше сил,— сказал Панглос.

Тотчас же Кандид отвел его в хлев анабаптиста, накормил хлебом и, когда Панглос подкрепился, снова спросил:

— Что же с Кунигундой?

— Она умерла,— ответил тот.

Кандид упал в обморок от этих слов; друг привел его в чувство с помощью нескольких капель уксуса, который случайно отыскался в хлеву. Кандид открыл глаза.

— Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни она умерла? Не оттого ли, что видела, как я был изгнан из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?

— Нет,— сказал Панглос,— она была замучена болгарскими солдатами, которые сперва ее изнасиловали, а потом вспороли ей живот. Они размозжили голову барону, который вступился за нее; баронесса была изрублена в куски; с моим бедным воспитанником поступили точно так же, как с его сестрой; а что касается замка, там не осталось камня на камне — ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева; но мы все же были отомщены, ибо авары сделали то же с соседним поместьем, которое принадлежало болгарскому вельможе.

Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств; но, придя в себя и высказав все, что было у него на душе, он осведомился о причине, следствии и достаточном основании жалкого состояния Панглоса.

— Увы,— сказал тот,— всему причина любовь — любовь, утешительница рода человеческого, хранительница мира, душа всех чувствующих существ, нежная любовь.

— Увы,— сказал Кандид,— я знал ее, эту любовь, эту властительницу сердец, эту душу нашей души; она подарила мне один только поцелуй и двадцать пинков. Как эта прекрасная причина могла привести к столь гнусному следствию?

Панглос ответил так:

— О мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, хорошенькую служанку высокородной баронессы; я вкушал в ее объятьях райские наслаждения, и они породили те адские муки, которые, как вы видите, я сейчас терплю. Она была заражена и, быть может, уже умерла. Пакета получила этот подарок от одного очень ученого францисканского монаха, который доискался до первоисточника заразы: он подцепил ее у одной старой графини, а ту наградил кавалерийский капитан, а тот был обязан ею одной маркизе, а та получила ее от пажа, а паж от иезуита, который, будучи послушником, приобрел ее по прямой линии от одного из спутников Христофора Колумба. Что касается меня, я ее не передам никому, ибо я умираю.

— О Панглос,— воскликнул Кандид,— вот удивительная генеалогия! Разве не диявол — ствол этого дерева?

— Отнюдь нет,— возразил этот великий человек,— это вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимая составная часть целого; если бы Колумб не привез с одного из островов Америки болезни, заражающей источник размножения, часто даже мешающей ему и, очевидно, противной великой цели природы,— мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили; надо еще заметить, что до сего дня на нашем материке эта болезнь присуща только нам, как и богословские споры. Турки, индийцы, персы, китайцы, сиамцы, японцы еще не знают ее; но есть достаточное основание и им узнать эту хворь, в свою очередь, через несколько веков. Меж тем она неслыханно распространилась среди нас, особенно в больших армиях, состоящих из достойных, благовоспитанных наемников, которые решают судьбы государств; можно с уверенностью сказать, что когда тридцать тысяч человек сражаются против войска, равного им по численности, то тысяч двадцать с каждой стороны заражены сифилисом.

— Это удивительно,— сказал Кандид.— Однако вас надо вылечить.

— Но что тут можно сделать? — сказал Панглос.— У меня нет ни гроша, мой друг, а на всем земном шаре нельзя ни пустить себе кровь, ни поставить клистира, если не заплатишь сам или за тебя не заплатят другие.

Услышав это, Кандид сразу сообразил, как ему поступить: он бросился в ноги доброму анабаптисту Якову и так трогательно изобразил ему состояние своего друга, что добряк, не колеблясь, приютил доктора Панглоса; он его вылечил на свой счет. Панглос от этого лечения потерял только глаз и ухо. У него был хороший слог, и он в совершенстве знал арифметику. Анабаптист Яков сделал его своим счетоводом. Когда через два месяца Якову пришлось поехать в Лиссабон по торговым делам, он взял с собой на корабль обоих философов. Панглос объяснил ему, что все в мире к лучшему. Яков не разделял этого мнения.

— Конечно,— говорил он,— люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, а лишь становятся ими: господь не дал им ни двадцатичетырехфунтовых пушек, ни штыков, а они смастерили себе и то и другое, чтобы истреблять друг друга. К этому можно добавить и банкротства, и суд, который, захватывая добро банкротов, обездоливает кредиторов.

— Все это неизбежно,— отвечал кривой философ.— Отдельные несчастья создают общее благо, так что, чем больше таких несчастий, тем лучше.

Пока он рассуждал, вдруг стало темно, задули со всех четырех сторон ветры, и корабль был застигнут ужаснейшей бурей в виду Лиссабонского порта.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Буря, кораблекрушение, землетрясение, и что случилось с доктором Панглосом, Кандидом и анабаптистом Яковом

Половина пассажиров, ослабевших, задыхающихся в той невыразимой тоске, которая приводит в беспорядок нервы и все телесное устройство людей, бросаемых качкою корабля во все стороны, не имела даже силы тревожиться за свою судьбу. Другие пассажиры кричали и молились. Паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Кто мог, работал, никто никому не повиновался, никто не отдавал приказов. Анабаптист пытался помочь в работе; он был на палубе; какой-то разъяренный матрос сильно толкнул его и сшиб с ног, но при этом сам потерял равновесие, упал за борт вниз головой и повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается ему на помощь, помогает взобраться на палубу, но, не удержавшись, сам низвергается в море на глазах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив даже взглядом. Кандид подходит ближе, видит, что его бла-

годетель на одно мгновение показывается на поверхности и затем навеки погружается в волны. Кандид хочет броситься в море, философ Панглос его останавливает, доказывая ему, что Лиссабонский рейд на то и был создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал a priori, корабль затонул, все погибли, кроме Панглоса, Кандида и того грубого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста. Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглос и Кандид были выброшены на доске.

Немного придя в себя, они направились к Лиссабону; у них остались еще деньги, с помощью которых они надеялись спастись от голода, после того как избавились от бури.

Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под их ногами. Море в порту, кипя, поднимается и разбивает корабли, стоявшие на якоре; вихри огня и пепла бушуют на улицах и площадях; дома рушатся; крыши падают наземь, стены рассыпаются в прах. Тридцать тысяч жителей обоего пола и всех возрастов погибли под развалинами. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь:

— Здесь будет чем поживиться.

— Хотел бы я знать достаточную причину этого явления,— говорил Панглос.

— Наступил конец света! — восклицал Кандид.

Матрос немедля бежит к развалинам, бросая вызов смерти, чтобы раздобыть денег, находит их, завладевает ими, напивается пьяным и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, встретившейся ему между разрушенных домов, среди умирающих и мертвых. Тут Панглос потянул его за рукав.

— Друг мой,— сказал он ему,— это нехорошо, вы пренебрегаете всемирным разумом, вы дурно проводите ваше время.

— Кровь и смерть! — отвечал тот.— Я матрос и родился в Батавии; я четыре раза топтал распятие в четырех японских деревнях, так мне ли слушать о твоем всемирном разуме!

Несколько осколков камня ранили Кандида; он упал посреди улицы, и его засыпало обломками. Он говорил Панглосу:

— Вот беда! Дайте мне немного вина и оливкового масла, я умираю.

— Хорошо, но землетрясение совсем не новость,— отвечал Панглос.— Город Лима в Америке испытал такое же в прошлом году; те же причины, те же следствия; несомнен-

но, под землею от Лимы до Лиссабона существует серная залежь.

— Весьма вероятно,— сказал Кандид,— но, ради бога, дайте мне немного оливкового масла и вина.

— Как «вероятно»? Я утверждаю, что это вполне доказано.

Кандид потерял сознание, и Панглос принес ему немного воды из соседнего фонтана.

На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую еду и подкрепили свои силы. Потом они работали вместе с другими, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько горожан, спасенных ими, угостили их обедом, настолько хорошим, насколько это было возможно среди такого разгрома. Конечно, трапеза была невеселая, гости орошали хлеб слезами, но Панглос утешал гостей, уверяя, что иначе и быть не могло.

— Потому что,— говорил он,— если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте; невозможно, чтобы что-то было не там, где должно быть, ибо все хорошо.

Маленький чернявый человечек, свой среди инквизиторов, сидевший рядом с Панглосом, вежливо сказал:

— По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо, если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни наказания.

— Я усерднейше прошу прощения у вашей милости,— отвечал Панглос еще более вежливо,— но без падения человека и проклятия не мог существовать этот лучший из возможных миров.

— Вы, следовательно, не верите в свободу? — спросил чернявый.

— Ваша милость, извините меня,— сказал Панглос,— но свобода может существовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, так как, в конце концов, обусловленная причинностью воля...

Панглос не успел договорить, как чернявый уже сделал знак головою своему слуге, который наливал ему вина, называемого «опорто» или «порто».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как было устроено прекрасное аутодафе, чтобы избавиться от землетрясений, и как был высечен Кандид

После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасения от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища аутодафе. Университет в Коимбре постановил, что сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно, верное средство остановить содрогание земли.

Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного в том, что он женился на собственной куме, и двух португальцев, которые срéзали сало с цыпленка, прежде чем его съесть. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид, один за то, что говорил, другой за то, что слушал с одобрительным видом. Обоих порознь отвели в чрезвычайно прохладные помещения, обитателей которых никогда не беспокоило солнце. Через неделю того и другого одели в санбенито и увенчали бумажными митрами. Митра и санбенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых, однако, не было ни хвостов, ни когтей; дьяволы же Панглоса были хвостатые и когтистые, и огненные языки стояли прямо. В таком одеянии они прошествовали к месту казни и выслушали очень возвышенную проповедь под прекрасные звуки заунывных песнопений. Кандид был высечен в такт пению, бискаец и те двое, которые не хотели есть сало, были сожжены, а Панглос был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот же день земля с ужасающим грохотом затряслась снова.

Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь дрожащий, спрашивал себя:

«Если это лучший из возможных миров, то каковы же другие? Ну хорошо, пусть меня высекли, это уже случилось со мною у болгар; но мой дорогой Панглос, величайший из философов, почему было нужно, чтобы вас при мне вздернули на виселицу неведомо за какую вину? О мой дорогой анабаптист, лучший из людей, почему было нужно вам утонуть в этой гавани? О Кунигунда, жемчужина среди девушек, почему было нужно, чтобы вам распороли живот?»

Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословение, он шел, еле держась на ногах, когда к нему подошла старуха и сказала ему:

— Сын мой, ободритесь, идите за мной.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как старуха заботилась о Кандиде и как он нашел то, что любил

Кандид не ободрился, но пошел за старухой в какой-то ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла есть и пить и уложила его на маленькую, довольно чистую кровать. Подле кровати лежало новое платье.

— Ешьте, пейте, спите,— сказала она ему,— да сохранит вас Аточская божья матерь, святой Антоний Падуанский и святой Иаков Компостельский. Я вернусь завтра.

Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку.

— Не мою руку надо целовать,— сказала старуха.— Завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.

Кандид, несмотря на все свои несчастья, поел и уснул. На следующий день старуха приносит завтрак, осматривает ему спину, натирает ее сама другой мазью; потом приносит обед; снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день она проделывает то же самое.

— Кто вы? — непрестанно спрашивал ее Кандид.— Почему вы так добры? Чем я могу вас отблагодарить?

Старуха ничего ему не отвечала. Но вот она возвращается однажды вечером и не приносит ужина.

— Идите за мной,— говорит она,— и не произносите ни слова.

Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают; она ведет Кандида потайною лестницей в раззолоченный кабинет, оставляет его на парчовом диване, закрывает дверь и уходит. Кандиду казалось, что он грезит; вся его жизнь казалась ему страшным сном, а эта минута — сном приятным.

Старуха скоро возвратилась. Она вела, с трудом поддерживая, трепещущую женщину могучего сложения, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью.

— Сними с нее покрывало,— сказала старуха Кандиду.

Молодой человек приближается; робкою рукою он снимает покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему кажется, будто он видит Кунигунду. Он видит ее на самом деле, это она. Силы оставляют его, он не может произнести

ни слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха спрыскивает их водой со спиртом. Они приходят в чувство, они начинают говорить друг с другом. Сперва это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха просит их поменьше шуметь и оставляет одних.

— Как, это вы? — говорил ей Кандид.— Вы живы! Я обрел вас в Португалии! Значит, вы не были обесчещены? Вам не вспороли живот, как уверял меня философ Панглос?

— Все так и было,— сказала прекрасная Кунигунда.— Но не всегда эти несчастные происшествия приводят к смерти.

— Но ваш отец и ваша мать убиты?

— Увы, это верно,— сказала Кунигунда, плача.

— А ваш брат?

— Мой брат тоже убит.

— Но почему вы в Португалии? Как узнали, что я здесь? И по какой странной случайности меня привели в этот дом?

— Я вам все расскажу,— сказала она,— но сначала расскажите мне вы все, что случилось с вами после невинного поцелуя, который вы мне дали, и пинков, которые получили.

Кандид почтительно исполнил ее желание; и, хотя он был смущен, хотя голос у него был слабый и дрожащий, хотя спину у него ломало, но он рассказал простосердечнейшим образом все, что испытал с мгновения их разлуки. Кунигунда возводила глаза к небу и проливала слезы о смерти доброго анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кандиду, который глотал каждое ее слово и пожирал ее глазами.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

История Кунигунды

— Я крепко спала в своей постели, когда небу угодно было наслать болгар на наш прекрасный замок Тундер-тен-Тронк. Они зарезали моего отца и моего брата, а мою мать изрубили в куски. Огромный болгарин, шести футов ростом, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня насиловать. Это привело меня в чувство, я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному болгарину, не зная, что все, случившееся в замке моего отца, было делом обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый бок; след этого удара до сих пор еще заметен.

— Увы! Надеюсь, я увижу его,— сказал простодушный Кандид.

— Вы его увидите,— сказала Кунигунда,— но я продолжаю.

— Продолжайте,— сказал Кандид.

Она снова принялась рассказывать.

— Вошел болгарский капитан. Он увидел, что я вся в крови. Солдат не обратил на него никакого внимания. Капитан пришел в ярость, видя, что этот изверг не проявляет к нему ни малейшего уважения, и убил его на мне. Потом он приказал перевязать мне рану и увел меня к себе в качестве военной добычи. Я стирала ему рубашки, которых у него было немного, и стряпала. Он, надо признаться, находил, что я очень хорошенькая; не буду отрицать, что он был отлично сложен и что кожа у него была белая и нежная; правда, ему не хватало остроумия, не хватало философских знаний; сразу бросалось в глаза, что он воспитан не доктором Панглосом. К концу третьего месяца, прокутивши все деньги и пресытившись мною, он продал меня еврею по имени дом-Иссахар, который ведет торговлю в Голландии и Португалии и страстно любит женщин. Этот еврей очень привязался ко мне, но не мог меня победить: ему я противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Один раз благородная особа может быть обесчещена, но ее добродетель только укрепляется от этого. Чтобы приручить меня, еврей поселил меня в этом загородном доме, где мы сейчас находимся. Раньше я думала, что ничего нет на земле прекраснее, чем замок Тундер-тен-Тронк; я ошибалась.

Однажды, во время обедни, меня заметил великий инквизитор. Он долго разглядывал меня, а потом велел сказать мне, что ему надо поговорить со мной о секретных делах. Меня привели к нему во дворец. Я рассказала ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унизительно для особы моего звания принадлежать израильтянину. Дом-Иссахару было предложено уступить меня монсеньору. Но дом-Иссахар, придворный банкир и человек с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец мой напуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я перешли в их общее владение: еврею достались понедельники, среды и субботы, а инквизитору — остальные дни недели. Полгода уже соблюдается этот договор. Не обошлось и без ссор; частенько они спорили из-за того, должна ли ночь с субботы на воскресенье принадлежать Ветхому завету или Новому. Что касается меня, я до настоящего времени отказывала им обоим и думаю, потому-то они оба еще меня

любят. Наконец, чтобы утишить ярость землетрясений и заодно напугать Иссахара, господин инквизитор почел за благо совершить торжественное аутодафе. Он оказал мне честь,— пригласил туда и меня. Мне отвели отличное место. Между обедней и казнью дамам разносили прохладительные напитки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя, как сжигают двух евреев и того славного бискайца, который женился на своей куме; но каково было мое удивление, мой ужас, мое смятение, когда я увидела в санбенито и митре человека, лицо которого напоминало мне Панглоса! Я протирала глаза, я смотрела внимательно, я видела, как его вешают, я упала в обморок. Едва пришла я в себя, как увидела вас, раздетого донага; это зрелище наполнило меня недоумением, трепетом, скорбью, отчаяньем. Скажу вам по правде, ваша кожа еще белее и с еще более розовым оттенком, чем кожа моего болгарского капитана,— и это удвоило мои страдания. Я вскрикнула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!» — но голос мой замер, да и мольбы мои были бы напрасны. Пока вас так жестоко секли, я спрашивала себя, как могло случиться, что милый Кандид и мудрый Панглос очутились в Лиссабоне — один, чтобы получить сто ударов розгами, другой, чтобы окончить жизнь на виселице по приказанию господина инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглос жестоко обманывал меня, когда говорил, что все в мире к лучшему. Взволнованная, растерянная, то приходя в неистовство, то почти умирая от слабости, я вспоминала убийство моего отца, моей матери, моего брата, насилие гнусного болгарина, удар ножом, который он мне нанес, мое рабство, мою службу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого дом-Иссахара, моего отвратительного инквизитора, повешение доктора Панглоса, заунывное «miserere», под звуки которого вас секли, но более всего поцелуй, который я вам дала за ширмой в тот день, когда видела вас в последний раз. Я возблагодарила бога, который вернул мне вас после стольких испытаний. Я приказала моей старухе служанке позаботиться о вас и привести сюда, как только это будет возможно. Она отлично выполнила мое поручение. Я испытываю неизъяснимое удовольствие, видя вас, слыша вас, говоря с вами. Вы, должно быть, страшно проголодались, у меня превосходный аппетит, сперва поужинаем.

Вот они оба садятся за стол, а после ужина располагаются на прекрасном диване, о котором уже было сказано выше. Вдруг входит дом-Иссахар, один из хозяев дома. День был субботний. Дом-Иссахар пришел воспользоваться своими правами и выразить свою нежную любовь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О том, что случилось с Кунигундою, с Кандидом, с великим инквизитором и с евреем

Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие только существовали в Израиле со времен вавилонского пленения.

— Как,— вскричал он,— галилейская собака, мало тебе господина инквизитора? Надо еще, чтобы и с этим разбойником мне пришлось делиться?

Говоря так, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда был при нем, и, уверенный, что у его противника нет оружия, бросается на Кандида; но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хотя он был и кроткого нрава, но тут выхватывает эту шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвый на пол к ногам прекрасной Кунигунды.

— Пресвятая дева! — вскричала она.— Что нам делать? У меня в доме убит человек! Если сюда придут, мы погибли.

— Если бы Панглос не был повешен,— сказал Кандид,— он дал бы нам хороший совет в этой беде, ведь он был великий философ. Но поскольку его нет, посоветуемся со старухой.

Она оказалась очень благоразумною, но только начала высказывать свое мнение, как вдруг отворилась другая маленькая дверь. Был час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагой в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду и старуху, дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе Кандида и каково было его решение:

«Если этот святой человек позовет на помощь, меня непременно сожгут; то же, пожалуй, будет и с Кунигундой. Он меня немилосердно высек; он мой соперник; раз я уже начал убивать, нечего и колебаться».

Вывод этот был короток и ясен; не давая инквизитору времени опомниться от удивления, Кандид протыкает его насквозь, так что тот валится рядом с евреем.

— Вот и второй! — сказала Кунигунда.— Не будет нам пощады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Как это вы, от природы такой кроткий, в две минуты убили еврея и прелата?

— Моя милая,— отвечал Кандид,— когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизицией, он себя не помнит.

Тут вмешалась в разговор старуха и сказала:

— В конюшне стоят три андалузских коня, там же хранятся их седла и сбруя. Пусть храбрый Кандид их оседлает. Вы, барышня, собирайте деньги и драгоценности. Хотя у меня только ползада, а все-таки живее сядем на коней и поедем в Кадикс. Погода прекрасная, и очень приятно путешествовать в часы ночной прохлады.

Тотчас Кандид седлает трех лошадей; Кунигунда, старуха и он скачут тридцать миль без отдыха. В то время, как они были в дороге, служители святой Германдады пришли в дом. Инквизитора похоронили в прекрасной церкви, Иссахара бросили на свалку.

Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком городке Авасена посреди гор Сиерра-Морены; в одном кабачке у них произошел такой разговор.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Как несчастливо Кандид, Кунигунда и старуха прибыли в Кадикс и как они сели на корабль

— Кто это украл мои деньги и бриллианты? — плача, говорила Кунигунда.— Как мы будем жить? Что будем делать? Где найти инквизиторов и евреев, которые снова дадут мне столько же?

— Увы,— сказала старуха,— я сильно подозреваю преподобного отца кордельера, который ночевал вчера в бадахосской гостинице, где останавливались и мы. Боже меня упаси судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату и уехал задолго до нас.

— Увы! — сказал Кандид.— Добрый Панглос мне всегда доказывал, что блага земные принадлежат всем людям и каждый имеет на них равные права. Кордельер, конечно, должен был бы, следуя этому закону, оставить нам что-нибудь на дорогу. Значит, у вас совсем ничего не осталось, моя прелестная Кунигунда?

— Ни единого мараведиса,— сказала она.

— Что же делать? — спросил Кандид.

— Продадим одну лошадь,— сказала старуха.— Хоть у меня и ползада, я усядусь как-нибудь позади барышни, и мы доедем до Кадикса.

В той же самой гостинице остановился приор-бенедиктинец. Он купил лошадь за сходную цену. Кандид, Кунигунда и старуха поехали через Лусену, Хилью, Лебриху и добрались наконец до Кадикса. Там снаряжали в это время флот и собирали войско, чтобы проучить преподобных отцов иезу-

итов в Парагвае, которых обвиняли в том, что они подняли одну из своих орд близ города Сан-Сакраменто против испанского и португальского королей.

Кандид недаром служил у болгар,— он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с таким изяществом, ловкостью, проворством, живостью, легкостью, что ему сразу дали командовать ротой пехоты.

И вот он — капитан; он садится на корабль вместе с Кунигундою, старухою, двумя слугами и двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали великому инквизитору Португалии.

Во время этого переезда они много рассуждали о философии бедного Панглоса.

— Мы едем в Новый Свет,— говорил Кандид,— и в нем-то, без сомнения, все хорошо; ведь невозможно не посетовать на телесные и душевные страдания, которые приходится претерпевать в нашей части света.

— Я люблю вас всем сердцем,— сказала Кунигунда,— но моя душа истомлена тем, что я видела, тем, что испытала.

— Все будет хорошо,— возразил Кандид.— Уже и море этого нового мира лучше морей нашей Европы: оно спокойнее, и ветры постояннее. Конечно, Новый Свет — самый лучший из возможных миров.

— Дай-то бог,— сказала Кунигунда,— но я была так несчастна в нашем прежнем мире, что мое сердце почти закрылось для надежды.

— Вы жалуетесь,— сказала ей старуха.— Увы! Не испытали вы таких несчастий, как я.

Кунигунда едва удержалась от смеха, таким забавным показалось ей притязание этой доброй женщины на бо́льшие несчастья, чем те, которые претерпела она.

— Увы,— сказала она старухе,— милая моя, если вы по меньшей мере не были изнасилованы двумя болгарами, если не получили двух ударов ножом в живот, если не были разрушены два ваших замка, если не были зарезаны на ваших глазах две матери и два отца, если вы не видели, как двух ваших любовников высекли во время аутодафе, то я не вижу, как вы можете заноситься передо мною. Прибавьте, что я родилась баронессой в семьдесят втором поколении, а служила кухаркой.

— Барышня,— отвечала старуха,— вы не знаете моего происхождения, а если бы я вам показала мой зад, вы бы так не говорили и переменили бы ваше мнение.

Эта речь до чрезвычайности возбудила любопытство Кунигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

История старухи

— Не всегда у меня были глаза с такими красными веками, нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда я была служанкой. Я дочь папы Урбана десятого и княгини Палестрины. До четырнадцати лет я воспитывалась в таком дворце, которому замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшни. Каждое мое платье стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациозная, богато одаренная от природы, я росла, окруженная удовольствиями, поклонением, честолюбивыми чаяниями; уже я внушала любовь, моя грудь развивалась, и какая грудь! Белая, крепкая, совершенная по форме, как у Венеры Медицейской! А какие глаза! Какие ресницы! Какие черные брови! Каким огнем блистали мои взоры,— по словам наших поэтов, они затмевали сверкание звезд. Женщины, которые меня одевали и раздевали, впадали в экстаз, разглядывая меня спереди и сзади, и все мужчины хотели бы быть на их месте.

Я была обручена с владетельным князем Масса-Карара. Какой вельможа! Такой же прекрасный, как я, мягкого нрава, исполненный приятности, блистающий умом и пылающий любовью. Я любила его, как любят в первый раз, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе; начались дни торжеств, неслыханно великолепных,— празднества, конные состязания, опера-буфф, беспрерывные увеселения; со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был сколько-нибудь сносным. Уже близился миг моего счастья, когда одна старая маркиза, которая прежде была любовницей князя, пригласила его на чашку шоколада; менее чем через два часа он умер в страшных судорогах. Но не то еще ждало меня впереди. Моя мать, в отчаянии, хотя и не сравнимом с моим, захотела хоть на некоторое время оставить столь гибельные места. У нее было прекрасное имение близ Гаэты; мы сели на галеру, разукрашенную, как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Сале настигает нас и берет нашу галеру на абордаж. Наши солдаты защищаются точь-в-точь, как папские солдаты: они все падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущение грехов in articulo mortis.

Их тотчас же раздели догола, как обезьян, так же как и мою мать, и женщин из нашей свиты, и меня. Удивительно, с какой ловкостью эти господа умеют раздевать! Но более всего поразило меня то, что они всем нам засовывали

пальцы в такие места, куда мы, женщины, ставим только клистир. Эта церемония показалась мне очень странной: ведь всему дивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я поняла, что это делается для того, чтобы узнать, не спрятали ли мы там бриллианты; это обычай, принятый с незапамятных времен всеми просвещенными нациями, которые ведут морскую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские рыцари всегда поступали так же, когда забирали в плен турок и турчанок; это закон международного права, который никто никогда не оспаривал.

Не стану распространяться о том, сколь тяжело для юной и знатной девицы вдруг превратиться в невольницу, которую вместе с матерью увозят в Марокко; вам должно быть понятно, что́ мы перенесли на корабле корсара. Моя мать была еще очень красива; дамы нашей свиты, даже наши служанки, обладали бо́льшими прелестями, чем все африканские женщины, вместе взятые. Что касается меня, я была восхитительна — сама красота, само очарование, и к тому же я была девственницей; не долго я оставалась ею: цветок, который сберегался для прекрасного князя Масса-Карара, был похищен капитаном корсаров. Этот отвратительный негр еще воображал, будто оказывает мне большую честь. Что говорить, княгиня Палестрина и я отличались, должно быть, необычайной выносливостью, иначе не выдержали бы всего, что пришлось нам испытать до прибытия в Марокко. Но довольно об этом; это дела столь обычные, что не стоит на них останавливаться.

Когда мы прибыли в Марокко, там текли реки крови. У каждого из пятидесяти сыновей императора Мулей-Измаила были свои сторонники; это и явилось причиной пятидесяти гражданских войн черных против черных, черных против коричневых, коричневых против коричневых, мулатов против мулатов — беспрерывная резня на всем пространстве империи.

Не успели мы высадиться, как на нас напали черные из партии, враждовавшей с партией моего корсара, и стали отнимать у него добычу. После бриллиантов и золота всего драгоценнее были мы. Я стала свидетельницей такой битвы, какой не увидишь под небесами вашей Европы. У северных народов не такая горячая кровь, ими не владеет та бешеная страсть к женщинам, которая обычна в Африке. Можно подумать, что у европейцев молоко в жилах, тогда как у жителей Атласских гор и соседних стран не кровь, а купорос, огонь. Чтобы решить, кому мы достанемся, эти люди дрались с неистовством африканских львов, тигров и змей. Мавр

схватил мою мать за правую руку, помощник моего капитана удерживал ее за левую; мавританский солдат тянул ее за одну ногу, один из наших пиратов — за другую. Почти на каждую из наших девушек приходилось в эту минуту по четыре воина. Мой капитан прикрыл меня собою; он размахивал ятаганом и убивал всякого, кто осмеливался противиться его ярости. В конце концов все наши итальянки, моя мать в том числе, были растерзаны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их друг у друга оспаривали. Пленники и те, которые их пленили,— солдаты, матросы, черные, коричневые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан,— все были убиты; я лежала полумертвая под этой грудой мертвецов. Подобные сцены происходили, как всем известно, на пространстве более трехсот лье, но при этом никто не забывал пять раз в день помолиться, согласно установлению Магомета.

С большим трудом выбралась я из-под окровавленных трупов и дотащилась до большого померанцевого дерева, которое росло неподалеку, на берегу ручья. Я свалилась там от усталости, страха, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнеможение мое перешло в сон, который скорее был обмороком, нежели отдыхом.

Еще я была в этом состоянии слабости и бесчувственности, между жизнью и смертью, когда почувствовала, как что-то на меня давит, что-то движется на моем теле. Я открыла глаза и увидела белого человека с добродушною физиономией, который, вздыхая, бормотал сквозь зубы: «Ma che sciagura d'essere senza cogli!»[1].

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Продолжение злоключений старухи

— Удивленная и обрадованная тем, что слышу язык моего отечества, и не менее пораженная словами этого человека, я ответила ему, что бывают бóльшие несчастья, нежели то, на которое он жаловался; я рассказала ему в кратких словах о перенесенных мною ужасах и снова лишилась чувств. Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, накормил, ухаживал за мной, утешал меня, ласкал, говорил, что не видел женщины прекраснее и что никогда еще так не сожалел о том, чего никто не мог ему возвратить.

— Я родился в Неаполе,— сказал он мне.— Там оскоп-

[1] Какое несчастье, что меня оскопили! *(ит.)*.

ляют каждый год две-три тысячи детей; одни из них умирают, другие приобретают голос, красивее женского, третьи даже становятся у кормила власти. Мне сделали эту операцию превосходно, я стал певцом в капелле княгини Палестрины.

— Моей матери! — воскликнула я.

— Вашей матери? — воскликнул он, плача.— Значит, вы та княжна, которую я воспитывал до шести лет и которая уже тогда обещала стать красавицей?

— Это я; моя мать лежит в четырехстах шагах отсюда, изрубленная в куски, под грудой трупов...

Я рассказала ему все, что случилось со мной; он мне тоже поведал свои приключения. Я узнала, что он был послан к марокканскому королю одной христианской державой, дабы заключить с этим монархом договор, согласно которому ему доставляли бы порох, пушки и корабли для уничтожения торговли других христиан.

— Моя миссия исполнена,— сказал этот честный евнух,— я сяду на корабль в Сеуте и отвезу вас в Италию. Ma che sciagura d'essere senza cogl!

Я поблагодарила его со слезами умиления, но, вместо того чтобы отвести в Италию, он отправил меня в Алжир и продал бею этого края. Едва бей успел меня купить, как чума, обошедшая Африку, Азию и Европу, со всей яростью разразилась в Алжире. Вы видели землетрясение, но, барышня, вы никогда не видели чумы.

— Никогда,— подтвердила баронесса.

— Если бы вы видели ее,— сказала старуха,— вы признали бы, что это не чета какому-то землетрясению. Чума часто посещает Африку. Я заболела ею. Представьте себе, каково это для дочери папы, пятнадцати лет от роду,— в течение трех месяцев испытать бедность, рабство, почти ежедневно подвергаться насилию, увидеть свою мать изрубленной в куски, пережить голод, войну и умереть от чумы в Алжире! Впрочем, я-то выжила, но и мой евнух, и бей, и почти весь алжирский сераль вымерли.

Когда свирепость этой ужасной немочи поутихла, невольниц бея продали. Я стала собственностью купца, который отвез меня в Тунис и там продал другому купцу, который перепродал меня в Триполи; из Триполи я была продана в Александрию, из Александрии в Смирну, из Смирны в Константинополь. Я досталась, наконец, янычарскому аге, который вскоре был послан защищать Азов против осаждавших его русских.

Ага, который любил радости жизни, взял с собою весь свой сераль; он поместил нас в маленькой крепости на

Меотийском болоте, где мы находились под стражей двух черных евнухов и двадцати солдат. Русских убили очень много, но они сторицей отплатили за это. Азов был предан огню и мечу; не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков; держалась только наша маленькая крепость; неприятель решил взять нас измором. Двадцать янычар поклялись не сдаваться. Муки голода довели их до того, что, не желая нарушать клятву, они принуждены были съесть двух евнухов. Наконец через несколько дней они решили взяться за женщин. С нами был очень благочестивый и сострадательный имам, который произнес прекрасную проповедь, убеждая их не убивать нас.

— Отрежьте,— сказал он,— только по половине зада у каждой из этих дам: у вас будет отличное жаркое. Если положение не изменится, то через несколько дней вы сможете пополнить ваши запасы; небо будет милостиво к вам за столь человеколюбивый поступок и придет к вам на помощь.

Он был очень красноречив; он убедил их; они проделали над нами эту ужасную операцию; имам приложил к нашим ранам тот бальзам, который применяют, когда над детьми производят обряд обрезания; мы все были при смерти.

Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снабдили, как явились русские на плоскодонных лодках; ни один янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания на положение, в котором мы находились. Впрочем, везде есть французские хирурги; один из них, очень искусный, заботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду, что, когда мои раны зажили, он объяснился мне в любви. Правда, он всем нам объяснялся в любви, чтобы нас утешить; при этом он уверял нас, что мы не исключение, что подобные случаи уже происходили иногда при осадах и что таков закон войны.

Как только я и мои подруги смогли ходить, нас отправили в Москву; я досталась одному боярину, у которого работала садовницей и ежедневно получала по двадцати ударов кнутом; но через два года этот боярин сам был колесован вместе с тридцатью другими из-за какой-то придворной смуты. Я воспользовалась этим случаем и убежала; я прошла всю Россию; долгое время была служанкой в кабачке в Риге, потом в Ростоке, в Веймаре, в Лейпциге, в Касселе, в Утрехте, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме; я состарилась в нищете и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая, что я дочь папы; сотни раз я хотела покончить с собой, но я все еще люблю жизнь. Эта нелепая слабость, может быть, один из самых роковых наших недостатков: ведь ничего не

может быть глупее, чем желание беспрерывно нести ношу, которую хочется сбросить на землю; быть в ужасе от своего существования и влачить его; словом, ласкать пожирающую нас змею, пока она не изгложет нашего сердца.

Я видела в странах, где судьба заставляла меня скитаться, и в кабачках, где я служила, несчетное число людей, которым была тягостна их жизнь, но всего двенадцать из них добровольно положили конец своим бедствиям — трое негров, четверо англичан, четверо женевцев и один немецкий профессор по имени Робек. Кончила я тем, что поступила в услужение к еврею дом-Иссахару; он приставил меня к вам, моя прелестная барышня, я привязалась к вам, и ваши приключения стали занимать меня больше, нежели мои собственные. Я никогда не начала бы рассказывать вам о своих несчастьях, если бы вы меня не задели за живое и если бы не было обычая рассказывать на корабле разные истории, чтобы скоротать время. Да, барышня, у меня немалый опыт, я знаю свет; доставьте себе удовольствие, расспросите пассажиров, пусть каждый расскажет вам свою историю; и если найдется из них хоть один, который не проклинал бы частенько свою жизнь, который не говорил бы самому себе, что он несчастнейший из людей, тогда утопите меня в море.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как Кандид был принужден разлучиться с Кунигундой и со старухой

Прекрасная Кунигунда, выслушав историю старухи, осыпала ее всеми любезностями, какие приличествуют особе столь высокого происхождения и достоинства. Она согласилась с ее предложением и убедила всех пассажиров рассказать ей поочередно свои приключения. И тогда Кандид и Кунигунда увидели, что старуха была права.

— Очень жаль,— говорил Кандид,— что мудрый Панглос, вопреки обычаю, был повешен во время аутодафе; он изрек бы нам удивительные слова о физическом и нравственном зле, которые царят на земле и на море, и у меня хватило бы смелости почтительно сделать ему несколько возражений.

А пока каждый рассказывал свою историю, корабль плыл все дальше, и вот они уже в Буэнос-Айресе. Кунигунда, капитан Кандид и старуха пошли к губернатору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса. Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью,

как и подобает человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, принимал такой внушительный тон и такую горделивую осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Женщин он любил неистово. Кунигунда ему показалась прекраснее всех, когда-либо им виденных. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что Кунигунда ею не была, но и назвать ее сестрой он тем более не смел; хотя эта невинная ложь некогда была очень в ходу у древних, да и в наше время может быть полезною, но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине.

— Девица Кунигунда,— сказал он,— согласилась оказать мне честь выйти за меня, и мы умоляем ваше превосходительство дать нам на это ваше благосклонное разрешение.

Дон Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса горько улыбнулся, шевельнув усами, и приказал капитану Кандиду произвести смотр своей роте. Кандид повиновался; губернатор остался с Кунигундою... Он открыл ей свою страсть и объявил, что завтра женится на ней в церкви или как-нибудь иначе, до того он очарован ее прелестями.

Кунигунда попросила у него четверть часа, чтобы подумать, посоветоваться со старухою и на что-то решиться.

Старуха сказала Кунигунде:

— Барышня, у вас семьдесят два поколения предков и ни гроша за душой. Ничто не препятствует вам стать женою самого влиятельного человека во всей Южной Америке, у которого к тому же такие великолепные усы. С какой стати вам хранить верность, невзирая на все превратности судьбы? Вы были изнасилованы болгарами; еврей и инквизитор пользовались вашими милостями. Несчастья дают людям известные права. Признаюсь, будь я на вашем месте, я не задумывалась бы выйти за губернатора и помогла бы капитану Кандиду сделать карьеру.

Пока старуха говорила, высказывая благоразумие, даруемое годами и опытом, в гавань вошел маленький корабль; на нем были алькальд и альгвасилы, и вот что случилось дальше.

Старуха верно угадала, что это нечистый на руку кордельер украл деньги и драгоценности Кунигунды в городе Бадахосе, куда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах захотел продать несколько камней ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордельер,

перед тем, как его повесили, признался, что он их украл, описал тех, кого обворовал, и указал, куда они поехали. О бегстве Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса; затем послали, не теряя времени, корабль в погоню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что алькальд скоро сойдет на берег и что он ищет убийц великого инквизитора. Благоразумная старуха вмиг смекнула, что делать.

— Вы можете не бежать,— сказала она Кунигунде,— да вам и нечего бояться: не вы убили его преосвященство; кроме того, губернатор вас любит и не позволит, чтобы с вами дурно обошлись. Оставайтесь.

Она поспешно идет к Кандиду.

— Бегите,— говорит она ему,— или через час вы будете сожжены.

Нельзя было терять ни минуты, но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Как были приняты Кандид и Какамбо парагвайскими иезуитами

Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких множество в Испании и ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови; его отец был метис из Тукумана; сам он побывал и певчим в церковном хоре, и лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что его хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских коней.

— Едемте, господин, последуем совету старухи, бежим без оглядки.

Кандид залился слезами.

— О моя дорогая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор собирается устроить нашу свадьбу. Кунигунда, заброшенная так далеко от родины, что с вами станется?

— Как-нибудь да устроится,— ответил Какамбо.— Женщина нигде не пропадет. Господь о ней заботится. Бежим.

— Куда ты поведешь меня? Куда мы направимся? Как обойдемся без Кунигунды? — говорил Кандид.

— Клянусь святым Иаковом Компостельским,— сказал Какамбо,— вы собирались воевать против иезуитов, а теперь будете воевать вместе с ними; я неплохо знаю дорогу и проведу вас в их государство; они будут рады заполучить капитана, который прошел военную выучку у болгар; вы сделаете

блестящую карьеру. Не нашли счастья в одном месте, ищите в другом. К тому же, что может быть приятнее, чем видеть и делать что-то новое!

— Ты, значит, уже бывал в Парагвае? — спросил Кандид.

— А как же! — сказал Какамбо.— Я был сторожем в Асунсионской коллегии и знаю государство de los padres[1], как улицы Кадикса. Удивительное у них государство! Оно более трехсот миль в диаметре; разделено на тридцать провинций. Los padres владеют там всем, а народ ничем; не государство, а образец разума и справедливости. Что касается меня, то я в восторге от los padres: они здесь ведут войну против испанского и португальского королей, а в Европе их же исповедуют; здесь убивают испанцев, а в Мадриде им же даруют место в раю. Как тут не восхищаться! Вот увидите, вы будете там счастливейшим из людей. Как обрадуются los padres, когда у них появится капитан, знающий болгарскую службу!

Когда они подъехали к первой заставе, Какамбо сказал подошедшему часовому, что капитан желает переговорить с комендантом. Пошли известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту и доложил о вновь прибывших. Сначала Кандида и Какамбо обезоружили, потом отобрали у них андалузских коней. Двух иностранцев провели между двумя шеренгами солдат; комендант ждал их; на нем была трехрогая шляпа, подвязанная ряса, шпага на боку, в руке эспонтон. Он подал знак; тотчас же двадцать пять солдат окружают наших путешественников. Сержант говорит им, что надо подождать, что комендант не может вести с ними переговоры, что преподобный отец провинциал запрещает говорить с испанцами иначе, как только в его присутствии, и не позволяет им оставаться более трех часов в стране.

— А где же преподобный отец провинциал? — спросил Какамбо.

— Он принимает парад после обедни,— ответил сержант,— и вы сможете поцеловать его шпоры только через три часа.

— Но господин капитан умирает от голода, да и я тоже,— сказал Какамбо.— Он вовсе не испанец, он немец; нельзя ли нам позавтракать до прибытия его преподобия?

Сержант тотчас же передал эти слова коменданту.

— Слава богу! — воскликнул этот сеньор.— Если он не-

[1] Святых отцов *(исп.)*.

мец, я имею право беседовать с ним; пусть его отведут в мой шалаш.

Кандида немедленно отвели в беседку из зелени, украшенную красивыми колоннами золотисто-зеленого мрамора и вольерами, в которых летали попугаи, колибри и все самые редкостные птицы. В золотых чашах был приготовлен превосходный завтрак; когда парагвайцы сели посреди поля, на солнцепеке, есть маис из деревянных чашек, преподобный отец комендант вошел в беседку.

Он был молод и очень красив — полный, белолицый, румяный, с высоко поднятыми бровями, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с алыми губами, с гордым видом,— но гордость эта была не испанского или иезуитского образца. Кандиду и Какамбо вернули отобранное у них оружие, так же как и андалузских коней; Какамбо задал им овса у беседки и не спускал с них глаз, опасаясь неожиданностей.

Кандид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они сели за стол.

— Итак, вы — немец? — спросил иезуит по-немецки.

— Да, преподобный отец,— сказал Кандид.

Оба, произнося эти слова, смотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли скрыть.

— Вы из какой части Германии? — спросил иезуит.

— Из грязной Вестфалии,— сказал Кандид.— Я родился в замке Тендер-тен-Тронк.

— О небо! Возможно ли? — воскликнул комендант.

— Какое чудо! — воскликнул Кандид.

— Это вы? — спросил комендант.

— Это невероятно! — сказал Кандид.

Они бросаются один к другому, обнимаются, проливая ручьи слез.

— Как! Это вы, преподобный отец? Вы, брат Кунигунды! Вы, убитый болгарами! Вы, сын господина барона! Вы, парагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир удивительно устроен. О Панглос! Панглос! Как бы вы были рады, если бы не были повешены.

Комендант велел уйти неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя. Он тысячи раз возблагодарил бога и святого Игнатия; он сжимал Кандида в объятиях; их лица были орошены слезами.

— Вы будете еще более удивлены и растроганы,— сказал Кандид,— когда услышите, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, благополучно здравствует.

— Где?
— Неподалеку от вас, у губернатора в Буэнос-Айресе; а я прибыл в Новый Свет, чтобы воевать с вами.

Все, что они рассказывали друг другу в течение этой долгой беседы, несказанно дивило их. Их души говорили их устами, внимали их ушами, светились у них в глазах. Так как они были немцы, то в ожидании преподобного отца провинциала они не спешили выйти из-за стола; и вот что рассказал комендант своему дорогому Кандиду.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Как Кандид убил брата своей дорогой Кунигунды

— Всю жизнь я буду помнить ужасный день, когда при мне убили моих отца и мать и обесчестили сестру. После ухода болгар мою обожаемую сестру так нигде и не нашли; мать, отца, меня, двух служанок и трех маленьких зарезаных мальчиков положили на тележку и отправили для погребения в иезуитскую часовню, в двух милях от замка моих предков. Иезуит окропил нас святой водою; она была страшно солона; несколько капель попало мне в глаза; патер заметил, что веки мои дрогнули; он положил руку на мое сердце и почувствовал, что оно бьется; меня привели в сознание и через три недели я выздоровел. Вы знаете, мой дорогой Кандид, как я был красив; я сделался еще красивее; поэтому преподобный отец Круст, тамошний настоятель, воспылал ко мне самой нежной дружбой; он сделал меня послушником, и немного спустя я был послан в Рим. Отцу генералу нужен был новый набор молодых иезуитов-немцев. Правители Парагвая не желали испанских иезуитов, они предпочитали иностранных, надеясь, что те будут покладистее. Преподобный отец генерал рассудил, что я подхожу для работы на этом винограднике. Нас отправилось трое: поляк, тиролец и я. По приезде я был удостоен сана иподьякона и чина лейтенанта; теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретим войско испанского короля. Ручаюсь, что они будут разбиты и отлучены. Провидение посылает вас сюда, чтобы нам помочь. Но правда ли это, что моя дорогая сестра Кунигунда находится по соседству, у губернатора Буэнос-Айреса?

Кандид клятвенно заверил его, что так оно и есть. Они оба опять расплакались. Барон без конца обнимал Кандида; он называл его своим братом, своим спасителем.

— Ах, может быть,— сказал он ему,— мы вместе с вами,

мой дорогой Кандид, войдем победителями в город и освободим мою сестру Кунигунду.

— Это предел моих желаний,— сказал Кандид,— потому что я надеялся и надеюсь жениться на ней.

— Вы нахал! — отвечал барон.— Как у вас хватает бесстыдства мечтать о браке с моей сестрой, которая насчитывает семьдесят два поколения предков? И вы еще имеете наглость рассказывать мне о столь дерзком плане!

Кандид, ошеломленный этой речью, отвечал ему:

— Преподобный отец, все поколения в мире ничего тут поделать не смогут; я вырвал вашу сестру из рук еврея и инквизитора, она многим мне обязана и хочет вступить со мною в брак. Учитель Панглос всегда говорил мне, что люди равны, и, конечно, я женюсь на ней.

— Это мы посмотрим, негодяй! — сказал иезуит барон Тундер-тен-Тронк и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу. Кандид мигом выхватывает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона-иезуита; но, вытащив ее оттуда, всю покрытую кровью, он принялся плакать.

— О боже мой! — сказал он.— Я убил моего прежнего господина, моего друга, моего брата. Я добрейший человек на свете и тем не менее уже убил троих; из этих троих — двое священники.

Тут прибежал Какамбо, стоявший на страже у дверей беседки.

— Нам остается дорого продать свою жизнь,— сказал ему его господин.— Конечно, в беседку сейчас войдут. Надо умереть с оружием в руках.

Какамбо, который побывал в разных переделках, нисколько не растерялся; он схватил иезуитскую рясу барона, надел ее на Кандида, дал ему шляпу умершего и подсадил на лошадь. Все это было сделано во мгновение ока.

— Живее, сударь, все примут вас за иезуита, который едет с приказами, и мы переправимся через границу прежде, чем за нами погонятся.

С этими словами он помчался, крича по-испански:

— Дорогу, дорогу преподобному отцу полковнику!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Что произошло у двух путешественников с двумя девушками, двумя обезьянами, дикарями, зовущимися орельонами

Кандид и его слуга уже были по ту сторону границы, а в лагере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Предусмотрительный Какамбо позаботился о том, чтобы наполнить корзину хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и сосудами с вином. На своих андалузских конях они углубились в неизвестную страну, но не обнаружили там ни одной дороги. Наконец прекрасный луг, прорезанный ручейками, представился им. Наши путники пустили лошадей на траву. Какамбо предложил своему господину поесть и показал ему в этом пример.

— Как ты хочешь,— сказал Кандид,— чтобы я ел ветчину, когда я убил сына моего господина барона и к тому же чувствую, что осужден больше никогда не видеть прекрасной Кунигунды? Зачем длить мои несчастные дни, если мне придется влачить их в разлуке с нею, в угрызениях совести и в отчаянии? И что скажет «Вестник Треву»?

Так говорил Кандид, отправляя в рот кусок за куском. Солнце садилось. Издалека до путников донеслись женские крики. Они не могли разобрать, были то крики скорби или радости, но оба стремительно вскочили, полные беспокойства и тревоги, всегда порождаемых в нас незнакомой местностью. Оказалось, что это вскрикивали две совершенно голые девушки, которые стремительно бежали по обочине луга, меж тем как две обезьяны, преследуя их, кусали их за ягодицы. Кандиду стало жаль девушек, у болгар он научился метко стрелять и мог сбить орешек с куста, не задев ни единого листка. Он хватает свое испанское двуствольное ружье, стреляет и убивает обезьян.

— Слава богу, дорогой Какамбо, я избавил от великой опасности этих бедняжек; если я и согрешил, убив инквизитора и иезуита, то теперь загладил свой грех,— спас жизнь двум девушкам. Они, может статься, знатные девицы, и тогда мое деяние принесет нам большую пользу в этой стране.

Он хотел сказать еще что-то, но слова замерли у него на губах, когда он увидел, что девушки нежно обнимают обезьян, проливают слезы над их телами и наполняют окрестность горестными жалобами.

— Вот не ожидал, что у них такая добрая душа,— обратился он наконец к Какамбо.

Но тот возразил ему:

— Славное вы сделали дело, сударь,— вы убили любовников этих девиц.

— Их любовников! Возможно ли это? Ты смеешься надо мной, Какамбо; с чего ты взял?

— Мой дорогой господин,— отвечал Какамбо,— вас постоянно все удивляет; почему вам кажется странным, что в некоторых странах обезьяны пользуются благосклонностью женщин? Обезьяна — четверть мужчины, как я — четверть испанца.

— Увы,— отвечал Кандид,— я вспоминаю, что слышал от Панглоса, будто во время оно подобные случаи бывали. Он рассказывал, что так появились на свет египаны, фавны, сатиры, которых собственными глазами видели иные из великих людей древности; но я считал это баснями.

— Теперь вы убедились,— сказал Какамбо,— что это правда. Этим, как видите, занимаются особы, даже не получившие должного воспитания; боюсь только, как бы эти дамы не наделали нам хлопот.

Это основательное соображение побудило Кандида оставить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какамбо; и оба они, проклиная португальского инквизитора, буэнос-айресского губернатора и барона, уснули на ложе из мха. Проснувшись, они почувствовали, что не могут пошевелиться; дело в том, что девицы донесли на них местным жителям, орельонам, и те ночью связали наших путников веревками из древесной коры. Кандид и Какамбо были окружены полсотней орельонов, совершенно голых, вооруженных стрелами, палицами и каменными топорами; одни кипятили воду в большом котле, другие приготавливали вертелы, и все кричали:

— Это иезуит, это иезуит! Отомстим и заодно славно пообедаем. Съедим иезуита, съедим иезуита!

— Говорил я вам, мой дорогой господин,— уныло сказал Какамбо,— что эти девушки сыграют с нами скверную шутку!

Кандид, заметив котлы и вертелы, вскричал:

— Нас, наверное, изжарят или сварят. Ах, что сказал бы учитель Панглос, если бы увидел, какова природа в естественном своем виде! Все к лучшему, пускай так, но, право, очень жестокий удел — потерять Кунигунду и попасть на вертел к орельонам.

Какамбо никогда не терял головы.

— Не отчаивайтесь,— сказал он опечаленному Кандиду,— я немного понимаю язык этого народа и поговорю с ними.

— Не забудьте,—сказал Кандид,— внушить им, что варить людей — бесчеловечно и совсем не по-христиански.

— Господа,— сказал Какамбо,— вы, конечно, рассчитываете съесть сегодня иезуита; это очень хорошо; нет ничего справедливее, чем так поступать со своими врагами. В самом деле, естественное право учит нас убивать наших ближних, и этот обычай распространен по всей земле. Мы не пользуемся правом их съедать лишь потому, что у нас довольно другой пищи; но у вас нет таких запасов. Без сомнения, лучше съесть врага, чем отдать вóронам и ворóнам плоды своей победы. Но, господа, не хотите же вы съесть ваших друзей. Вы собираетесь зажарить на вертеле иезуита, но ведь перед вами ваш защитник, враг ваших врагов, и из него-то вы предполагаете сделать жаркое! Что касается меня, я родился в вашей стране; господин, которого вы видите, мой хозяин и вовсе не иезуит; он только что убил иезуита и носит его шкуру: отсюда ваша ошибка. Можете проверить мои слова: возьмите эту рясу, отнесите ее на границу государства los padres и справьтесь, убил ли мой господин иезуитского офицера; это не займет у вас много времени, и, если окажется, что я солгал, вы нас съедите. Но если я сказал правду, вы достаточно знаете принципы общественного права, обычаи и законы и помилуете нас.

Орельоны нашли, что его речь разумна; они отправили двух старейшин, чтобы те поскорее разузнали истину. Посланцы исполнили их поручение весьма толково и вскоре возвратились с добрыми вестями. Орельоны развязали пленников, стали с ними необычайно учтивы, предложили им девушек, угостили их лакомствами и прохладительными напитками и проводили до границы своего государства, весело крича:

— Он не иезуит, он не иезуит!

Кандид не переставал удивляться причине своего избавления.

— Какой народ,— говорил он,— какие люди, какие нравы! Если бы я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигунды, я был бы съеден без всякой пощады. Но оказалось, что природа сама по себе вовсе не плоха, так как эти простые люди, вместо того, чтобы меня съесть, оказали мне тысячу любезностей, едва лишь узнали, что я не иезуит.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Прибытие Кандида и его слуги в страну Эльдорадо, и что они там увидели

Когда они были уже за пределами земли орельонов, Какамбо сказал Кандиду:

— Видите, это полушарие ничуть не лучше нашего; послушайтесь меня, вернемся поскорее в Европу.

— Как нам вернуться туда,— сказал Кандид,— и куда? На моей родине болгары и авары режут всех подряд, в Португалии меня сожгут, а здесь мы ежеминутно рискуем попасть на вертел. Но как решиться оставить края, где живет Кунигунда?

— Поедемте через Кайенну,— сказал Какамбо,— там мы найдем французов, которые бродят по всему свету; быть может, они нам помогут. Должен же господь сжалиться над нами.

Нелегко было добраться до Кайенны. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать; но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари — повсюду их ждали устрашающие препятствия. Лошади пали от усталости; провизия была съедена; целый месяц они питались дикими плодами. Наконец они достигли маленькой речки, окаймленной кокосовыми пальмами, которые поддержали их жизнь и надежды.

Какамбо, который всегда давал такие же хорошие советы, как и старуха, сказал Кандиду:

— Мы не в силах больше идти, мы довольно отшагали; я вижу пустой челнок на реке, наполним его кокосовыми орехами, сядем в него и поплывем по течению. Река всегда ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то, по крайней мере, отыщем что-нибудь новое.

— Едем,— сказал Кандид,— и вручим себя провидению.

Они проплыли несколько миль меж берегов, то цветущих, то пустынных, то пологих, то крутых. Река становилась все шире; наконец она потерялась под сводом страшных скал, вздымавшихся до самого неба. Наши путешественники решились, вверив себя волнам, пуститься под скалистый свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их с ужасающим шумом и быстротой. Через сутки они вновь увидели дневной свет, но их лодка разбилась о подводные камни; целую милю пришлось им перебираться со скалы на скалу; наконец перед ними открылась огромная равнина, окруженная неприступными горами. Земля была возделана так, чтобы радовать глаз и вместе с тем приносить плоды; все полезное сочеталось с приятным; дороги были заполнены, вернее, украшены изящ-

ными экипажами из какого-то блестящего материала; в них сидели мужчины и женщины редкостной красоты; большие красные бараны влекли эти экипажи с такой резвостью, которая превосходила прыть лучших коней Андалузии, Тетуана и Мекнеса.

— Вот,— сказал Кандид,— страна получше Вестфалии.

Они с Какамбо остановились у первой попавшейся им на пути деревни. Деревенские детишки в лохмотьях из золотой парчи играли у околицы в шары. Пришельцы из другой части света с любопытством глядели на них; игральными шарами детям служили крупные, округлой формы камешки, желтые, красные, зеленые, излучавшие странный блеск. Путешественникам пришло в голову поднять с земли несколько таких кругляшей; это были самородки золота, изумруды, рубины, из которых меньший был бы драгоценнейшим украшением трона Могола.

— Без сомнения,— сказал Какамбо,— это дети здешнего короля.

В эту минуту появился сельский учитель и позвал детей в школу.

— Вот,— сказал Кандид,— наставник королевской семьи.

Маленькие шалуны тотчас прервали игру, оставив на земле шарики и другие свои игрушки. Кандид поднимает их, бежит за наставником и почтительно протягивает ему, объясняя знаками, что их королевские высочества забыли свои драгоценные камни и золото. Сельский учитель, улыбаясь, бросил камни на землю, с большим удивлением взглянул на Кандида и продолжил свой путь.

Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды.

— Где мы? — вскричал Кандид.— Должно быть, королевским детям дали в этой стране на диво хорошее воспитание, потому что они приучены презирать золото и драгоценные камни.

Какамбо был удивлен не менее, чем Кандид. Наконец они подошли к первому деревенскому дому; он напоминал европейский дворец. Толпа людей суетилась в дверях и особенно в доме; слышалась приятная музыка, из кухни доносились нежные запахи. Какамбо подошел к дверям и услышал, что говорят по-перуански; это был его родной язык, ибо, как известно, Какамбо родился в Тукумане, в деревне, где другого языка не знали.

— Я буду вашим переводчиком,— сказал он Кандиду,— войдем, здесь кабачок.

Тотчас же двое юношей и две девушки, служившие при гостинице, одетые в золотые платья, с золотыми лентами в

волосах, пригласили их сесть за общий стол. На обед подали четыре супа, из них каждый был приготовлен из двух попугаев, вареного кондора, весившего двести фунтов, двух жареных обезьян, превосходных на вкус; триста колибри покрупнее на одном блюде и шестьсот помельче на другом; восхитительные рагу, воздушные пирожные,— все на блюдах из горного хрусталя. Слуги и служанки наливали гостям различные ликеры из сахарного тростника.

Посетители большею частью были купцы и возчики — все чрезвычайно учтивые; они с утонченной скромностью задали Какамбо несколько вопросов и очень охотно удовлетворяли любопытство гостей.

Когда обед был окончен, Какамбо и Кандид решили, что щедро заплатят, бросив хозяину на стол два крупных кусочка золота, подобранных на земле; хозяин и хозяйка расхохотались и долго держались за бока. Наконец они успокоились.

— Господа,— сказал хозяин гостиницы,— конечно, вы иностранцы, а мы к иностранцам не привыкли. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет местных денег, но этого и не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы, устроенные для проезжих купцов, содержатся за счет государства. Вы здесь неважно пообедали, потому что это бедная деревня, но в других местах вас примут как подобает.

Какамбо перевел Кандиду слова хозяина гостиницы. Кандид слушал их с тем же удивлением и недоумением, с каким его друг Какамбо переводил.

— Что же, однако, это за край,— говорили они один другому,— неизвестный всему остальному миру и природой столь непохожий на Европу? Вероятно, это та самая страна, где все обстоит хорошо, ибо должна же такая страна хоть где-нибудь да существовать. А что бы ни говорил учитель Панглос, мне часто бросалось в глаза, что в Вестфалии все обстоит довольно плохо.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Что они видели в стране Эльдорадо

Какамбо засыпал вопросами хозяина гостиницы; тот ему сказал:

— Я человек неученый и тем доволен; но есть у нас здесь старец, бывший придворный,— он самый образованный человек в государстве и очень разговорчивый.

Тотчас он проводил Какамбо к старцу. Кандид же оказался теперь на вторых ролях и молча сопровождал своего

слугу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была всего-навсего из серебра, а обшивка комнат всего-навсего из золота; но все было сработано с таким вкусом, что не проиграло бы и при сравнении с самыми богатыми дверями и обшивкой. Приемная, правда, была украшена только рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупал с избытком эту чрезвычайную простоту.

Старец принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах, потом в следующих словах удовлетворил их любопытство:

— Мне сто семьдесят два года, и я узнал от моего покойного отца, королевского конюшего, об удивительных переворотах в Перу, свидетелем которых он был. Наше государство — это древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоразумно, когда отправились завоевывать другие земли: в конце концов они сами были уничтожены испанцами.

Те государи из этой династии, которые остались на родине, были куда благоразумнее; с народного согласия они издали закон, следуя которому ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны; этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие. У испанцев было лишь смутное представление о нашем государстве; они называли его Эльдорадо, и один англичанин, некий кавалер Ролей, даже приблизился к нашим границам около ста лет назад, но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то вплоть до настоящего времени нам нечего было бояться посягательств европейских народов, которыми владеет непостижимая страсть к грязи и камням нашей земли и которые, дабы завладеть ими, готовы были бы перебить нас всех до единого.

Разговор длился долго: говорили о государственном устройстве, о нравах, о женщинах, о зрелищах, об искусствах. Наконец Кандид, у которого всегда была склонность к метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране религия.

Старец слегка покраснел.

— Как вы можете в этом сомневаться? — сказал он.— Неужели вы считаете нас такими неблагодарными людьми?

Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдорадо. Старец опять покраснел.

— Разве могут существовать на свете две религии? — сказал он.— У нас, я думаю, та же религия, что и у вас; мы неустанно поклоняемся богу.

— Только одному богу? — спросил Какамбо, который все время переводил вопросы Кандида.

— Конечно,— сказал старец,— их не два, не три, не четыре. Признаться, люди из вашего мира задают очень странные вопросы.

Кандид продолжал расспрашивать этого доброго старика; он хотел знать, как молятся богу в Эльдорадо.

— Мы ничего не просим у него,— сказал добрый и почтенный мудрец,— нам нечего просить: он дал нам все, что нам нужно; мы непрестанно его благодарим.

Кандиду было любопытно увидеть священнослужителей, он велел спросить, где они. Добрый старец засмеялся.

— Друзья мои,— сказал он,— мы все священнослужители; и наш государь, и все отцы семейств каждое утро торжественно поют благодарственные гимны; им аккомпанируют пять-шесть тысяч музыкантов.

— Как! У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих?

— Смею надеяться, мы здесь не сумасшедшие,— сказал старец,— все мы придерживаемся одинаковых взглядов и не понимаем, что такое ваши монахи.

При этих словах Кандид пришел в восторг. Он говорил себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона; если бы наш друг Панглос побывал в Эльдорадо, он не утверждал бы более, что замок Тундер-тен-Тронк — лучшее место на земле. Вот как полезно путешествовать!»

После этой длинной беседы добрый старец велел запрячь в карету шесть баранов и приказал двенадцати слугам проводить путешественников ко двору.

— Простите меня,— сказал он им,— за то, что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Государь примет вас так, что вы не останетесь недовольны и, без сомнения, отнесетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам, возможно, не понравятся.

Кандид и Какамбо садятся в карету; шесть баранов летят во всю прыть, и менее чем в четыре часа они приезжают в королевский дворец, расположенный на окраине столицы. Портал дворца был двухсот двадцати пяти футов высотой и ста — шириной; невозможно было определить, из чего он сделан, но бросалось в глаза, что дивный материал этого здания не идет и в сравнение с теми булыжниками и песком, которые мы именуем золотом и драгоценными камнями.

Двадцать прекрасных девушек из охраны встретили Кандида и Какамбо, когда те вышли из кареты, проводили их в баню, надели на них одежды из пуха колибри; после этого

придворные кавалеры и дамы, согласно принятому обычаю, ввели их в покои его величества, причем им пришлось идти между двумя рядами музыкантов, число которых достигало двух тысяч. Когда они подошли к тронному залу, Какамбо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать его величество. Встать ли на колени или распластаться на полу? Положить ли руки на голову или скрестить за спиной? Лизать пыль с пола? Одним словом, какова церемония?

— Обычай таков,— сказал камергер,— что каждый обнимает короля и целует в обе щеки.

Кандид и Какамбо бросаются на шею его величеству, который принимает их столь милостиво, что это не поддается описанию, и любезно приглашает на ужин.

В ожидании ужина им показали город, общественные здания, вздымавшиеся до облаков, рынки, украшенные тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустанно текли в большие водоемы, выложенные каким-то драгоценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоздики и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них заседает суд; ему ответили, что этого учреждения у них нет, что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьма, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей в две тысячи шагов, уставленной математическими и физическими инструментами.

Они успели осмотреть лишь тысячную часть города, как уже пришло время ехать к королю. Кандида посадили за стол вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и не бывал в обществе столь остроумного собеседника, каким оказался его величество. Какамбо переводил Кандиду остроты короля, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивило Кандида не меньше, чем все остальное.

Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид без устали повторял Какамбо:

— Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны, где мы теперь находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды, да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и привезем с собой только двенадцать баранов, нагруженных эльдорадскими камнями, мы будем богаче, чем короли, вместе взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без труда освободим Кунигунду.

Эти рассуждения были по душе Какамбо; люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками и похваляться увиденным во время странствий, что двое счастливцев решили отказаться от своего счастья и попросить у его величества, чтобы он позволил им уехать.

— Вы делаете глупость,— сказал им король.— Я знаю, страна моя бог не весть что: но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я, разумеется, не имею права удерживать иностранцев; это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам; все люди свободны; вы уедете, когда захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал. Горы, окружающие мое государство, достигают двести тысяч футов в вышину и отвесны, как стены; в ширину они достигают более десяти миль и обрываются в бездонные пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу механикам построить машину, чтобы вас удобно переправить через горы. Но уж дальше на провожатых не рассчитывайте, ибо мои подданные дали клятву никогда не переступать границ королевства и не нарушат ее — они достаточно разумные люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблагорассудится.

— Мы просим у вашего величества,— сказал Какамбо,— только нескольких баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны.

Король засмеялся.

— Не понимаю,— сказал он,— что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи, но берите ее сколько хотите, и пусть она пойдет вам на пользу.

Он немедленно отдал приказ механикам соорудить машину, чтобы переправить этих странных людей за пределы королевства. Три тысячи ученых физиков работали над нею; через две недели она была готова и стоила всего двадцать миллионов стерлингов в ходячей монете той страны. Кандид и Какамбо сели в машину; с собой у них были два больших красных барана, оседланных и взнузданных, чтобы ехать на них, когда путники уже преодолеют горы; двадцать вьючных баранов, нагруженных съестными припасами; тридцать — с образцами того, что было в стране наиболее любопытного; пятьдесят — груженных золотом, самоцветными камнями и алмазами. Король нежно обнял залетных гостей.

Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и занятно было смотреть, с каким искусством были подняты они со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в

безопасное место и вернулись. У Кандида теперь не было иного желания и иной мысли, как подарить этих баранов Кунигунде.

— У нас есть— говорил он,— чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если только Кунигунду вообще можно оценить в деньгах. Едем в Кайенну, сядем на судно, а потом посмотрим, какое королевство нам купить.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Что произошло в Суринаме, и как Кандид познакомился с Мартеном

Первый день прошел для наших путешественников довольно приятно. Их ободряла мысль, что они обладают сокровищами, превосходящими богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом дереве. На другой день два барана увязли в болоте и погибли со всем грузом; два других околели от усталости несколько дней спустя; семь или восемь подохли от голода в пустыне; несколько баранов сорвалось в пропасть. Прошло сто дней пути — и вот у них осталось только два барана. Кандид сказал Какамбо:

— Мой друг, ты видишь, как преходящи богатства мира сего; нет на свете ничего прочного, кроме добродетели и счастья новой встречи с Кунигундой.

— Согласен,— сказал Какамбо,— но у нас осталось еще два барана с сокровищами, каких не было и нет даже у короля Испании. Вот я вижу вдали город,— думаю, что это Суринам, принадлежащий голландцам. Наши беды приходят к концу, скоро начнется благоденствие.

По дороге к городу они увидели негра, распростертого на земле, полуголого,— на нем были только синие полотняные панталоны; у бедняги не хватало левой ноги и правой руки.

— О, боже мой! — воскликнул Кандид и обратился к негру по-голландски.— Что с тобою, мой друг, и почему ты в таком ужасном состоянии?

— Я жду моего хозяина господина Вандердендура, известного купца,— отвечал негр.

— Так это господин Вандердендур так обошелся с тобою? — спросил Кандид.

— Да, господин,— сказал негр,— таков обычай. Два раза в год нам дают только вот такие полотняные панталоны, и это вся наша одежда. Если на сахароварне у негра попадает палец в жернов, ему отрезают всю руку; если он вздумает

убежать, ему отрубают ногу. Со мной случилось и то и другое. Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за десять патагонских монет, она мне сказала: «Дорогое мое дитя, благословляй наши фетиши, почитай их всегда, они принесут тебе счастье; ты удостоился чести стать рабом наших белых господ и вместе с тем одарил богатством своих родителей». Увы! Я не знаю, одарил ли я их богатством, но сам-то я счастья не нажил. Собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз счастливее, чем мы; голландские жрецы, которые обратили меня в свою веру, твердят мне каждое воскресенье, что все мы — потомки Адама, белые и черные. Я не силен в генеалогии, но если проповедники говорят правду, мы и впрямь все сродни друг другу. Но подумайте сами, можно ли так ужасно обращаться с собственными родственниками?

— О Панглос! — воскликнул Кандид.— Ты не предвидел этих гнусностей. Нет, отныне я навсегда отказываюсь от твоего оптимизма.

— Что такое оптимизм? — спросил Какамбо.

— Увы,— сказал Кандид,— это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.

И он залился слезами, глядя на негра; плача о нем, он вошел в Суринам.

Первым делом они справились, нет ли в порту какого-нибудь корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес. Тот, к кому они обратились, оказался испанским судохозяином и согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабачке. Кандид и верный Какамбо отправились туда вместе со своими двумя баранами и стали его ждать.

У Кандида всегда было что на душе, то и на языке; он рассказал испанцу все свои приключения и признался, что хочет похитить Кунигунду.

— Нет, я поостерегусь везти вас в Буэнос-Айрес,— меня там повесят, да и вас тоже: прекрасная Кунигунда — любимая наложница губернатора.

Эти слова поразили Кандида как удар грома. Он долго плакал; наконец он обратился к Какамбо:

— Вот, мой друг,— сказал он ему,— что ты должен сделать: у каждого из нас брильянтов в карманах на пять-шесть миллионов. Ты хитрее меня; поезжай в Буэнос-Айрес и освободи Кунигунду. Если губернатор откажет, дай ему миллион; если и тут заупрямится — дай два. Ты не убивал инквизитора, тебе бояться нечего. Я снаряжу другой корабль и буду тебя ждать в Венеции. Это свободная страна, где

можно не страшиться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов.

Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии, что надо разлучиться с добрым господином, который сделался его задушевным другом; но радостное сознание, что он будет полезен Кандиду, превозмогло скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами; Кандид наказал ему не забывать доброй старухи. В тот же день Какамбо отправился в путь; очень добрый человек был Какамбо.

Кандид остался еще на некоторое время в Суринаме, ожидая, пока другой какой-нибудь купец не согласится отвезти в Италию его и двух баранов, которые у него еще остались. Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путешествия; наконец к нему явился господин Вандердендур, хозяин большого корабля.

— Сколько вы возьмете,— спросил Кандид этого человека,— чтобы доставить меня прямым путем в Венецию — меня, моих людей, мой багаж и двух вот этих баранов?

Купец запросил десять тысяч пиастров.

Кандид, не раздумывая, согласился.

«Ого!» — подумал Вандердендур.— Этот иностранец дает десять тысяч пиастров, не торгуясь,— должно быть, он очень богат».

Вернувшись через минуту, он объявил, что не повезет его иначе, как за двадцать тысяч.

— Ну, хорошо! Вы получите двадцать тысяч,— сказал Кандид.

«Ба! — сказал себе купец.— Этот человек дает двадцать тысяч пиастров с такой же легкостью, как и десять».

Он снова приходит и говорит, что меньше, чем за тридцать тысяч пиастров, он не согласится.

— Что ж, заплачу вам и тридцать тысяч,— отвечал Кандид.

«Ну и ну! — опять подумал голландский купец.— Тридцать тысяч пиастров ничего не значат для этого человека; без сомнения, его бараны навьючены несметными сокровищами; не будем более настаивать, возьмем пока тридцать тысяч, а там увидим».

Кандид продал два некрупных алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед. Бараны были переправлены на судно. Кандид отправился вслед за ними в маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду.

— Увы! — воскликнул он.— Вот поступок, достойный обитателя Старого Света!

Кандид вернулся на берег, погруженный в горестные думы,— он потерял то, что могло бы обогатить двадцать монархов.

Он отправился к голландскому судье. Так как он был несколько взволнован, то сильно постучал в дверь, а войдя, рассказал о происшествии немного громче, чем следовало бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на десять тысяч пиастров за произведенный шум, потом терпеливо выслушал Кандида, обещал заняться его делом тотчас же, как возвратится купец, и заставил заплатить еще десять тысяч пиастров судебных издержек.

Этот порядок судопроизводства окончательно привел Кандида в отчаяние; ему пришлось испытать, правда, несчастья, в тысячу раз более тяжелые, но хладнокровие судьи и наглое воровство хозяина воспламенили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Людская злоба предстала перед ним во всем своем безобразии; в голову ему приходили только мрачные мысли. Наконец, когда стало известно, что в Бордо отплывает французский корабль, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных брильянтами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что заплатит за проезд, пропитание и даст сверх того еще две тысячи пиастров честному человеку, который захочет совершить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей этой провинции.

К нему явилась толпа претендентов, которую едва ли вместил бы и целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал человек двадцать, показавшихся ему довольно обходительными; все они утверждали, что вполне отвечают его требованиям. Он собрал их в кабачке и накормил ужином, потребовав, чтобы каждый поклялся правдиво рассказать свою историю; он обещал им выбрать того, кто покажется ему наиболее достойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве судьбою; остальным пообещал небольшое вознаграждение.

Беседа затянулась до четырех утра. Кандид, слушая рассказы собравшихся, вспоминал слова, сказанные ему старухой на пути в Буэнос-Айрес, и ее предложение побиться об заклад насчет того, что нет человека на корабле, который не перенес бы величайших несчастий. При каждом новом рассказе он возвращался мыслью к Панглосу.

«Панглосу,— думал он,— трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Все идет

хорошо, это правда, но только в одной-единственной из всех земных стран — в Эльдорадо».

Наконец он остановил свой выбор на бедном ученом, который десять лет гнул спину на амстердамских книгопродавцев. Кандид решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушить большее отвращение к жизни.

Этого ученого, который сверх того был добрый человек, обокрала жена, избил сын и покинула дочь, бежавшая с каким-то португальцем. Он лишился скромной должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социнианство. Говоря по правде, другие были не менее несчастны, чем он, но Кандид надеялся, что ученый разгонит его тоску во время путешествия. Все прочие претенденты нашли, что Кандид был к ним глубоко несправедлив, но он утешил их, подарив каждому по сто пиастров.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Что было с Кандидом и Мартеном на море

Итак, с Кандидом в Бордо отправился старый ученый по имени Мартен. Они оба многое повидали и многое испытали и, пока корабль плыл от Суринама до Японии, мимо мыса Доброй Надежды, успели всласть наговориться о зле нравственном и зле физическом.

У Кандида было большое преимущество перед Мартеном: он надеялся снова увидеть Кунигунду, а Мартену надеяться было не на что. Кроме того, у Кандида были золото и брильянты, и, хотя он потерял сто больших красных баранов, нагруженных величайшими в мире сокровищами, хотя не мог забыть о мошенничестве голландского купца, однако, вспоминая о том, что у него осталось, и рассказывая о Кунигунде, особенно к концу обеда, он опять склонялся к системе Панглоса.

— А вы, господин Мартен,— спрашивал он ученого,— что думаете обо всем этом вы? Какого мнения придерживаетесь о зле нравственном и физическом?

— Меня обвинили в том,—отвечал Мартен,— что я социнианин, но, сказать по правде, я манихей.

— Вы смеетесь надо мной,— сказал Кандид,— манихеев больше не осталось на свете.

— Остался я,— сказал Мартен.— Не знаю, как тут быть, но по-другому думать я не могу.

— Значит, в вас сидит дьявол? — спросил Кандид.

— Дьявол вмешивается во все дела этого мира,— сказал Мартен,— так что, может быть, он сидит и во мне и повсюду; признаюсь вам, бросив взгляд на этот земной шар, или, вернее, на этот шарик, я пришел к выводу, что господь уступил его какому-то зловредному существу; впрочем, я исключаю Эльдорадо. Мне ни разу не привелось видеть города, который не желал бы погибели соседнему городу, не привелось увидеть семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они пресмыкаются, а сильные обходятся с ними, как со стадом, шерсть и мясо которого продают. Миллион головорезов, разбитых на полки, носится по всей Европе, убивая и разбойничая, и зарабатывает этим себе на хлеб насущный, потому что более честному ремеслу эти люди не обучены. В городах, которые как будто наслаждаются благами и где цветут искусства, пожалуй, не меньше людей погибает от зависти, забот и треволнений, чем в осажденных городах от голода. Тайные печали еще более жестоки, чем общественные бедствия. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что я манихей.

— Однако на свете существует добро,— возразил Кандид.

— Может быть,— сказал Мартен,— но я с ним не знаком.

Они еще продолжали спорить, когда раздались пушечные выстрелы. Грохот разрастался с каждой минутой. Кандид и Мартен схватили подзорные трубы. На расстоянии около трех миль от них шел бой между двумя кораблями. Ветер подогнал их так близко к французскому кораблю, что наблюдать за боем было очень удобно. Наконец один из этих кораблей дал по другому столь удачный залп, что потопил его. Кандид и Мартен ясно видели сотню человек на палубе корабля, погружавшегося в воду; они все поднимали руки к небу, испуская страшные вопли; через минуту все исчезло в волнах.

— Ну, что? — сказал Мартен.— Вот видите, как люди обращаются друг с другом.

— Верно,— сказал Кандид.— В этом сражении есть нечто дьявольское.

Говоря так, он заметил какой-то ярко-красный блестящий предмет, плавающий неподалеку от корабля. Спустили шлюпку, чтобы рассмотреть, что это такое. Оказалось, это один из украденных баранов. Радость, испытанная Кандидом, когда этого барана выловили, во много раз превышала горе, пережитое им при потере ста баранов, груженных эльдорадскими брильянтами.

Французский капитан вскоре узнал, что капитан, потопивший корабль, был испанец, а капитан потопленного

корабля — голландский пират; это был тот самый купец, который обокрал Кандида. Неисчислимые богатства, украденные этим негодяем, вместе с ним пошли на дно морское, и спасся только один-единственный баран. «Вот видите,— сказал Кандид Мартену,— что преступление иногда бывает наказано; этот мерзавец, голландский купец, понес заслуженную кару».— «Да,— сказал Мартен,— но разве было так уж необходимо, чтобы погибли и пассажиры его корабля? Бог наказал плута, дьявол потопил всех остальных».

Между тем корабли французский и испанский продолжали свой путь, а Кандид продолжал беседовать с Мартеном. Они спорили пятнадцать дней кряду и на пятнадцатый день рассуждали точно так же, как в первый. Но что из того! Они говорили, обменивались мыслями, утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана.

— Раз я снова обрел тебя,— сказал он,— значит, обрету, конечно, и Кунигунду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Кандид и Мартен приближаются к берегам Франции и продолжают рассуждать

Наконец они увидели берега Франции.

— Бывали вы когда-нибудь во Франции? — спросил Кандид.

— Да,— сказал Мартен,— я объехал несколько французских провинций. В иных половина жителей безумны, в других чересчур хитры, кое-где добродушны, но туповаты, а есть места, где все сплошь остряки; но повсюду главное занятие — любовь, второе — злословие и третье — болтовня.

— Но, господин Мартен, а в Париже вы жили?

— Да, я жил в Париже. В нем средоточие всех этих качеств. Париж — это всесветная толчея, где всякий ищет удовольствий и почти никто их не находит,— так, по крайней мере, мне показалось. Я пробыл там недолго: едва я туда приехал, как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке. Притом меня самого приняли за вора, и я неделю отсидел в тюрьме; потом я поступил правщиком в типографию, чтобы было на что вернуться в Голландию хоть пешком. Навидался я всякой сволочи — писак, проныр и конвульсионеров. Говорят, в Париже есть вполне порядочные люди; хотелось бы этому верить.

— Что касается меня, то я не испытываю никакого желания изучать Францию,— сказал Кандид.— Сами понимае-

те, прожив месяц в Эльдорадо, уже не захочешь ничего видеть на земле, кроме Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции. Мы проедем через Францию в Италию. Не согласитесь ли вы меня сопровождать?

— Очень охотно,— сказал Мартен.— Говорят, в Венеции хорошо живется только венецианским нобилям, но, однако, там хорошо принимают и иностранцев, если у них водятся деньги. У меня денег нет, зато у вас их много. Я согласен следовать за вами повсюду.

— Кстати,— сказал Кандид,— думаете ли вы, что земля первоначально была морем, как это написано в толстой книге, которая принадлежит капитану корабля?

— Я этому не верю,— сказал Мартен,— да и вообще больше не верю фантазиям, которые нам с давних пор вбивают в голову.

— А все же, с какой целью был создан этот мир? — спросил Кандид.

— Чтобы постоянно бесить нас,— отвечал Мартен.

— Но разве не удивила вас,— продолжал Кандид,— любовь этих двух орельонских девушек к обезьянам, о которой я вам рассказывал?

— Нисколько,— сказал Мартен.— Не вижу в этой страсти ничего странного; я столько видел удивительного на своем веку, что меня уже ничего не удивляет.

— Как вы думаете,— спросил Кандид,— люди всегда уничтожали друг друга, как в наше время? Всегда ли они были лжецами, плутами, неблагодарными, изменниками, разбойниками, ветрениками, малодушными, трусами, завистниками, обжорами, пьяницами, скупцами, честолюбцами, клеветниками, злодеями, развратниками, фанатиками, лицемерами и глупцами?

— А как вы считаете,— спросил Мартен,— когда ястребам удавалось поймать голубей, они всегда расклевывали их?

— Да, без сомнения,— сказал Кандид.

— Так вот,— сказал Мартен,— если свойства ястребов не изменились, можете ли вы рассчитывать, что они изменились у людей?

— Ну, знаете,— сказал Кандид,—разница все же очень большая, потому что свободная воля...

Рассуждая таким образом, они прибыли в Бордо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Что случилось с Кандидом и Мартеном во Франции

Кандид провел в Бордо ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы продать несколько эльдорадских брильянтов и приобрести хорошую двухместную коляску, ибо теперь он уже не мог обойтись без своего философа Мартена; его огорчала только разлука с бараном, которого он подарил Бордоской академии наук. Академия объявила конкурс, предложив соискателям выяснить, почему шерсть у этого барана красная. Премия была присуждена одному ученому с севера, доказавшему посредством формулы А плюс В минус С, деленное на X, что баран неизбежно должен быть красным и что он умрет от овечьей оспы.

Между тем все путешественники, которых Кандид встречал в придорожных кабачках, говорили ему:

— Мы едем в Париж.

Всеобщее стремление в столицу возбудило в нем наконец желание поглядеть на нее, тем более что для этого почти не приходилось отклоняться от прямой дороги на Венецию.

Он въехал в город через предместье Сен-Марсо, и ему показалось, что он попал в наихудшую из вестфальских деревушек.

Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось легкое недомогание от усталости. Так как все заметили, что у него на пальце красуется огромный брильянт, а в экипаже лежит очень тяжелая шкатулка, то к нему сейчас же пришли два врача, которых он не звал, несколько близких друзей, которые ни на минуту не оставляли его одного, и две святоши, которые разогревали ему бульон. Мартен сказал:

— Я вспоминаю, что тоже заболел во время моего первого пребывания в Париже. Но я был очень беден, и около меня не было ни друзей, ни святош, ни докторов, поэтому я выздоровел.

Между тем с помощью врачей и кровопусканий Кандид расхворался не на шутку. Один завсегдатай гостиницы очень любезно попросил у него денег в долг под вексель с уплатою в будущей жизни. Кандид отказал. Святоши уверяли, что такова новая мода; Кандид ответил, что он совсем не модник. Мартен хотел выбросить просителя в окно. Клирик поклялся, что Кандида после смерти откажутся хоронить. Мартен поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвяжется. Разгорелся спор, Мартен взял клирика за плечи и грубо его

вытолкал. Произошел большой скандал, и был составлен протокол.

Кандид выздоровел, а пока он выздоравливал, у него собиралась за ужином славная компания. Велась крупная игра. Кандид очень удивлялся, что к нему никогда не шли тузы, но Мартена это нисколько не удивляло.

Среди гостей Кандида был аббатик из Перигора, из того сорта хлопотунов, веселых, услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые подстерегают проезжих иностранцев, рассказывают им столичные сплетни и предлагают развлечения на любую цену. Аббатик прежде всего повел Кандида и Мартена в театр. Там играли новую трагедию. Кандид сидел рядом с несколькими остроумцами, что не мешало ему плакать над сценами, превосходно сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте:

— Вы напрасно плачете: эта актриса очень плоха, актер, который играет с нею, и того хуже, а пьеса еще хуже актеров. Автор ни слова не знает по-арабски, между тем действие происходит в Аравии; кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи. Я принесу вам завтра несколько брошюр, направленных против него.

— А сколько всего театральных пьес во Франции? — спросил Кандид аббата.

— Тысяч пять-шесть,— ответил тот.

— Это много,— сказал Кандид.— А сколько из них хороших?

— Пятнадцать — шестнадцать,— ответил тот.

— Это много,— сказал Мартен.

Кандид остался очень доволен актрисою, которая играла королеву Елизавету в одной довольно плоской трагедии, еще удержавшейся в репертуаре.

— Эта актриса,— сказал он Мартену,— мне очень нравится, в ней есть какое-то сходство с Кунигундой. Мне хотелось бы познакомиться с нею.

Аббат из Перигора предложил ввести его к ней в дом. Кандид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается этикет и как обходятся во Франции с английскими королевами.

— Это как где,— сказал аббат.— В провинции их водят в кабачки, а в Париже боготворят, пока они красивы, и отвозят на свалку, когда они умирают.

— Королев на свалку? — удивился Кандид.

— Да,— сказал Мартен,— господин аббат прав. Я был в Париже, когда госпожа Монима перешла, как говорится, из этого мира в иной; ей отказали в том, что эти господа назы-

вают «посмертными почестями», то есть в праве истлевать на скверном кладбище, где хоронят всех плутов с окрестных улиц. Товарищи по сцене погребли ее отдельно на углу Бургонской улицы. Должно быть, она была очень опечалена этим, у нее были такие возвышенные чувства.

— С ней поступили крайне неучтиво,— сказал Кандид.

— Чего вы хотите? — сказал Мартен.— Таковы эти господа. Вообразите самые немыслимые противоречия и несообразности — и вы найдете их в правительстве, в судах, в церкви, в зрелищах этой веселой нации.

— Правда ли, что парижане всегда смеются? — спросил Кандид.

— Да,— сказал аббат,— но это смех от злости. Здесь жалуются на все, покатываясь со смеху, и, хохоча, совершают гнусности.

— Кто,— спросил Кандид,— этот жирный боров, который наговорил мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до слез и об актерах, доставивших мне столько удовольствия?

— Это злоязычник,— отвечал аббат.— Он зарабатывает себе на хлеб тем, что бранит все пьесы, все книги. Он ненавидит удачливых авторов, как евнухи — удачливых любовников; он из тех ползучих писак, которые питаются ядом и грязью; короче, он — газетный пасквилянт.

— Что это такое — газетный пасквилянт? — спросил Кандид.

— Это,— сказал аббат,— бумагомаратель, вроде Фрерона.

Так рассуждали Кандид, Мартен и перигориец, стоя на лестнице, во время театрального разъезда.

— Хотя мне и не терпится вновь увидеть Кунигунду,— сказал Кандид,— я все-таки поужинал бы с госпожою Клерон, так я ею восхищаюсь.

Аббат не был вхож к госпоже Клерон, которая принимала только избранное общество.

— Она сегодня занята,— сказал он,— но я буду счастлив, если вы согласитесь поехать со мной к одной знатной даме: там вы так узнаете Париж, как если бы прожили в нем четыре года.

Кандид, который был от природы любопытен, согласился пойти к даме в предместье Сент-Оноре. Там играли в фараон: двенадцать унылых понтеров держали в руках карты — суетный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание, лица понтеров были бледны, озабоченно было и лицо банкомета. Хозяйка дома сидела возле этого неумолимого банкомета и рысьими глазами следила за тем, как гнут пароли: все попытки сплутовать она останавливала решительно, но вежливо и

без раздражения, чтобы не растерять клиентов. Эта дама именовала себя маркизою де Паролиньяк. Ее пятнадцатилетняя дочь была в числе понтеров и взглядом указывала матери на мошенничества несчастных, пытавшихся смягчить жестокость судьбы.

Аббат-перигориец, Кандид и Мартен вошли; никто не поднялся, не поздоровался с ними, не взглянул на них; все были поглощены картами.

— Госпожа баронесса Тундер-тен-Тронк была учтивее,— сказал Кандид.

Тем временем аббат шепнул что-то на ухо маркизе, та приподнялась и приветствовала Кандида любезной улыбкой, а Мартена — величественным кивком. Она указала место и протянула колоду карт Кандиду, который проиграл пятьдесят тысяч франков в две тальи. Потом все весело поужинали, весьма удивляясь, однако, тому, что Кандид не опечален своим проигрышем; лакеи говорили между собою на своем лакейском языке:

— Должно быть, это какой-нибудь английский милорд.

Ужин был похож на всякий ужин в Париже: сначала молчание, потом неразборчивый словесный гул, потом шутки, большей частью несмешные, лживые слухи, глупые рассуждения, немного политики и много злословия; говорили даже о новых книгах.

— Вы читали,— спросил аббат-перигориец,— роман господина Гоша́, доктора богословия?

— Да,— ответил один из гостей,— но так и не смог его одолеть. Много у нас нелепых писаний, но и все вместе они не так нелепы, как книга Гоша́, доктора богословия; я так пресытился этим потоком отвратительных книг, которым нас затопляют, что пустился понтировать.

— А заметки архидьякона Т..., что вы о них скажете? — спросил аббат.

— Ах,— сказала госпожа Паролиньяк,— он скучнейший из смертных! С какой серьезностью преподносит он то, что и так всем известно! Как длинно рассуждает о том, о чем и походя говорить не стоит! Как тупо присваивает себе чужое остроумие! Как портит все, что ему удается украсть! Какое отвращение он мне внушает! Но впредь он уже не будет мне докучать: с меня довольно и тех страниц архидьякона, которые я прочла.

За столом оказался некий ученый, человек со вкусом,— он согласился с мнением маркизы. Потом заговорили о трагедии. Хозяйка спросила:

— Почему иные трагедии можно смотреть, но невозможно читать?

Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть занимательной и при этом не имеющей почти никаких литературных достоинств: он доказал в немногих словах, что недостаточно одного или двух положений, которые встречаются во всех романах и всегда подкупают зрителей,— надо еще поразить новизной, не отвращая странностью, подчас подниматься до высот пафоса, всегда сохраняя естественность, знать человеческое сердце и заставить его говорить, быть большим поэтом, но не превращать в поэтов действующих лиц пьесы, в совершенстве знать родной язык, блюсти его законы, хранить гармонию и не жертвовать смыслом ради рифмы.

— Кто не соблюдает этих правил,— продолжал он,— тот способен сочинить одну-две трагедии, годные для сцены, но никогда не займет места в ряду хороших писателей. У нас очень мало хороших трагедий. Иные пьесы — это идиллии в диалогах, неплохо написанные и неплохо срифмованные; другие — наводящие сон политические трактаты или отвратительно многословные пересказы; некоторые представляют собою бред бесноватого, изложенный бессвязным, варварским слогом, с длинными воззваниями к богам, потому что автор не умеет говорить с людьми, с неверными положениями, с напыщенными общими местами.

Кандид слушал эту речь внимательно и проникся глубоким уважением к говоруну; а так как маркиза позаботилась посадить его рядом с собой, то он наклонился к ней и шепотом спросил, кто этот человек, который так хорошо говорил.

— Это ученый,— сказала дама,— который не играет; вместе с аббатом он иногда приходит ко мне ужинать. Он знает толк в трагедиях и в книгах и сам написал трагедию, которую освистали, и книгу, которую никогда не видели вне лавки его книгопродавца, за исключением одного экземпляра, подаренного им мне.

— Великий человек! — сказал Кандид.— Это второй Панглос.— Затем, обернувшись к нему, он спросил: — Вы, без сомнения, думаете, что все к лучшему в мире физическом и нравственном и что иначе не может и быть?

— Совсем напротив,— отвечал ему ученый,— я нахожу, что у нас все идет навыворот, никто не знает, каково его положение, в чем его обязанности, что он делает и чего делать не должен. Не считая этого ужина, который проходит довольно весело, так как сотрапезники проявляют достаточное единодушие, все наше время занято нелепыми раздорами:

янсенисты выступают против молинистов, законники против церковников, литераторы против литераторов, придворные против придворных, финансисты против народа, жены против мужей, родственники против родственников. Это непрерывная война.

Кандид возразил ему:

— Я видел вещи и похуже, но один мудрец, который имел несчастье попасть на виселицу, учил меня, что все в мире отлично, а зло — только тень на прекрасной картине.

— Ваш висельник издевался над людьми,— сказал Мартен,— а ваши тени — отвратительные пятна.

— Пятна сажают люди,— сказал Кандид,— они никак не могут обойтись без пятен.

— Значит, это не их вина,— сказал Мартен.

Большая часть понтеров, ничего не понимая в этом разговоре, продолжала пить; Мартен беседовал с ученым, а Кандид рассказывал о некоторых своих приключениях хозяйке дома.

После ужина маркиза повела Кандида в свой кабинет и усадила его на кушетку.

— Итак, вы все еще без памяти от баронессы Кунигунды Тундер-тен-Тронк? — спросила она его.

— Да, сударыня,— отвечал Кандид.

Маркиза сказала ему с нежной улыбкой:

— Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии. Француз сказал бы: да, я любил баронессу Кунигунду, но, увидев вас, сударыня, боюсь, что перестал ее любить.

— О сударыня,— сказал Кандид,— я отвечу, как вам будет угодно.

— Вы загорелись страстью к ней,— сказала маркиза,— когда подняли ее платок. Я хочу, чтобы вы подняли мою подвязку.

— С большим удовольствием,— сказал Кандид и поднял подвязку.

— Но я хочу, чтобы вы мне ее надели,— сказала дама.

Кандид исполнил и это.

— Дело в том,— сказала дама,— что вы иностранец; своих парижских любовников я иногда заставляю томиться по две недели, но вам отдаюсь с первого вечера, потому что надо же быть гостеприимной с молодым человеком из Вестфалии.

Заметив два огромных брильянта на пальцах молодого иностранца, красавица так расхвалила их, что они тут же перешли на ее собственные пальцы.

Кандид, возвращаясь домой с аббатом-перигорийцем, тер-

зался угрызениями совести из-за измены Кунигунде. Аббат всей душой разделял его печаль: он получил всего лишь малую толику из пятидесяти тысяч франков, проигранных Кандидом, и из стоимости двух брильянтов, полуподаренных, полувыпрошенных. Он твердо решил воспользоваться всеми преимуществами, которые могло ему доставить знакомство с Кандидом. Он охотно говорил с Кандидом о Кунигунде, и тот сказал, что выпросит прощение у своей красавицы, когда увидит ее в Венеции.

Перигориец удвоил любезность и внимание и выказал трогательное сочувствие ко всему, что Кандид ему говорил, ко всему, что он делал, ко всему, что собирался делать.

— Значит, у вас назначено свидание в Венеции? — спросил он.

— Да, господин аббат,— сказал Кандид,—я непременно должен там встретиться с Кунигундой.

Потом, радуясь возможности говорить о той, кого любил, Кандид рассказал, по своему обыкновению, часть своих похождений с этой знаменитой уроженкой Вестфалии.

— Полагаю,— сказал аббат,— что баронесса Кунигунда очень умна и умеет писать прелестные письма.

— Я никогда не получал от нее писем,— сказал Кандид.— Посудите сами, мог ли я писать Кунигунде, будучи изгнанным из замка за любовь к ней? Потом меня уверили, будто она умерла, потом я снова нашел ее и снова потерял; я отправил к ней, за две тысячи пятьсот миль отсюда, посланца и теперь жду ее ответа.

Аббат выслушал его внимательно и, казалось, призадумался. Вскоре он ушел, нежно обняв на прощанье обоих иностранцев. Назавтра, проснувшись поутру, Кандид получил письмо такого содержания:

«Дорогой мой возлюбленный! Я здесь уже целую неделю и лежу больная. Я узнала, что вы здесь, и полетела бы к вам в объятия, но не могу двинуться. Я узнала о вашем прибытии в Бордо; там я оставила верного Какамбо и старуху, которые приедут вслед за мной. Губернатор Буэнос-Айреса взял все, но у меня осталось ваше сердце. Я вас жду, ваш приход возвратит мне жизнь или заставит умереть от радости».

Это прелестное, это неожиданное письмо привело Кандида в неизъяснимый восторг; но болезнь милой Кунигунды удручала его. Раздираемый столь противоречивыми чувствами, он берет свое золото и брильянты и едет с Мартеном в гостиницу, где остановилась Кунигунда. Он входит, трепеща от волнения, сердце его бьется, голос прерывается. Он откидывает полог постели, приказывает принести свет.

— Что вы делаете,— говорит ему служанка,— свет ее убьет.— И тотчас же задергивает полог.

— Дорогая моя Кунигунда,— плача, говорит Кандид,— как вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, хотя бы скажите мне что-нибудь.

— Она не в силах говорить,— произносит служанка.

Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую Кандид сперва долго орошает слезами, а потом наполняет брильянтами; на кресло он кладет мешок с золотом.

В это время входит полицейский, сопровождаемый аббатом-перигорийцем и стражею.

— Так вот они,— говорит полицейский,— эти подозрительные иностранцы.

Он приказывает своим молодцам схватить их и немедленно отвести в тюрьму.

— Не так обращаются с иностранцами в Эльдорадо,— говорит Кандид.

— Я теперь еще более манихей, чем когда бы то ни было,— говорит Мартен.

— Куда же вы нас ведете? — спрашивает Кандид.

— В яму,— отвечает полицейский.

Мартен, к которому вернулось его обычное хладнокровие, рассудил, что дама, выдававшая себя за Кунигунду,— мошенница, господин аббат-перигориец — мошенник, ловко злоупотребивший доверчивостью Кандида, да и полицейский тоже мошенник, от которого легко будет откупиться.

Чтобы избежать судебной процедуры, Кандид, вразумленный советом Мартена и горящий нетерпением снова увидеть настоящую Кунигунду, предлагает полицейскому три маленьких брильянта стоимостью в три тысячи пистолей каждый.

— Ах, господин,— говорит ему человек с жезлом из слоновой кости,— да соверши вы все мыслимые преступления, все-таки вы были бы честнейшим человеком на свете. Три брильянта, каждый в три тысячи пистолей! Господин, пусть мне не сносить головы, но в тюрьму я вас не упрячу. Арестовывают всех иностранцев, но тем не менее я все улажу: у меня брат в Дьеппе в Нормандии, я вас провожу туда, и если у вас найдется брильянт и для него, он позаботится о вас, как забочусь сейчас я.

— А почему арестовывают всех иностранцев? — спросил Кандид.

Тут взял слово аббат-перигориец:

— Их арестовывают потому, что какой-то негодяй из Артебазии, наслушавшись глупостей, покусился на отцеубийст-

во,— не такое, как в тысяча шестьсот десятом году, в мае, а такое, как в тысяча пятьсот девяносто четвертом году, в декабре; да и в другие годы и месяцы разные людишки, тоже наслушавшись глупостей, совершали подобное.

Полицейский объяснил, в чем дело.

— О, чудовища! — воскликнул Кандид.— Такие ужасы творят сыны народа, который пляшет и поет! Поскорее бы мне выбраться из страны, где обезьяны ведут себя, как тигры. Я видел медведей на моей родине,— людей я встречал только в Эльдорадо. Ради бога, господин полицейский, отправьте меня в Венецию, где я должен дожидаться Кунигунды.

— Я могу отправить вас только в Нормандию,— сказал полицейский.

Затем он снимает с него кандалы, говорит, что вышла ошибка, отпускает своих людей, везет Кандида и Мартена в Дьепп и поручает их своему брату. На рейде стоял маленький голландский корабль. Нормандец, получив три брильянта, сделался самым услужливым человеком на свете; он посадил Кандида и его слуг на корабль, который направлялся в Портсмут, в Англию. Это не по дороге в Венецию, но Кандиду казалось, что он вырвался из преисподней, а поездку в Венецию он рассчитывал предпринять при первом удобном случае.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Что Кандид и Мартен увидали на английском берегу

— Ах, Панглос, Панглос! Ах, Мартен, Мартен! Ах, моя дорогая Кунигунда! Что такое наш подлунный мир? — восклицал Кандид на палубе голландского корабля.

— Нечто очень глупое и очень скверное,— отвечал Мартен.

— Вы хорошо знаете англичан? Они такие же безумцы, как французы?

— У них другой род безумия,— сказал Мартен.— Вы знаете, эти две нации ведут войну из-за клочка обледенелой земли в Канаде и израсходовали на эту достойную войну гораздо больше, чем стоит вся Канада. Мои слабые познания не позволяют мне сказать вам точно, в какой из этих двух стран больше людей, на которых следовало бы надеть смирительную рубашку. Знаю только, что в общем люди, которых мы увидим, весьма желчного нрава.

Беседуя так, они прибыли в Портсмут. На берегу толпился народ; все внимательно глядели на дородного человека,

который с завязанными глазами стоял на коленях на палубе военного корабля; четыре солдата, стоявшие напротив этого человека, преспокойно всадили по три пули в его череп, и публика разошлась, чрезвычайно довольная.

— Что же это такое, однако? — сказал Кандид.— Какой демон властвует над землей?

Он спросил, кем был этот толстяк, которого убили столь торжественно.

— Адмирал,— отвечали ему.

— А за что убили этого адмирала?

— За то,— сказали ему,— что он убил слишком мало народу; он вступил в бой с французским адмиралом и, по мнению наших военных, подошел к врагу недостаточно близко.

— Но,— сказал Кандид,— ведь и французский адмирал был так же далеко от английского адмирала, как английский от французского?

— Несомненно,— отвечали ему,— но в нашей стране полезно время от времени убивать какого-нибудь адмирала, чтобы взбодрить других.

Кандид был так ошеломлен и возмущен всем увиденным и услышанным, что не захотел даже сойти на берег и договорился со своим голландским судовладельцем (даже с риском быть обворованным, как в Суринаме), чтобы тот без промедления доставил его в Венецию.

Через два дня корабль был готов к отплытию. Обогнули Францию, проплыли мимо Лиссабона — и Кандид затрепетал. Вошли через пролив в Средиземное море; наконец добрались до Венеции.

— Слава богу,— сказал Кандид, обнимая Мартена,— здесь я снова увижу прекрасную Кунигунду. Я надеюсь на Какамбо, как на самого себя. Все хорошо, все прекрасно, все идет как нельзя лучше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

О Пакете и о брате Жирофле

Как только Кандид приехал в Венецию, он принялся разыскивать Какамбо во всех кабачках, во всех кофейнях, у всех веселых девиц, но нигде не нашел его. Он ежедневно посылал справляться на все корабли, на все барки; ни слуху ни духу о Какамбо.

— Как! — говорил он Мартену.— Я успел за это время попасть из Суринама в Бордо, добраться из Бордо в Париж, из Парижа в Дьепп, из Дьеппа в Портсмут, обогнуть Порту-

галию и Испанию, переплыть все Средиземное море, провести несколько месяцев в Венеции, а прекрасной Кунигунды все нет. Вместо нее я встретил лишь непотребную женщину и аббата-перигорийца. Кунигунда, без сомнения, умерла,— остается умереть и мне. Ах, лучше бы мне навеки поселиться в эльдорадском раю и не возвращаться в эту гнусную Европу. Вы правы, милый Мартен: все в жизни обманчиво и превратно.

Он впал в черную меланхолию и не выказывал никакого интереса к опере alla moda[1] и к другим карнавальным увеселениям; ни одна дама не тронула его сердца. Мартен сказал ему:

— Поистине, вы очень простодушны, если верите, будто слуга-метис, у которого пять-шесть миллионов в кармане, поедет отыскивать вашу любовницу на край света и привезет ее вам в Венецию. Он возьмет ее себе, если найдет; а не найдет — возьмет другую; советую вам, забудьте вашего слугу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду.

Слова Мартена не были утешительны. Меланхолия Кандида усилилась, а Мартен без устали доказывал ему, что на земле нет ни чести, ни добродетели, разве что в Эльдорадо, куда путь всем заказан.

Рассуждая об этих важных предметах и дожидаясь Кунигунды, Кандид заметил на площади св. Марка молодого театинца, который держал под руку какую-то девушку. У театинца, мужчины свежего, полного, сильного, были блестящие глаза, уверенный взгляд, надменный вид, горделивая походка. Девушка, очень хорошенькая, что-то напевала; она влюбленно смотрела на своего театинца и порою щипала его за толстую щеку.

— Согласитесь,— сказал Кандид Мартену,— что хоть эти-то люди счастливы. До сих пор на всей обитаемой земле, исключая Эльдорадо, я встречал одних только несчастных; но готов биться об заклад, что эта девушка и этот театинец очень довольны жизнью.

— А я бьюсь об заклад, что нет.

— Пригласим их на обед,— сказал Кандид,— и тогда посмотрим, кто прав.

Тотчас же он подходит к ним, любезно приветствует и приглашает их зайти в гостиницу откушать макарон, ломбардских куропаток, осетровой икры, выпить вина «Монтепульчано», «Лакрима-Кристи», кипрского и самосского. Барышня покраснела, театинец принял предложение, и она

[1] Модной, пользующейся успехом *(ит.)*.

последовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и смущенными глазами, на которые набегали слезы.

Едва войдя в комнату Кандида, она сказала ему:

— Неужели, господин Кандид, вы не узнаете Пакеты?

При этих словах Кандид, который до того времени смотрел на нее рассеянным взором, потому что был занят только мыслями о Кунигунде, воскликнул:

— Мое бедное дитя, вас ли я вижу? Когда я встретил доктора Панглоса, он был в славном состоянии, и виноваты в этом были вы, не так ли?

— Увы! Это действительно я,— сказала Пакета.— Значит, вы уже все знаете. Я слышала о страшных несчастьях, постигших семью госпожи баронессы и прекрасной Кунигунды. Клянусь вам, моя участь не менее печальна. Я была еще очень неопытна, когда вы меня знали. Один кордельер, мой духовник, без труда обольстил меня. Последствия были ужасны; мне пришлось покинуть замок вскоре после того, как господин барон выставил вас оттуда здоровыми пинками в зад. Я умерла бы, если бы надо мной не сжалился один искусный врач. В благодарность за это я некоторое время была любовницей этого врача. Его жена, ревнивая до бешенства, немилосердно избивала меня каждый день; не женщина, а настоящая фурия. Этот врач был безобразнейшим из людей, а я несчастнейшим из всех земных созданий: подумайте сами, каково постоянно ходить в синяках из-за человека, которого не любишь! Вы понимаете, господин Кандид, как опасно для сварливой женщины быть женой врача. Доктор, выведенный из себя поведением жены, дал ей выпить однажды, чтобы вылечить легкую простуду, такое сильное лекарство, что через два часа она умерла в страшных судорогах. Родственники дамы притянули его к уголовному суду; он сбежал, а меня упрятали в тюрьму. Моя невиновность не спасла бы меня, не будь я недурна собой. Судья меня освободил с условием, что он наследует врачу. Вскоре у меня появилась соперница, и меня выгнали без всякого вознаграждения. Я принуждена была снова взяться за это гнусное ремесло, которое вам, мужчинам, кажется таким приятным, а нам сулит неисчислимые бедствия. Я уехала в Венецию. Ах, господин Кандид, вы не представляете себе, что это значит — быть обязанной ласкать без разбора и дряхлого купца, и адвоката, и монаха, и гондольера, и аббата, подвергаясь при этом несчетным обидам, несчетным притеснениям! Иной раз приходится брать напрокат юбку, чтобы ее потом задрал какой-нибудь омерзительный мужчина. А бывает, все, что получишь с одного, украдет другой. Даешь взятки чиновни-

кам, а впереди видишь только ужасную старость, больницу, свалку. Поверьте, я — одно из самых несчастных созданий на свете.

В таких словах Пакета открыла свое сердце доброму Кандиду; присутствовавший при этом Мартен сказал ему:

— Вот видите, я уже наполовину выиграл пари.

— Но позвольте,— сказал Кандид Пакете,— у вас был такой веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил; вы пели, вы ласкали театинца так нежно и непринужденно! Право, вы показались мне столь же счастливою, сколь, по вашему утверждению, вы несчастны.

— Ах, господин Кандид,— отвечала Пакета,— вот еще одна из бед моего ремесла: вчера меня обокрал и избил какой-то офицер, а сегодня я должна казаться веселою, чтобы угодить монаху.

С Кандида было довольно — он признал, что Мартен прав. Они сели за стол с Пакетой и театинцем; обед прошел довольно оживленно, и под конец все разоткровенничались.

— Отец мой,— сказал Кандид монаху,— вы, мне кажется, так наслаждаетесь жизнью, что всякий вам позавидует; у вас цветущее здоровье, ваша физиономия выражает счастье, вы развлекаетесь с хорошенькой девушкой и как будто вполне довольны тем, что стали театинцем.

— Признаться, я хотел бы, чтобы все театинцы сгинули в морской пучине,— сказал брат Жирофле.— Сотни раз брало меня искушение поджечь монастырь и сделаться турком. Мои родители заставили меня в пятнадцать лет надеть эту ненавистную рясу, чтобы увеличить наследство моего старшего брата, да поразит его, проклятого, господь бог! В обители царят раздоры, зависть, злоба. Правда, я произнес несколько плохих проповедей, и они принесли мне немного денег; впрочем, половину отобрал у меня настоятель; остальные я трачу на девчонок. Но когда я возвращаюсь вечером в монастырь, мне хочется разбить себе голову о стены дортуара. Все мои собратья чувствуют себя не лучше, чем я.

Мартен обратился к Кандиду с обычным своим хладнокровием:

— Не считаете ли вы, что я выиграл всё пари целиком?

Кандид дал две тысячи пиастров Пакете и тысячу — брату Жирофле.

— Ручаюсь вам,— сказал он,— что с этими деньгами они будут счастливы.

— Как раз напротив,— сказал Мартен,— ваши пиастры, быть может, сделают их еще несчастнее.

— Ну, будь что будет,— сказал Кандид,— но кое-что меня все же утешает: я вижу, порою встречаешь людей, которых уже и не надеялся встретить. Если я нашел моего красного барана и Пакету, то, возможно, найду и Кунигунду.

— От души желаю,— сказал Мартен,— чтобы она когда-нибудь составила ваше счастье, но сильно сомневаюсь в этом.

— Вы очень жестоки,— сказал Кандид.

— У меня немалый опыт,— сказал Мартен.

— Вот посмотрите на этих гондольеров,— сказал Кандид,— они поют не умолкая!

— Вы не знаете, какие они дома, с женами и несносными детишками,— сказал Мартен.— У дожа свои печали, у гондольеров — свои. Правда, все-таки участь гондольера завиднее, нежели участь дожа, но, я думаю, разница так невелика, что о ней и говорить не стоит.

— Мне рассказывали,— сказал Кандид,— о сенаторе Пококуранте, который живет в прекрасном дворце на Бренте и довольно охотно принимает иностранцев. Утверждают, будто этот человек никогда не ведал горя.

— Хотел бы я посмотреть на такое диво,— сказал Мартен.

Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуранте позволения навестить его на следующий день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Визит к синьору Пококуранте, благородному венецианцу

Кандид и Мартен сели в гондолу и поплыли по Бренте ко дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены великолепными мраморными статуями; архитектура дворца не оставляла желать лучшего. Хозяин дома, человек лет шестидесяти, известный богач, принял наших любознательных путешественников учтиво, но без особой предупредительности, что смутило Кандида и, пожалуй, понравилось Мартену.

Сначала две девушки, опрятно одетые и хорошенькие, подали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость.

— Они довольно милые создания,— согласился сенатор.— Иногда я беру их к себе в постель, потому что городские дамы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать в их честь; но и эти девушки начинают мне надоедать.

Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галерее, был поражен красотою висевших там картин. Он спросил, каким художником написаны первые две.

— Они кисти Рафаэля,— сказал хозяин дома.— Несколько лет назад я из тщеславия заплатил за них слишком дорого. Говорят, они из лучших в Италии, но я не нахожу в них ничего хорошего: краски очень потемнели, лица недостаточно округлы и выпуклы, драпировка ничуть не похожа на настоящую материю,— одним словом, что бы там ни говорили, я не вижу здесь верного подражания природе. Картина нравится мне только тогда, когда при взгляде на нее я словно созерцаю самое природу, но таких картин не существует. У меня много полотен, но я уже более не смотрю на них.

Пококуранте в ожидании обеда позвал музыкантов. Кандиду музыка показалась восхитительной.

— Этот шум,— сказал Пококуранте,— можно с удовольствием послушать полчаса, не больше, потом он всем надоедает, хотя никто не осмеливается в этом признаться. Музыка нынче превратилась в искусство умело исполнять трудные пассажи, а то, что трудно, не может нравиться долго. Я, может быть, любил бы оперу, если бы не нашли секрета, как превращать ее в отвратительное чудище. Пусть кто хочет смотрит и слушает плохонькие музыкальные трагедии, сочиненные только для того, чтобы совсем некстати ввести несколько глупейших песен, в которых актриса щеголяет своим голосом; пусть кто хочет и может замирает от восторга при виде кастрата, напевающего монологи Цезаря или Катона и спесиво расхаживающего на подмостках. Что касается меня, я давно махнул рукой на этот вздор, который в наши дни прославил Италию и так дорого ценится высочайшими особами.

Кандид немного поспорил, но без особой горячности. Мартен согласился с сенатором.

Сели за стол, а после превосходного обеда перешли в библиотеку. Кандид, увидев Гомера, прекрасно переплетенного, начал расхваливать вельможу за его безукоризненный вкус.

— Вот книга,— сказал он,— которой всегда наслаждался великий Панглос, лучший философ Германии.

— Я ею отнюдь не наслаждаюсь,— холодно промолвил Пококуранте.— Когда-то мне внушали, что, читая ее, я должен испытывать удовольствие, но эти постоянно повторяющиеся сражения, похожие одно на другое, эти боги, которые вечно суетятся, но ничего решительного не делают, эта Елена, которая, послужив предлогом для войны, почти не уча-

ствует в действии, эта Троя, которую осаждают и никак не могут взять,— все это нагоняет на меня смертельную скуку. Я спрашивал иной раз ученых, не скучают ли они так же, как я, при этом чтении. Все прямодушные люди признались мне, что книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь в библиотеке, как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся в обращении.

— Ваша светлость, конечно, иначе судит о Вергилии? — спросил Кандид.

— Должен признать,— сказал Пококуранте,— что вторая, четвертая и шестая книги его «Энеиды» превосходны; но что касается благочестивого Энея, и могучего Клоанта, и друга Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина, и пошлой Аматы, и несносной Лавинии, то вряд ли сыщется еще что-нибудь, столь же холодное и неприятное. Я предпочитаю Тассо и невероятные россказни Ариосто.

— Осмелюсь спросить,— сказал Кандид,— не испытываете ли вы истинного удовольствия, когда читаете Горация?

— У него есть мысли,— сказал Пококуранте,— из которых просвещенный человек может извлечь пользу; будучи крепко связаны энергичным стихом, они легко удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, грубая ссора неведомого Рупилия, слова которого, по выражению стихотворца, «полны гноя», с кем-то, чьи слова «пропитаны уксусом». Я читал с чрезвычайным отвращением его грубые стихи против старух и колдуний и не нахожу ничего, достойного похвалы, в обращении Горация к другу Меценату, в котором он говорит, что если этот самый Меценат признает его лирическим поэтом, то он достигнет звезд своим возвышенным челом. Глупцы восхищаются всем в знаменитом писателе, но я читаю для собственного услаждения и люблю только то, что мне по душе.

Кандид, которого с детства приучили ни о чем не иметь собственного суждения, был сильно удивлен речью Пококуранте, а Мартен нашел такой образ мыслей довольно разумным.

— О, я вижу творения Цицерона! — воскликнул Кандид.— Ну, этого-то великого человека вы, я думаю, перечитываете постоянно?

— Я никогда его не читаю,— отвечал венецианец.— Какое мне дело до того, кого он защищал в суде — Рабирия или Клуенция? С меня хватает тяжб, которые я сам вынужден разбирать. Уж скорее я примирился бы с его философскими произведениями; но, обнаружив, что и он во всем

сомневался, я заключил, что знаю столько же, сколько он, а чтобы оставаться невеждой, мне чужой помощи не надо.

— А вот и труды Академии наук в восьмидесяти томах! — воскликнул Мартен.— Возможно, в них найдется кое-что разумное.

— Безусловно,— сказал Пококуранте,— если бы среди авторов этой чепухи нашелся человек, который изобрел бы способ изготовлять — ну, скажем, булавки. Но во всех этих томах одни только бесполезные отвлеченности и ни одной полезной статьи.

— Сколько театральных пьес я вижу здесь,— сказал Кандид,— итальянских, испанских, французских!

— Да,— сказал сенатор,— их три тысячи, но не больше трех десятков действительно хороши. Что касается этих сборников проповедей, которые все, вместе взятые, не стоят одной страницы Сенеки, и всех этих богословских фолиантов, вы, конечно, понимаете, что я никогда не заглядываю в них, да и никто не заглядывает.

Мартен обратил внимание на полки, уставленные английскими книгами.

— Я думаю,— сказал он,— что республиканцу должна быть по сердцу бо́льшая часть этих трудов, написанных с такой свободой.

— Да,— ответил Пококуранте,— хорошо, когда пишут то, что думают,— это привилегия человека. В нашей Италии пишут только то, чего не думают; люди, живущие в отечестве Цезарей и Антониев, не осмеливаются обнародовать ни единой мысли без позволения монаха-якобита. Я приветствовал бы свободу, которая вдохновляет английских писателей, если бы пристрастность и фанатизм не искажали всего, что в этой драгоценной свободе достойно уважения.

Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не считает ли он этого автора великим человеком.

— Мильтона? — переспросил Пококуранте.— Этого варвара, который в десяти книгах тяжеловесных стихов пишет длинный комментарий к Первой Книге Бытия; этого грубого подражателя грекам, который искажает рассказ о сотворении мира? Если Моисей говорит о Предвечном Существе, создавшем мир единым словом, то Мильтон заставляет Мессию брать большой циркуль из небесного шкафа и чертить план своего творения! Чтобы я стал почитать того, кто изуродовал ад и дьяволов Тассо, кто изображал Люцифера то жабою, то пигмеем и заставлял его по сто раз повторять те же речи и спорить о богословии, кто, всерьез подражал шуткам Ариосто об изобретении огнестрельного оружия, вынуждал

демонов стрелять из пушек в небо? Ни мне, да и никому другому в Италии не могут нравиться эти жалкие нелепицы. Брак Греха со Смертью и те ехидны, которыми Грех разрешается, вызывают тошноту у всякого человека с тонким вкусом, а длиннейшее описание больницы годится только для гробовщика. Эта поэма, мрачная, дикая и омерзительная, при самом своем появлении в свет была встречена презрением; я отношусь к ней сейчас так же, как некогда отнеслись в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю, что думаю, и очень мало озабочен тем, чтобы другие думали так же, как я.

Кандид был опечален этими речами: он чтил Гомера, но немножко любил и Мильтона.

— Увы! — сказал он тихо Мартену.— Я очень боюсь, что к нашим германским поэтам этот человек питает величайшее пренебрежение.

— В этом еще нет большой беды,— сказал Мартен.

— О, какой необыкновенный человек! — шепотом повторял Кандид.— Какой великий гений этот Пококуранте! Ему все не нравится!

Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид принялся хвалить его красоты.

— Этот сад — воплощение дурного вкуса,— сказал хозяин,— сколько здесь ненужных украшений. Но завтра я распоряжусь разбить новый сад по плану более благородному.

Когда любознательные посетители простились с вельможей, Кандид сказал Мартену:

— Согласитесь, что это счастливейший из людей: он взирает сверху вниз на все свои владения.

— Вы разве не видите,— сказал Мартен,— что ему все опротивело? Платон давным-давно сказал, что отнюдь не лучший тот желудок, который отказывается от всякой пищи.

— Но какое это, должно быть, удовольствие,— сказал Кандид,— все критиковать и находить недостатки там, где другие видят только красоту!

— Иначе сказать,— возразил Мартен,— удовольствие заключается в том, чтобы не испытывать никакого удовольствия?

— Ну, хорошо,— сказал Кандид,— значит, единственным счастливцем буду я, когда снова увижу Кунигунду.

— Надежда украшает нам жизнь,— сказал Мартен.

Между тем дни и недели бежали своим чередом, Какамбо не появлялся, и Кандид, поглощенный своей скорбью, даже не обратил внимания на то, что Пакета и брат Жирофле не пришли поблагодарить его.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

О том, как Кандид и Мартен ужинали с шестью иностранцами и кем оказались эти иностранцы

Однажды вечером, когда Кандид и Мартен собирались сесть за стол вместе с иностранцами, которые жили в той же гостинице, человек с лицом, темным, как сажа, подошел сзади к Кандиду и, взяв его за руку, сказал:

— Будьте готовы отправиться с нами, не замешкайтесь.

Кандид оборачивается и видит Какамбо. Сильнее удивиться и обрадоваться он мог бы лишь при виде Кунигунды. От радости Кандид чуть не сошел с ума. Он обнимает своего дорогого друга.

— Кунигунда, конечно, тоже здесь? Где она? Веди меня к ней, чтобы я умер от радости возле нее.

— Кунигунды здесь нет,— сказал Какамбо,— она в Константинополе.

— О, небо! В Константинополе! Но будь она даже в Китае, все равно я полечу к ней. Едем!

— Мы поедем после ужина,— возразил Какамбо.— Больше я ничего не могу вам сказать, я невольник, мой хозяин меня ждет; я должен прислуживать за столом; не говорите ни слова, ужинайте и будьте готовы.

Кандид, колеблясь между радостью и печалью, довольный тем, что снова видит своего верного слугу, удивленный, что видит его невольником, исполненный надежды вновь обрести свою возлюбленную, чувствуя, что сердце его трепещет, а разум мутится, сел за стол с Мартеном, который хладнокровно взирал на все, и с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал.

Какамбо, наливавший вино одному из этих иностранцев, наклонился к нему в конце трапезы и сказал:

— Ваше величество, вы можете отплыть в любую минуту,— корабль под парусами.

Сказав это, он вышел. Удивленные гости молча переглянулись; в это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему:

— Государь, карета вашего величества ожидает в Падуе, а лодка готова.

Господин сделал знак, и слуга вышел. Гости снова переглянулись, всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему:

— Государь, заверяю вас, вашему величеству не придется здесь долго ждать, я все приготовил.

И тотчас же исчез.

Кандид и Мартен уже не сомневались, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:

— Ваше величество, если угодно, вы можете ехать.

И вышел, как другие.

Пятый слуга сказал то же пятому господину. Но зато шестой слуга сказал совсем иное шестому господину, сидевшему подле Кандида. Он заявил:

— Ей-богу, государь, ни вашему величеству, ни мне не хотят более оказывать кредит. Нас обоих могут упрятать в тюрьму нынче же ночью. Пойду и постараюсь как-нибудь выкрутиться из этой истории. Прощайте.

Когда слуги ушли, шестеро иностранцев, Кандид и Мартен погрузились в глубокое молчание, прерванное наконец Кандидом.

— Господа,— сказал он,— что за странная шутка! Почему вы все короли? Что касается меня, то, признаюсь вам, ни я, ни Мартен этим похвалиться не можем.

Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал по-итальянски:

— Это вовсе не шутка. Я — Ахмет III. Несколько лет я был султаном; я сверг с престола моего брата; мой племянник сверг меня; всех моих визирей зарезали; я кончаю свой век в старом серале. Мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправки здоровья; сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал:

— Меня зовут Иван, я был императором российским; еще в колыбели меня лишили престола, а моего отца и мою мать заточили; я был воспитан в тюрьме; иногда меня отпускают путешествовать под присмотром стражи; сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Третий сказал:

— Я — Карл-Эдуард, английский король; мой отец уступил мне права на престол; я сражался, защищая их; восьмистам моим приверженцам вырвали сердца и этими сердцами били их по щекам. Я сидел в тюрьме; теперь направляюсь в Рим — хочу навестить короля, моего отца, точно так же лишенного престола, как я и мой дед. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Четвертый сказал:

— Я король польский; превратности войны лишили меня наследственных владений; моего отца постигла та же участь; я безропотно покоряюсь провидению, как султан Ахмет, император Иван и король Карл-Эдуард, которым гос-

подь да ниспошлет долгую жизнь. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Пятый сказал:

— Я тоже польский король и терял свое королевство дважды, но провидение дало мне еще одно государство, где я делаю больше добра, чем все короли сарматов сделали когда-либо на берегах Вислы. Я тоже покоряюсь воле провидения; сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Слово было за шестым монархом.

— Господа,— сказал он,— я не столь знатен, как вы; но я был королем точно так же, как и прочие. Я Теодор, меня избрали королем Корсики, называли «ваше величество», а теперь в лучшем случае именуют «милостивый государь». У меня был свой монетный двор, а теперь нет ни гроша за душой, было два статс-секретаря, а теперь лишь один лакей. Сперва я восседал на троне, а потом долгое время валялся в лондонской тюрьме на соломе. Я очень боюсь, что то же постигнет меня и здесь, хотя, как и ваши величества, я приехал на венецианский карнавал.

Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал по двадцать цехинов королю Теодору на платье и белье; Кандид преподнес ему алмаз в две тысячи цехинов.

— Кто же он такой,— воскликнули пять королей,— этот человек, который может подарить — и не только может, но и дарит! — в сто раз больше, чем каждый из нас? Скажите, сударь, вы тоже король?

— Нет, господа, и не стремлюсь к этой чести.

Когда они кончили трапезу, в ту же гостиницу прибыло четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои государства из-за превратностей войны и приехали на венецианский карнавал. Но Кандид даже не обратил внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как ему найти в Константинополе обожаемую Кунигунду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Путешествие Кандида в Константинополь

Верный Какамбо упросил турка-судовладельца, который должен был отвезти султана Ахмета в Константинополь, принять на борт и Кандида с Мартеном. За это наши путешественники низко поклонились его злосчастному величеству. Поспешая на корабль, Кандид говорил Мартену:

— Вот мы ужинали с шестью свергнутыми королями, и

вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на свете немало властителей, еще более несчастных. А я потерял всего лишь сто баранов и сейчас лечу в объятья Кунигунды. Мой дорогой Мартен, я опять убеждаюсь, что Панглос прав, все к лучшему.

— От всей души желаю, чтобы вы не ошиблись,— сказал Мартен.

— Но то, что случилось с нами в Венеции,— сказал Кандид,— кажется просто неправдоподобным. Где это видано и где слыхано, чтобы шесть свергнутых с престола королей собрались вместе в кабачке?

— Это ничуть не более странно,— сказал Мартен,— чем бóльшая часть того, что с нами случилось. Короли часто лишаются престола, а что касается чести, которую они нам оказали, отужинав с нами,— это вообще мелочь, не заслуживающая внимания. Важно не то, с кем ешь, а то, что́ ешь.

Взойдя на корабль, Кандид немедленно бросился на шею своему старому слуге, своему другу Какамбо.

— Говори же,— теребил он его,— как поживает Кунигунда? По-прежнему ли она — чудо красоты? Все ли еще любит меня? Как ее здоровье? Ты, наверно, купил ей дворец в Константинополе?

— Мой дорогой господин,— сказал Какамбо,— Кунигунда моет плошки на берегу Пропонтиды для властительного князя, у которого плошек — раз-два и обчелся. Она невольница в доме одного бывшего правителя по имени Рагоцци, которому султан дает по три экю в день пенсиона. Печальнее всего то, что Кунигунда утратила красоту и стала очень уродливая.

— Хороша она или дурна,— сказал Кандид,— я человек порядочный, и мой долг — любить ее по гроб жизни. Но как могла она дойти до столь жалкого положения, когда у нас в запасе пять-шесть миллионов, которые ты ей отвез?

— Посудите сами,— сказал Какамбо,— разве мне не пришлось платить два миллиона сеньору дону Фердинандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса, губернатору Буэнос-Айреса за разрешение увезти Кунигунду? А пират разве не обчистил нас до последнего гроша? Этот пират провез нас мимо мыса Матапан, через Милос, Икарию, Самос, Петру, Дарданеллы, Мраморное море, в Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил, я — невольник султана, лишенного престола.

— Что за ужасное сцепление несчастий! — сказал Кандид.— Но все-таки у меня еще осталось несколько брильянтов. Я без труда освобожу Кунигунду. Как жаль, что она

подурнела! — Потом, обратясь к Мартену, он спросил: — Как по вашему мнению, кого следует больше жалеть — императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?

— Не знаю,— сказал Мартен.— Чтобы это узнать, надо проникнуть в глубины сердца всех четверых.

— Ах,— сказал Кандид,— будь здесь Панглос, он знал бы и все разъяснил бы нам.

— Мне непонятно,— заметил Мартен,— на каких весах ваш Панглос стал бы взвешивать несчастья людей и какой мерой он оценивал бы их страдания. Но полагаю, что миллионы людей на земле в сто раз более достойны сожаления, чем король Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет.

— Это вполне возможно,— сказал Кандид.

Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в Черное море. Кандид начал с того, что за очень дорогую цену выкупил Какамбо; затем, не теряя времени, он сел на галеру со своими спутниками и поплыл к берегам Пропонтиды на поиски Канигунды, какой бы уродливой она ни стала.

Среди гребцов галеры были два каторжника, которые гребли очень плохо; шкипер-левантинец время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, движимый естественным состраданием, взглянул на них внимательнее, чем на других каторжников, а потом и подошел к ним. В их искаженных чертах он нашел некоторое сходство с чертами Панглоса и несчастного иезуита, барона, брата Кунигунды. Сходство это тронуло и опечалило его. Он посмотрел на них еще внимательнее.

— Послушай,— сказал он Какамбо,— если бы я не видел, как повесили учителя Панглоса, и не имел бы несчастья самолично убить барона, я подумал бы, что это они там гребут на галере.

Услышав слова Кандида, оба каторжника громко вскрикнули, замерли на скамье и уронили весла. Левантинец подбежал к ним и принялся стегать их с еще большей яростью.

— Не трогайте их, не трогайте! — воскликнул Кандид.— Я заплачу вам, сколько вы захотите.

— Как! Это Кандид? — произнес один из каторжников.

— Как? Это Кандид? — повторил другой.

— Не сон ли это? — сказал Кандид.— Наяву ли я на этой галере? Неужели передо мною барон, которого я убил, и учитель Панглос, которого при мне повесили?

— Это мы, это мы,— отвечали они.

— Значит, это и есть тот великий философ? — спросил Мартен.

— Послушайте, господин шкипер,— сказал Кандид,— какой вы хотите выкуп за господина Тундер-тен-Тронка, одного из первых баронов империи, и за господина Панглоса, величайшего метафизика Германии?

— Христианская собака,— отвечал левантинец,— так как эти две христианские собаки, эти каторжники — барон и метафизик и, значит, большие люди в своей стране, ты должен дать мне за них пятьдесят тысяч цехинов.

— Вы их получите, господин шкипер; везите меня с быстротою молнии в Константинополь, и вам будет уплачено все сполна. Нет, сперва везите меня к Кунигунде.

Но левантинец уже направил галеру к городу и велел грести быстрее, чем летит птица.

Кандид то и дело обнимал барона и Панглоса.

— Как это я не убил вас, мой дорогой барон? А вы, мой дорогой Панглос, каким образом вы остались живы, после того, как вас повесили? И почему вы оба на турецких галерах?

— Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране? — спросил барон.

— Да,— ответил Какамбо.

— Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида! — воскликнул Панглос.

Кандид представил им Мартена и Какамбо. Они обнимались и говорили все сразу. Галера летела, и вот они уже в порту. Позвали еврея, и Кандид продал ему за пятьдесят тысяч цехинов брильянт стоимостью в сто тысяч: еврей поклялся Авраамом, что больше дать не может. Кандид тут же выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами; барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первом же случае.

— Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции? — спросил он.

— Вполне возможно и даже более того,— ответил Какамбо,— поскольку она судомойка у трансильванского князя.

Тотчас позвали двух евреев, Кандид продал еще несколько брильянтов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Что случилось с Кандидом, Кунигундой, Панглосом, Мартеном и другими

— Еще раз, преподобный отец,— говорил Кандид барону,— прошу прощения за то, что проткнул вас шпагой.

— Не будем говорить об этом,— сказал барон.— Должен сознаться, я немного погорячился. Если вы желаете знать, по какой случайности я оказался на галерах, извольте, я вам все расскажу. После того, как мою рану вылечил брат аптекарь коллегии, я был атакован и взят в плен испанским отрядом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе сразу после того, как моя сестра уехала из этого города. Я потребовал, чтобы меня отправили в Рим к отцу генералу. Он назначил меня капелланом при французском посланнике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как однажды вечером я встретил весьма стройного ичоглана. Было очень жарко. Молодой человек вздумал искупаться, я решил последовать его примеру. Я не знал, что если христианина застают голым в обществе молодого мусульманина, его наказывают, как за тяжкое преступление. Кади повелел дать мне сто ударов палкой по пяткам и сослал меня на галеры. Нельзя себе представить более вопиющей несправедливости. Но хотел бы я знать, как моя сестра оказалась судомойкой трансильванского князя, укрывающегося у турок?

— А вы, мой дорогой Панглос,— спросил Кандид,— каким образом оказалась возможной эта наша встреча?

— Действительно, вы присутствовали при том, как меня повесили,— сказал Панглос.— Разумеется, меня собирались сжечь, но помните, когда настало время превратить мою персону в жаркое, хлынул дождь. Ливень был так силен, что не смогли раздуть огонь, и тогда, потеряв надежду сжечь, меня повесили. Хирург купил мое тело, принес к себе и начал меня резать. Сначала он сделал крестообразный надрез от пупка до ключицы. Я был повешен так скверно, что хуже не бывает. Палач святой инквизиции в сане иподьякона сжигал людей великолепно, надо отдать ему должное, но вешать он не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила, поэтому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня так громко вскрикнуть, что мой хирург упал навзничь, решив, что он разрезал дьявола. Затем вскочил и бросился бежать, но на лестнице упал. На шум прибежала из соседней комнаты его жена. Она увидела ме-

ня, растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, тоже бросилась бежать и упала на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как супруга сказала супругу:

— Дорогой мой, как это ты решился резать еретика! Ты разве не знаешь, что в этих людях всегда сидит дьявол. Пойду-ка я скорее за священником, пусть он изгонит беса.

Услышав это, я затрепетал и, собрав остаток сил, крикнул:

— Сжальтесь надо мной!

Наконец португальский костоправ расхрабрился и зашил рану; его жена сама ухаживала за мною; через две недели я встал на ноги. Костоправ нашел мне место, я поступил лакеем к мальтийскому рыцарю, который отправлялся в Венецию; но у моего господина не было средств, чтобы платить мне, и я перешел в услужение к венецианскому купцу; с ним-то я и приехал в Константинополь.

Однажды мне пришла в голову фантазия зайти в мечеть; там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы. Шея у нее была совершенно открыта, между грудей красовался роскошный букет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков, гиацинтов и медвежьих ушек; она уронила букет, я его поднял и водворил на место очень почтительно, но делал я это так старательно и медленно, что имам разгневался и, обнаружив, что я христианин, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал дать мне сто ударов тростью по пяткам и сослал меня на галеры. Я попал на ту же галеру и ту же скамью, что и барон. На этой галере было четверо молодых марсельцев, пять неаполитанских священников и два монаха с Корфу; они объяснили нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправедливее, чем со мной. Я утверждал, что куда приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться нагишом в обществе ичоглана. Мы спорили беспрерывно и получали по двадцать ударов ремнем в день, пока сцепление событий в этой вселенной не привело вас на нашу галеру, и вот вы нас выкупили.

— Ну, хорошо, мой дорогой Панглос,— сказал ему Кандид,— когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?

— Я всегда был верен своему прежнему убеждению,— отвечал Панглос.— В конце концов, я ведь философ, и мне

не пристало отрекаться от своих взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Как Кандид нашел Кунигунду и старуху

Пока Кандид, барон, Панглос, Мартен и Какамбо рассказывали друг другу о своих приключениях, обсуждали происшествия случайные и неслучайные в этом мире, спорили о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе и необходимости, об утешении, которое можно найти и на турецких галерах,— они приплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первые, кого они увидели, были Кунигунда со старухою, развешивавшие на веревках мокрые кухонные полотенца.

Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидев, как почернела прекрасная Кунигунда, какие у нее воспаленные глаза, иссохшая шея, морщинистые щеки, красные, потрескавшиеся руки, в ужасе отступил на три шага, но потом, движимый учтивостью, снова приблизился к ней. Она обняла Кандида и своего брата, они обняли старуху. Кандид выкупил обеих.

По соседству находилась маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поселиться на ней, пока вся компания не подыщет себе лучшего приюта. Кунигунда не знала, что она подурнела,— никто ей этого не говорил; она напомнила Кандиду о его обещании столь решительным тоном, что добряк не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре.

— Я не потерплю,— сказал барон,— такой низости с ее стороны и такой наглости с вашей. Этого позора я ни за что не допущу — ведь детей моей сестры нельзя будет записать в немецкие родословные книги. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж ни за кого, кроме как за имперского барона.

Кунигунда бросилась к его ногам и оросила их слезами, но он был неумолим.

— Сумасшедший барон,— сказал ему Кандид,— я избавил тебя от галер, заплатил за тебя выкуп, выкупил и твою сестру. Она мыла здесь посуду, она уродлива — я, по своей доброте, готов жениться на ней, а ты еще противишься. Я снова убил бы тебя, если бы поддался своему гневу.

— Ты можешь снова убить меня,— сказал барон,— но, пока я жив, ты не женишься на моей сестре.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Заключение

В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость барона подстрекала его вступить с нею в брак, а Кунигунда торопила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он посоветовался с Панглосом, Мартеном и верным Какамбо. Панглос написал прекрасное сочинение, в котором доказывал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру и что, согласно всем законам империи, она может вступить в морганатический брак с Кандидом. Мартен склонялся к тому, чтобы бросить барона в море; Какамбо считал, что нужно возвратить его левантинскому шкиперу на галеры, а потом, с первым же кораблем, отправить в Рим к отцу генералу. Совет признали вполне разумным; старуха его одобрила; сестре барона ничего не сказали. План был приведен в исполнение,— разумеется, за некоторую мзду, и все радовались тому, что провели иезуита и наказали спесивого немецкого барона.

Естественно было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Панглосом, философом Мартеном, благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много брильянтов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма; его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной; старуха одряхлела, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь немецком университете. Что касается Мартена, он был твердо убежден, что везде одинаково плохо, и терпеливо переносил тяготы жизни. Кандид, Мартен и Панглос спорили иногда о метафизике и нравственности. Они частенько видели проплывавшие мимо их фермы корабли, набитые пашами, эфенди и кадиями, которых ссылали на Лемнос, на Митилену, в Эрзерум; другие кади, другие паши, другие эфенди занимали места изгнанных и в свой черед отправлялись в изгнание; видели они иногда и аккуратно набитые соломой человеческие головы,— их везли в подарок

могучему султану. Эти зрелища рождали новые споры; а когда они не спорили, воцарялась такая невыносимая скука, что как-то раз старуха осмелилась сказать:

— Хотела бы я знать, что хуже: быть похищенной и сто раз изнасилованной неграми-пиратами, лишиться половины зада, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным во время аутодафе, быть разрезанным, грести на галерах — словом, испытать те несчастья, через которые все мы прошли, или прозябать здесь, ничего не делая?

— Это большой вопрос,— сказал Кандид.

Речь старухи породила новые споры. Мартен доказывал, что человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но ничего и не утверждал. Панглос признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но, однажды усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения.

Новые события окончательно утвердили Мартена в его отвратительных принципах, поколебали Кандида и смутили Панглоса. Однажды к ним на ферму явились Пакета и брат Жирофле в самом бедственном состоянии. Они очень быстро проели свои три тысячи пиастров, расстались, потом помирились, снова поссорились, попали в тюрьму, убежали оттуда, и, наконец, брат Жирофле сделался турком. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом, но уже почти ничего им не зарабатывала.

— Я ведь предвидел,— сказал Мартен Кандиду,— что они быстро промотают ваши дары и тогда станут еще несчастнее, чем были. Вы и Какамбо растранжирили миллионы пиастров и не более счастливы, чем брат Жирофле и Пакета.

— Само небо привело вас сюда к нам, мое бедное дитя,— сказал Панглос Пакете.— Знаете ли вы, что стоили мне кончика носа, одного глаза и уха? Да и вы в каком сейчас виде! О, что это за мир, в котором мы живем!

Это происшествие дало им новую пищу для философствования.

По соседству с ними жил очень известный дервиш, который считался лучшим философом Турции. Они пошли посоветоваться с ним. Панглос сказал так:

— Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано столь странное животное, как человек?

— А тебе-то что до этого? — сказал дервиш.— Твое ли это дело?

— Но, преподобный отец,— сказал Кандид,— на земле ужасно много зла.

— Ну и что же? — сказал дервиш.— Какое имеет значение, царит на земле зло или добро? Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо корабельным крысам?

— Что же нам делать? — спросил Панглос.

— Молчать,— ответил дервиш.

— Я льстил себя надеждой,— сказал Панглос,— что смогу побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии.

В ответ на эти слова дервиш захлопнул дверь у них перед носом.

Во время этой беседы распространилась весть, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на кол несколько их друзей. Это событие наделало много шуму на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартен, возвращаясь к себе на ферму, увидели почтенного старика, который наслаждался прохладой у порога своей двери под тенью апельсинного дерева. Панглос, который был не только любитель рассуждать, но и человек любопытный, спросил у старца, как звали муфтия, которого удавили.

— Вот уж не знаю,— отвечал тот,— да и, признаться, никогда не знал имен никаких визирей и муфтиев. И о происшествии, о котором вы мне говорите, не имею понятия. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом и что они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь тем, что делается в Константинополе; хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, который возделываю.

Сказав это, он предложил чужеземцам войти в его дом; две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего щербета, каймак, приправленный лимонной коркой, варенной в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, финики, фисташки, мокккский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили Кандиду, Панглосу и Мартену бороды.

— Должно быть, у вас обширное и великолепное поместье? — спросил Кандид у турка.

— У меня всего только двадцать арпанов,— отвечал турок.— Я их возделываю сам с моими детьми; работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду.

Кандид, возвращаясь на ферму, глубокомысленно рассуждал по поводу речей этого турка. Он сказал Панглосу и Мартену:

— Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.

— Высокий сан,— сказал Панглос,— связан с большими опасностями; об этом свидетельствуют все философы. Судите сами: Еглон, царь моавитский, был убит Аодом; Авессалом повис на своих собственных волосах и был пронзен тремя стрелами; царь Нават, сын Иеровоама, был убит Ваасою; царь Эла — Замврием; Охозия — Иеговой; Гофолия — Иодаем; цари Иоаким, Иехония и Седекия попали в рабство. Знаете вы, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пирр, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариовист, Цезарь, Помпей, Нерон, Оттон, Вителлий, Домициан, Ричард II английский, Эдуард II, Генрих VI, Ричард III, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских, император Генрих IV? Знаете вы...

— Я знаю также,— сказал Кандид,— что надо возделывать наш сад.

— Вы правы,— сказал Панглос.— Когда человек был поселен в саду Эдема, это было ut operaretur eum ,— дабы и он работал. Вот вам доказательство того, что человек родился не для покоя.

— Будем работать без рассуждений,— сказал Мартен,— это единственное средство сделать жизнь сносною.

Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал изощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги; Пакета вышивала; старуха заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он стал очень недурным столяром, более того — честным человеком, и Панглос иногда говорил Кандиду:

— Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком в зад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо,— не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек.

— Это вы хорошо сказали,— ответил Кандид,— но надо возделывать наш сад.

История доброго брамина

В моих странствиях по свету мне довелось встретиться со стариком брамином, человеком чрезвычайно мудрым, очень остроумным и весьма ученым; вдобавок он был богат, а следовательно, особенно мудр, ибо, ни в чем не нуждаясь, мог никого не обманывать. Хозяйство его отлично вели три прекрасные женщины, всячески старавшиеся ему угождать; когда он не развлекался с ними, он погружался в размышления.

Неподалеку от его дома, весьма привлекательного, окруженного и украшенного прелестными садами, жила старуха индианка — набожная, глупая и бедная.

Однажды брамин сказал мне: «Я предпочел бы вовсе не появляться на свет». Я спросил у него — почему? Он ответил: «Я занимаюсь наукой сорок лет, и все эти сорок лет потрачены зря; я учу других, а сам в полном неведении; это так унизительно и противно, что жить мне невмоготу. Я родился, я живу во времени, я не знаю, что такое время; я нахожусь, как говорят мудрецы, в некоей точке между двумя вечностями, а не имею о вечности никакого представления. Я состою из некоего вещества; я мыслю, но никогда не мог уразуметь, что́ порождает мысль; я не ведаю, является ли присущее мне понимание просто способностью, подобной способности ходить, переваривать пищу, и мыслю ли я головою так же, как беру что-либо руками. Не только механизм моей мысли мне неизвестен, но скрыт от меня и механизм моих движений; я не ведаю, зачем я существую. Между тем мне изо дня в день задают вопросы на этот счет: приходится отвечать; ничего толкового я сказать не могу; я говорю много, но, сказав все то, смущаюсь и мне становится стыдно перед самим собою.

Еще хуже, когда меня спрашивают, действительно ли Вишну порожден Брамой или оба они предвечны. Бог мне свидетель, я ничего не знаю на этот счет, да это и чувствуется в моих ответах. «Ах, глубокочтимый отче,— говорят мне,— объясните нам, почему зло наводнило землю». Я сам в таком затруднении, как те, что задают мне этот вопрос: иной раз я говорю им, что все в мире прекрасно; но люди, разорившиеся и искалеченные во время войны, не верят этому, как и сам я не верю; я замыкаюсь в своем жилище, подавленный жаждой знания и собственным неведением.

Я читаю наши древние писания, а они только сгущают тьму. Я обращаюсь к друзьям; они отвечают мне, что надо наслаждаться жизнью и пренебрегать людьми; другим кажется, будто они что-то знают,— эти блуждают в каких-то нелепых умозаключениях; все это усугубляет мучительное чувство, владеющее мною. Иной раз я готов впасть в отчаяние при мысли, что после стольких исканий я не знаю, ни откуда я появился, ни что я такое, ни куда я иду, ни что со мною станется».

Состояние этого человека повергло меня в истинную скорбь; невозможно было бы найти другого, столь же разумного и достойного. Я понял, что чем светлее его разум и чем чувствительнее его сердце, тем он несчастнее.

В тот день я поговорил с женщиной, которая жила по соседству с ним; я спросил у нее: огорчала ее когда-нибудь мысль, что ей неизвестно, как устроена ее душа? Она даже не поняла моего вопроса: за всю свою жизнь она ни на минуту не задумывалась над загадками, которые терзали брамина; она всем сердцем верила в перевоплощения Вишну и считала себя счастливейшей женщиной в мире — только бы ей иногда удавалось добыть из Ганга немного воды для омовения.

Я был поражен, что это жалкое создание чувствует себя таким счастливым, и, вернувшись к философу, сказал ему: «Неужели вам не совестно считать себя несчастным, когда у вашего порога живет механическое существо, ни над чем не задумывающееся и всем довольное?»

— Вы правы,— отвечал он,— я сотни раз говорил себе, что был бы счастлив, будь я так же глуп, как моя соседка, и все же мне не хотелось бы такого счастья.

Эти слова брамина произвели на меня больше впечатления, чем все остальное; я подумал о самом себе и понял, что и я не пожелал бы счастье, если бы ради него надо было стать дураком.

Я изложил это философам, и они со мною согласились. «Однако в таком образе мыслей какое-то чудовищное противоречие,— говорил я,— ведь о чем же, в сущности, идет речь? О том, чтобы быть счастливым. Не все ли равно, быть умным или дураком? Более того: все довольные своей судьбой вполне уверены в том, что довольны; те же, что рассуждают, не уверены в том, что рассуждают здраво. Таким образом, ясно,— говорил я,— что предпочтительнее не обладать здравым смыслом по той простой причине, что здравый смысл способствует нашему несчастью».

Все согласились со мною, и тем не менее никто не хотел быть дураком, чтобы быть счастливым. Отсюда я заключил, что если мы дорожим счастьем, то еще больше дорожим разумом.

Но, если пораздумать, окажется, что предпочитать разум счастью значит быть безрассудным. Как же объяснить это противоречие? Так же, как все прочие. Тут есть о чем поговорить.

Простодушный

Правдивая повесть, извлеченная из рукописей отца Кенеля

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О том, как приор храма Горной богоматери и его сестра повстречали Гурона

Однажды святой Дунстан, ирландец по национальности и святой по роду занятий, отплыл из Ирландии на пригорке к французским берегам и добрался таким способом до бухты Сен-Мало. Сойдя на берег, он благословил пригорок, который, отвесив ему несколько низких поклонов, воротился в Ирландию тою же дорогою, какою прибыл.

Дунстан основал в этих местах небольшой приорат и нарек его Горным, каковое название он носит и поныне, что известно всякому.

В тысяча шестьсот восемьдесят девятом году месяца июля числа 15-го, под вечер, аббат де Керкабон, приор храма Горной богоматери, решив подышать свежим воздухом, прогуливался с сестрой своей по берегу моря. Приор, уже довольно пожилой, был очень хороший священник, столь же любимый сейчас соседями, как в былые времена — соседками. Особенное уважение снискал он тем, что из всех окрестных настоятелей был единственным, кого после ужина с собратьями не приходилось тащить в постель на руках. Он довольно основательно знал богословие, а когда уставал от чтения блаженного Августина, то тешил себя книгою Рабле: поэтому все и отзывались о нем с похвалой.

Его сестра, которая никогда не была замужем, хотя и имела к тому великую охоту, сохранила до сорокапятилетнего возраста некоторую свежесть: нрав у нее был добрый и чувствительный; она любила удовольствия и была набожна.

Приор говорил ей, глядя на море:

— Увы! отсюда в тысяча шестьсот шестдесят шестом году на фрегате «Ласточка» отбыл на службу в Канаду наш бедный брат со своей супругой, а нашей дорогой невесткой, госпожой де Керкабон. Не будь он убит, у нас была бы надежда свидеться с ним.

— Полагаете ли вы,— сказала м-ль де Керкабон,— что нашу невестку и впрямь съели ирокезы, как нам о том сообщили? Надо полагать, если бы ее не съели, она вернулась бы на родину. Я буду оплакивать ее всю жизнь — ведь она была такая очаровательная женщина; а наш брат, при его уме, добился бы немалых успехов в жизни.

Пока они предавались этим трогательным воспоминаниям, в устье Ранса вошло на волнах прилива маленькое суденышко: это англичане привезли на продажу кое-какие отечественные товары. Они соскочили на берег, не поглядев ни на господина приора, ни на его сестру, которую весьма обидело подобное невнимание к ее особе.

Иначе поступил некий очень статный молодой человек, который одним прыжком перемахнул через головы своих товарищей и очутился перед м-ль де Керкабон. Еще не обученный раскланиваться, он кивнул ей головой. Лицо его и наряд привлекли к себе взоры брата и сестры. Голова юноши была непокрыта, ноги обнажены и обуты лишь в легкие сандалии, длинные волосы заплетены в косы, тонкий и гибкий стан охвачен коротким камзолом. Лицо его выражало воинственность и вместе с тем кротость. В одной руке он держал бутылку с барбадосской водкой, в другой — нечто вроде кошеля, в котором были стаканчик и отличные морские сухари. Чужеземец довольно изрядно изъяснялся по-французски. Он попотчевал брата и сестру барбадосской водкой, отведал ее и сам, потом угостил их еще раз,— и все это с такой простотой и естественностью, что они были очарованы и предложили ему свои услуги, сперва осведомившись, кто он и куда держит путь. Молодой человек ответил, что он этого не знает, что он любопытен, что ему захотелось посмотреть, каковы берега Франции, что он прибыл сюда, а затем вернется восвояси.

Прислушавшись к его произношению, господин приор понял, что юноша— не англичанин, и позволил себе спросить, из каких он стран.

— Я гурон,— ответил тот.

Мадемуазель де Керкабон, удивленная и восхищенная встречей с гуроном, который притом обошелся с ней учтиво, пригласила его отужинать с ними: молодой человек не заставил себя упрашивать, и они отправились втроем в приорат Горной богоматери.

Низенькая и кругленькая барышня глядела на него во все глаза и время от времени говорила приору:

— Какой лилейно-розовый цвет лица у этого юноши! До чего нежна у него кожа, хотя он и гурон!

— Вы правы, сестрица,— отвечал приор.

Она без передышки задавала сотни вопросов, и путешественник отвечал на них весьма толково.

Слух о том, что в приорате находится гурон, распространился с необычайной быстротой, и к ужину там собралось все высшее общество округи. Аббат де Сент-Ив пришел со своей сестрой, молодой особой из Нижней Бретани, весьма красивой и благовоспитанной. Судья, сборщик податей и их жены также не замедлили явиться. Чужеземца усадили между м-ль де Керкабон и м-ль де Сент-Ив. Все изумленно глядели на него, все одновременно и рассказывали ему что-то, и расспрашивали его,— гурона это ничуть не смущало. Казалось, он руководился правилом милорда Болингброка: «Nihil admirari»[1]. Но напоследок, выведенный из терпения этим шумом, он сказал тоном, довольно спокойным:

— Господа, у меня на родине принято говорить по очереди; как же мне отвечать вам, когда вы не даете возможности услышать ваши вопросы?

Вразумляющее слово всегда заставляет людей углубиться на несколько мгновений в самих себя: воцарилось полное молчание. Господин судья, который всегда, в чьем бы доме ни находился, завладевал вниманием чужеземцев и слыл первым на всю округу мастером по части расспросов, проговорил, широко разевая рот:

— Как вас зовут, сударь?

— Меня всегда звали Простодушный,— ответил гурон.— Это имя утвердилось за мной и в Англии, потому что я всегда чистосердечно говорю то, что думаю, подобно тому как и делаю все, что хочу.

— Каким же образом, сударь, родившись гуроном, попали вы в Англию?

— Меня привезли туда; я был взят в плен англичанами в бою, хотя и не худо оборонялся; англичане, которым по ду-

[1] Ничему не удивляться *(лат.)*.

ше храбрость, потому что они сами храбры и не менее честны, чем мы, предложили мне либо вернуть меня родителям, либо отвезти в Англию. Я принял это последнее предложение, ибо по природе своей до страсти люблю путешествовать.

— Однако же, сударь,— промолвил судья внушительным тоном,— как могли вы покинуть отца и мать?

— Дело в том, что я не помню ни отца, ни матери,— ответил чужеземец.

Все общество умилилось, и все повторили:

— Ни отца, ни матери!

— Мы ему заменим родителей,— сказала хозяйка дома своему брату, приору.— До чего мил этот гурон!

Простодушный поблагодарил ее с благородной и горделивой сердечностью, но дал понять, что ни в чем не нуждается.

— Я замечаю, господин Простодушный,— сказал достопочтенный судья,— что по-французски вы говорите лучше, чем подобает гурону.

— Один француз,— ответил тот,— которого в годы моей ранней юности мы захватили в Гуронии и к которому я проникся большой приязнью, обучил меня своему языку: я усваиваю очень быстро то, что хочу усвоить. Приехав в Плимут, я встретил там одного из ваших французских изгнанников, которых вы, не знаю почему, называете «гугенотами»; он несколько усовершенствовал мои познания в вашем языке. Как только я научился объясняться вразумительно, я направился в вашу страну, потому что французы мне нравятся, когда не задают слишком много вопросов.

Невзирая на это тонкое предостережение, аббат де Сент-Ив спросил его, какой из трех языков он предпочитает: гуронский, английский или французский.

— Разумеется, гуронский,— ответил Простодушный.

— Возможно ли! — воскликнула м-ль де Керкабон.— А мне всегда казалось, что нет языка прекраснее, чем французский, если не считать нижнебретонского.

Тут все наперебой стали спрашивать Простодушного, как сказать по-гуронски «табак», и он ответил: «тайя»; как сказать «есть», и он ответил: «эссентен». М-ль де Керкабон захотела во что бы то ни стало узнать, как сказать «ухаживать за женщинами». Он ответил: «трованде́р» [1] и добавил, по-видимому не без основания, что эти слова вполне равноценны соответствующим французским и английским. Гости нашли, что «трованде́р» звучит очень приятно.

---

[1] Все эти слова в самом деле гуронские.

Господин приор, в библиотеке которого имелась гуронская грамматика, подаренная ему преподобным отцом Сагаром Теода, францисканцем и славным миссионером, вышел из-за стола, чтобы навести по ней справку. Вернулся он, задыхаясь от восторга и радости, ибо убедился, что Простодушный воистину гурон. Поговорили чуть-чуть о многочисленности наречий и пришли к заключению, что, если бы не происшествие с вавилонской башней, все народы говорили бы по-французски.

Неистощимый по части вопросов судья, который до сих пор относился к новому лицу с недоверием, теперь проникся к нему глубоким почтением; он беседовал с ним гораздо вежливее, чем прежде, чего Простодушный не приметил.

Мадемуазель де Сент-Ив полюбопытствовала насчет того, как ухаживают кавалеры в стране гуронов.

— Совершают подвиги,— ответил он,— чтобы понравиться особам, похожим на вас.

Гости удивились его словам и дружно зааплодировали. М-ль де Сент-Ив покраснела и весьма обрадовалась. М-ль де Керкабон покраснела тоже, но обрадовалась не очень; ее задело за живое, что любезные слова были обращены не к ней, но она была столь благодушна, что расположение ее к гурону ничуть от этого не пострадало. Она чрезвычайно приветливо спросила его, сколько возлюбленных было у него в Гуронии.

— Одна-единственная,— ответил Простодушный.— То была м-ль Абакаба, подруга дорогой моей кормилицы. Абакаба превосходила тростник стройностью, горностая — белизной, ягненка — кротостью, орла — гордостью и оленя — легкостью. Однажды она гналась за зайцем по соседству с нами, примерно в пятидесяти лье от нашего жилья. Некий неблаговоспитанный алгонкинец, живший в ста лье оттуда, перехватил у нее добычу; я узнал об этом, помчался туда, свалил алгонкинца ударом палицы и, связав по рукам и ногам, поверг его к стопам моей возлюбленной. Родители Абакабы изъявили желание съесть его, но я никогда не питал склонности к подобным пиршествам; я вернул ему свободу и обрел в его лице друга. Абакаба была так тронута моим поступком, что предпочла меня всем прочим своим любовникам. Она любила бы меня и доселе, если бы ее не съел медведь. Я покарал медведя и долго потом носил его шкуру, но это меня не утешило.

Мадемуазель де Сент-Ив почувствовала тайную радость, узнав из этого рассказа, что у Простодушного была всего одна возлюбленная и что Абакабы нет более на свете, но не

стала разбираться в причинах своей радости. Все не сводили глаз с Простодушного и очень хвалили его за то, что он не позволил своим товарищам съесть алгонкинца.

Неумолимый судья, будучи не в силах подавить исступленную страсть к расспросам, довел свое любопытство до того, что осведомился, какую веру исповедует г-н гурон,— избрал ли он англиканскую, галликанскую или гугенотскую веру?

— У меня своя вера,— ответил тот,— как у вас своя.

— Увы! — воскликнула м-ль де Керкабон,— я вижу, этим злополучным англичанам даже не пришло в голову окрестить его.

— Ах, боже мой! — проговорила м-ль де Сент-Ив.— Как же это так? Разве гуроны не католики? Неужели преподобные отцы иезуиты не обратили их всех в христианство?

Простодушный уверил ее, что у него на родине никого нельзя обратить, что настоящий гурон ни за что не изменит убеждений и что на их наречии даже нет слова, означающего «непостоянство». Эти его слова чрезвычайно понравились м-ль де Сент-Ив.

— Мы его окрестим, окрестим! — говорила м-ль де Керкабон г-ну приору.— Эта честь выпадет вам, дорогой брат; мне ужасно хочется стать его крестной матерью; господин аббат де Сент-Ив, конечно, не откажется стать его восприемником. Какая будет блистательная церемония! Толки о ней пойдут по всей Нижней Бретани, и нас это безмерно прославит.

Все общество вторило хозяйке дома, все гости кричали:

— Мы его окрестим!

Простодушный ответил, что в Англии каждый имеет право жить так, как ему заблагорассудится. Он заявил, что это предложение ему вовсе не по душе и что гуронское вероисповедание по меньшей мере равноценно нижнебретонскому; в заключение он сказал, что завтра же уезжает. Допив его бутылку барбадосской водки, все разошлись на покой.

Когда Простодушного проводили в приготовленную для него комнату, м-ль де Керкабон и ее приятельница Сент-Ив не могли удержаться от того, чтобы не поглядеть в широкую замочную скважину, как почивает гурон. Они узрели, что он постелил одеяло прямо на полу и расположился на нем самым живописным образом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гурон, прозванный Простодушным, узнан своей родней

Простодушный проснулся, по своему обыкновению, вместе с солнцем, под пенье петуха, которого в Англии и в Гуронии именуют «трубой рассвета». Он не уподоблялся праздным вельможам, которые валяются в постели, пока солнце не пройдет половину своего пути, которые не могут ни спать, ни встать, которые теряют столько драгоценных часов в этом промежуточном состоянии между жизнью и смертью да еще жалуются, что жизнь слишком коротка.

Отшагав уже два-три лье, уложив меткой пулей штук тридцать разной дичи, он вернулся в приорат и увидел, что приор храма Горной богоматери и его благоразумная сестра прогуливаются в ночных колпаках по саду. Он преподнес им всю свою добычу и, вытащив из-под рубашки нечто вроде маленького талисмана, который обычно носил на шее, просил принять его в знак благодарности за гостеприимство.

— Это величайшая моя драгоценность,— сказал он им.— Меня уверяли, что я буду неизменно счастлив, пока ношу эту безделушку; я дарю ее вам, чтобы вы были неизменно счастливы.

Чистосердечие Простодушного вызвало у приора и у его сестры улыбку умиления. Подарок состоял из двух портретов довольно скверной работы, связанных очень засаленным ремешком.

Мадемуазель де Керкабон спросила, есть ли художники в Гуронии.

— Нет,— ответил Простодушный,— эту редкую вещицу я получил от кормилицы; ее муж добыл мой талисман в бою, обобрав каких-то канадских французов, которые воевали с нами. Вот и все, что я знаю о нем.

Приор внимательно разглядывал портреты: он изменился в лице, разволновался, руки у него затряслись.

— Клянусь Горной богоматерью! — воскликнул он.— Мне сдается, что это — изображение моего брата-капитана и его жены!

Мадемуазель де Керкабон, рассмотрев портреты с не меньшим волнением, пришла к тому же заключению. Оба были охвачены удивлением и радостью, смешанной с горем; оба умилялись, плакали, сердца у них трепетали; они вскрикивали; они вырывали друг у друга портреты; раз по двадцать каждый хватал их у другого и снова отдавал; они пожирали глазами и портреты и гурона; они спрашивали его

то каждый порознь, то оба зараз, где, когда и как попали эти миниатюры в руки его кормилицы; они сопоставляли, высчитывали сроки, истекшие со времени отъезда капитана, вспоминали полученное когда-то сообщение о том, что он добрался до страны гуронов, после чего о нем не было больше никаких известий.

Простодушный говорил им накануне, что не помнит ни отца, ни матери. Приор, человек сообразительный, заметил, что у Простодушного пробивается бородка, а ему было хорошо известно, что гуроны — безбородые. «У него на подбородке пушок, стало быть, он сын европейца; брат и невестка после предпринятого в тысяча шестьсот шестьдесят девятом году похода на гуронов больше не появлялись; мой племянник был в то время, вероятно, еще грудным ребенком, кормилица-гуронка спасла ему жизнь и заменила мать». В конце концов после сотни вопросов и сотни ответов приор и его сестра пришли к убеждению, что гурон — их собственный племянник. Они обнимали его, проливая слезы, а Простодушный смеялся, ибо представить себе не мог, как это гурон вдруг оказался племянником нижнебретонского приора.

Все общество спустилось в сад; г-н де Сент-Ив, великий физиономист, сличил оба портрета с наружностью Простодушного. Он сразу подметил, что глаза у него материнские, лоб и нос — как у покойного капитана де Керкабона, а щеки отчасти напоминают мать, отчасти отца.

Мадемуазель де Сент-Ив, которая никогда не видала родителей Простодушного, утверждала, что он похож на них совершенно. Они дивились провидению и сцеплению событий в сем мире. Насчет происхождения Простодушного сложилось напоследок такое твердое убеждение, такая уверенность, что он и сам согласился стать племянником г-на приора, сказав, что ему безразлично, приор или кто другой приходится ему дядюшкой.

Все отправились в храм Горной богоматери, чтобы воздать благодарение богу, в то время как гурон с полным равнодушием остался дома попивать винцо.

Англичане, которые вчера его доставили и готовились теперь поднять паруса, сказали ему, что пора отправляться в обратный путь.

— Вероятно,— ответил он,— вы не обрели тут дядюшек и тетушек. Я остаюсь. Возвращайтесь в Плимут. Дарю вам все свои пожитки; мне больше ровно ничего не нужно, ибо я — племянник приора.

Англичане подняли паруса, весьма мало беспокоясь о том, есть ли у Простодушного родня в Нижней Бретани.

После того как дядюшка, тетушка и все общество отслужили молебен, после того как судья сызнова одолел Простодушного вопросами, после того как исчерпано было все, что можно сказать под влиянием удивления, радости, нежности,— приор Горного храма и аббат де Сент-Ив порешили как можно скорее окрестить Простодушного. Но взрослый двадцатидвухлетний гурон — это не младенец, которого возрождают к новому бытию без его ведома. Надобно было сперва наставить его на путь истинный, а это представлялось затруднительным, так как аббат де Сент-Ив полагал, что человек, родившийся не во Франции, лишен здравого смысла.

Приор заметил во всеуслышание, что если г-н Простодушный, его племянник, не имел счастья родиться в Нижней Бретани, все же это не мешает ему обладать разумом, что судить о том можно по всем его ответам и что природа, бесспорно, наделила его щедрыми дарами как с отцовской, так и с материнской стороны.

Простодушного спросили прежде всего, случалось ли ему читать хоть какую-нибудь книгу. Он ответил, что читал Рабле в английском переводе и кое-какие отрывки из Шекспира, заученные им наизусть, что эти книги он достал у капитана корабля, на котором плыл из Америки в Плимут, и что остался ими весьма доволен. Судья немедленно стал его расспрашивать об этих книгах.

— Признаюсь вам,— сказал Простодушный,— кое-что я в них, кажется, разгадал, остального же не понял.

Аббат де Сент-Ив, услышав эту речь, подумал, что и сам он обычно читал так же, да и большинство людей читает именно так, а не иначе.

— Библию вы, без сомнения, читали? — спросил он гурона.

— Нет, не читал, господин аббат; у капитана ее не было: я ничего о ней не слыхал.

— Вот каковы эти проклятые англичане! — вскричала м-ль де Керкабон.— Пьесы Шекспира, плумпудинг и бутылка рома дороже им, чем Пятикнижие. Оттого и получилось, что никого они в Америке не обратили в христианство. Они, конечно, прокляты богом, и мы в недалеком будущем отберем у них Ямайку и Виргинию.

Как бы то ни было, из Сен-Мало пригласили самого искусного портного и поручили ему одеть Простодушного с головы до ног. Общество разошлось; судья отправился задавать вопросы в других местах. М-ль де Сент-Ив, уходя, несколько раз оглянулась на Простодушного, а он проводил

ее поклонами такими низкими, каких не отвешивал еще никому и никогда в жизни.

Судья, перед тем как откланяться, представил м-ль де Сент-Ив своего сына, рослого балбеса, кончившего училище, но она еле взглянула на него, до того тронула ее сердце учтивость гурона.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гурон, прозванный Простодушным, обращен в христианство

Господин приор, имея в виду свой уже преклонный возраст и то обстоятельство, что бог послал ему в утешение племянника, твердо решил, что если удастся его окрестить и понудить к вступлению в духовное звание, то можно будет передать ему приход.

У Простодушного была превосходная память. Благодаря могучему нижнебретонскому телосложению, которое еще укрепил канадский климат, голова у него стала такая прочная, что, когда по ней били, он этого почти не чувствовал, а когда в нее что-нибудь врезалось, то никогда уже не изглаживалось. Он ничего не забывал. Его понятливость была тем живее и отчетливее, что детство его не было обременено в свое время тем бесполезным вздором, каким отягчено бывает наше детство, и поэтому мозг воспринимал все предметы в неискаженном виде. Приор решился наконец засадить племянника за чтение Нового завета. Простодушный проглотил его с большим удовольствием; но, не зная, в какие времена и в какой стране произошли рассказанные в этой книге события, он ничуть не сомневался в том, что местом действия была Нижняя Бретань, и даже поклялся при первой же встрече с Кайафой и Пилатом отрезать нос и уши этим бездельникам.

Дядюшка, очарованный добрыми намерениями Простодушного, объяснил ему, в чем дело; он похвалил его за рвение, но растолковал, что рвение это — тщетное, ибо упоминаемые в Новом завете люди умерли примерно тысяча шестьсот девяносто лет тому назад. Вскоре Простодушный выучил почти всю книгу наизусть. Он задавал иной раз трудноразрешимые вопросы, сильно огорчавшие приора. Тому частенько приходилось совещаться с аббатом де Сент-Ив, который, не зная, что отвечать, вызвал некоего нижнебретонского иезуита, с тем чтобы завершить обращение гурона в истинную веру.

Благодать оказала наконец свое действие: Простодушный дал обещание сделаться христианином; при этом он не сомневался, что придется начать с обряда обрезания.

— Так как,— говорил он,— в этой книге, которую дали мне прочесть, я не нахожу ни одного лица, которое не подвергалось бы этому обряду, надо, очевидно, и мне пожертвовать своей крайней плотью; чем скорее, тем лучше.

Не долго думая, он послал за деревенским хирургом и попросил сделать ему операцию, полагая, что м-ль де Керкабон да и все общество бесконечно обрадуются, когда дело будет сделано. Лекарь, которому никогда еще не приходилось делать подобную операцию, дал знать об этом семейству Простодушного, и там поднялись громкие вопли. Добрая м-ль Керкабон боялась, как бы племянник, по всей видимости решительный и проворный, не проделал над собой операции сам, и притом весьма неловко, и как бы не произошло от того печальных последствий, которым дамы по доброте душевной уделяют всегда много внимания.

Приор вразумил гурона: он убедил его, что обрезание вышло из моды; что крещение и приятнее и спасительнее; что закон милующий лучше закона карающего. Простодушный, у которого было много здравого смысла и прямоты, сперва поспорил, но затем признал свое заблуждение, а в Европе это довольно редко случается со спорящими; в конце концов он сказал, что готов креститься когда угодно.

Сначала нужно было исповедаться, и в этом заключалась главная трудность. Простодушный всегда носил в кармане книгу, подаренную дядей, и так как ему не удалось найти в ней никаких указаний на то, что хоть кто-нибудь из апостолов исповедовался, то он заупрямился. Приор заставил его умолкнуть, показав в послании апостола Иакова-младшего слова, столь огорчительные для еретиков: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Гурон примолк и исповедался некоему францисканцу. Кончив исповедь, он вытащил францисканца из исповедальни, сел на его место и, мощной рукой поставив монаха перед собой на колени, произнес:

— Ну, друг мой, приступим к делу; сказано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Я открыл тебе свои грехи, и ты не выйдешь отсюда, пока не откроешь мне своих.

Говоря так, он упирался могучим своим коленом в грудь противника. Францисканец поднимает вой, от которого гудит вся церковь. На шум сбегается народ и видит, что новообращенный тузит монаха во имя апостола Иакова-младшего. Радость по поводу предстоящего крещения гуроно-английского нижнебретонца была столь велика, что на эти странности не

обратили внимания. Многие богословы даже пришли к мысли, что исповедь не нужна, поскольку крещение совмещает в себе все.

День был назначен по соглашению с епископом Малуанским; епископ, будучи, само собой разумеется, польщен приглашением крестить гурона, прибыл в роскошной карете, сопровождаемый причтом. М-ль де Сент-Ив, благословляя бога, нарядилась в самое лучшее свое платье и, чтобы блеснуть на крестинах, выписала из Сен-Мало парикмахершу. Вопрошающий судья привел с собой всю округу. Церковь была разукрашена великолепно; но когда пошли за гуроном, чтобы вести его к купели, новообращенного нигде не оказалось.

Дядюшка и тетушка искали его повсюду. Думали, что он, по обыкновению, отправился на охоту. Все приглашенные на торжество стали рыскать по окрестным лесам и селениям: гурон не подавал о себе вестей.

Начали опасаться, не уехал ли он назад в Англию, так как все помнили, с какой похвалой он отзывался об этой стране. Г-н приор и его сестра были убеждены, что жители ходят там некрещенные, и с трепетом помышляли о погибели, грозящей душе их племянника. Епископ, крайне смущенный, уже собирался возвращаться восвояси; приор и аббат де Сент-Ив были в отчаянии; судья с обычной важностью спрашивал всех встречных и поперечных; м-ль де Керкабон плакала, м-ль де Сент-Ив не плакала, но испускала глубокие вздохи, которые свидетельствовали, по-видимому, об ее приверженности церковным таинствам. Печально прогуливаясь мимо лозняка и камышей, растущих на берегу речушки Ранс, подруги вдруг увидели, что посреди реки стоит, скрестив руки, высокая, довольно белая человеческая фигура. Они громко вскрикнули и отворотились. Но любопытство вскоре взяло верх над всеми прочими соображениями, они тихонько прокрались сквозь камыши и, убедившись, что их не видно, принялись разглядывать, кто это забрался в реку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Простодушный окрещен

Приор и аббат, подбежав к реке, спросили Простодушного, что он там делает.

— Дожидаюсь крещения, черт подери! Битый час стою по горло в воде; с вашей стороны очень нехорошо заставлять меня мерзнуть.

— Дорогой племянничек,— нежно сказал ему приор,— в Нижней Бретани крещение совершается не так; оденьтесь и идемте с нами.

Услышав эту речь, м-ль де Сент-Ив спросила шепотом подругу:

— Как вы думаете, неужели он так сразу и оденется?

Гурон меж тем возразил приору:

— Теперь вам не удастся обморочить меня, как в тот раз; с тех пор я научился многому и совершенно уверен, что другого способа креститься не существует. Евнух царицы Кандакии был окрещен в ручье: попробуйте-ка доказать по книге, которую вы мне подарили, что хоть когда-нибудь это дело делалось иначе. Либо я вовсе откажусь креститься, либо буду креститься в реке.

Сколько ему ни твердили, что обычаи изменились, Простодушный упрямо стоял на своем, как истый бретонец и гурон. Он все толковал про евнуха царицы Кандакии, и хотя тетушка и м-ль де Сент-Ив, наблюдавшие за ним сквозь кусты лозняка, были вправе сказать, что не годится ему равнять себя с вышеупомянутым евнухом, однако же скромность их была так велика, что они не издали ни звука. Сам епископ пытался уговорить его, а это много значит; но и он ничего не добился: гурон заспорил и с епископом.

— Докажите,— сказал он,— по книге, подаренной мне дядюшкой, что хоть один человек был крещен не в реке, и тогда я сделаю все, что вам заблагорассудится.

Пришедшая в полное отчаяние тетушка вдруг припомнила, что, когда ее племянник впервые стал раскланиваться, он отвесил м-ль де Сент-Ив поклон более низкий, чем другим членам общества, и что даже самого г-на епископа он приветствовал с меньшим почтением и сердечностью, чем эту прелестную барышню. Она решилась в этом затруднительном положении обратиться к помощи м-ль де Сент-Ив и умоляла ее употребить свое влияние на гурона, дабы заставить его креститься так, как это принято у бретонцев, ибо ей казалось, что племянник не станет настоящим христианином, если будет упорствовать в своем намерении креститься в проточной воде.

Мадемуазель де Сент-Ив втайне так обрадовалась этому почетному поручению, что даже вся раскраснелась. Она скромно подошла к Простодушному и, благороднейшим образом пожимая ему руку, спросила:

— Неужели вы не сделаете для меня такой малости?

Произнося эти слова, она грациозно и трогательно то вскидывала на него глаза, то потупляла их.

— Ах, все, что вам будет угодно, мадемуазель, все, что прикажете; крещение водой, крещение огнем, крещение кровью— я не откажу вам ни в чем.

На долю м-ль де Сент-Ив выпала честь с первых двух слов достигнуть того, чего не достигли ни старания приора, ни многократные вопросы судьи, ни даже рассуждения г-на епископа. Она сознавала свою победу, но не сознавала еще всего ее значения.

Таинство было совершено и воспринято со всей возможной благопристойностью, великолепием и приятностью. Дядюшка и тетушка уступили аббату де Сент-Ив и его сестре почетные обязанности восприемников Простодушного от купели. М-ль де Сент-Ив сияла, радуясь, что стала крестной матерью. Она не понимала, на что обрекает ее это высокое звание; она согласилась принять предложенную честь, не ведая, к каким роковым последствиям это поведет.

Так как за всякой церемонией следует званый обед, то по окончании обряда крещения все уселись за стол. Нижнебретонские шутники говорили, что вино не нуждается в крещении. Г-н приор толковал, что вино, по словам Соломона, веселит сердце человеческое. Г-н епископ добавил от себя, что патриарх Иуда привязывал ослика к виноградной лозе и окунал плащ в виноградный сок, чего, к великому сожалению, нельзя сделать в Нижней Бретани, которой бог отказал в винограде. Каждый старался отпустить какую-нибудь шутку по поводу крещения Простодушного и наговорить любезностей крестной матери. Судья, неизменно вопрошающий, спросил гурона, останется ли он верен христианским обетам.

— Как же, по-вашему, могу я изменить обетам,— ответил гурон,— когда я дал их в присутствии мадемуазель де Сент-Ив?

Гурон разгорячился; он много раз пил за здоровье своей крестной матери.

— Если бы вы крестили меня своей рукой,— сказал он,— то, не сомневаюсь, меня обожгла бы холодная вода, которую лили мне на затылок.

Судья нашел, что это чересчур уж поэтично, ибо не знал, как распространен в Канаде аллегорический стиль. Крестная же мать осталась чрезвычайно довольна.

Новокрещенного нарекли Гераклом. Епископ Малуанский все доискивался, что это за святой, о котором он никогда не слыхал. Иезуит, отличавшийся большей ученостью, объяснил, что это был угодник, совершивший двенадцать чудес. Было еще тринадцатое, которое одно стоило остальных двенадцати, однако иезуиту не пристало говорить о нем: оно состояло в

превращении пятидесяти девиц в женщин на протяжении одной ночи. Некий находившийся тут же забавник стал усиленно восхвалять это чудо. Все дамы потупились и решили, что Простодушный, судя по внешности, достоин того святого, имя которого получил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Простодушный влюблен

Надо признаться, что после этих крестин и этого обеда м-ль де Сент-Ив до страсти захотелось, чтобы г-н епископ сделал ее вместе с г-ном Гераклом Простодушным участницей еще одного прекрасного таинства. Однако же, будучи благовоспитанной и весьма скромной, она даже самой себе не решалась сознаться до конца в своих нежных чувствах. Когда же вырывались у нее взгляд, слово, движение или мысль, она обволакивала их покровом бесконечно милого целомудрия. Она была нежная, живая и благонравная девушка.

Едва только г-н епископ уехал, Простодушный и м-ль де Сент-Ив встретились как бы случайно, вовсе не помышляя о том, что искали этой встречи. Они разговорились, не предвидя заранее, о чем поведут речь. Простодушный начал с того, что любит ее всем сердцем и что прекрасная Абакаба, по которой он с ума сходил у себя на родине, никак не может сравниться с нею. Барышня ответила с обычною своей скромностью, что надобно поскорее переговорить об этом с его дядюшкой, г-ном приором, и с его тетушкой, что она, со своей стороны, шепнет об этом словечко своему дорогому братцу, аббату де Сент-Ив, и что она льстит себя надеждою на общее согласие.

Простодушный отвечает, что не нуждается ни в чьем согласии, что находит крайне нелепым спрашивать у других совета, как ему следует поступить, что раз обе стороны пришли к соглашению, нет надобности привлекать для примирения их интересов третье лицо.

— Я ни у кого не спрашиваюсь,— сказал он,— когда мне хочется завтракать, охотиться или спать; мне хорошо известно, что в делах любви неплохо заручиться согласием той особы, к которой питаешь любовь; но так как влюблен я не в дядюшку и не в тетушку, то не к ним надо обращаться мне по этому делу, и вы тоже, поверьте мне, отлично обойдетесь без господина аббата де Сент-Ив.

Красавица бретонка пустила, разумеется, в ход всю тонкость своего ума, чтобы ввести гурона в границы приличия.

Она даже разгневалась, однако вскоре опять смягчилась. Неизвестно, к чему бы привел в конце концов этот разговор, если бы на склоне дня г-н аббат не увел сестру в свое аббатство. Простодушный не препятствовал дядюшке и тетушке улечься спать, так как они были несколько утомлены церемонией и затянувшимся обедом, но сам он часть ночи провел за писанием стихов к возлюбленной на гуронском языке, ибо надобно помнить, что нет на земле такой страны, где любовь не обращала бы влюбленных в поэтов.

На следующий день после завтрака его дядюшка в присутствии м-ль де Керкабон, пребывавшей в полном умилении, повел такую речь:

— Хвала небесам за то, что вам выпала честь, дорогой племянник, стать христианином и бретонцем! Но этого еще недостаточно; годы у меня уже довольно преклонные; после брата остался только маленький клочок земли, который представляет собой ничтожную ценность; зато у меня доходный приорат; если вы, как я надеюсь, пожелаете стать иподьяконом, то я переведу приорат на вас, и вы, утешив мою старость, будете жить затем в полном довольстве.

Простодушный ответил:

— Всяких вам благ, дядюшка! Живите, сколько поживется. Я не знаю, кто такой иподьякон и что значит перевести приорат; но я пойду на все, лишь бы обладать мадемуазель де Сент-Ив.

— Ах, боже мой, что вы такое говорите, племянник? Вы, стало быть, любите до безумия эту красивую барышню?

— Да, дядюшка.

— Увы, племянник, вам нельзя на ней жениться.

— Нет, очень даже можно, дядюшка, потому что она не только пожала мне руку на прощанье, но и обещала, что будет проситься за меня замуж, и я, конечно, на ней женюсь.

— Это невозможно, говорю вам: она — ваша крестная мать; пожимать руку своему крестнику — ужасный грех; вступать в брак с крестной матерью не разрешается; это запрещено и божескими и людскими законами.

— Вы шутите, дядюшка! Чего ради запрещать брак с крестной матерью, если она молода и хороша собой? В книге, которую вы мне подарили, нигде не сказано, что грешно человеку жениться на девушке, которая помогла ему креститься. Я вижу, у вас тут каждый день происходит множество вещей, о которых нет ни слова в вашей книге, и не выполняется ровно ничего из того, что в ней написано; признаюсь, это и удивляет меня и сердит. Если под предлогом крещения ме-

ня лишат прекрасной Сент-Ив, то, предупреждаю вас, я увезу ее и раскрещусь.

Приор совсем растерялся; сестра его заплакала.

— Дорогой братец,— проговорила она,— мы не можем допустить, чтобы наш племянник обрек себя на вечную гибель. Святейший папа может дать ему дозволение на этот брак, и тогда он будет по-христиански счастлив с той, кого любит.

Простодушный, заключив тетушку в объятия, спросил:

—Кто же он, этот превосходный человек, который так добр, что помогает юношам и девушкам в устройстве их любовных дел? Я сейчас же схожу и потолкую с ним.

Ему объяснили, кто такой папа; Простодушный удивился пуще прежнего.

— В вашей книге, дорогой дядюшка, про все это нет ни звука; мне довелось путешествовать, я знаю, как неверно море; мы тут находимся на берегу океана, а мне придется покинуть мадемуазель де Сент-Ив и просить разрешения любить ее у человека, который живет вблизи Средиземного моря, за четыреста лье отсюда, и говорит на непонятном мне языке; это до непостижимости нелепо. Сейчас же пойду к аббату де Сент-Ив, который живет всего в одном лье отсюда, и ручаюсь вам, что женюсь на моей возлюбленной сегодня же.

Не успел он договорить, как вошел судья и, верный своему обыкновению, спросил Простодушного, куда он идет.

— Иду жениться,— отвечал тот, убегая.

И через четверть часа он был уже у своей прекрасной и дорогой бретонки, которая еще спала.

— Ах, братец! — сказала м-ль де Керкабон приору.— Не бывать нашему племяннику иподьяконом.

Судья был очень раздосадован намерением Простодушного, так как предполагал женить на м-ль де Сен-Ив своего сына, который был еще глупее и несноснее, чем отец.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Простодушный спешит к возлюбленной и впадает в неистовство

Прибежав в аббатство, Простодушный спросил у старой служанки, где спальня ее госпожи, распахнул незапертую дверь и кинулся к кровати. М-ль де Сент-Ив, внезапно пробудившись, вскрикнула:

— Как, это вы? Ах, это вы? Остановитесь, что вы делаете?

Он ответил:

— Женюсь на вас.

И женился бы на самом деле, если бы она не стала отбиваться со всей добросовестностью, какая приличествует хорошо воспитанной особе.

Простодушному было не до шуток; ее жеманство представлялось ему крайне невежливым.

— Не так вела себя мадемуазель Абакаба, первая моя возлюбленная. Вы поступаете нечестно: обещали вступить со мной в брак, а теперь не хотите; вы нарушаете основные законы чести; я научу вас держать слово и верну на путь добродетели.

А добродетель у Простодушного была мужественная и неустрашимая, достойная его патрона Геракла, чьим именем он был наречен при крещении. Он готов был уже пустить ее в ход во всем ее объеме, когда на пронзительные вопли барышни, более сдержанной в проявлении добродетели, сбежались благоразумный аббат де Сент-Ив со своей ключницей, его старый набожный слуга и еще некий приходский священник. При виде их отвага нападающего умерилась.

— Ах, боже мой, дорогой сосед,— сказал аббат,— что вы тут делаете?

— Исполняю свой долг,— ответил молодой человек.— Хочу выполнить свои обеты, которые священны.

Раскрасневшаяся Сент-Ив начала приводить себя в порядок. Простодушного увели в другую комнату. Аббат стал ему объяснять всю гнусность его поведения. Простодушный сослался в свое оправдание на преимущества естественного права, известного ему в совершенстве. Аббат стал доказывать, что следует отдать решительное предпочтение праву гражданскому, ибо, не будь между людьми договорных соглашений, естественное право почти всегда обращалось бы в естественный разбой.

— Нужны нотариусы, священники, свидетели, договоры, дозволения,— говорил он.

Простодушный в ответ на это выдвинул соображение, неизменно приводимое дикарями:

— Вы, стало быть, очень бесчестные люди, если вам нужны такие предосторожности.

Нелегко было аббату найти правильное решение этого запутанного вопроса.

— Признаюсь,— вымолвил он,— среди нас немало ветреников и плутов, и столько же было бы их и у гуронов, живи они скопом в большом городе, однако же встречаются и благонравные, честные, просвещенные души, и вот этими-то людьми и установлены законы. Чем лучше человек, тем покорнее должен он им подчиняться. Надо подавать пример по-

рочным, которые уважают узду, наложенную на себя добродетелью.

Этот ответ поразил Простодушного. Уже замечено было ранее, что он обладал способностью судить здраво. Его укротили льстивыми словами, ему подали надежду: таковы две западни, в которые попадаются люди обоих полушарий. К нему привели даже м-ль де Сент-Ив, после того как она оделась. Все обошлось благопристойнейшим образом, но, невзирая на соблюдение всех приличий, сверкающие глаза Простодушного заставляли его возлюбленную потуплять очи и повергали в трепет все общество.

Спровадить его назад, к дядюшке и тетушке, оказалось делом крайне трудным. Пришлось снова пустить в ход влияние прекрасной Сент-Ив. Чем яснее сознавала она свою власть над ним, тем большею проникалась к нему любовью. Она принудила его удалиться и была этим очень огорчена. Наконец, когда он ушел, аббат, который не только приходился братом м-ль де Сент-Ив, но, будучи на много лет старше ее, был также и ее опекуном, решил избавить свою подопечную от усердных ухаживаний исступленного обожателя. Он решил поговорить с судьей, и тот, мечтая женить сына на сестре аббата, посоветовал заточить бедную девушку в обитель. Это был жестокий удар: если бы отдали в монастырь бесчувственную, и та возопила бы, но влюбленную, да еще так нежно, и притом благонравную! — было от чего впасть в отчаяние.

Простодушный, вернувшись к приору, рассказал все с обычным своим чистосердечием. Ему пришлось выслушать все те же увещания; они оказали некоторое действие на его рассудок, но никак не на его чувства. На следующий день, когда он собрался было снова навестить свою прекрасную возлюбленную, чтобы порассуждать с ней о естественном праве и праве гражданском, истекающем из договоров, г-н судья сообщил ему с оскорбительным злорадством, что она в монастыре.

— Ну что ж,— ответил тот,— порассуждаем в монастыре.

— Это невозможно,— сказал судья.

Он пространно объяснил ему, что такое монастырь, и сказал, что французское слово «couvent» или «convent» происходит от латинского «conventus»,— то есть «собрание», но гурон не понимал, почему он не может быть допущен на это собрание. Однако, как только его поставили в известность, что означенное собрание является подобием тюрьмы, где молодых девушек держат взаперти,— жестокость, неведомая ни

гуронам, ни англичанам,— он рассвирепел так же, как патрон его Геракл, когда Эврит, царь Эхалийский, не менее безжалостный, чем аббат де Сент Ив, отказался выдать за него свою дочь, прекрасную Иолу, не менее прекрасную, чем сестра аббата. Он заявил, что подожжет монастырь и похитит возлюбленную или сгорит вместе с нею. М-ль де Керкабон, придя в ужас, потеряла всякую надежду на посвящение племянника в иподьяконы и вымолвила со слезами, что с тех пор, как его крестили, в него вселился дьявол.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Простодушный отбивает англичан

Простодушный, погруженный в мрачное и глубокое уныние, прогуливался по берегу моря с двуствольным ружьем за плечом, с большим ножом у бедра, постреливал птиц и частенько испытывал желание выстрелить в себя; однако жизнь была ему еще дорога из-за м-ль де Сент-Ив. То он проклинал дядю, тетку, всю Нижнюю Бретань и свое крещение, то благословлял их, ибо только благодаря им познакомился с той, кого любил. Он принимал решение поджечь монастырь и сразу же отступался от него из опасения, что сожжет и возлюбленную. Волны Ла-Манша не бушуют так под напором восточных и западных ветров, как бушевало его сердце под воздействием противоречивых побуждений.

Он шел большими шагами, сам не ведая куда, когда вдруг услышал барабанный бой. Вдалеке видна была целая толпа; какие-то люди бежали к берегу, другие поспешно отступали.

Со всех сторон раздаются многоголосые вопли; любопытство и отвага гонят Простодушного туда, откуда они доносятся. Начальник гарнизона, который ужинал с ним в свое время у приора, узнал его тотчас же и подбежал к нему с распростертыми объятиями:

— Ах, это Простодушный! Он будет сражаться за нас.

Его солдаты, умиравшие со страху, приободрились и тоже закричали:

— Это Простодушный! Это Простодушный!

— В чем дело, господа? — спросил он.— Чем вы так встревожены? Или ваших возлюбленных отдали в монастырь?

Тогда сотни нестройных голосов закричали:

— Разве вы не видите, что англичане причаливают к берегу?

— Ну так что же? — возразил гурон.— Это хорошие люди; они не отнимали у меня моей возлюбленной.

Начальник объяснил ему, что англичане собираются ограбить Горное аббатство, выпить вино его дядюшки и, может быть, похитить м-ль де Сент-Ив; что у кораблика, на котором Простодушный прибыл в Бретань, была только одна цель — произвести разведку, что они открыли военные действия, не объявив войны французскому королю, и что вся область в опасности.

— А если так, то они нарушают естественное право; предоставьте мне действовать по-своему; я долго жил у них, знаю их язык, и я потолкую с ними; не думаю, чтобы у них были такие злостные намерения.

Пока шел этот разговор, английская эскадра приблизилась; вот гурон бежит к берегу, вскакивает в лодку, подплывает, всходит на адмиральский корабль и спрашивает, верно ли, что они собираются опустошить страну, не объявив почестному войны. Адмирал и вся команда покатились со смеху, напоили Простодушного пуншем и выпроводили вон.

Простодушный, обидевшись, уже не помышляет ни о чем другом, как только сразиться с прежними друзьями, став на защиту нынешних своих соотечественников и г-на приора; отовсюду сбегаются окрестные дворяне; он присоединяется к ним; у них было несколько пушек; он заряжает их, наводит и стреляет из каждой поочередно. Англичане высаживаются на берег; он бросается на них, убивает троих и даже ранит адмирала, который давеча посмеялся над ним. Доблесть его возбуждает мужество отряда; англичане бегут на свои корабли, и весь берег оглашается победными криками:

— Да здравствует король! Да здравствует Простодушный!

Все обнимали его, все спешили унять кровь, сочившуюся из полученных им легких ран.

— Ах,— говорил он,— если бы мадемуазель де Сент-Ив была здесь, она наложила бы мне повязку.

Судья, который во время боя прятался в погребе, пришел вместе с другими поздравить его. Каково же было его изумление, когда он услышал, что Геракл Простодушный, обращаясь к дюжине окружавших его благонамеренных молодых людей, сказал:

— Друзья мои, выручить из беды Горное аббатство — это ничего не стоит, а вот надо выручить девушку.

Пылкая молодежь мгновенно воспламенилась от таких слов. За Простодушным уже следовала толпа, все уже бежали к монастырю. Если бы судья не дал сразу же знать на-

чальнику гарнизона, если бы за веселым воинством не была направлена погоня, дело было бы сделано. Простодушного водворили назад, к дядюшке и тетушке, которые оросили его слезами нежности.

— Вижу, что не бывать вам ни иподьяконом, ни приором,— сказал дядюшка.— Из вас выйдет офицер, еще более храбрый, чем мой брат-капитан, и, вероятно, такой же голодранец, как он.

А мадемуазель де Керкабон все плакала, обнимая его и приговаривая:

— Убьют его, как братца. Куда было бы лучше, если бы он сделался иподьяконом.

Простодушный подобрал во время боя большой, набитый гинеями кошелек, который обронил, вероятно, адмирал. Он не сомневался, что на эти деньги можно скупить всю Нижнюю Бретань, а главное, превратить м-ль де Сент-Ив в знатную даму. Все убеждали его съездить в Версаль и получить вознаграждение по заслугам. Начальник гарнизона и старшие офицеры снабдили его множеством удостоверений. Дядюшка и тетушка отнеслись к этому путешествию племянника одобрительно. Добиться представления королю не составит труда и вместе с тем это чудесно прославит его на весь округ. Оба добряка пополнили английский кошелек кругленькой суммой из собственных сбережений. Простодушный размышлял про себя: «Когда увижу короля, я попрошу у него руки м-ль де Сент-Ив, и он, конечно, мне не откажет».

И уехал под приветственные клики всей округи, удушенный объятиями и орошенный слезами тетушки, получив благословение дядюшки и поручив себя молитвам прекрасной Сент-Ив.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Простодушный отправляется ко двору.
По дороге он ужинает с гугенотами

Простодушный поехал по Сомюрской дороге в почтовой колымаге, потому что в те времена не было более удобных способов передвижения. Прибыв в Сомюр, он удивился, застав город почти опустевшим и увидав несколько отъезжающих семейств. Ему сказали, что шесть лет назад в Сомюре было более пятнадцати тысяч душ, а сейчас в нем нет и шести тысяч. Он не преминул заговорить об этом в гостинице за ужином. За столом было несколько протестантов; одни из

них горько сетовали, другие дрожали от гнева, иные говорили со слезами:

...Nos dulcia linquimus arva,
Nos patriam fugimus...[1]

Простодушный, не зная латыни, попросил растолковать ему эти слова; они означали: «Мы покидаем наши милые поля, мы бежим из отечества».

— Отчего же вы бежите из отечества, господа?

— От нас требуют, чтобы мы признали папу.

— А почему вы его не признаете? Вы, стало быть, не собираетесь жениться на своих крестных матерях? Мне говорили, что он дает разрешения на такие браки.

— Ах, сударь, папа говорит, что он — хозяин королевских владений.

— Позвольте, господа, а у вас-то какой род занятий?

— Большинство из нас сукноторговцы и фабриканты.

— Если ваш папа говорит, что он хозяин ваших сукон и фабрик, то вы правы, не признавая его, но что касается королей, это уж их дело: вам-то зачем в него вмешиваться?

Тогда в разговор вступил некий человечек, одетый во все черное, и очень толково изложил, в чем заключается их неудовольствие. Он так выразительно рассказал об отмене Нантского эдикта и так трогательно оплакал участь пятидесяти тысяч семейств, спасшихся бегством, и других пятидесяти тысяч, обращенных в католичество драгунами, что Простодушный, в свою очередь, пролил слезы...

— Как же это так получилось,— промолвил он,— что столь великий король, чья слава простирается даже до страны гуронов, лишил себя такого множества сердец, которые могли бы его любить, и такого множества рук, которые могли бы служить ему?

— Дело в том, что его обманули, как обманывали и других великих королей,— ответил черный человек.— Его уверили, что стоит ему только сказать слово, как все люди станут его единомышленниками, и он заставит нас переменить веру так же, как его музыкант Люлли в один миг меняет декорации в своих операх. Он не только лишается пятисот — шестисот тысяч полезных ему подданных, но и наживает в них врагов. Король Вильгельм, который правит теперь Англией, составил несколько полков из тех самых французов, которые могли бы сражаться за своего монарха. Это бедствие тем бо-

[1] ...Покидаем любезные пашни,
Мы из отчизны бежим... *(лат.)*.

лее удивительно, что нынешний папа, ради которого Людовик Четырнадцатый пожертвовал частью своего народа,— его открытый враг. Они до сих пор в ссоре, и она длится девять лет. Эта ссора зашла так далеко, что Франция уже надеялась сбросить наконец ярмо, подчиняющее ее столько веков иноземцу, а главное, не платить ему больше денег, которые являются самым важным двигателем в делах мира сего. Итак, очевидно, что великому королю внушили ложное представление о его выгодах, равно как и о пределах его власти, и нанесли ущерб великодушию его сердца.

Простодушный, растроганный, спросил, кто же эти французы, смеющие обманывать подобным образом столь любезного гуронам монарха.

— Это — иезуиты,— сказали ему в ответ,— и в особенности отец де Ла Шез, духовник его величества. Надо надеяться, что бог накажет их когда-нибудь и что они будут гонимы так же, как сейчас гонят нас. Какое горе сравнится с нашим? Господин де Лувуа насылает на нас со всех сторон иезуитов и драгунов.

— О, господи! — воскликнул Простодушный, будучи уже не в силах сдерживать себя.— Я еду в Версаль, чтобы получить награду, которая следует мне за мои подвиги; я потолкую с господином Лувуа, мне говорили, что в королевском министерстве он ведает военными делами. Я увижу короля и открою ему истину, а познав истину, нельзя ей не последовать. Я скоро вернусь назад и вступлю в брак с мадемуазель де Сент-Ив; прошу вас пожаловать на свадьбу.

Его приняли за вельможу, путешествующего инкогнито в почтовой колымаге, а иные — за королевского шута.

За столом сидел переодетый иезуит, состоявший сыщиком при преподобном отце де Ла Шез. Он осведомлял его обо всем, а отец де Ла Шез передавал эти сообщения г-ну де Лувуа. Сыщик настрочил письмо. Простодушный прибыл в Версаль почти одновременно с этим письмом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Прибытие Простодушного в Версаль. Прием его при дворе

Простодушный въезжает в «горшке» [1] на задний двор. Он спрашивает у носильщиков королевского паланкина, в котором часу можно повидаться с королем. Те в ответ только

[1] Это экипаж, возивший из Парижа в Версаль, похожий на маленькую крытую двуколку.

нагло смеются — совсем как английский адмирал. Простодушный обошелся с ними точно так же, как с адмиралом, то есть отколотил их. Они не захотели остаться в долгу, и дело, вероятно, дошло бы до кровопролития, если бы проходивший мимо лейб-гвардеец, бретонец родом, не разогнал челядь.

— Сударь,— сказал ему путешественник,— вы, сдается мне, порядочный человек. Я — племянник господина приора храма Горной богоматери; я убил несколько англичан, и мне нужно поговорить с королем. Проведите меня, пожалуйста, в его покои.

Гвардеец, обрадовавшись встрече с земляком, не сведущим, по-видимому, в придворных порядках, сообщил ему, что так с королем не поговоришь, а надо, чтобы он был представлен его величеству монсеньером де Лувуа.

— Так проведите меня к монсеньору де Лувуа, который, без сомнения, представит меня королю.

— Разговора с монсеньором де Лувуа еще труднее добиться, чем разговора с его величеством,— ответил гвардеец.— Но я провожу вас к господину Александру, начальнику военной канцелярии; это то же самое, что поговорить с самим министром.

Они идут к этому господину Александру, начальнику канцелярии, но попасть к нему не могут: он занят важным разговором с некой придворной дамой, и к нему никого не пускают.

— Ну что ж,— говорит гвардеец,— беда не велика; пойдем к старшему письмоводителю господина Александра; это все равно что поговорить с ним самим.

Крайне изумленный гурон следует за своим вожатым; они полчаса сидят в тесной приемной.

— Что же это такое? — недоумевал Простодушный.— Неужели в здешних местах все люди невидимки? Куда легче сражаться в Нижней Бретани с англичанами, чем увидеть в Версале тех, к кому имеешь дело.

Он развеял скуку, рассказав гвардейцу историю своей любви. Однако бой часов напомнил тому, что пора возвращаться к исполнению служебных обязанностей. Они уговорились завтра повидаться снова, а пока что Простодушный просидел в приемной еще полчаса, размышляя о м-ль де Сент-Ив и о том, как трудно добиться разговора с королями и старшими письмоводителями.

Наконец этот важный начальник появился.

— Сударь,— сказал Простодушный,— если бы, намереваясь отбить англичан, я стал зря терять столько времени,

сколько потерял его сейчас, ожидая, чтобы вы меня приняли, англичане спокойнейшим образом успели бы разорить Нижнюю Бретань.

Чиновник был совершенно ошеломлен такой речью.

— Чего вы домогаетесь? — спросил он наконец.

— Награды,— ответил тот.— Вот мои бумаги.— И он протянул все свои удостоверения.

Чиновник прочитал их и сказал, что, возможно, подателю разрешат купить чин лейтенанта.

— Купить? Чтобы я еще платил деньги за то, что отбил англичан? Чтобы покупал право быть убитым в сражении за вас, пока вы тут спокойненько принимаете посетителей? Вам, видимо, угодно посмеяться надо мной! Я желаю получить командование кавалерийской ротой безвозмездно; желаю, чтобы король выпустил мадемуазель де Сент-Ив из монастыря и выдал бы ее замуж за меня; желаю поговорить с королем об оказании милости пятидесяти тысячам семейств, которые я намерен вернуть ему. Одним словом, я желаю быть полезным; пусть меня приставят к делу и произведут в чин.

— Кто вы такой, сударь, что осмеливаетесь говорить так громко?

— Ах так! — воскликнул Простодушный.— Выходит, вы не прочли моих удостоверений? Таков, значит, ваш обычай? Мое имя — Геракл де Керкабон; я крещеный, стою в гостинице «Синие часы» и обязательно пожалуюсь на вас королю.

Письмоводитель, подобно сомюрцам, решил, что Простодушный не в своем уме, и не придал его словам особого значения.

В тот же день преподобный отец де Ла Шез, духовник Людовика XIV, получил письмо от своего шпиона; тот обвинял бретонца Керкабона в тайном сочувствии гугенотам и в порицании иезуитов. Г-н де Лувуа, со своей стороны, получил письмо от вопрошающего судьи, который изображал Простодушного как повесу, намеревающегося жечь монастыри и похищать невинных девушек.

Простодушный, погуляв по версальским садам, которые нагнали на него скуку, поужинав по-гуронски и по-нижнебретонски, улегся спать, питая сладостную надежду, что завтра увидит короля, испросит его согласия на брак с м-ль де Сент-Ив, получит по меньшей мере роту кавалерии и добьется прекращения гонений на гугенотов. Он убаюкивал себя этими радужными мечтами, когда в комнату вошли стражники. Они первым делом отобрали у него двуствольное ружье и огромную саблю.

Составив опись наличных денег Простодушного, его отвезли в замок, построенный королем Карлом, сыном Иоанна, близ улицы св. Антония, у Башенных ворот.

Как был потрясен Простодушный во время этого путешествия, вообразите сами. Сперва ему казалось, что это сон; он был в оцепенении, но потом вдруг схватил за горло двух своих провожатых, сидевших с ним в карете, выбросил их вон, сам бросился вслед за ними и увлек за собой третьего, который пытался его удержать. Он упал от изнеможения, тогда его связали и опять усадили в карету.

— Так вот какова награда за изгнание англичан из Нижней Бретани! — воскликнул он.— Что сказала бы ты, прекрасная Сент-Ив, если бы увидела меня в этом положении!

Подъезжают наконец к предназначенному ему жилью и молча, как покойника на кладбище, вносят в камеру, где ему предстоит отбывать заключение. Там уже два года томился некий старый отшельник из Пор-Рояля по имени Гордон.

— Вот, привел вам товарища,— сказал ему начальник стражи.

И тотчас же задвинулись огромные засовы на массивной двери, окованной железом. Узники были отлучены от всего мира.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Простодушный заключен в Бастилию с янсенистом

Гордон был ясный духом и крепкий телом старик, обладавший двумя великими талантами: стойко переносить превратности судьбы и утешать несчастных. Он подошел к Простодушному, обнял его и сказал с искренним сочувствием:

— Кто бы ни были вы, пришедший разделить со мной эту могилу, будьте уверены, что я в любую минуту готов забыть о себе ради того, чтобы облегчить ваши страдания в той адской бездне, куда мы погружены. Преклонимся перед провидением, которое привело нас сюда, будем смиренно терпеть ниспосланные нам горести и надеяться на лучшее.

Эти слова подействовали на душу гурона, как английские капли, которые возвращают умирающего к жизни и заставляют его удивленно открывать глаза.

После первых приветствий Гордон, отнюдь не пытаясь выведать у Простодушного, что послужило причиной его несчастья, мягкостью своего обращения и тем участием, которым проникаются друг к другу страдальцы, внушил тому желание облегчить душу и сбросить гнетущее ее бремя; но так как гурон сам не понимал, из-за чего с ним случилась

эта беда, то считал ее следствием без причины. Он мог только дивиться, и вместе с ним дивился добряк Гордон.

— Должно быть,— сказал янсенист гурону,— бог предназначает вас для каких-то великих дел, раз он привел вас с берегов озера Онтарио в Англию и Францию, дозволил принять крещение в Нижней Бретани, а потом, ради вашего спасения, заточил сюда.

— По совести говоря,— ответил Простодушный,— мне кажется, что судьбой моей распоряжался не бог, а дьявол. Мои американские соотечественники ни за что не допустили бы такого варварского обращения, какое я сейчас терплю: им бы это просто в голову не пришло. Их называют дикарями, а они хотя и грубы, но добродетельны, тогда как жители этой страны хотя и утонченны, но отъявленные мошенники. Разумеется, я не могу не изумляться тому, что приехал из Нового Света в Старый только для того, чтобы очутиться в камере за четырьмя засовами в обществе священника; но тут же я вспоминаю великое множество людей, покинувших одно полушарие и убитых в другом или потерпевших кораблекрушение в пути и съеденных рыбами. Что-то я не вижу во всем этом благих предначертаний божьих.

Им подали через окошечко обед. Разговор от провидения перешел на приказы об арестах и на умение не падать духом в несчастье, которое может постичь в этом мире любого смертного.

— Вот уже два года, как я здесь,— сказал старик,— и утешение нахожу в самом себе и в книгах; однако я ни разу не впадал в уныние.

— Ах, господин Гордон! — воскликнул Простодушный.— Вы, стало быть, не влюблены в свою крестную мать! Будь вы, подобно мне, знакомы с мадемуазель де Сент-Ив, вы тоже пришли бы в отчаянье.

При этих словах он невольно залился слезами, после чего почувствовал, что уже не так подавлен, как прежде.

— Отчего слезы приносят облегчение? — спросил он.— По-моему, они должны были бы производить обратное действие.

— Сын мой, все в нас — проявление физического начала,— ответил почтенный старик.— Всякое выделение жидкости полезно нашему телу, а что приносит облегчение телу, то облегчает и душу: мы просто-напросто машины, которыми управляет провидение.

Простодушный, обладавший, как мы говорили уже много раз, большим запасом здравого смысла, глубоко задумался над этой мыслью, зародыш которой существовал в нем, ка-

жется, и ранее. Немного погодя он спросил своего товарища, почему его машина вот уже два года находится под четырьмя засовами.

— Такова искупительная благодать,— ответил Гордон.— Я слыву янсенистом, знаком с Арно и Николем; иезуиты подвергли нас преследованиям. Мы считаем папу обыкновенным епископом, а на этом основании отец де Ла Шез получил от короля, своего духовного сына, распоряжение отнять у меня величайшее из людских благ — свободу.

— Как все это странно! — сказал Простодушный.— Во всех несчастьях, о которых мне пришлось слышать, всегда виноват папа. Что касается вашей искупительной благодати, то, признаться, я ничего в ней не смыслю, но зато величайшей благодатью считаю то, что в моей беде бог послал мне вас, человека, который смог утешить мое, казалось бы, безутешное сердце.

С каждым днем их беседы становились все занимательнее и поучительнее, а души все более и более сближались. У старца были немалые познания, а у молодого — немалая охота к их приобретению. Геометрию он изучил за один месяц,— он прямо-таки пожирал ее. Гордон дал ему прочитать «Физику» Рого, которая в то время была еще в ходу, и Простодушный оказался таким сообразительным, что усмотрел в ней одни неясности.

Затем он прочитал первый том «Поисков истины». Все предстало перед ним в новом свете.

— Как! — говорил он.— Воображение и чувство до такой степени обманчивы! Как! Внешние предметы не являются источником наших представлений! Более того — мы даже не можем по своей воле составить себе их!

Прочитав второй том, он уже не был так доволен и решил, что легче разрушать, чем строить.

Его товарищ, удивленный тем, что молодой невежда высказал мысль, доступную лишь искушенным умам, возымел самое высокое мнение о его рассудке и привязался к нему еще сильнее.

— Ваш Мальбранш,— сказал однажды Простодушный,— одну половину своей книги написал по внушению разума, а другую — по внушению воображения и предрассудков.

Несколько дней спустя Гордон спросил его:

— Что же думаете вы о душе, о том, как складываются у нас представления, о нашей воле, о благодати и о свободе выбора?

— Ничего не думаю,— ответил Простодушный.— Если и были у меня какие-нибудь мысли, так только о том, что все

мы, подобно небесным светилам и стихиям, подвластны Вечному Существу, что наши помыслы исходят от него, что мы — лишь мелкие колесики огромного механизма, душа которого — это Существо, что воля его проявляется не в частных намерениях, а в общих законах. Только это кажется мне понятным, остальное — темная бездна.

— Но, сын мой, по-вашему выходит, что и грех — от бога.

— Но, отец мой, по вашему учению об искупительной благодати выходит то же самое, ибо все, кому отказано в ней, не могут не грешить; а разве тот, кто отдает нас во власть злу, не есть исток зла?

Его наивность сильно смущала доброго старика; тщетно пытаясь выбраться из трясины, он нагромождал столько слов, казалось бы, осмысленных, а на самом деле лишенных смысла (вроде физической премоции), что Простодушный даже проникся жалостью к нему. Так как все, очевидно, сводилось к происхождению добра и зла, то бедному Гордону пришлось пустить в ход и ларчик Пандоры, и яйцо Оромазда, продавленное Ариманом, и нелады Тифона с Озирисом, и, наконец, первородный грех; оба друга блуждали в этом непроглядном мраке и так и не смогли сойтись. Тем не менее эта повесть о похождениях души отвлекла их взоры от лицезрения собственных несчастий, и мысль о множестве бедствий, излитых на вселенную, по какой-то непонятной причине умалила их скорбь: раз кругом все страждет, они уже не смели жаловаться на собственные страдания.

Но в ночной тишине образ прекрасной Сент-Ив изгонял из сознания ее возлюбленного все метафизические и нравственные идеи. Он просыпался в слезах, и старый янсенист, забыв об искупительной благодати, и о сен-сиранском аббате, и Янсениусе, утешал молодого человека, находившегося, по его мнению, в состоянии смертного греха.

После чтения, после отвлеченных рассуждений они начинали вспоминать все, что с ними случилось, а после этих бесцельных разговоров снова принимались за чтение, совместное или раздельное. Ум молодого человека все более развивался. Он особенно преуспел бы в математике, если бы его все время не отвлекал от занятий образ м-ль де Сент-Ив.

Он начал читать исторические книги, и они опечалили его. Мир представлялся ему слишком уж ничтожным и злым. В самом деле, история — это не что иное, как картина преступлений и несчастий. Толпа людей, невинных и кротких, неизменно теряется в безвестности на обширной сцене. Действующими лицами оказываются лишь порочные честолюбцы. История, по-видимому, только тогда и нравится, когда

представляет собой трагедию, которая становится томительной, если ее не оживляют страсти, злодейства и великие невзгоды. Клио надо вооружать кинжалом, как Мельпомену.

Хотя история Франции, подобно истории всех прочих стран, полна ужасов, тем не менее она показалась ему такой отвратительной вначале, такой сухой в середине, напоследок же, даже во времена Генриха IV, такой мелкой и скудной по части великих свершений, такой чуждой тем прекрасным открытиям, какими прославили себя другие народы, что Простодушному приходилось перебарывать скуку, одолевая подробное повествование о мрачных событиях, происходивших в одном из зáкоулков нашего мира.

Тех же взглядов держался и Гордон: обоих разбирал презрительный смех, когда речь шла о государях фезансакских, фезансагетских и астаракских. Да и впрямь, такое исследование пришлось бы по душе разве что потомкам этих государей, если бы таковые нашлись. Прекрасные века Римской республики сделали гурона на время равнодушным к прочим странам земли. Победоносный Рим, законодатель народов,— это зрелище поглотило всю его душу. Он воспламенялся, любуясь народом, которым в течение целых семи столетий владела восторженная страсть к свободе и славе.

Так проходили дни, недели, месяцы, и он почитал бы себя счастливым в этом приюте отчаянья, если бы не любил.

По своей природной доброте он горевал, вспоминая о приоре храма Горной богоматери и о чувствительной м-ль де Керкабон.

«Что подумают они,— часто размышлял он,— не получая от меня известий? Разумеется, сочтут меня неблагодарным!»

Эта мысль тревожила Простодушного: тех, кто его любил, он жалел гораздо больше, чем самого себя.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Как Простодушный развивает свои дарования

Чтение возвышает душу, а просвещенный друг доставляет ей утешение. Наш узник пользовался обоими этими благами, о существовании которых раньше и не подозревал.

— Я склонен уверовать в метаморфозы,— говорил он,— ибо из животного превратился в человека.

На те деньги, которыми ему позволили располагать, он составил себе отборную библиотеку. Гордон побуждал его записывать свои мысли. Вот что написал Простодушный о древней истории:

«Мне кажется, что народы долгое время были такими, как я, что лишь очень поздно они достигли образованности, что в продолжение многих веков их занимал только текущий день, прошедшее же очень мало, а будущее было совсем безразлично. Я обошел всю Канаду, углублялся в эту страну на пятьсот — шестьсот лье и не набрел ни на один памятник прошлого; никто не знает, что делал его прадед. Не таково ли естественное состояние человека? Порода, населяющая этот материк, более развита, на мой взгляд, чем та, которая населяет Новый Свет. Уже в течение нескольких столетий расширяет она пределы своего бытия с помощью искусств и наук. Не оттого ли, что подбородки у европейцев обросли волосами, когда как американцам бог не дал бороды? Думаю, что не оттого, так как вижу, что китайцы, будучи почти безбородыми, упражняются в искусствах уже более пяти тысяч лет. В самом деле, если их летописи насчитывают не менее четырех тысячелетий, стало быть, этот народ около пятидесяти веков назад уже был един и процветал.

В древней истории Китая особенно поражает меня то обстоятельство, что почти все в ней правдоподобно и естественно, что в ней нет ничего чудесного.

Почему же все прочие народы приписывают себе сказочное происхождение? Древние французские летописцы, не такие уж, впрочем, древние, производят французов от некоего Франка, сына Гектора; римляне утверждают, что происходят от какого-то фригийца, невзирая на то, что в их языке нет ни единого слова, которое имело бы хоть какое-нибудь отношение к фригийскому наречию; в Египте десять тысяч лет обитали боги, а в Скифии — бесы, породившие гуннов. До Фукидида я не нахожу ничего, кроме романов, которые напоминают «Амадисов», только гораздо менее увлекательны. Всюду привидения, прорицания, чудеса, волхвования, превращения, истолкованные сны, которые решают участь как величайших империй, так и мельчайших племен: тут говорящие звери, там звери обожествленные, боги, преображенные в людей, и люди, преображенные в богов. Если уж нам так нужны басни, пусть они будут, по крайней мере, символами истины! Я люблю басни философские, смеюсь над ребяческими и ненавижу придуманные обманщиками».

Однажды ему попалась в руки история императора Юстиниана. Там было сказано, что константинопольские апедевты издали на очень дурном греческом языке эдикт, направленный против величайшего полководца того века, ссылаясь на то, что герой этот произнес как-то в пылу разговора такие слова: «Истина сияет собственным светом, и не подобает

просвещать умы пламенем костров». Апедевты утверждали, что это положение еретическое, отдающее ересью, и что единственно правоверной, всеобъемлющей и греческой является обратная аксиома: «Только пламенем костров просвещаются умы, ибо истина не способна сиять собственным светом». Подобным же образом осудили линостолы и другие речи полководца и издали эдикт.

— Как! — воскликнул Простодушный.— И такие-то вот люди издают эдикты?

— Это не эдикты,— возразил Гордон,— это контрэдикты, над которыми в Константинополе издевались все, и в первую голову император; это был мудрый государь, который сумел поставить апедевтов-линостолов в такое положение, что они имели право творить только добро. Он знал, что эти господа и еще кое-кто из пастофоров истощали терпение предшествовавших императоров контрэдиктами по более важным вопросам.

— Он правильно сделал,— сказал Простодушный.— Надо, поддерживая пастофоров, сдерживать их.

Он записал еще много других своих мыслей, и они привели в ужас старого Гордона.

«Как! — думал он,— я потратил пятьдесят лет на свое образование, но боюсь, что этот полудикий мальчик далеко превосходит меня своим прирожденным здравым смыслом. Страшно подумать, но, кажется, я укреплял только предрассудки, а он внемлет одному лишь голосу природы».

У Гордона были кое-какие критические сочинения, периодические брошюры, в которых люди, неспособные произвести что-либо свое, поносят чужие произведения, в которых всякие Визе хулят Расинов, а Фэйди — Фенелонов. Простодушный бегло прочитал их.

— Они подобны тем мошкам,— сказал он,— что откладывают яйца в заднем проходе самых резвых скакунов; однако кони не становятся от этого менее резвы.

Оба философа удостоили лишь мимолетным взглядом эти литературные испражнения.

Вслед за тем они вместе прочитали начальный учебник астрономии. Простодушный вычертил небесные полушария; его восхищало это величавое зрелище.

— Как печально,— говорил он,— что я приступил к изучению неба как раз в то время, когда у меня отняли право глядеть на него! Юпитер и Сатурн катятся по необозримым просторам, миллионы солнц озаряют миллионы миров, а в том уголке земли, куда я заброшен, есть существа, лишающие меня, зрячее и мыслящее существо, и всех этих миров, кото-

рые я мог бы охватить взором, и даже того мира, где, по промыслу божию, я родился! Свет, созданный на потребу всей вселенной, мне не светит. Его не таили от меня под северным небосклоном, где я провел детство и юность. Не будь здесь вас, мой дорогой Гордон, я впал бы в ничтожество.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Что думает Простодушный о театральных пьесах

Юноша Простодушный был похож на одно из тех выросших на бесплодной земле могучих деревьев, чьи корни и ветви быстро развиваются, стоит их пересадить на благоприятную почву. Как ни удивительно, такой почвой для него оказалась тюрьма.

Среди книг, заполнявших досуг обоих узников, нашлись стихи, переводы греческих трагедий и кое-какие французские театральные пьесы. Стихи, где речь шла о любви, и радовали и печалили Простодушного. Все они говорили ему о его бесценной Сент-Ив! Басня о двух голубях пронзила ему сердце: он-то был лишен возможности вернуться в свою голубятню!

Мольер привел его в восторг: с его помощью гурон познакомился с нравами парижан и, одновременно, всего рода человеческого.

— Какая из его комедий нравится вам всего более?

— «Тартюф», без сомнения.

— Мне тоже,— сказал Гордон.— В эту темницу вверг меня Тартюф, и возможно, что виновниками вашего несчастья тоже были Тартюфы. А какого вы мнения о греческих трагедиях?

— Для греков они хороши,— ответил Простодушный.

Но когда он прочитал новую «Ифигению», «Федру», «Андромаху», «Гофолию», он пришел в полное восхищение, вздыхал, лил слезы и, не заучивая, запомнил их наизусть.

— Прочтите «Родогуну»,— сказал Гордон.— Говорят, это верх театрального совершенства; другие пьесы, доставившие вам столько удовольствия, не идут с ней в сравнение.

После первой же страницы молодой человек вскричал:

— Это не того автора!

— Почему вы так думаете?

— Не знаю, но эти стихи ничего не говорят ни уму, ни сердцу.

— Ну, это из-за их качества.

— Зачем же писать стихи такого качества? — возразил Простодушный.

Прочитав внимательнейшим образом всю пьесу ради того лишь, чтобы насладиться ею, Простодушный удивленно уставился на своего друга сухими глазами и не знал, что сказать. Но так как тот требовал, чтобы гурон дал отчет в своих чувствах, он сказал:

— Начала я не понял; середина меня возмутила; последняя сцена очень взволновала, хотя и показалась малоправдоподобной; никто из действующих лиц не возбудил во мне сочувствия; я не запомнил и двадцати стихов; хотя запоминаю все до единого, когда они мне по душе.

— А между тем считается, что это лучшая наша пьеса.

— В таком случае,— ответил Простодушный,— она подобна людям, недостойным мест, которые они занимают. В конце концов, это дело вкуса; мой вкус, должно быть, еще не сложился; я могу и ошибиться; но вы же знаете, я привык говорить все, что думаю, или, скорее, что чувствую. Подозреваю, что людские суждения часто зависят от обманчивых представлений, от моды, от прихоти. Я высказался сообразно своей природе; она, может быть, весьма несовершенна, но может быть и так, что большинство людей недостаточно прислушивается к голосу своей природы.

После этого он произнес несколько стихов из «Ифигении», которых знал множество, и хотя декламировал он неважно, однако вложил в свое чтение столько искренности и задушевности, что вызвал у старого янсениста слезы. Затем Простодушный прочитал «Цинну»; тут он не плакал, но восхищался.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прекрасная Сент-Ив едет в Версаль

Пока наш незадачливый гурон скорее просвещается, чем утешается, пока его способности, долго находившиеся в пренебрежении, развиваются так быстро и бурно, пока природа его, совершенствуясь, вознаграждается за обиды, нанесенные ему судьбой, посмотрим, что тем временем происходит с г-ном приором, с его доброй сестрой и с прекрасной затворницей Сент-Ив. Первый месяц прошел в беспокойстве, а на третий месяц они погрузились в скорбь; их пугали ложные догадки и неосновательные слухи; на исходе шестого месяца все сочли, что гурон умер. Наконец г-н де Керкабон и его сестра узнали из письма, давным-давно отправленного бретонским лейб-гвардейцем, что какой-то молодой человек,

похожий по описанию на Простодушного, прибыл однажды вечером в Версаль, но что в ту же ночь его куда-то увезли, и что с тех пор никто ничего о нем не слыхал.

— Увы,— сказала м-ль де Керкабон,— наш племянник сделал, вероятно, какую-нибудь глупость и попал в беду. Он молод, он из Нижней Бретани, откуда же ему знать, как себя вести при дворе? Дорогой братец, я не бывала ни в Версале, ни в Париже; вот отличный случай их посмотреть. Мы разыщем, быть может, нашего бедного племянника,— он сын нашего брата, наш долг помочь ему. Как знать, возможно, когда умерится в нем юношеский пыл, нам в конце концов все же удастся сделать его иподьяконом. У него были большие способности к наукам. Помните, как он рассуждал о Ветхом и Новом завете? Мы отвечаем за его душу — ведь это мы уговорили его креститься. К тому же его милая возлюбленная Сент-Ив целыми днями плачет о нем. Нет, в Париж съездить необходимо. Если он застрял в одном из тех мерзких веселых домов, о которых я столько наслышалась, мы вызволим его оттуда.

Приора тронули речи сестры. Он отправился в Сен-Мало к епископу, который крестил гурона, и попросил у него покровительства и совета. Прелат одобрил мысль о поездке. Он снабдил приора рекомендательными письмами к отцу де Ла Шез, королевскому духовнику и высшему сановнику в королевстве, к парижскому архиепископу Арле и к Боссюэ, епископу города Мо.

Наконец брат и сестра пустились в путь. Однако, приехав в Париж, они потерялись в нем, словно в обширном лабиринте люди, не имеющие путеводной нити. Средства у них были скромные, между тем для розысков им каждый день требовалась карета, а розыски ни к чему не приводили.

Приор отправился к преподобному отцу де Ла Шез, но у того сидела м-ль дю Трон, и ему было не до приоров. Он толкнулся к архиепископу; прелат заперся с прекрасной г-жой де Ледигьер и занимался с ней церковными делами. Он помчался в загородный дом епископа города Мо, но тот в обществе м-ль де Молеон подвергал разбору «Мистическую любовь» г-жи де Гюйон. Ему удалось все же добиться, чтобы эти прелаты выслушали его; оба заявили, что не могут заняться судьбой его племянника, так как он не иподьякон.

Напоследок он повидался с иезуитом, отец де Ла Шез принял его с распростертыми объятиями, уверяя, что всегда питал к нему особое уважение, хотя и не был с ним знаком. Он поклялся, что общество Иисуса всегда было благорасположено к нижнебретонцам.

— Но, может быть,— спросил он,— ваш племянник имеет несчастье быть гугенотом?

— Что вы, преподобный отец, разумеется, нет.

— А он случайно не янсенист?

— Смею заверить вас, ваше преподобие, что и христианин-то он совсем новорожденный: мы крестили его всего одиннадцать месяцев назад.

— Вот и хорошо, вот и хорошо, мы о нем позаботимся. А богат ли ваш приход?

— О нет, совсем бедный, а племянник обходится нам недешево.

— Нет ли у вас по соседству янсенистов? Будьте очень осторожны, господин приор: они опаснее гугенотов и атеистов.

— Их у нас нет, преподобный отец: в приходе Горной богоматери не знают, что такое янсенисты.

— Тем лучше. Поверьте, нет такой вещи, которой я не сделал бы для вас.

Он любезно проводил приора до дверей и мигом забыл о нем.

Время шло; приор и его сестра совсем уже отчаялись.

Между тем гнусный судья торопил свадьбу своего олуха-сына с прекрасной Сент-Ив, которую ради этого выпустили из монастыря. Она по-прежнему любила своего крестника так же сильно, как ненавидела навязанного ей жениха. От обиды на то, что ее заточили в монастырь, страсть только возросла; приказание выйти замуж за сына судьи довершило дело. Сожаление, нежность и страх волновали ей душу. Девичья любовь, как известно, куда изобретательнее, чем привязанность какого-нибудь старого приора или тетушки, которой перевалило за сорок. К тому же молодая девушка очень развилась за время пребывания в монастыре благодаря романам, которые украдкой там прочла.

Она не забыла про письмо, отправленное в свое время лейб-гвардейцем в Нижнюю Бретань и вызвавшее там толки, и решила, что сама разведает дело в Версале, бросится к ногам министра, если верны слухи, что ее возлюбленный в тюрьме, и добьется его оправдания. Какое-то тайное чувство подсказывало ей, что при дворе красивой девушке не откажут ни в чем; но она не знала, во что ей это обойдется.

Приняв решение, она утешилась; она спокойно, не отталкивает больше болвана-жениха, приветливо встречает отвратительного свекра, ласкается к брату, наполняет дом весельем; потом, в тот самый день, когда должна была состояться брачная церемония, уезжает тайком в четыре часа утра, захватив с собой мелкие свадебные подарки и все, что

удалось собрать. Все было так хорошо рассчитано, что, когда около полудня зашли к ней в комнату, она была уже за десять лье от дома. Велико было общее изумление и замешательство. Пытливый судья задал за этот день не меньше вопросов, чем обычно задавал за целую неделю, нареченный же супруг превратился еще в большего дурака, чем был раньше. Аббат де Сент-Ив решил в сердцах пуститься в погоню за сестрой. Судья с сыном взялись его сопровождать. Таким образом, почти целый округ Нижней Бретани оказался волею судьбы в Париже.

Прекрасная Сент-Ив понимала, что за ней погоня. Она ехала верхом и хитро выспрашивала обгонявших ее королевских гонцов, не видели ли они на Парижской дороге толстого аббата, огромного судью и молодого олуха. Узнав на третий день, что они уже нагоняют ее, она свернула на другую дорогу и была столь ловка и удачлива, что добралась до Версаля, в то время как ее тщетно разыскивали в Париже.

Но как вести себя в Версале? Как ей, молодой, красивой, лишенной советчика, лишенной поддержки, ни с кем не знакомой, беззащитной перед опасностями, решиться на поиски лейб-гвардейца? Она надумала обратиться к одному иезуиту низшего ранга: там водились иезуиты всякого рода, пригодные для людей любых сословий. Подобно тому как бог, говорили они, даровал разным породам животных различную пищу, так даровал он и королю особого духовника, которого все искатели духовных должностей величали «главой галликанской церкви»; далее следовали духовники принцесс; у министров не было духовных отцов: не так они были просты, чтобы обзаводиться ими. Были иезуиты, приставленные к придворным служителям, и особые иезуиты при горничных, через которых выведывались тайны их хозяек; эта должность считалась очень важной. Прекрасная Сент-Ив обратилась к одному из этих последних; имя его было Тут-и-там. Она исповедалась у него, открыла ему свои похождения, свое звание, свои страхи и заклинала его поселить ее у какой-нибудь набожной особы, которая оградила бы ее от всех соблазнов.

Отец Тут-и-там направил ее к жене одного из придворных виночерпиев своей вернейшей духовной дочери. Оказавшись у нее в доме, м-ль де Сент-Ив поспешила завоевать доверие и дружбу этой женщины, навела у нее справки о бретонском лейб-гвардейце и пригласила его к себе. Узнав от него, что ее возлюбленный был увезен после разговора со старшим письмоводителем, она бежит к этому чиновнику. При виде красивой женщины тот смягчается, ибо нельзя же

спорить с тем, что бог только на то и создал женщин, чтобы укрощать мужчин.

Письмоводитель, разнежась, признался ей во всем:

— Ваш возлюбленный уже около года в Бастилии и, не будь вас, просидел бы там, быть может, всю жизнь.

Нежная Сент-Ив упала в обморок. Когда она пришла в себя, письмоводитель сказал ей:

— Я не правомочен творить добро; вся моя власть сводится к тому, что время от времени я могу делать зло. Послушайтесь меня, сейчас же идите к родственнику и любимцу монсеньора де Лувуа, господину де Сен-Пуанж, который творит и добро и зло. У нашего министра две души: одна из них — господин де Сен-Пуанж, другая — госпожа де Дюбеллуа, но ее нет сейчас в Версале. Выход у вас один: умилостивить названного мной покровителя.

Прекрасная Сент-Ив, в чьей душе толика радости боролась с глубокой скорбью и слабая надежда — с горестными опасениями, преследуемая братом, обожающая возлюбленного, утирая слезы и проливая их вновь, дрожа, слабея и снова набираясь мужества, устремилась к г-ну де Сен-Пуанж.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Простодушный развивает свой ум

Простодушный быстро преуспевал в науках, особенно в науке о человеке. Быстрое развитие его умственных способностей было вызвано отчасти его душевными свойствами, отчасти же — дикарским воспитанием, ибо, ничему не научившись в детстве, он не имел и предрассудков. Его разум, не искривленный заблуждениями, сохранил всю свою природную прямоту. Он видел вещи такими, каковы они есть, меж тем как мы под воздействием представлений, сообщенных нам в детстве, видим их всю жизнь такими, какими они не бывают.

— Ваши гонители гнусны,— говорил он своему другу Гордону.— Мне жаль, что вас преследуют, но жаль также, что вы — янсенист. Всякая секта представляется мне скопищем заблудших людей. Скажите, существуют ли секты среди математиков?

— Нет, дорогое мое дитя,— ответил ему со вздохом Гордон.— Все люди единодушно признают истину, когда она доказана, но непомерны их раздоры, когда речь идет об истинах неразъясненных.

— Скажите лучше — о неразъясненных заблуждениях. Если бы под грудой доводов, которые обсуждаются столько веков подряд, таилась некая единая истина, ее, несомненно, открыли бы и хоть на этот счет все на свете пришли бы к согласию. Будь эта истина нужна, как солнце нужно земле, она и сверкала бы, как солнце. Нелепо, оскорбительно для всего рода человеческого и преступно по отношению к Верховному и Бесконечному Существу утверждать, будто есть какая-то истина, существенно важная для человека, которую бог утаил.

Все, что говорил юный невежда, научаемый природой, производило глубокое впечатление на обездоленного старого ученого.

— Неужели же,— воскликнул он,— я обрек себя на несчастье ради каких-то бредней? В существовании своего горя я куда более уверен, чем в существовании искупительной благодати. Я трачу дни на рассуждения о свободе бога и рода человеческого, а своей свободы я лишился; ни блаженный Августин, ни святой Проспер не изведут меня из бездны, в которой я обретаюсь.

Простодушный, верный своей натуре, сказал наконец:

— Хотите, чтобы я высказался прямо и откровенно? Тех, кто подвергается гонениям из-за пустых, никому не нужных споров, я нахожу не очень мудрыми, а их гонителей считаю извергами.

Оба узника вполне сходились во взглядах на то, что их обоих заключили в тюрьму несправедливо.

— Я во сто крат более достоин сожаления, чем вы,— говорил Простодушный.— Я родился свободным, как воздух, и дорожил в жизни только этой свободой и предметом моей любви; их у меня отняли. И вот оба мы в оковах, не зная и не имея возможности спросить, за что. Двадцать лет прожил я гуроном. Их называют варварами, потому что они мстят врагам, но зато они никогда не притесняют друзей. Стоило мне вступить на французскую землю, как я пролил кровь за нее; я, быть может, спас целую провинцию — и в награду ввергнут в эту усыпальницу живых, где без вас умер бы от бешенства. Выходит, в этой стране нет законов? Здесь можно осудить человека, не выслушав его... В Англии так не бывает. Ах, не с англичанами мне следовало сражаться!

Так его нарождавшаяся философия не могла укротить натуру, чье наипервейшее право было поругано, и не преграждала путь праведному гневу.

Его товарищ не перечил ему. Разлука всегда усиливает неудовлетворенную любовь, а философия не способна ее ума-

лить. Простодушный говорил о своей дорогой Сент-Ив так же часто, как о морали и метафизике. Чем более очищалось его чувство, тем крепче он ее любил. Он прочитал несколько новых романов. Только в очень немногих нашел он изображение своего душевного состояния. Он чувствовал, что в его сердце скрыто больше, чем во всех прочитанных им книгах.

— Ах,— говорил он,— все эти писатели отличаются только остроумием и мастерством!

Добрый священник-янсенист незаметно стал поверенным его нежной любви. В былые времена любовь была знакома ему только как грех, в котором каются на исповеди. Теперь он научился видеть в ней чувство не только нежное, но и благородное, способное и возвысить и смягчить душу, а порою даже породить добродетель. В конце концов совершилось настоящее чудо: гурон обратил на путь истинный янсениста.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Прекрасная Сент-Ив не соглашается на щекотливое предложение

Итак, прекрасная Сент-Ив, преисполненная еще большей нежности, чем ее возлюбленный, отправилась к г-ну де Сен-Пуанж в сопровождении приятельницы, у которой жила,— обе укрытые вуалями. Первый, кого увидела она в дверях, был ее брат, аббат де Сент-Ив, выходивший оттуда. Она оробела, но набожная приятельница успокоила ее.

— Именно потому, что там говорили о вас дурно, должны и вы сказать свое слово. Будьте уверены, что в здешних краях обвинители всегда оказываются правы, если их вовремя не обличить. К тому же, если предчувствие меня не обманывает, вы своим видом окажете гораздо большее влияние, чем ваш брат самыми убедительными словами.

Стоит лишь немного ободрить страстно влюбленную женщину, и она становится неустрашимой. М-ль де Сент-Ив входит в приемную. Ее молодость, ее чарующая внешность, ее нежные очи, чуть увлажненные слезами, привлекли к ней все взоры. Клевреты помощника министра забыли на миг о кумире власти и начали любоваться кумиром красоты. Сен-Пуанж провел ее в свой кабинет. Речь ее была проникновенна и изящна; Сен-Пуанж был растроган; девушка дрожала, он ее успокаивал.

— Приходите сегодня вечером,— сказал он ей.— Ваши дела заслуживают того, чтобы поразмыслить и потолковать о них на досуге. Здесь слишком много народу и прием посети-

телей производится слишком поспешно, а мне надо серьезно поговорить с вами обо всем, что касается вас.

Затем, воздав хвалу ее красоте и чувствам, он предложил ей прийти к семи часам вечера.

Она явилась без опоздания. Набожная приятельница сопровождала ее и на этот раз, но осталась в приемной, где занялась чтением «Христианского педагога», меж тем как Сен-Пуанж и прекрасная Сент-Ив ушли во внутренние покои.

— Поверите ли, сударыня,— начал он,— что ваш брат просил меня отдать приказ о взятии вас под стражу? По правде говоря, я охотно отдал бы приказ о высылке его самого в Нижнюю Бретань.

— Увы, сударь, ваши канцелярии, видно, очень щедры на такие приказы, если за ними приезжают, как за пенсиями, из самых глухих углов королевства. Я очень далека от намерения хлопотать о подобном приказе в отношении моего брата. У меня много оснований жаловаться на него, но я уважаю людскую свободу и прошу об одном — даровать свободу тому, за кого я намерена выйти замуж. Этот человек, сын офицера, убитого на королевской службе, уже спас одну из французских провинций и в будущем тоже может быть очень полезен королю. В чем обвиняют его? Как это возможно, что с ним так жестоко обошлись, даже не выслушав его объяснений?

Тогда помощник министра показал ей письма иезуита-шпиона и коварного судьи.

— Как! Неужели на свете существуют такие изверги? Подумать только, меня хотят насильно выдать замуж за глупейшего сына этого глупейшего и к тому же злобного человека. И от подобных наветов зависит здесь участь граждан!

Она упала на колени и, рыдая, молила выпустить на волю честного юношу, который так горячо ее любит. Состояние, в котором она находилась, только подчеркнуло все ее прелести. Она была так хороша, что Сен-Пуанж, потеряв всякий стыд, намекнул на возможность полного успеха ее ходатайства, если она подарит ему первины того, что бережет для возлюбленного. М-ль де Сент-Ив в ужасе и замешательстве долго притворялась, что ничего не понимает; Сен-Пуанжу пришлось объясниться начистоту. Сдержанное слово, сорвавшееся с уст, породило другое, более откровенное, за которым последовало еще более выразительное. Он предложил ей не только отмену приказа об аресте, но и награду, деньги, почести, выгодные должности, и чем больше обещал, тем сильнее хотел добиться согласия.

Упав на диван, м-ль де Сент-Ив плакала, задыхалась,

отказывалась верить тому, что слышала. Сен-Пуанж, в свою очередь, упал к ее ногам. Он был недурен собой, и в другом, менее предубежденном сердце не вызвал бы страха. Но м-ль де Сент-Ив боготворила своего возлюбленного и считала, что изменить ему даже ради его пользы было бы настоящим преступлением. Сен-Пуанж продолжал расточать мольбы и обещания. Напоследок голова у него пошла кругом, и он заявил, что это — единственное средство извлечь из тюрьмы человека, в чьей судьбе она принимает такое нежное и страстное участие. Странный разговор затягивался. Богомолка в приемной, читая «Христианского педагога», бормотала: «Боже мой! Что же они там делают целых два часа? Никогда не случалось, чтобы монсеньор де Сен-Пуанж давал кому-нибудь такую долгую аудиенцию. Может быть, он отказал бедной девушке наотрез, а она продолжает его упрашивать?»

Наконец ее приятельница вышла из внутренних покоев, растерянная, онемевшая, погруженная в глубокие размышления о нравах вельмож и полувельмож, которые так легко приносят в жертву людскую свободу и женскую честь.

За всю дорогу она не проронила ни слова. Лишь вернувшись домой, прекрасная Сент-Ив не выдержала и рассказала подруге все. Богомолка принялась размашисто креститься.

— Моя дорогая, надо завтра же посоветоваться с нашим духовником, отцом Тут-и-там; он пользуется большим доверием у г-на де Сен-Пуанж; у него исповедуются многие служанки из этого дома; он человек благочестивый, доброжелательный и наставляет не только горничных, но и знатных дам. Доверьтесь ему вполне,— я всегда так поступаю, и благодаря этому все идет у меня хорошо. Нам, бедным женщинам, необходимо мужское руководство. Так вот, моя дорогая, завтра же я пойду к отцу Тут-и-там.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Она советуется с иезуитом

Как только прекрасная, удрученная горем Сент-Ив оказалась наедине с добрым духовником, она призналась ему, что некий могущественный сластолюбец предлагает выпустить из тюрьмы того, с кем она намерена сочетаться законным браком, но за эту услугу требует слишком дорогой платы, что ей отвратительна подобная измена и что, если бы речь шла о ее собственной жизни, она предпочла бы умереть.

— Что за омерзительный грешник! — сказал отец Тут-и-там.— Скажите мне имя этого негодяя: не сомневаюсь, что

он — янсенист. Я донесу на него его преподобию, отцу де Ла Шез, и он отправит его в то обиталище, где томится сейчас ваш дорогой нареченный.

Несчастная девушка сперва никак не могла решиться, но после долгих колебаний все же назвала имя Сен-Пуанжа.

— Господин де Сен-Пуанж! — воскликнул иезуит.— Ах, дочь моя, это совсем другое дело! Он — родня величайшего из всех бывших и настоящих министров, он добродетельный человек, ревнитель нашего правого дела, хороший христианин; такая мысль ему и в голову не могла бы прийти. Вы, наверно, не поняли его.

— Ах, отец мой, я слишком хорошо его поняла. Как бы я ни поступила, мне все равно пропадать; либо горе, либо позор — другого выбора у меня нет: или моему возлюбленному быть погребенным заживо, или мне стать недостойной жизни. Я не могу допустить, чтобы он погиб, но и спасти его тоже не могу.

Отец Тут-и-там постарался успокоить ее кроткими речами.

— Во-первых, дочь моя, никогда не произносите этих слов — «мой возлюбленный» — в них есть нечто светское и богопротивное; говорите «мой супруг», ибо хотя он еще и не супруг ваш, однако вы рассматриваете его как супруга, и это как нельзя более справедливо.

Во-вторых, хотя и в мыслях ваших и надеждах он ваш супруг, однако в действительности он еще не супруг; стало быть, вы не можете впасть в прелюбодеяние, в этот великий грех, которого по мере возможности следует избегать.

В-третьих, человеческие поступки не греховны, когда вызваны благими намерениями, а нет ничего чище намерения вернуть свободу своему нареченному.

В-четвертых, святая древность дала примеры, которые могут послужить вам чудесными образцами поведения. Блаженный Августин рассказывает, что при проконсуле Септимии Акиндине в год нашего спасения триста сороковой некий бедняк, не имевший возможности уплатить кесарево кесарю, был приговорен к смерти, невзирая на правило: «На нет и королевского суда нет». Дело шло о фунте золота. У осужденного была жена, которую бог наделил красотой и благоразумием. Старый богач обещал даме фунт золота, а то и больше, при условии, что она совершит с ним гнусный грех. Дама сочла, что, спасая мужа, не сотворит зла. Блаженный Августин весьма одобрительно отзывался о ее великодушной покорности обстоятельствам. Правда, старый богач обманул ее,

возможно даже, что муж и не избежал виселицы; однако она сделала все, что могла, дабы спасти ему жизнь.

Будьте уверены, дочь моя, что, если уже иезуит ссылается на блаженного Августина, стало быть, этот святой изрек непреложную истину. Я ничего вам не советую, вы девушка разумная: надо полагать, вы поможете вашему мужу. Монсеньор де Сен-Пуанж порядочный человек, он вас не обманет; вот и все, что я могу вам сказать. Я помолюсь за вас и надеюсь, что все устроится к вящей славе божьей.

Прекрасная Сент-Ив, которую речи иезуита испугали не меньше, чем предложения помощника министра, вернулась к приятельнице совсем растерянная. Ей хотелось умереть и таким образом избавиться от ужасной необходимости оставить в тяжкой неволе возлюбленного, которого она обожала, или от позорной возможности освободить его ценой того, что было ей всего дороже и что должно было принадлежать только этому злосчастному возлюбленному.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Добродетель вынуждает ее пасть

Она просила приятельницу убить ее, но эта женщина, столь же снисходительная, как иезуит, высказалась еще откровеннее, чем он.

— Увы! — проговорила она.— При этом дворе, столь изысканном, любезном, прославленном, чего-нибудь добиться можно лишь таким способом. Должности, и самые незаметные и самые важные, нередко получают только за ту плату, которую требуют от вас. Послушайте, вы внушили мне доверие и приязнь: признаюсь вам, будь я так несговорчива, как вы, мой муж не занимал бы и того скромного места, которое дает ему возможность существовать. Он это знает и не только не сердится, но, напротив, видит во мне благодетельницу, а на себя смотрит как на моего ставленника. Неужели вы думаете, что люди, которые управляли провинциями или командовали армиями, обязаны почестями и богатством одним своим достоинствам? Среди них немало таких, которые в долгу за это перед своими супругами. Высоких воинских званий домогались ценою любви, и место доставалось тому, чья жена красивее.

Вы находитесь в положении гораздо более выгодном: речь идет о том, чтобы освободить из тюрьмы возлюбленного и выйти за него замуж; это ваш священный долг, и вы обязаны его выполнить. Тех прекрасных и знатных дам, о которых я

вам рассказываю, не осудил никто, ну, а вам будут рукоплескать, скажут, что вы совершили проступок от избытка добродетели.

— Какая уж тут добродетель! — воскликнула прекрасная Сент-Ив.— Что за лабиринты беззаконий! Что за страна, и какую надо пройти науку, чтобы узнать людей! Какой-то отец де Ла Шез и какой-то глупейший судья сажают моего возлюбленного в тюрьму, моя родня преследует меня, и в столь тяжкое время мне протягивают руку помощи лишь затем, чтобы меня обесчестить! Один иезуит погубил благородного человека, другой хочет погубить меня; кругом одни только западни, и я близка к гибели. Надо либо покончить с собой, либо поговорить с королем: я кинусь ему в ноги на его пути к обедне или в театр.

— Вас к нему не подпустят,— ответила ей приятельница.— А если бы вы, себе на горе, заговорили с ним, господин де Лувуа и преподобный отец де Ла Шез упрятали бы вас до скончания ваших дней в монастырь.

В то время, как эта почтенная особа усугубляла подобным образом смущение отчаявшейся девушки и все глубже вонзала ей кинжал в сердце, от г-на де Сен-Пуанж явился нарочный с письмом и парой великолепных серег. Сент-Ив, рыдая, отшвырнула их, но ее приятельница подобрала серьги.

Едва лишь нарочный ушел, как наперсница вслух прочла письмо, в котором Сен-Пуанж приглашал их обеих вечером к себе на ужин. Сент-Ив поклялась, что не пойдет. Богомолка попыталась примерить ей алмазные серьги, но она решительно отказалась от этого. Целый день бедняжка боролась с собой и наконец, помышляя только о возлюбленном, побежденная, влекомая силком, не понимая, куда ее ведут, отправилась на роковое свидание. Никакими уговорами нельзя было заставить ее надеть серьги. Наперсница принесла их с собой и, перед тем как сесть за стол, насильно вдела их в уши подруги. Сент-Ив была так смущена и взволнована, что не смогла воспротивиться назойливым приставаниям приятельницы, а хозяин дома усмотрел в этом доброе для себя предзнаменование. Под конец трапезы наперсница неприметно скрылась. Тогда Сен-Пуанж показал распоряжение об отмене ареста, указ о крупной денежной награде, патент на капитанский чин и не поскупился на посулы.

— Ах,— сказала ему Сент-Ив,— как я полюбила бы вас, если бы вы не требовали моей любви!

После долгого сопротивления, рыданий, воплей, слез, ослабевшая от борьбы, растерянная, истомленная, она принуж-

дена была сдаться. Ей оставалось только одно утешение — пообещать себе, что в то время, когда жестокосердный человек будет безжалостно пользоваться ее безвыходным положением, она все свои помыслы обратит к Простодушному.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Она освобождает возлюбленного и янсениста

На рассвете заручившись министерским приказом, она мчится в Париж. Трудно описать, что делается дорогой в ее сердце. Вообразите себе добродетельную душу, униженную позором, исполненную нежностью, истерзанную укорами совести из-за измены возлюбленному, проникнутую радостным сознанием, что освободит предмет своего обожания! Память о вкушенной горечи, о борьбе и достигнутом успехе примешивалась ко всем ее мыслям. Это была уже не прежняя простенькая девушка, чьи понятия были ограничены провинциальным воспитанием. Любовь и несчастье образовали ее. Чувство достигло в ней такого же развития, какого достиг разум в ее несчастном возлюбленном. Девушки легче научаются чувствовать, нежели мужчины — мыслить. Ее приключения оказались назидательнее четырехлетней монастырской жизни.

Одета она была до крайности просто. С отвращением смотрела она на убор, в котором предстала вчера перед своим жестоким благодетелем; алмазные серьги она оставила приятельнице, даже не поглядев на них. Смущенная и обрадованная, боготворя Простодушного и ненавидя себя, приближается она наконец к воротам.

Сей страшной крепости, твердыни злобной мести,
Где заточен порок с невинностию вместе.

Когда подъехали к месту заточения, она совсем обессилела, и кто-то помог ей выйти из кареты. Сердце ее трепетало, глаза были влажны, лицо печально. Ее приводят к коменданту, она хочет заговорить с ним, но голос ей изменяет. Едва пролепетав несколько слов, она протягивает грамоту. Коменданту был по душе узник, и он порадовался за него. Сердце у этого человека не ожесточилось, как у некоторых его собратьев, у тех почтенных тюремщиков, которые, помышляя только о жалованье, положенном за охрану заключенных, умножая свои доходы за счет несчастных жертв и строя благоденствие на чужой беде, втайне жестоко радуются слезам обездоленных.

Он вызывает узника к себе. Влюбленные встречаются, и оба теряют сознание. Прекрасная Сент-Ив долго лежала неподвижная и бездыханная, Простодушный же вскоре пришел в себя.

— Это, видимо, ваша супруга,— сказал ему комендант.— Вы не говорили мне, что женаты. Как мне передавали, своим освобождением вы обязаны ее великодушным заботам.

— Ах, я недостойна быть его женой,— дрожащим голосом проговорила прекрасная Сент-Ив и снова потеряла сознание.

Очнувшись, она, по-прежнему дрожа, показала указ о денежной награде и патент на капитанский чин. Простодушный, растроганный не менее, чем удивленный, словно пробудился от одного сна, чтобы впасть в другой.

— За что меня здесь держали? Как удалось вам вызволить меня? Где изверги, из-за которых я сюда попал? Вы — божество, сошедшее с небес, чтобы меня спасти.

Прекрасная Сент-Ив то потуплялась, то снова взглядывала на возлюбленного, но тотчас заливалась краской и отводила в сторону глаза, увлажненные слезами. Наконец она сообщила ему все ведомое ей и испытанное ею, за исключением лишь того, что желала бы скрыть и от самой себя и что всякому другому, лучше знающему свет и посвященному в придворные обычаи, чем Простодушный, сразу стало бы ясно.

— Как же это может быть, чтобы какой-то негодяй, вроде вашего судьи, мог лишить меня свободы? Я вижу, что люди подобны самым мерзким животным: всякий старается навредить ближнему. Но возможно ли все-таки, чтобы монах, иезуит, королевский духовник, содействовал моему несчастью в такой же мере, как и нижнебретонский судья, причем я даже представить себе не могу, под каким предлогом этот гнусный проходимец подверг меня гонениям? Но неужели вы все время помнили обо мне? Я этого не заслужил; в те времена я был настоящим дикарем. И вы решились, не получив ни от кого ни совета, ни помощи, совершить путешествие в Версаль? Вы появились там, и мои цепи разбиты! Есть, стало быть, в красоте и добродетели непобедимое очарование, перед которым распахиваются железные ворота и смягчаются каменные сердца!

При слове «добродетель» прекрасная Сент-Ив разрыдалась. Она не сознавала, какая добродетель была в том преступлении, за которое так себя корила.

— Ангел, расторгнувший мои узы,— продолжал ее возлюбленный,— если у вас оказались столь сильные связи (кстати, я о них и не подозревал), что вам удалось добиться моего оправдания, то добейтесь того же и для старца, кото-

рый впервые научил меня мыслить, подобно тому как вы научили любить. Горе сблизило нас с ним; он мне дорог, как родной отец, и я не могу жить ни без вас, ни без него.

— Я? Чтобы я обратилась с ходатайством к человеку, который...

— Да, я хочу навеки и всем быть обязанным вам и только вам: напишите этому влиятельному человеку, осыпьте меня благодеяниями, довершите начатое, увенчайте и этим чудом уже содеянные чудеса.

Она чувствовала, что должна исполнить все, чего требует возлюбленный: она села писать, но рука ей не повиновалась. Трижды принималась она за письмо и трижды его рвала, потом все же написала и вместе с Простодушным вышла из тюрьмы, обняв на прощание мученика искупительной благодати.

Счастливая и полная отчаянья, Сент-Ив знала, в каком доме живет ее брат; она пошла туда; в том же доме снял помещение и ее возлюбленный.

Не успели они прийти, как ее покровитель уже прислал ей приказ об освобождении из-под стражи почтенного старца Гордона и просьбу о свидании на завтра. Итак, ценою ее каждого справедливого и великодушного поступка было бесчестие. Обычай торговать людским счастьем и несчастьем казался ей омерзительным. Приказ об освобождении она передала Простодушному, а от свидания наотрез отказалась, ибо от одного вида своего благодетеля умерла бы от стыда и горя. Простодушный согласился на время расстаться с ней только затем, чтобы освободить друга: он немедленно отправился в тюрьму. Выполняя этот долг, он размышлял о том, какие удивительные события происходят в этом мире, и восхищался отважной добродетелью девушки, которой два несчастливца были обязаны больше, чем жизнью.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Простодушный, прекрасная Сент-Ив и их родственники оказываются в сборе

Великодушная и достойная уважения изменница находилась в обществе своего брата, аббата де Сент-Ив, м-ль де Керкабон и приора храма Горной богоматери. Все были в одинаковой мере удивлены, но чувства и положение у всех были разные. Аббат де Сент-Ив оплакивал свою вину у ног сестры, сразу его простившей. Приор и его добрая сестра плакали тоже, но от радости. Негодяй судья и его несносный сын не

нарушали своим присутствием этой трогательной сцены: они поспешили уехать, едва разнесся слух об освобождении их врага, и укрыли в провинциальной глуши и свою глупость, и свои страхи.

Всех четверых обуревало множество самых разнообразных тревог, пока они дожидались возвращения молодого человека и его друга, которого он должен был освободить. Аббат де Сент-Ив не смел взглянуть сестре в глаза. Добрая м-ль де Керкабон приговаривала:

— Итак, я снова увижусь с моим дорогим племянником.

— Да, вы с ним увидитесь,— подтвердила прелестная Сент-Ив,— но это уже не тот человек. Осанка, тон, образ мыслей, ум — все стало у него другим. Насколько прежде он был несведущ и простоват, настолько теперь достоин уважения. Он станет гордостью и утешением вашей семьи, а вот мне не суждено осчастливить свою семью!

— Вы тоже не та, что прежде,— сказал приор.— Скажите, почему вы так переменились?

Во время этого разговора появился Простодушный об руку с янсенистом. Разыгралась новая, еще более трогательная сцена. Началась она с нежных объятий дядюшки, тетушки и племянника. Аббат де Сент-Ив чуть не пал на колени перед Простодушным, который уже не был простодушным. Любовники переговаривались взглядами, выражавшими все переполнявшие их чувства. На лице одного сияли удовлетворение и благодарность, в нежных, несколько растерянных очах другой читалось смущение. Всех удивляло, что к ее великой радости примешивается скорбь.

Старик Гордон мгновенно стал дорог всей семье. Он терпел страдания вместе с юным узником, и это наделило его великими правами. Свободой он был обязан обоим влюбленным — как же мог он не примириться с любовью? Янсенист отказался от суровости былых своих воззрений и, подобно гурону, стал настоящим человеком. В ожидании ужина каждый поведал о своих злоключениях. Аббаты и тетушка слушали, как дети, которым рассказывают сказку о привидениях, и как люди, глубоко взволнованные повестью о столь тяжких бедствиях.

— Увы! — сказал Гордон,— пятьсот, а то и более добродетельных людей томятся сейчас в таких же оковах, какие удалось разбить мадемуазель де Сент-Ив, но их страдания никому не ведомы. Истязать несчастных — на это всегда хватает рук, а мало кто протягивает руку помощи.

Это столь справедливое заключение вызвало у старика новый прилив умиления и благодарности. Торжество прекрас-

ной Сент-Ив было полное: все восторгались величием и твердостью ее души. К восторгу примешивалось и то почтение, которое невольно вызывает человек, имеющий, по общему мнению, вес при дворе. Однако время от времени аббат де Сент-Ив приговаривал:

— Как это удалось моей сестре сразу же приобрести такой вес?

Они решили пораньше сесть за ужин. Но вот появляется версальская приятельница, ничего не знающая о том, что произошло за этот день; она подкатывает в карете, запряженной шестеркой лошадей: кому принадлежит этот выезд, понятно без объяснений. Она входит с внушительным видом придворной дамы, приветствует собравшихся легким кивком головы и отводит в сторону прекрасную Сент-Ив.

— Что же вы мешкаете? Едем со мной; вот забытые вами алмазы.

Она произнесла эти слова недостаточно тихо, и Простодушный их услышал; он увидел алмазы: брат прекрасной Сент-Ив был ошеломлен, а дядюшка и тетушка, в простоте душевной, только удивлялись невиданному великолепию серег. Молодого человека, которого воспитал год напряженных раздумий, это происшествие невольно повергло в недоумение, и на минуту он, видимо, встревожился. Его возлюбленная это заметила, ее пленительное лицо смертельно побледнело, она задрожала и едва устояла на ногах.

— Ах, сударыня! — сказала она злополучной своей приятельнице.— Вы погубили меня! Вы меня убиваете!

Ее восклицание пронзило сердце Простодушного, но теперь он научился владеть собой и промолчал из опасения взволновать возлюбленную в присутствии ее брата, однако побледнел, как и она.

Сент-Ив, потеряв голову при виде того, как изменился в лице ее избранник, выводит женщину из комнаты в тесные сени и швыряет на пол алмазы.

— Не они соблазнили меня, вы это отлично знаете! Тот, кто подарил их, никогда больше меня не увидит.

Подруга подобрала серьги, а Сент-Ив продолжала:

— Пусть он возьмет их себе или подарит вам. Уходите и не заставляйте меня больше стыдиться самой себя.

Посланница наконец ушла, так и не поняв тех терзаний совести, свидетельницей которых была.

Прекрасная Сент-Ив, измученная горем, ослабевшая и задыхающаяся, принуждена была лечь в постель; не желая тревожить родных, она умолчала о телесных страданиях и, сославшись на усталость, попросила позволения немного

отдохнуть, успокоив сперва всех утешительными и ласковыми словами и несколько раз взглянув на возлюбленного таким взором, что вся его душа воспламенилась.

Ужин, не оживленный присутствием прекрасной Сент-Ив, начался печально, но это была та плодотворная печаль, которая порождает полезную и содержательную беседу, столь отличную от суетного веселья, за которым обычно так гонятся люди и которое сводится обычно лишь к докучному шуму.

Гордон вкратце рассказал о янсенизме и молинизме, а также о гонениях, которым одна сторона подвергала другую, и об упорстве, проявленном обеими. Простодушный осудил и ту и другую и высказал сожаление по поводу того, что люди, не довольствуясь распрями, которые возникают между ними из-за существенных благ, навлекают на себя беды из-за несуществующих призраков и невнятных бредней. Гордон рассказывал, Простодушный критиковал, остальные слушали с волнением, и разум их озарялся новым светом. Толковали о длительности наших невзгод и быстротечности жизни, о том, что в каждом ремесле есть свои пороки и свои опасности, что нет человека, будь то вельможа или нищий, который не служил бы укором людской природе. Сколько на свете людей, которые за какие-то гроши становятся гонителями, истязателями, палачами себе подобных! С каким нечеловеческим равнодушием сановный человек подписывает приказ, разрушающий счастье целой семьи, и с какой еще более варварской радостью выполняют этот приказ наемники!

— В юности,— сказал Гордон,— я встречался с родственником маршала де Марильяка, скрывавшимся под вымышленным именем в Париже из-за преследований, которым он подвергался у себя в провинции в связи с делом этого прославленного и несчастного вельможи. Родственнику маршала, о котором я говорю, было семьдесят два года. В таких же примерно годах была и неразлучная с ним жена. Их сын, отличавшийся распутством, в четырнадцатилетнем возрасте бежал из родительского дома; став солдатом, а потом дезертиром, он прошел все ступени разврата и нищеты. Наконец, приняв новую фамилию по названию родового поместья, он поступил в гвардейскую часть к кардиналу де Ришелье (ибо у этого священнослужителя, как потом у Мазарини, была своя гвардия) и стал в этом сборище сателлитов ефрейтором. Ему было поручено арестовать старика и его супругу, и он поспешил исполнить поручение со всей жестокостью человека, жаждущего угодить хозяину. Конвоируя их, негодяй слышал, как они сетовали на неисчислимые бедствия, испытанные ими с колыбели. Распутство сына и его побег были для

отца и матери одним из величайших несчастий их жизни. Он узнал родителей и тем не менее отвел в тюрьму, заявив, что главным своим долгом почитает службу его преосвященству. Его преосвященство щедро наградил проходимца за усердие.

Я был свидетелем того, как некий шпион отца де Ла Шез предал родного брата в надежде получить выгодную духовную должность, которая, однако, так ему и не досталась; этот человек умер, но не от угрызений совести, а от досады на обманувшего его иезуита.

Обязанности духовника, долгое время исполняемые мною, близко познакомили меня с жизнью многих семей; я не видел ни одной, которая не утопала бы в горестях, тогда как вне дома, прикрывшись личиной веселья, все они, казалось, купались в довольстве. И я не преминул обнаружить, что почти все большие несчастья оказываются следствием нашего необузданного корыстолюбия.

— А вот я полагаю,— сказал Простодушный,— что честный, благородный и чувствительный человек может прожить счастливо, и твердо рассчитываю, соединившись с прекрасной и великодушной Сент-Ив, вкушать ничем не омраченное блаженство, ибо льщу себя надеждой,— добавил он, обращаясь с дружелюбной улыбкой к ее брату,— что не получу от вас отказа, как в прошлом году, и что сам я на этот раз буду вести себя более пристойно.

Аббат рассыпался в извинениях и стал всячески заверять Простодушного в своей безграничной преданности ему.

Дядюшка Керкабон сказал, что в его жизни не было дня счастливее, чем этот. Добрая тетушка, восторгаясь и плача от радости, воскликнула:

— Я же говорила, что не быть вам иподьяконом! Но это таинство еще лучше, чем то; бог не дал мне познать его, но я заменю вам мать.

Тут все наперебой принялись хвалить нежную Сент-Ив.

У ее нареченного сердце было так переполнено тем, что она сделала для него, он так ее любил, что происшествие с алмазами его не смутило. Но отчетливо услышанные им слова: «Вы меня убиваете!» — продолжали пугать Простодушного и отравляли ему радость, в то время как от похвал, расточаемых прекрасной Сент-Ив, его любовь все возрастала. Напоследок перестали толковать только о ней и повели речь о заслуженном обоими любовниками счастье; сговаривались, как бы поселиться всем вместе в Париже; строили предположения о грядущем богатстве и славе; предавались тем надеждам, которые так легко зарождаются при малейшем проблеске удачи. Но Простодушный, повинуясь какому-то тайному

чувству, гнал от себя эти мечты. Он перечитывал обязательства, данные Сен-Пуанжем, и указы за подписью Лувуа, слушал описания этих людей, основанные на истине или, напротив, на заблуждении; каждый из присутствующих рассуждал о министрах и министерствах с той застольной свободой, которая во Франции почитается самой драгоценной из всех свобод.

— Будь я французским королем,— сказал Простодушный,— я избрал бы военным министром человека знатнейшего рода, ибо у него в подчинении дворяне; я потребовал бы, чтобы он был офицером, который, начав с младшего чина, дослужился, по крайней мере, до генерал-лейтенанта армии, достойного производства в маршалы: ибо разве можно, не служа, узнать как следует все тонкости службы? И разве не стали бы офицеры во сто крат охотнее выполнять приказы военного человека, который, как и они, сотни раз выказывал мужество, нежели приказы человека кабинетного, который, как бы он ни был умен, может руководить военными действиями только наугад? Я был бы не прочь, чтобы мой министр был щедр, пусть бы даже это и причиняло иной раз затруднения королевскому казначею. Мне было бы приятно, чтобы работа у него спорилась и чтобы он отличался той остроумной веселостью, которая присуща лишь даровитым деятелям: она по душе народу, и благодаря ей любое бремя перестает быть тягостным.

Простодушному потому хотелось, чтобы у министра был такой нрав, что он не раз замечал: хорошее расположение духа несовместимо с жестокостью.

Возможно, монсеньор де Лувуа остался бы недоволен подобными пожеланиями Простодушного, поскольку его достоинства были совсем иного рода.

Меж тем, пока они сидели за столом, болезнь несчастной девушки приняла зловещий характер: начался сильный жар, открылась пагубная горячка; прекрасная Сент-Ив страдала, но не жаловалась, стараясь не отравлять общую радость.

Брат, зная, что она не спит, подошел к ее изголовью: ее состояние поразило его. Сбежались все, вслед за братом пришел возлюбленный. Он был более всех встревожен и опечален; но ко всем дарам, которыми наделила его природа, теперь присоединилась еще и сдержанность; тонкое понимание благопристойности заняло в его душе важнейшее место.

Тотчас же вызвали жившего по соседству врача, из той породы медиков, что на скорую руку осматривают больных, путают недавно виденный недуг с тем, который видят сейчас,

упрямо следуют рутине в той науке, которая остается опасно шаткой, даже когда ею занимаются люди, обладающие здравым, зрелым и осмотрительным разумом. Этот врач, поспешив прописать больной модное в то время лекарство, лишь ухудшил ее состояние. Мода повсюду, даже во врачевании! В Париже это просто повальное помешательство.

И все же усугубил болезнь Сент-Ив не столько врач, сколько гнет горестных раздумий. Душа убивала тело. Мысли, обуревавшие ее, вливали в вены страдалицы отраву, более губительную, чем яд самой лютой горячки.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Прекрасная Сент-Ив умирает, и какие проистекают отсюда последствия

Призвали другого врача; этот, вместо того чтобы прийти на помощь природе, предоставив ей полную свободу в борьбе за молодое существо, все органы которого взывали к жизни, только и делал, что препирался с собратом по ремеслу. Через два дня болезнь стала смертельной. Мозг, который считался обиталищем разума, был поражен так же сильно, как и сердце, которое, как говорят, является обиталищем страстей.

«Какая непостижимая механика подчиняет наши органы воздействию чувства и мысли? Каким образом одна-единственная горестная мысль нарушает обращение крови? И, с другой стороны, каким образом расстройство кровообращения влияет на разум человека? Какой неведомый, но, бесспорно, существующий ток, более быстрый и деятельный, чем свет, проносится по всем жизненным руслам, порождает ощущения, воспоминания, грусть или веселье, разумное суждение или безумный бред, заставляет вспоминать с ужасом о том, что хотелось бы забыть, и обращает мыслящее животное либо в предмет восхищения, либо в предмет жалости и слез?»

Так думал добрый Гордон, но эти столь естественные размышления, тем не менее так редко приходящие людям в голову, ничуть не уменьшали его горести, ибо он не принадлежал к числу тех несчастных философов, которые силятся быть бесчувственными. Участь девушки печалила его, как отца, наблюдающего за медленным умиранием любимого ребенка. Аббат де Сент-Ив был в отчаянии; у приора и у его сестры слезы лились ручьем. Но кто сумел бы описать со-

стояние ее возлюбленного? Ни на одном наречии не подыскать слов, способных выразить это невыразимое горе: человеческие наречия слишком несовершенны.

Тетушка, сама еле живая, немощными руками поддерживала голову умирающей; в изножье кровати преклонил колени брат; возлюбленный сжимал ей руку, орошая ее слезами, и громко рыдал; он называл ее своей благодетельницей, своей надеждой и жизнью, половиной своего существа, своей любимой, своей женой. При слове «жена» она вздохнула, посмотрела на него с невыразимой нежностью и вдруг вскрикнула от ужаса; потом, в один из тех промежутков, когда изнеможение, подавленность и страдания не так сильно давали себя знать и душа ее вновь обрела свободу, она воскликнула:

— Я? Ваша жена? О мой возлюбленный, это название, это счастье, эта награда, не для меня; я умираю, и смерть моя заслуженна. Ангел души моей, вы, кого я принесла в жертву адским демонам! Вы видите, все кончено, я понесла наказание, живите счастливо.

В этих нежных и страстных словах таилась неразрешимая загадка, но они заронили в сердце ее близких ужас и сочувствие. У нее хватило мужества объясниться, и при каждом ее слове присутствующие содрогались от изумления, горя и сострадания. Все, как один, прониклись ненавистью к могущественному человеку, который согласился устранить вопиющую несправедливость лишь ценою преступления и вынудил благородную невинность стать его сообщницей.

— Как? Вы виновны? — сказал ей возлюбленный.— Нет, это неправда; преступление может быть совершено, только если в нем принимает участие сердце; а ваше сердце предано добродетели и мне.

Он выражал свои чувства словами, которые, казалось, возвращали жизнь прекрасной Сент-Ив. Утешенная в своей скорби, она тем не менее удивлялась, что ее продолжают любить. Старый Гордон осудил бы ее в былые времена, когда был всего лишь янсенистом, но теперь, превратившись в мудреца, воздавал ей должное уважение и плакал.

В то время как столько было слез и тревог, как все сердца были удручены и полны опасений за жизнь прекрасной Сент-Ив,— вдруг говорят, что прибыл придворный гонец. Гонец? От кого же? И зачем? Оказалось, что он явился к приору храма Горной богоматери от имени королевского духовника; но писал не отец де Ла Шез, а брат Вадбле, его прислужник, человек, в ту пору очень влиятельный: это он передавал архиепископам волю его преподобия, принимал посетителей, обещал духовные должности, а иной раз даже писал приказы

о взятии под стражу. Он сообщал аббату храма Горной богоматери, что «его преподобие осведомлен о происшествии с его племянником, который по ошибке был заточен в тюрьму; такие мелкие неприятности случаются часто, и на них не надо обращать внимания. Приору надлежит завтра привести на прием своего племянника, захватив с собою и достопочтенного Гордона, а он, брат Вадбле, представит их его преподобию и монсеньору де Лувуа, который скажет им несколько слов у себя в приемной».

Он добавлял, что об истории Простодушного и о его сражении с англичанами было доложено королю, что король, наверное, соизволит заметить его, когда будет следовать по галерее,— может быть, даже кивнет ему головой. Письмо кончалось лестными для него предложениями, что все придворные дамы будут, вероятно, подзывать к себе его племянника, что многие из них даже скажут ему: «Здравствуйте, господин Простодушный»,— и что о нем, несомненно, пойдет речь за королевским столом. Письмо было подписано: «Преданный вам Вадбле, брат иезуит».

Когда приор вслух прочитал это письмо, его племянник рассвирепел, но, совладав на время со своим гневом, ничего не сказал подателю письма; обратившись к товарищу по несчастью, он спросил, какого тот мнения о слоге этого послания. Гордон ответил:

— С людьми здесь обращаются как с обезьянами: бьют, а потом заставляют плясать.

Простодушный, снова сделавшись самим собой, что случается всегда при больших душевных потрясениях, изорвал письмо в клочки и швырнул посланному в лицо:

— Вот мой ответ.

Его дядюшке почудилось со страху, будто грянул гром и целых два десятка приказов об аресте свалилось ему на голову. Он быстро настрочил ответ и попросил, как умел, прощения за племянника, допустившего то, в чем приор усмотрел юношескую заносчивость и что в действительности было проявлением душевного величия.

Однако более тягостные заботы заполнили тем временем все сердца. Несчастная красавица Сент-Ив чувствовала, что конец ее близок; она была спокойна, но тем ужасным спокойствием ослабевшего организма, который уже не в силах бороться.

— О мой любимый! — сказала она угасающим голосом.— Смерть карает меня за мой проступок, но я утешаюсь сознанием, что вы на свободе. Я любила вас, изменяя вам, и люблю, прощаясь с вами навеки.

Ей чужда была показная твердость духа и то жалкое тщеславие, которое жаждет, чтобы два-три соседа сказали: «Она мужественно приняла смерть». Можно ли без сожалений и без раздирающей душу тоски в двадцать лет навеки терять возлюбленного, жизнь и то, что именуется «честью»! Она чувствовала весь ужас своего положения и давала почувствовать его другим словами и меркнущим взглядом, которым присуща такая властная выразительность. И она плакала вместе со всеми в минуты, когда хватало сил плакать.

Пусть иные восхваляют пышную кончину тех, кто бесчувственно расстается с жизнью,— но таково ведь поведение и любого животного! Мы только тогда умираем равнодушно, когда возраст или болезнь, притупляя наше понимание, уподобляют нас животным. У кого великие утраты, у того и великие сожаления; если же он заглушает их, стало быть, вплоть до объятий смерти хранит в душе тщеславие.

Когда наступило роковое мгновение, у всех присутствующих хлынули слезы и вырвались стоны. Простодушный лишился сознания. У людей, сильных духом, если им свойственна нежность, чувства проявляются более бурно, чем у других. Добрый Гордон, который знал его достаточно хорошо, опасался, как бы, придя в себя, он не покончил с собой. Убрали все оружие; несчастный молодой человек заметил это; без слез, без упреков, без волнения сказал он своим родным и Гордону:

— Неужели вы думаете, что есть на земле человек, который имел бы право и мог бы помешать мне совершить самоубийство?

Гордон воздержался от повторения тех скучных общих мест, с помощью которых пытаются доказать, что человек не имеет права воспользоваться своей свободой и лишить себя жизни, когда жить ему больше невмоготу, что не следует уходить из дому, когда нет больше сил в нем оставаться, что человек на земле — как солдат на посту: как будто Существу Существ есть дело до того, в этом ли или в другом месте находится данное соединение частиц материи! Все это — тщетные доводы, которых не послушается твердое и обдуманное отчаяние и на которые Катон ответил ударом кинжала.

Угрюмое, грозное молчание Простодушного, его мрачные глаза, дрожащие губы, озноб, пробегавший по его телу, вселяли в сердца тех, кто глядел на него, ту смесь сострадания и ужаса, которая сковывает все душевные движения, исключает возможность слов и проявляется только в виде несвязных восклицаний. Прибежала хозяйка гостиницы вместе со своим семейством; все трепетали при виде его скорби, с него

не спускали глаз, следили за всеми его жестами. Оледеневшее тело прекрасной Сент-Ив вынесли в залу с низким потолком, подальше от глаз Простодушного, который, казалось, еще искал ее, хотя больше ничего уже не мог видеть.

В то время, когда смерть являла такое зрелище, когда тело уже было выставлено у дверей дома и два священника, стоя у кропильницы, рассеянно читали молитвы, а прохожие от нечего делать брызгали на гроб святой водой или равнодушно шли своей дорогой, когда родные плакали, а жених готов был лишить себя жизни,— явился вдруг Сен-Пуанж с версальской приятельницей.

Мимолетная прихоть, только единожды удовлетворенная, обратилась у него в любовь. Отказ от его благодеяний задел вельможу за живое. Отец де Ла Шез никогда и не подумал бы заглянуть в этот дом, но Сен-Пуанж, непрестанно воскрешая образ прекрасной Сент-Ив, горя желанием утолить страсть, которая после однократного наслаждения вонзилась в его сердце острым жалом, сам, не колеблясь, пришел за той, с кем не захотел бы увидеться и трех раз, если бы она явилась к нему по собственному почину.

Он выходит из кареты и первое, что видит,— это гроб; он отводит глаза с естественным отвращением человека, вскормленного наслаждениями и считающего, что должен быть избавлен от зрелища людского горя. Он собирается войти в дом. Женщина из Версаля спрашивает из любопытства, кого хоронят; ей говорят, что м-ль де Сент-Ив. При этом имени она бледнеет и громко вскрикивает; Сен-Пуанж оборачивается, его душа наполняется изумлением и скорбью. Добряк Гордон был тут же, весь в слезах. Прервав свои печальные молитвы, он сообщает царедворцу об ужасном несчастье. Он говорит с той властностью, которой наделяют человека скорбь и добродетель. Сен-Пуанж по природе не был злым; поток дел и забав увлек его душу, не успевшую познать себя. Он был еще далек от старости, которая обыкновенно ожесточает сердца вельмож, и слушал Гордона, потупившись, затем утер несколько слезинок, пролившихся, к его собственному удивлению: он изведал раскаяние.

— Я непременно хочу повидать,— проговорил он,— необыкновенного человека, о котором вы мне рассказали; он приводит меня почти в такое же умиление, как та невинная жертва, которая умерла по моей вине.

Гордон следует за ним в комнату, где приор, м-ль де Керкабон, аббат де Сент-Ив и кое-кто из соседей приводят в сознание молодого человека, лишившегося чувств.

— В вашем несчастье повинен я,— сказал ему помощник министра,— и готов потратить всю жизнь на то, чтобы его загладить.

Первым побуждением Простодушного было убить его, а затем и себя. Это было бы всего уместнее, но он был безоружен и за ним зорко следили. Сен-Пуанжа не расхолодили отказы, сопровождавшиеся укорами, а также знаками презрения и отвращения, вполне им заслуженными.

Время смягчает все. Монсеньору де Лувуа удалось в конце концов сделать из Простодушного превосходного офицера, который под другим именем появился в Париже и в армии, заслужил одобрение всех порядочных людей и неизменно выказывал себя истинным воином, равно как и философом.

О былом он никогда не говорил без стенаний, а между тем все его утешение было в том, чтобы говорить о нем. До последнего мига жизни чтил он память нежной Сент-Ив. Аббат де Сент-Ив и приор оба получили выгодные духовные должности. Добрая м-ль де Керкабон утвердилась во мнении, что воинские почести — лучший удел для ее племянника, чем сан иподьякона. Алмазные серьги так и остались у версальской богомолки, которой был преподнесен еще один прекрасный подарок. Отец Тут-и-там получил много коробок шоколада, кофе, леденцов, лимонных цукатов, а в придачу еще «Размышления преподобного отца Круазе» и «Цвет святости» в сафьяновых переплетах. Добрый Гордон до самой смерти был в теснейшей дружбе с Простодушным; он тоже получил хороший приход и навсегда позабыл и об искупительной благодати, и о соприсутствующей помощи. «Нет худа без добра»,— такова была его любимая поговорка. А сколько на свете честных людей, которые могли бы сказать: «Из худа не бывает добра!».

Кози-Санкта.
Малое зло ради великого блага

Африканская повесть

Ложно изречение, гласящее, что не дозволено вершить малое зло, из коего может проистечь великое благо. Совершенно того же мнения был и блаженный Августин, в чем нетрудно убедиться, прочитав в его книге «О Граде Божием» рассказ о маленьком происшествии, случившемся в его епархии во времена проконсульства Септимия Ацидия.

Жил в Гиппоне старый священнослужитель, основатель многочисленных братств, исповедник всех молодых девиц своего прихода; поговаривали будто на него нисходит божья благодать, потому что он брался предсказывать судьбу и недурно справлялся с этим делом.

Однажды привели к нему девушку по имени Кози-Санкта, прекраснейшую девицу во всей округе. Отец и мать ее были янсенисты и воспитали дочь в правилах самой суровой добродетели; и никому из ее воздыхателей не удавалось хоть на миг отвлечь ее от молитв. Уже несколько дней она была помолвлена с морщинистым старичком по имени Капито, состоявшим советником при суде в Гиппоне. То был угрюмый и ворчливый человек, не лишенный ума, но сухой, насмешливый и довольно злобный; к тому же он был ревнив, как венецианец, и ни за что не согласился бы сделаться приятелем поклонников своей жены. Юная девица изо всех сил старалась полюбить его, поскольку ему предстояло стать ее мужем, но при самом искреннем усердии ничуть в этом не преуспела.

Она отправилась к своему исповеднику, желая узнать, будет ли ее замужество счастливым. Добряк сказал ей тоном пророка: «Дочь моя, твоя добродетель станет причиной многих несчастий, но придет день, когда тебя причислят к лику святых за то, что ты три раза будешь неверна своему мужу».

Такое предсказание удивило и крайне смутило невинную красавицу. Она расплакалась: она потребовала объяснений, полагая, что в словах священника кроется некий таинственный смысл. Однако он разъяснил ей лишь то, что три раза означает не три свидания с одним и тем же любовником, а три различных приключения.

Тут Кози-Санкта зарыдала во весь голос; она наговорила священнику дерзостей и поклялась, что никогда не будет причислена к лику святых. Между тем, как вы скоро увидите, случилось так, как он предсказал.

В недолгом времени она вышла замуж. Свадьба была самая приличная, Кози-Санкта довольно твердо выдержала все непристойные речи, все пошлые двусмысленности, все чуть прикрытые грубости, какими, по обыкновению, смущают стыдливость новобрачной. Она очень грациозно танцевала с несколькими молодыми людьми, весьма стройными и миловидными, коих ее супруг нашел на редкость безобразными.

Она улеглась в постель с маленьким Капито, испытывая некоторое отвращение. Большую часть ночи она проспала и проснулась в самом мечтательном расположении духа. Однако предметом ее мечтаний был не столько муж, сколько некий

молодой человек по имени Рибальдос, который, казалось, был вылеплен руками самого Амура; он перенял его грацию, его дерзость и ветреность; он был немного нескромен, но лишь с теми, которые того сами желали; он был баловнем Гиппона. Все женщины в городе перессорились из-за него, а он перессорился со всеми мужьями и мамашами. Обычно он влюблялся по легкомыслию, иногда и по тщеславию, но в Кози-Санкту влюбился по сердечному влечению, и тем сильнее, что победы над нею добиться было нелегко.

Как умный человек, он сперва постарался понравиться мужу. Он льстил ему на все лады, хвалил его внешность, его легкий и приятный нрав. Он проигрывал ему в карты и всякий день по-дружески открывался ему в какой-нибудь безделице. Кози-Санкта находила его самым любезным кавалером на свете: она уже любила его больше, чем сознавала сама; она об этом не догадывалась, но муж догадался за нее. Хоть и был он самолюбив, как только может быть самолюбив низкорослый мужчина, все же начал сомневаться, что Рибальдос посещает их дом только ради него одного. Под каким-то пустячным предлогом он порвал с молодым человеком и отказал ему от дома.

Кози-Санкта очень огорчилась и не посмела этого высказать; а Рибальдос от чинимых ему препятствий влюбился еще сильнее и только и делал, что подстерегал случай с ней увидеться. Он рядился монахом, торговкой женскими прикрасами, комедиантом, водящим марионетки; но этого оказалось слишком мало, чтобы восторжествовать над его милой, и слишком много, чтобы остаться не узнанным мужем. Будь Кози-Санкта заодно со своим воздыхателем, они сообща приняли бы надежные меры, чтобы усыпить его подозрения, но она боролась со своей склонностью к Рибальдосу, ей не в чем было себя упрекнуть, она спасла все, кроме обманчивой видимости, и муж счел ее кругом виноватой.

Старикашка, весьма гневливый по природе, вообразил, будто честь его зависит от верности жены, осыпал ее оскорблениями и наказал за то, что ее находили красивой. Она очутилась в самом ужасном положении, в каком только может очутиться женщина: муж несправедливо обвинил ее и дурно с нею обращался, а сердце ее разрывалось от страсти, которую она пыталась одолеть.

Она подумала, что если возлюбленный перестанет ее преследовать, то, может быть, муж перестанет проявлять к ней несправедливость; ей казалось, что она с радостью избавится от любви, коей нечем будет более питаться. И с этой мыслью она решилась написать Рибальдосу следующее письмо:

«Если вы достойный человек, не длите моего несчастья; вы меня любите, и ваша любовь навлекает на меня подозрения и жестокость со стороны господина, коему я отдана на всю жизнь. И дал бы господь, чтобы то была единственная грозящая мне опасность! Сжальтесь надо мною, прекратите ваши преследования, заклинаю вас той самой любовью, что составляет ваше и мое несчастье и никогда не сделает вас счастливым».

Бедная Кози-Санкта не предусмотрела, что столь нежное, хоть и добродетельное письмо может произвести действие прямо противоположное тому, на которое она рассчитывала. Письмо это до крайности воспламенило сердце ее возлюбленного, и он решил поставить на карту жизнь, лишь бы увидеться с предметом своей страсти.

Капито оказался достаточно глуп, пожелал узнать все и завел хороших шпионов; поэтому он узнал, что Рибальдос, перерядившись монахом нищенствующего ордена кармелитов, явится просить подаяния у его жены. Он решил, что все пропало: ему вообразилось, будто ряса кармелита для чести мужа опаснее всякой иной одежды. Он везде расставил своих людей, чтобы как дóлжно отделать Рибальдоса, и те постарались свыше всякой меры. При входе в дом молодой человек был встречен этими господами, и, сколько он ни кричал, что он честный кармелит и что так не обращаются с бедными монахами, его жестоко отколотили, и недели через две он умер от полученного по голове удара. Все женщины Гиппона оплакивали его. Кози-Санкта была безутешна, даже сам Капито оставался недоволен, но по иной причине: он угодил в крайне неприятную историю.

Рибальдос был родственником проконсула Ацидия. Сей римлянин пожелал примерно наказать виновников убийства, а поскольку у него были нелады с гиппонским судом, он не прочь был повесить одного из судейских. Не представляло затруднений устроить так, чтобы жребий пал на Капито: ведь он был самый тщеславный, самый несносный крючкотвор во всем крае.

Итак, Кози-Санкта увидела своего возлюбленного убитым, ей предстояло увидеть своего мужа повешенным; и все по той единственной причине, что она была добродетельна; ибо, как я уже говорил, ей куда легче было бы обмануть мужа, если бы она подарила свою благосклонность Рибальдосу.

Вот каким образом исполнилась первая половина прорицания священника. Кози-Санкта вспомнила об этом и очень испугалась, как бы не исполнилась и вторая половина; но, поразмыслив, она пришла к убеждению, что нельзя оспари-

вать судьбу, и отдалась на волю провидения, кое повело ее к конечной цели самыми благовидными путями.

Проконсул Ацидий был человек скорее распутный, нежели сладострастный: он не видел удовольствия в долгих ухаживаниях, был груб и развязен, как истинный гарнизонный лев; в провинции его очень боялись, и все женщины Гиппона уступали его домогательствам единственно для того, чтобы с ним не ссориться.

Он велел привести к себе госпожу Кози-Санкту; она явилась вся в слезах, но от этого лишь возросла ее привлекательность.

— Вашего мужа должны повесить, сударыня,— сказал проконсул,— и вы одна можете его спасти.

— Я бы отдала свою жизнь за его жизнь,— отвечала дама.

— Не то от вас требуется,— возразил проконсул.

— А что же надо сделать? — спросила она.

— Я прошу у вас лишь одну вашу ночь,— сказал проконсул.

— Мои ночи мне не принадлежат,— отвечала Кози-Санкта.— Это достояние моего мужа. Чтобы спасти его, я отдала бы всю свою кровь, но не могу отдать свою честь.

— А если ваш муж согласится?

— Он хозяин,— отвечала Кози-Санкта.— Каждый волен распоряжаться своим достоянием, как ему угодно. Но я знаю своего мужа: он человек упрямый, он скорее согласится быть повешенным, чем позволит дотронуться до меня хотя бы пальцем.

— Ну, это мы посмотрим,— возразил разгневанный судья.

Он тут же посылает за преступником. Он предлагает ему на выбор сделаться висельником либо сделаться рогоносцем; решать надо немедленно. Старикашка все же упрямится. Наконец поступает так, как поступил бы на его месте всякий. Жена из милосердия спасла ему жизнь; и это была первая неверность из трех.

В тот же день захворал ее сын, заболел необычайной болезнью, не известной никому из лекарей в Гиппоне. Только один врачеватель знал секрет этой болезни, но он жил в Аквиле, в нескольких лье от Гиппона. А в те времена лекарю, обосновавшемуся в каком-нибудь городе, запрещалось заниматься своим ремеслом еще и в другом месте. Кози-Санкте пришлось самолично отправиться в Аквилу в сопровождении брата, нежно ею любимого, чтобы постучаться в двери к лекарю. По дороге ее остановили разбойники. Главарю этих господ она показалась весьма привлекательной; а так как

разбойники уже собирались убить ее брата, главарь приблизился к даме и сказал ей, что, если она проявит некоторую снисходительность, брат ее останется в живых, и это ничего не будет ей стоить. Дело не терпело отлагательства; Кози-Санкта только что спасла мужа, которого вовсе не любила; ей грозила потеря брата, коего она любила всею душой; к тому же ее тревожило опасное состояние сына; нельзя было терять ни минуты. Она поручила себя господу и сделала то, что от нее требовалось, и это была вторая неверность из трех.

В тот же день прибыла она в Аквилу и вышла из кареты у дома врачевателя. То был модный лекарь, за какими женщины посылают тогда, когда им делается дурно и когда им ничего не делается. Для одних он был наперстником, для других любовником; человек учтивый и снисходительный, впрочем, пребывавший в несколько натянутых отношениях с медицинским факультетом, над коим при случае весьма остроумно насмешничал.

Кози-Санкта изложила ему все признаки болезни своего сына и предложила ему большой сестерций (заметьте, что большой сестерций, в переводе на французскую монету, составляет тысячу экю и более).

— Не такой монетой я желаю быть вознагражден, сударыня,— сказал галантный лекарь.— Я предложил бы вам все мое состояние, ежели бы вы согласились принять плату за лечение, кое можете произвести вы сами: исцелите меня от страданий, которые вы мне причиняете, и я верну здоровье вашему сыну.

Такое предложение показалось нашей даме сумасбродным, но судьба уже приучила ее к странным вещам. Лекарь упорствовал и не желал никакого иного вознаграждения за свое лекарство. Рядом с Кози-Санктой не было мужа, чтобы посоветоваться, а могла ли она дать умереть обожаемому сыну, не оказав ему такой пустячной помощи? Она была столь же доброй матерью, как и доброй сестрой. Она купила лекарство по запрошенной цене; и это была последняя неверность из трех.

Она вернулась в Гиппон вместе с братом, который всю дорогу непрестанно благодарил ее за то мужество, с каким она спасла ему жизнь.

Так Кози-Санкта, будучи непреклонной, погубила своего возлюбленного и способствовала присуждению к смерти своего мужа, а проявив снисходительность, сохранила жизнь брату, сыну и мужу. Люди сочли, что такая жанщина крайне не-

обходима в каждой семье; после кончины ее причислили к лику святых за то, что она, приняв мученичество, сделала так много добра своим близким, и на могиле ее начертали: *Мало зло ради великого блага.*

Мемнон, или благоразумие людское

Однажды Мемнон возымел безрассудное намерение достигнуть совершеннейшего благоразумия. Нет на свете человека, которому хоть раз в жизни не взбрела бы в голову подобная глупость. «Чтобы стать очень благоразумным, а стало быть, очень счастливым,— рассудил Мемнон,— надо лишь избавиться от страстей; каждый знает, что это легче легкого. Во-первых, я никогда не полюблю женщину, ибо, увидев самую безупречную красавицу, скажу себе: «Эти щечки когда-нибудь увянут, эти прекрасные глаза западут и покраснеют, эта пышная грудь станет плоской и обвислой, эти чудесные волосы выпадут». Значит, мне надо будет всего лишь взглянуть на нее теми глазами, какими я смотрел бы на нее в будущем, и уж тогда при виде ее головки я наверняка не потеряю голову.

Во-вторых, я всегда буду воздержан в еде; пусть сколько угодно искушают меня изысканные яства, тонкие вина, приятное общество; стоит лишь мне представить себе последствия излишеств,— тяжесть в голове, стеснение в желудке, потерю рассудка, здоровья и времени, как я стану принимать пищу только в силу необходимости; здоровье мое останется неизменным, мысли чистыми и ясными. Все это так легко, что в достижении этого нет никакой заслуги.

Затем,— сказал Мемнон,— надо подумать и о моем благосостоянии; желания мои умеренны, мои деньги надежно помещены у главного сборщика податей Ниневии, мне есть на что вести независимое существование, а это уже величайшее благо. Никогда не будет мне грозить жестокая необходимость низкопоклонствовать при дворе, никому не стану я завидовать, и никто не станет завидовать мне. Это тоже весьма просто. У меня есть друзья,— продолжал он,— я их сохраню, потому что им нечего будет у меня оспаривать. Я никогда не стану злиться на них, а они не станут злиться на меня. Это не представляет затруднений».

Завершив таким образом свой скромный план благоразумной жизни, который он сочинял, сидя у себя в комнате, Мемнон высунул голову в окошко. Он увидел двух женщин, ко-

торые прогуливались под чинарами возле его дома. Одна была стара и, казалось, ни о чем не думала. Другая была молода, красива и выглядела весьма озабоченной. Она вздыхала, она плакала и от этого становилась еще прелестней. Наш разумник был тронут — не красотою дамы (он был совершенно уверен, что не может поддаться подобной слабости), но той печалью, в коей она, как он заметил, пребывала. Он вышел из дому и приблизился к юной ниневийке намереваясь утешить ее разумным словом. Сия прекрасная особа с самым простодушным и трогательным видом поведала ему о том, какие притеснения терпит она от дядюшки, которого у нее не было; посредством каких хитросплетений отнял он у нее состояние, коим она никогда не владела, и чего только не приходится ей терпеть от его тиранства.

— Вы кажетесь мне человеком, способным давать столь разумные советы,— сказала она Мемнону,— что, ежели бы вы снизошли до того, чтобы посетить мой дом и вникнуть в мои дела, вы, я уверена, помогли бы мне выпутаться из тяжелого положения, в коем я пребываю.

Мемнон без колебаний последовал за нею, дабы, призвав на помощь весь свой разум, вникнуть в ее дела и дать ей добрый совет.

Огорченная дама привела его в благоуханные покои и почтительно подвела к широкой софе, на которой они и уселись друг против друга, скрестив под собою ноги. Дама заговорила, опустив глаза; из них то и дело вытекала слезинка, а когда они поднимались, то неизменно встречались с глазами благоразумного Мемнона. Речи их были полны умиления, которое удваивалось, когда они смотрели друг на друга. Мемнон весьма близко принял к сердцу ее дела и с каждой минутой испытывал все большее желание услужить такой порядочной и несчастливой особе. В пылу беседы они уже не сидели друг против друга. Они уже не поджимали под себя скрещенные ноги. Мемнон давал ей советы со столь близкого расстояния и столь нежные, что ни тот, ни другая уже не могли говорить о делах и уже не понимали, что с ними происходит. Пока они пребывали в таком состоянии, как и следовало ожидать, явился дядюшка; он был вооружен с головы до ног и первым делом, разумеется, заявил, что сейчас же убьет благоразумного Мемнона и свою племянницу, а под конец обмолвился, что мог бы их простить за большие деньги. Мемнону пришлось отдать все, что у него было при себе. В те счастливые времена людям еще удавалось так дешево отделаться. Америка еще не была открыта, и опечаленные дамы были далеко не столь опасны, как в наши дни.

Мемнон, пристыженный и расстроенный, вернулся к себе домой; там он нашел записку, в коей его приглашали отобедать с несколькими близкими друзьями. «Если я останусь один дома,— рассудил он,— голова моя будет занята моим злосчастным приключением и я вообще не смогу есть; я заболею. Лучше разделить незатейливую трапезу с моими близкими друзьями. В их милом сердцу обществе я позабуду совершенную поутру глупость». Он отправляется на место встречи; его находят невеселым. Его заставляют пить, чтобы рассеять печаль. Несколько глотков вина всегда полезны для тела и души. Так думает благоразумный Мемнон; и он напивается допьяна. После обеда ему предлагают сыграть в кости. Честная игра с друзьями — достойное времяпрепровождение. Он играет; проигрывает все содержимое своего кошелька и еще в четыре раза больше под честное слово. Во время игры завязывается спор; страсти разгораются; один из близких друзей запускает в Мемнона стаканчиком для игральных костей и попадает ему в глаз. Благоразумного Мемнона относят домой пьяного, без денег и без одного глаза.

Немного протрезвившись и придя в себя, он посылает слугу за деньгами к главному сборщику податей Ниневии, чтобы расплатиться с близкими друзьями. Ему сообщают, что тот ныне утром сделался злостным банкротом, разорив сотню семейств. Оскорбленный Мемнон с пластырем на глазу и с прошением в руке отправляется ко двору умолять царя о правосудии. В дворцовой гостиной ему встречаются несколько дам, с непринужденностью носящих кринолины окружностью в двадцать четыре фута. Одна из них, немного знакомая с Мемноном, сказала, искоса взглянув на него: «Ах, какой ужас!» Другая, знавшая его немного ближе, сказала: «Добрый вечер, господин Мемнон; право, я так рада вас видеть, господин Мемнон. Кстати, господин Мемнон, как это вы потеряли один глаз?» И она прошла мимо, не дожидаясь ответа. Мемнон забился в угол и стал караулить удобную минуту, чтобы броситься к ногам монарха. Минута наступила. Он трижды облобызал землю и подал свое прошение. Всемилостивейший государь весьма благосклонно принял грамоту и передал ее одному из своих сатрапов, веля разобраться в этом деле. Сатрап отводит Мемнона в сторону и говорит ему высокомерным тоном с язвительной насмешкой:

— Я нахожу вас весьма забавным кривым, коль скоро вы обращаетесь не ко мне, а к государю, и еще того забавнее, коль скоро вы смеете жаловаться на честного банкрота, коего я сам осчастливил своим покровительством и коий является племянником горничной моей любовницы. Оставьте это

дело, друг мой, если вы хотите сохранить в целости другой глаз.

Так Мемнон, утром отказавшийся от женщин, от излишеств в еде, от игры и всяких ссор, а главное, от двора, оказался еще до наступления ночи обворован прекрасной дамой, напился, играл, поссорился, дал выбить себе глаз и явился ко двору, где над ним насмеялись.

Отупев от потрясений, с обливающимся кровью сердцем вернулся он домой. Он хочет войти к себе и находит в своем доме судейских чиновников, которые, по требованию кредиторов, вывозят его мебель. Почти бесчувственным опустился он на землю под чинарой; и тут он увидел прекрасную даму, встреченную им поутру, которая прогуливалась с дражайшим своим дядюшкой и расхохоталась, заметив Мемнона с его пластырем. Наступила ночь; Мемнон улегся на соломе под стеною своего дома. У него началась лихорадка; во время приступа он заснул, и во сне ему явился небесный дух.

Дух излучал сияние. У него было шесть прекрасных крыл, но не было ни ног, ни головы, ни хвоста, и он был непохож ни на что на свете.

— Кто ты? — спросил Мемнон.

— Твой добрый гений,— отвечал тот.

— Тогда верни мне мой глаз, мое здоровье, мое добро и мое благоразумие,— сказал Мемнон. После чего он поведал духу, как потерял все это за один день.

— Вот превратности, которых никогда не претерпеваем мы, в том мире, в котором обитаем,— сказал дух.

— А в каком мире вы обитаете? — спросил опечаленный человек.

— Моя родина,— ответствовал дух,— находится в пятистах миллионов лье от солнца, на маленькой звезде близ Сириуса, которую ты можешь узреть отсюда.

— Прекрасная страна! — сказал Мемнон.— Как? У вас там нет потаскух, которые обирают бедного человека, нет близких друзей, которые обыгрывают его в карты и выбивают ему глаз, нет банкротов, нет сатрапов, которые издеваются над ним и отказывают ему в правосудии?

— Нет,— отвечал обитатель звезды,— у нас нет ничего подобного. Нас никогда не обманывают женщины, потому что у нас нет женщин; мы не предаемся излишествам за столом, потому что мы не едим; у нас нет банкротов, потому что нет ни золота, ни серебра; нам нельзя выбить глаз, потому что у нас нет тела, подобно вашему; а сатрапы не совершают у нас несправедливостей, потому что на нашей маленькой звезде все равны.

На это Мемнон заметил ему.

— Сударь, на что же вы употребляете свое время, если у вас нет ни женщин, ни обедов?

— На то, чтобы оберегать иные планеты, нам доверенные; и я явился сюда, дабы тебя утешить.

— Увы! — сказал Мемнон.— Почему не явились вы вчера вечером и не помешали мне совершить столько безумств?

— Я был у твоего старшего брата Хассана,— отвечал житель небес.— Он достоин большей жалости, нежели ты. Всемилостивейший государь царь Индии, при дворе которого он имел счастье состоять, велел выколоть ему оба глаза за совершенную им маленькую нескромность, и в настоящее время он находится в темнице, скованный цепями по рукам и ногам.

— Стоит ли иметь в семействе доброго гения,— сказал Мемнон,— если при этом один брат стал кривым, другой слепым, один спит на соломе, другой в тюрьме?

— Твоя судьба переменится,— возразила звездная тварь.— Правда, ты навсегда останешься кривым, но, не считая этого, будешь очень счастлив, если только никогда больше не станешь строить глупые прожекты, как достигнуть совершеннейшего благоразумия.

— Значит, этого состояния достигнуть невозможно? — со вздохом воскликнул Мемнон.

— Так же невозможно, как невозможно достигнуть совершенства в ловкости, совершенства в силе, совершенства в могуществе, совершенства в счастье. Даже мы далеки от этого. Есть одна планета, где все это существует; но между ста тысячами миллионов миров, рассеянных в пространстве, все распределяется в строгой последовательности. Во втором мире меньше разума и наслаждений, чем в первом, в третьем меньше, чем во втором. И так далее, вплоть до последнего мира, населенного одними лишь безумцами.

— Боюсь,— сказал Мемнон,— что наш маленький шар как раз и есть тот сумасшедший дом вселенной, о котором вы сделали мне честь упомянуть.

— Не совсем,— ответствовал дух.— Но он к этому приближается; всем свой черед.

— Как же так? — сказал Мемнон.— Ведь в таком случае глубоко ошибаются некоторые поэты, некоторые философы, когда говорят, что все идет хорошо.

— Они глубоко правы,— возразил вышний философ,— если иметь в виду устройство всей вселенной в целом.

— Ах, я поверю в это только тогда, когда перестану быть кривым,— сказал бедный Мемнон.

ПАМФЛЕТЫ

Марк Аврелий и францисканский монах

Марк Аврелий. Кажется, я осмотрелся. Это, конечно, Капитолий, а то базилика — храм; а человек, которого вижу, несомненно, жрец Юпитера. Друг, пожалуйста, на пару слов.

Францисканский монах. Друг — обращение фамильярное. Вы, должно быть, чужеземец, что обращаетесь так к брату Фульгенцию, францисканцу, живущему в Капитолии, духовнику герцогини Пополи, которому случалось разговаривать с самим папой как с простым человеком.

М. А. Брат Фульгенций в Капитолии! Вещи немного изменились! Ничего не понимаю, что вы мне говорите. Разве здесь не храм Юпитера?

Ф. м. Не сумасбродствуйте, добрый человек. Будьте любезны сказать, кто вы такой с вашим античным одеянием и бородкой? Откуда пожаловали и чего хотите?

М. А. Я в обычной своей одежде, вернулся посмотреть Рим. Я — Марк Аврелий.

Ф. м. Марк Аврелий? Приходилось слышать о подобном имени. Был, кажется, языческий император, который так назывался.

М. А. Я самый. Хочу повидать Рим, который любил меня и был любим мною, Капитолий, где я торжествовал, пренебрегая триумфами, эту землю, которую я сделал счастливой.

Но я не узнаю Рима. Я увидел вновь колонну, воздвигнутую в мою честь, но не нахожу статуи мудрого Антонина, моего отца, тут совсем другое лицо.

Ф. м. Еще бы, господин Прóклятый, Сикст Пятый реставрировал вашу колонну, но поставил на нее статую человека, стоившего большего, нежели ваш отец и вы *.

М. А. Я всегда полагал, что весьма легко стоить бóльшего, чем я, но считал, что трудно стоить бóльшего, чем мой отец. Моя почтительность легко могла ввести меня в заблуждение — ведь всякий человек подвержен ошибкам. Но почему вы называете меня прóклятым?

Ф. м. Именно потому, что вы прóкляты. Разве не вы, насколько я припоминаю, преследовали тех людей, которым были так обязаны, людей, доставивших вам дождь, чтобы вы могли победить своих врагов.

М. А. Увы! Я был весьма далек от того, чтобы преследовать кого бы то ни было; я принес благодарность небу за то, что по счастливому стечению обстоятельств разразилась гроза как раз в тот момент, когда мои войска изнемогали от жажды. Но мне никогда не приходилось слышать, что этой грозой я обязан людям, о которых вы мне говорите, хотя они и были вполне хорошими солдатами. Клянусь вам, что я не проклят. Я слишком много сделал добра, чтобы божественное существо пожелало мне сделать зло. Однако скажите мне, пожалуйста, где дворец императора, моего преемника? Все ли он еще на Палатинском холме? Ибо, сказать по правде, я совсем не узнаю свою страну.

Ф. м. Охотно верю, ведь мы все усовершенствовали. Если хотите, я отведу вас на Монте-Кавалло; вы поцелуете ноги святого отца и получите прощение грехов, в котором, мне кажется, очень нуждаетесь.

М. А. Простите меня, но прежде всего прямо мне скажите, неужели нет больше императора и Римской империи?

Ф. м. Как же, как же, есть и император и империя, но все это в четырехстах милях отсюда, в маленьком городке, называемом Веной, расположенном на Дунае. Я советую вам отправиться туда посмотреть вашего преемника, так как здесь вы рискуете познакомиться с инквизицией. Предупреждаю вас, что преподобные отцы-доминиканцы не любят шуток и что они круто обойдутся с Марками Аврелиями, Антонинами, Траянами и Титами, людьми, незнакомыми с катехизисом.

---

* Св. Павла.

М. А. Катехизис! Инквизиция! Доминиканцы! Францисканцы! Папа! И Римская империя в маленьком городке на Дунае! Не ожидал. Понимаю, что за шестнадцать столетий вещи этого мира должны были измениться. Любопытно было бы мне увидеть римскими императорами Маркомана, Квада, Кимвра или Тевтона.

Ф. м. Если захотите, то получите это удовольствие, и даже большее. Вы, конечно, очень бы удивились, если бы я вам сказал, что скифы владеют половиной вашей империи, а мы — другой, что такой же священник, как я, стал повелителем Рима, что брат Фульгенций может стать им в свою очередь, и что я буду раздавать благословения на том самом месте, где вы влачили за своей колесницей побежденных царей, что ваш дунайский наследник не властен полностью ни в одном городе, но что там находится священник, который при случае должен предоставлять ему временно свой.

М. А. Вы рассказываете мне поразительные вещи. Все эти изменения не могли произойти без великих несчастий. И все же, как и прежде, я люблю человеческий род и жалею его.

Ф. м. Вы слишком добры. Это стоило, действительно, потоков крови, и сотни областей были разорены, но чтобы брат Фульгенций мог спокойно спать в Капитолии, это все было просто необходимо.

М. А. Рим, столица мира, так низко пал и так несчастен!

Ф. м. Пал, если хотите, но несчастен — нет! Напротив, в нем царит мир и процветают изящные искусства. Бывшие владыки мира стали учителями музыки. Вместо колонизаторов мы посылаем в Англию кастратов и скрипачей. У нас нет больше Сципиона, уничтожающего Карфаген, но нет и проскрипций: мы променяли славу на покой.

М. А. Я старался в жизни быть философом и впоследствии, действительно, стал им. Я нахожу, что покой стоит славы; но по всему, что вы мне говорите, я мог бы заподозрить, что брат Фульгенций — не философ.

Ф. м. Как! Я не философ? Я до неистовства философ! Я преподавал философию и более того — даже теологию.

М. А. Что такое эта теология, будьте добры объяснить?

Ф. м. Теология... это то, что я тут, а императоров больше нет. Вы, по-видимому, раздражены моей славой и маленькой революцией, приключившейся в вашей империи.

М. А. Я преклоняюсь перед извечными декретами, и знаю, что не подобает роптать на судьбу. Я удивляюсь превратности человеческих дел, но раз необходимо, чтобы все измени-

лось, раз Римская империя пала, до францисканских монахов ведь тоже может дойти очередь.

Ф. м. Отлучаю вас от церкви и иду к заутрене.

М. А. А я воссоединяюсь с существом существ.

Каплун и Пулярда

Каплун. Боже мой, курочка, как ты печальна, что с тобой?

Пулярда. Дорогой друг, спроси меня лучше, чего у меня больше нет. Проклятая служанка взяла меня на колени, воткнула мне иглу в зад, закрутила на нее мою матку, выдернула и бросила на съедение кошке. И вот я лишилась способности принимать благосклонности певца утра и нести яйца.

К. Увы, моя милая, я потерял больше, чем вы; они надо мной проделали вдвойне жестокую операцию. И вы и я лишились утешения в этом мире; они вас сделали пулярдой, а меня каплуном. Единственное, что смягчает мое плачевное состояние, это — разговор, подслушанный мною на днях, около моего курятника, между двумя итальянскими аббатами, которым причинили тот же изъян, чтобы они могли петь папе более чистыми голосами. Они говорили, что люди начали с обрезания себе подобных и кончили тем, что стали их охолащивать: они проклинали судьбу и род человеческий.

П. Как, только для того, чтобы у нас голос был чище, нас лишили лучшего, что у нас было?

К. Увы! бедная моя пулярда, это сделано для того, чтобы мы лучше жирели и наше мясо сделалось более нежным!

П. Ладно, но от того, что мы станем более жирными, станут ли они также жирнее?

К. Конечно, потому что они собираются нас съесть.

П. Съесть нас! О, чудовища!

К. Да, они обычно так и делают. Сначала сажают нас в темницу на несколько дней, заставляют глотать изобретенное ими месиво, выкалывают нам глаза, чтобы лишить нас развлечений. А затем, с наступлением праздников, ощипывают нам перья, перерезают горло и жарят. Потом нас подносят на широком серебряном блюде; каждый высказывает о нас суждение, над нами произносят погребальное слово; одни говорят, что мы пахнем орехом, другой одобряет наше сочное мясо; хвалят наши ножки, крылышки, гузки, и таким образом наша история в этом мире кончается навсегда.

П. Что за отвратительные негодяи! Я близка к обмороку! Как! Я буду изжарена и съедена! Неужели у этих злодеев нет никаких угрызений совести?

К. Никаких, мой дружок. Оба аббата, о которых я вам рассказывал, говорили, что люди не испытывают угрызения совести от вещей, вошедших у них в привычку.

П. Омерзительная порода! Бьюсь об заклад, что, пожирая нас, они еще смеются и шутят, как ни в чем не бывало.

К. Вы угадали. Но да будет вам известно к вашему утешению (если это только утешение), что эти скоты — двуногие, как и мы, но стоящие гораздо ниже нас, потому что не имеют перьев — поступают так же весьма часто и с себе подобными. От обоих моих аббатов я слышал, что все императоры, как христианские, так и греческие, не упускали никогда случая выкалывать глаза у своих родных и двоюродных братьев; что даже в стране, где мы живем, был такой, именуемый Простодушным, приказавший ослепить своего племянника Бернара. Но что касается поджаривания людей, так это самое обычное дело у этой породы. Мои аббаты рассказывали, что было изжарено более двадцати тысяч людей — только потому, что у них было свое определенное мнение, которое каплуну было бы объяснить затруднительно, да к тому же оно для меня не важно.

П. Очевидно, их жарили, чтобы потом съесть.

К. Не решусь это утверждать, но, припоминаю, слышал ясно, что существует много стран, в их числе еврейская, где люди съедали друг друга.

П. Пусть так! Справедливо, чтобы такая порода сама себя пожирала, и чтобы земля была от нее очищена. Но мне, существу мирному, мне, никогда не делавшей зла, мне, кормившей этих чудовищ снесенными яйцами, быть выхолощенной, ослепленной, обезглавленной и изжаренной! Неужели с нами так поступают и в других частях света?

К. Оба аббата говорили, что нет. Они утверждают, что в стране, называемой Индией, более обширной, более прекрасной и плодородной, чем наша, у людей существует закон, уже тысячелетие запрещающий употреблять нас в пищу; что даже некий Пифагор, странствовавший среди этих справедливых народов, привез в Европу тот человеческий закон, которому следовали все его ученики. Эти добрейшие аббаты читали Порфирия Пифагорийца, написавшего прекрасную книгу против вертела. О, великий человек! Божественный человек, этот Порфирий! С какой мудростью, с какой силой и каким нежным почтением к божеству доказывает он, что мы — союзники и родственники людей, что бог дал нам

такие же органы чувств, такую же память, тот же неведомый зародыш понимания, развивающийся в нас до определенной точки в силу вечных законов, не преходимых никогда ни людьми, ни нами. Действительно, дорогая моя пулярда, не было бы оскорблением божества сказать, что мы обладаем чувствами, чтобы не чувствовать, мозгами, чтобы не мыслить? Такое измышление, достойное, как они говорят, безумца, именуемого Декартом, не было бы верхом комизма и тщетным извинением варварства.

Потому-то величайшие философы древности никогда не сажали нас на вертел! Они старались научиться нашему языку и обнаружить наши свойства, столь превосходящие свойства рода человеческого. Как в золотой век, мы были среди них в полной безопасности. Мудрецы животных не убивают, говорит Порфирий; только варвары и священники их убивают и едят! Он сочинил эту восхитительную книгу, чтобы обратить одного своего ученика, из-за обжорства ставшего христианином.

П. Ну и что же, этому великому человеку, обучавшему добродетели людей и спасавшему жизнь животных, был воздвигнут алтарь?

К. Нет, он был ненавистен христианам, нас едящим и до нынешнего времени с отвращением относящимся к его памяти: они утверждают, что он был нечестивцем, а его добродетели ложны, поскольку он сам — язычник.

П. Какие, однако, у обжорства ужасные предрассудки! Я слышала на днях в похожем на сарай строении, вблизи нашего курятника, говорившего среди безмолвствующих людей. Он восклицал, что бог заключил договор с нами и другими животными, именуемыми «людьми», запретив им употребление в пищу нашей крови и мяса. Как же они могли обойти этот положительный запрет и продолжают разрешать себе пожирать нас вареными или жареными? Когда они нам перерезывают шею, невозможно, чтобы вся кровь вытекла из наших жил, неизбежно смешивается с нашим мясом. Следовательно, съедая нас, они не повинуются богу. Более того, разве не святотатство убивать и пожирать существа, с которыми бог заключил соглашение? Странный тот договор, единственной статьей которого было бы обречение нас на смерть. Либо наш создатель не заключал с нами договора, либо убивать нас и варить — настоящее преступление. Середины тут быть не может!

К. Это не единственное противоречие, царящее у чудовищ, наших вечных врагов. Уже давно их упрекают, что они ни в чем не согласны между собой. Они пишут законы только

для того, чтобы их нарушать. И что самое ужасное, нарушают их сознательно. Они изобрели сотни уловок, сотни софизмов, чтобы оправдать эти нарушения. Они используют мысль только для того, чтобы совершать несправедливые поступки, а слова — чтобы скрывать подлинные мысли. Представьте себе, что в этой маленькой стране, где мы живем, два дня в неделю нас есть запрещено. Но они, конечно, находят способы обходить этот запрет. К тому же данный закон, который вам кажется справедливым, на деле оказывается весьма варварским; он повелевает, чтобы в указанные дни употребляли в пищу обитателей вод. Люди отправляются искать жертв в глубине морей и рек. Они пожирают существ, одно из которых часто стоит дороже сотни каплунов. Они называют это постом, умерщвлением плоти. В итоге сомневаюсь, что возможно представить одновременно породу более смешную и более отвратительную, более вздорную и более кровожадную.

П. О., боже мой! Не к нам ли направляется тот скверный поваренок с большим ножом?

К. Все кончено, мой друг, настал наш последний час! Вручим души наши богу.

П. Если бы только я могла причинить негодяю, который нас съест, расстройство желудка, от которого он бы издох! Но малые мстят сильным лишь тщетными пожеланиями, а сильные над ними смеются.

К. Ай! Меня хватают за горло. Простим же нашим врагам.

П. Мочи нет, меня душат, меня уносят. Прощай, мой дорогой каплун.

К. Прощай навек, дорогая пулярда.

Рассказ об одном диспуте в Китае

В первые годы царствования великого императора Канси некий кантонский мандарин услышал сильный шум в соседнем доме: он осведомился, не убивают ли там кого-нибудь; ему сказали, что это спорят датский священник, капеллан из Батавии и иезуит. Мандарин приказал привести их к себе, угостил чаем с вареньем и спросил, почему они ссорятся.

Иезуит ответил, что для него, поскольку он всегда прав, крайне прискорбно иметь дело с людьми, которые всегда

ошибаются; что он сначала доказывал свои идеи очень сдержанно, но что в конце концов терпение его лопнуло.

Мандарин дал им понять со всей возможной мягкостью, сколь необходима в споре вежливость, объяснил им, что в Китае никогда не сердятся, и спросил их, каков предмет спора.

Иезуит ответил ему: «Ваша светлость, посудите сами,— эти два господина не желают подчиняться решению Тридентского собора».

«Меня это удивляет»,— сказал мандарин. Затем, повернувшись к двум другим спорщикам, добавил: «Мне кажется, господа, вы должны уважать мнение большого собрания; я не знаю, что такое Тридентский собор, но несколько человек всегда более сведущи, чем один. Никто не должен считать, что он знает больше других и что только в его голове обитает разум,— этому учит наш великий Конфуций. Если вы согласны со мной, то очень хорошо поступите, признав решения Тридентского собора».

Тогда взял слово датчанин и сказал: «Ваша светлость, речи ваши полны мудрости; мы почитаем большие собрания, как нам и подобает, и мы полностью разделяем мнение нескольких соборов, которые состоялись до Тридентского».

«О, если это так,— сказал мандарин,— то я прошу прощения, может быть, вы совершенно правы. Значит, вы оба придерживаетесь одного мнения, этот голландец и вы,— и вы вдвоем нападаете на беднягу иезуита»?

«Отнюдь нет,— сказал голландец,— у этого человека почти такие же нелепые и крайние мнения, как и у того иезуита, который здесь так вкрадчиво говорил с вами; можно ли это терпеть?»

«Я вас не понимаю,— сказал мандарин,— разве вы не христиане все трое, разве вы, все трое, явились в нашу империю не для того, чтобы насаждать здесь христианство, и разве не должны вы придерживаться одних и тех же догматов?»

«Видите ли, ваша светлость,— сказал иезуит,— эти двое смертельные враги, и оба спорят со мной, стало быть ясно, что они оба неправы и что правда только на моей стороне».

«Это не совсем ясно,— сказал мандарин,— вполне возможно, что вы ошибаетесь все трое; мне интересно было бы выслушать каждого из вас».

Тогда иезуит произнес довольно длинную речь, во время которой датчанин и голландец пожимали плечами; мандарин не понял в ней ни слова. Затем речь держал датчанин; оба его противника смотрели на него с жалостью, а мандарин

понял в его речи еще меньше. То же было и с голландцем. Под конец заговорили все трое разом, осыпая друг друга ругательствами. С трудом удалось почтенному мандарину положить всему этому конец и сказать им: «Если вы хотите, чтобы здесь терпели ваше учение, начните вот с чего: будьте терпимы сами и ведите себя так, чтобы вас можно было терпеть».

Выходя от мандарина, иезуит встретил миссионера-якобинца; он сообщил ему, что выиграл спор, уверяя, что правда всегда восторжествует. Якобинец возразил иезуиту: «Если бы я был там, вы не выиграли бы спора, я бы вас уличил во лжи и в идолопоклонстве». Снова вспыхнула ссора; якобинец и иезуит вцепились друг другу в волосы. Узнав о драке, мандарин отправил их обоих в тюрьму. Помощник мандарина спросил у судьи: «Ваше превосходительство, сколько времени пожелаете вы держать их под арестом?» — «До тех пор, пока они не придут к согласию»,— ответил судья.— «Если так,— сказал помощник мандарина,— то они проведут в тюрьме весь остаток своей жизни». «Тогда,— сказал судья,— пусть они остаются в заключении до тех пор, пока не простят друг друга».— «Они никогда не простят друг другу,— был ответ,— я их знаю». «Ну, ладно,— сказал мандарин,— пускай сидят до тех пор, пока они не сделают вид, что простили друг другу».

Письмо некоего духовного лица иезуиту Ле Телье от 6 мая 1714 г.

Преподобный отец.

Подчиняясь приказанию, которое я получил от вашего преподобия, предлагаю самые верные средства для того, чтобы избавить Иисуса и ближних его от врагов. Думаю, что в королевстве осталось не более 500 тысяч гугенотов; одни говорят — миллион, другие — 150 тысяч, но сколько бы их ни было, вот мое мнение,— я смиренно представляю его на ваше рассмотрение, как того требует мой долг.

1. Не составит труда в один день изловить всех протестантских священников и повесить их разом в одном и том же месте, не только для всеобщего назидания, но и для вящей красоты зрелища.

2. Отцов и матерей я приказал бы убивать в постели, потому что если их убивать на улице, это может вызвать кое-какие волнения; некоторые смогут удрать, а этого следует избежать во что бы то ни стало. Таковая экзекуция будет естественным и необходимым следствием наших принципов, ибо если множество знаменитых богословов доказывает, что еретик должен быть убит, значит должны быть убиты все еретики.

3. На другой же день я всех протестантских девиц выдал бы замуж за добрых католиков,— из тех соображений, что в послевоенное время не следует слишком уменьшать население государства. Что до мальчиков 14—15 лет, уже пропитанных вредными идеями, которые трудно выбить у них из головы, мое мнение таково, что их всех следует кастрировать — пусть отродье это не воспроизводит себе подобных. Маленькие же мальчики будут воспитываться в ваших коллежах, и их будут сечь до тех пор, пока они не выучат наизусть труды Санчеса и Молины.

4. Полагаю, что так же следует поступить со всеми эльзасскими лютеранами, без всякого исключения, имея в виду, что в 1704 г. я заметил двух старух из этой страны, которые смеялись в день битвы под Гохштедтом.

5. Вопрос о янсенистах покажется вам, пожалуй, более сложным. Я считаю, что их по крайней мере 6 миллионов, но человека вашего ума это не должно пугать. Я подразумеваю под янсенистами также и все парламенты, столь недостойно поддерживающие свободу галликанской церкви. Вашему преподобию, с присущей вам обычно предусмотрительностью, придется взвесить все способы, какими можно подчинить себе мятежные умы. Пороховой заговор не имел ожидаемого успеха, потому что один из заговорщиков неосторожно пожелал спасти жизнь своему другу, но у вас нет друзей, и потому такой неудачи бояться нечего; вам будет легко взорвать все парламенты королевства при помощи изобретения монаха Шварца, которое называют «pulvis pyrius» *. Я рассчитал, что понадобится 36 бочек пороха на каждый парламент; помножив, таким образом, 12 парламентов на 36 бочек, получим 432 бочки, из которых каждая стоит 100 экю, что в сумме составит 129 тысяч 600 ливров — это пустяки для преподобного отца генерала.

Когда парламенты взлетят на воздух, вы передадите исполнение их функций членам вашей конгрегации, которые великолепно знают законы королевства.

* «Огненный порошок» *(лат.)*.

6. Будет нетрудно отравить кардинала де Ноайля, который весьма простодушен и не питает никаких подозрений.

Ваше преподобие употребит те же способы, чтобы обратить в истинную веру некоторых оказывающих сопротивление епископов; их епархии на основании папского указа будут переданы иезуитам, после чего все епископы окажутся сторонниками нашего правого дела и эти епископы умело и с выбором назначат всех священников. Таков мой совет, если вашему преподобию будет благоугодно ему внять.

Поскольку янсенисты, как утверждают, причащаются по крайней мере раз в год, на пасху, было бы неплохо посыпать святые дары снадобьем, которым воспользовались для свершения правого суда над императором Генрихом VII. Какой-нибудь критикан, может быть, скажет мне, что мы рискуем отравить крысиным ядом одновременно и молинистов; это, безусловно, соображение веское; но не бывает безупречных проектов, не бывает таких теоретических построений, которые на каком-нибудь участке не грозили бы рухнуть. Если бы нас останавливали такие ничтожные трудности, мы никогда не смогли бы ничего довести до конца. К тому же, раз речь идет о том, чтобы добиться самого высшего блага из всех возможных, не следует смущаться, если это высшее благо повлечет за собой кое-какие худые последствия, не заслуживающие внимания.

Нам не в чем упрекнуть себя; доказано, что всем сторонникам так называемой реформации и всем янсенистам предопределен ад; таким образом, мы только приближаем момент, когда они должны вступить во владение им.

Не менее ясно и то, что рай по праву принадлежит молинистам; будучи случайными виновниками их гибели, мы без всякого злого умысла приближаем час их блаженства; в обоих случаях мы не более, чем орудие в руках провидения.

Если же кто-нибудь испугается числа жертв, ваше преподобие сможет объяснить, что, начиная с дней расцвета церкви и до 1707 г., то есть в течение приблизительно 1400 лет, богословие привело к истреблению более 50 миллионов человек, а я предлагаю удавить, зарезать или отравить всего примерно 6 миллионов 500 тысяч человек.

Нам, быть может, заметят, что мой счет неверен и что я нарушаю тройное правило арифметики. И вот почему: если, скажут наши оппоненты, за 1400 лет из-за теологических дилемм и антидилемм погибло всего 50 миллионов человек, то это составляет в год 35 тысяч 714 с лишним человек и что я, таким образом, в настоящем году хочу убить на 6 миллионов 464 тысячи 285 с лишним человек больше.

Но на самом деле это совершенно детская придирка; можно даже назвать ее нечестивой. Ибо разве по моему образу действия не видно, что я спасаю жизнь всем католикам до конца света? Если отвечать на все нападки, то слишком долго придется говорить.

С глубоким уважением к вашему преподобию, крайне преданный Вам, весьма благочестивый, крайне почтительный Р...*, уроженец Ангулема, префект конгрегации.

Этот проект не был осуществлен, потому что Ле Телье встретился с рядом трудностей, и еще потому, что на следующий год преподобный отец был изгнан.

Фанатизм

Фанатизм для суеверия — то, что исступление для лихорадки, что бешенство для злобы. Тот, у кого бывают экстазы, видения, кто сны принимает за действительность и фантазии за предсказания — энтузиаст; тот, кто убийствами поддерживает свое безумие — фанатик. Жан Диас, удалившийся в Нюрнберг, был совершенно убежден, что папа — антихрист Апокалипсиса, и что он имеет на себе знак зверя: он был энтузиаст. Его брат Бартоломео Диас, отправившийся из Рима, чтобы свято убить своего брата, и, действительно, его убивший из любви к богу, был одним из самых отвратительных фанатиков, когда-либо созданных суеверием.

Полиевкт идет в храм в день торжественного празднества, опрокидывает и ломает статуи и украшения: он фанатик, но не такой ужасный, как Диас, но не менее глупый. Убийцы герцога Франсуа де Гиза, Вильгельма, принца Оранского, короля Генриха III, короля Генриха IV и еще многих других — бесноватые, одержимые тем же бешенством, что и Диас.

Самый отвратительный пример фанатизма — фанатизм парижских буржуа, которые бросились убивать, резать, кидать в окна, раздирать в клочья своих соотечественников, не ходивших с ними к обедне.

Есть фанатики хладнокровные: это судьи, приговаривающие к смерти тех, чье единственное преступление — думать не так, как они; и эти судьи тем более виновны, тем более достойны презрения со стороны рода человеческого, что они

* Автор предполагает, что это письмо написано родственником Равальяка.

не находятся в состоянии ярости, как Клементы, Шатели, Равальяки, Жерары, Дамьены, и, казалось бы, могли внимать голосу разума.

Раз мозг поражен гангреной фанатизма, болезнь становится почти что неизлечимой. Я видел исступленных людей, которые, говоря о чудесах святого Париса, постепенно, помимо своей воли, возбуждались: глаза их разгорались, члены тряслись, безумие искажало черты их лица; они бы убили всякого, кто стал бы им противоречить.

Против этого эпидемического заболевания есть только одно средство: философский дух, который, распространяясь от человека к человеку, смягчает, наконец, нравы людей и предупреждает припадки болезни: потому что как только эта болезнь усиливается, надо бежать и ждать, когда очистится воздух. Законы и религия бессильны против чумы душ; религия далека от того, чтобы служить душам здоровой пищей, в зараженных морях она становится ядом. Эти несчастные постоянно вспоминают примеры Аода, убившего короля Еглона; Юдифи, отрубившей голову Олоферну, с которым она спала; Самуила, изрубившего на куски короля Агага. Они не видят, что эти примеры, почтенные в древности, отвратительны в наши дни; они черпают ярость в той самой религии, которая их осуждает.

Законы еще совершенно бессильны против этих припадков бешенства; точно вы прочли бы приговор буйно помешанному. Эти люди уверены в том, что святой дух, их пронизывающий, выше законов, что их энтузиазм — единственный закон, которому они обязаны повиноваться.

Что вы ответите человеку, который вам говорит, что предпочитает слушаться бога, а не людей, и, следовательно, уверен, что заслуживает царство божие, убивая вас?

Обыкновенно фанатиками руководят негодяи, они вкладывают им в руки кинжал; они походят на того Старика с Горы, который, говорят, давал глупым людям вкусить райских наслаждений и обещал вечность этих удовольствий при условии, что они пойдут и убьют всех тех, кого он назовет. Только одна религия на свете не запачкана фанатизмом. Это религия китайских мудрецов. Секты философские не только свободны от этой чумы, но они служили средством против нее, так как действие философии заключается в том, что она доставляет душевный покой, а фанатизм несовместим с покоем. Если наша святая религия так часто искажалась этой дьявольской яростью, то в этом надо винить людское безумие.

О страшном вреде чтения

Мы, Юсуф Хериби, божьей милостью муфтий священной Оттоманской империи, свет от света, избранный из избранных — всем правоверным, читающим эти строки, шлем глупость и благословение.

Так совершилось, что Санд-Эфенди, бывший посланник Великой Порты в маленьком государстве, называемом Франк-Римом, ввез к нам в употребление зловредное книгопечатание, не спросив совета по поводу этого новшества у наших братьев кади, имамов имперского города Стамбула и, в особенности, у факиров, известных своим усердием в борьбе с разумом,— Магомету и нам показалось полезным осудить, изгнать, предать анафеме вышеупомянутое адское изобретение по следующим изложенным ниже причинам.

1. Легкость распространения мыслей ведет, очевидно, к уничтожению невежества, охраняющего и спасающего все цивилизованные государства.

2. Следует опасаться, что среди книг, привезенных с запада, найдутся книги по сельскому хозяйству и по средствам распространения механических искусств, а эти сочинения, боже упаси, могут пробудить гений наших сельских хозяев и наших фабрикантов, развить промышленность, увеличить их богатства и поднять их когда-нибудь в будущем на духовную высоту, внушить им любовь к общему благу, чувства, противоречащие здравой доктрине.

3. Возможно, что у нас появились бы исторические книги, свободные от чудесного, благодаря которому нация не выходит из состояния счастливой глупости. Такие книги неосторожно могли бы воздать должное хорошим и дурным поступкам и рекомендовать людям справедливость и любовь к родине, что не соответствует правам нашей страны.

4. Они могут, усилив почитание бога и скандально утверждая в печати, что он все собою наполняет, уменьшить число паломников в Мекку и Медину и нанести этим страшный вред спасению души.

5. Случилось бы, конечно, что, прочтя у иностранных авторов про заразные болезни и про то, как их предупредить, мы бы, к нашему несчастью, получили возможность оградиться от чумы, что было бы ужасным покушением на законы провидения.

По этим и другим причинам, в назидание правоверным, ради блага их души воспрещаем читать книги под страхом вечного проклятия. И опасаясь, что, поддавшись дьявольскому искушению, они стали бы просвещаться, мы запрещаем отцам и матерям учить детей читать и писать. И чтобы предупредить всякое нарушение нашего приказа, мы строго воспрещаем им думать, под страхом тех же наказаний; повелеваем всем правоверным доносить властям о каждом, кто сможет произнести три связных фразы, из которых можно было бы вывести ясное и определенное заключение. Приказываем, чтобы во всех разговорах употреблялись бы только слова, ничего не значащие, по старинному обычаю Великой Порты.

И чтобы помешать проникновению контрабандой в священный имперский город какой-нибудь мысли — мы специально назначаем нашего первого доктора, рожденного в одном из западных болот: доктор этот, уже умертвивший четырех членов оттоманской семьи, более, чем кто-либо, заинтересован предотвратить появление в стране всяких знаний. Мы даем ему этим приказом власть хватать всякую мысль, появившуюся письменно или устно у ворот города, и приводить таковую мысль, связанную по рукам и ногам, чтобы мы могли подвергнуть ее такому наказанию, какому найдем нужным.

Дан в нашем дворце глупости 7 луны Мухарема, года 1143 гиджры.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА

Для своей поэмы Вольтер использовал один из драматических эпизодов Столетней войны между Францией и Англией — освобождение Орлеана от осаждавших его английских войск. Замысел поэмы возник, очевидно, в 20-е годы XVIII в. Работал над ней Вольтер медленно, с большими перерывами. Первые песни были написаны к началу 30 — концу 40 гг.

Первое анонимное франкфуртское издание «Орлеанской девственницы» датируется 1755 г. В текст этого издания было вставлено много фривольных строк и эпизодов, искажены отдельные мысли, что очень возмутило Вольтера. Второе анонимное издание, предпринятое в Париже в 1756 г., также пестрело инородными вставками. По совету друзей поэт отказался поставить свое имя на книге. Поэма была издана в 1762 г. у братьев Крамеров в Женеве, в таком виде она переиздавалась несколько раз. Для этого издания поэт заметно смягчил сатиру на священнослужителей. Тем не менее сразу же после выхода «Орлеанская девственница» была занесена в «Индекс запрещенных книг».

К предисловию отца Апулея Ризория

Апулей Ризорий — имя вымышленного автора поэмы должно, по мнению Вольтера, подчеркнуть ее пародийно-иронический характер. Апулей (ок. 124 — неизв.) — древнеримский писатель, автор сказочно-приключенческого романа «Метаморфозы, или Золотой осел». Ризорий — от лат. «насмешливый».

Философ из Сан-Суси — речь идет о прусском короле Фридрихе II (1712—1786), построившем в 1745 г. дворец Сан-Суси около Потсдама. В 1750 г. вышел трехтомник его произведений на французском языке, в который вошли оды, послания, поэмы и письма. В одном из писем Фридрих II упрекает Вольтера за то, что тот дал переписывать «Орлеанскую девственницу» не ему, а герцогине Вюртембергской.

Одни издатели... — первое — франкфуртское — издание поэмы имело 15 песен, лондонское (1756) — 28 песен, женевское (1757) — 24. Вольтер издал поэму в 20 песнях (1762), а через два года добавил еще одну.

Возница Вертамона — Этьен (ум. в 1724), автор и певец популярных народных песенок.

«Ночное бдение в честь Венеры» — анонимная поэма III—IV вв., посвященная восхвалению весны.

Петроний Гай (неизв.— 66 н. э.) — римский писатель, автор романа «Сатирикон», в котором высмеивается окружение императора Нерона.

Пульчи Луиджи (1432—1484) — итальянский поэт эпохи Возрождения, автор комической рыцарской поэмы «Морганте» (1479). Морганте — добродушный герой, преданный рыцарю Орландо.

Лоренцо Медичи Великолепный (1448—1492) — правитель Флоренции с 1469 г., поэт, покровитель наук и искусства.

Маргутте — персонаж поэмы «Морганте», плут и хитрец, воплощение всех пороков.

Крешимбени (1663—1728) — итальянский писатель, основатель академии «Аркадия».

Боярдо Маттео Мария ди Скандиано (1441—1494) — итальянский поэт эпохи Возрождения, автор героико-фантастической поэмы «Влюбленный Роланд».

Роланды, Рено, Оливье и Дюдоны — герои поэм Боярдо и Ариосто.

Социнианство — протестантское учение, основанное итальянцем Лелио Социном (или Социини, 1525—1562), отрицавшее святую троицу и божественность Христа, проповедовавшее веротерпимость.

Гюе Поль Дамель (1630—1721) — французский критик, автор трактата «О происхождении романа» (1670).

Аббат Лангле Дюфреруа (1647—1755) — под псевдонимом Гордон де Персель написал «Исследование о романах» (1734).

«Ланселот с озера» — роман XIII в. из цикла Артуровских романов или романов Круглого стола о рыцаре Ланселоте, который отправился на поиски чаши святого Грааля.

Кардинал де Турнон Франсуа (1489—1562) — государственный и политический деятель Франции. Четвертая книга посвящена не ему, а кардиналу Одэ.

К песни первой

Карл VII (1403—1461) — французский король с 1422 г. К моменту его прихода к власти, почти вся Франция была оккупирована Англией. Согласно подписанному французской королевой Изабеллой Баварской (1371—1435) договору (1420) французский престол переходил к англичанам. Карл VII не признал этот договор и начал длительную войну с англичанами, но терпел поражения. Лишь после появления в 1429 г. Жанны д'Арк английские войска были разбиты под Орлеаном, был взят Реймс, где официально короновался Карл VII. После перехода на его сторону герцога Бургундского к 1435 г. вся Франция, кроме г. Кале, была освобождена от английских войск.

Она спасла французские лилеи — геральдическим знаком французских монархов была белая лилия.

...Певец сей чудной девы... — Вольтер имеет ввиду Жана Шаплена (1595—1674), французского придворного поэта, автора религиозной поэмы о Жанне д'Арк «Девственница».

...Модных рифмачей — имеется в виду французский поэт Антуан де Ламотт-Гудар (1672—1731), отрицавший античных классиков и осуществивший сокращенный перевод поэм Гомера с целью их «исправления».

В старинном Туре... — резиденция Карла VII во время английской оккупации Парижа.

Агнеса Сорель (1422—1450) — фаворитка Карла VII, имевшая от него несколько дочерей.

Флора — в римской мифологии богиня весеннего цветения и юности.

Анадиомена — букв. выныривающая; имеется в виду богиня любви и красоты Афродита, которая, по одному древнегреческому мифу, родилась из морской пены.

Купидон (*греч.*— Эрот, Амур) — в римской мифологии бог любви, сын богини Венеры (*греч.*— Афродиты).

Арахна, или Арахнея — в древнегреческом мифе — искусная ткачиха, вступившая в состязание с богиней Афиной и победившая ее. Разгневанной богиней была превращена в паука.

Советник Бонно — Вольтер в примечании утверждает, что это фигура вымышленная, однако есть основания полагать, что прототипом Бонно был Филипп де Курсийон Данжо (1638—1720), фаворит Людовика XIV, выполнявший обязанности адъютанта, которому доверялись и деликатные поручения короля.

...Аленовых стихов — Ален Шартье (1385—1433) — французский придворный поэт Карла VII, «отец французского красноречия».

Британский вождь — герцог Бедфорд, Джон Ланкастер (1389—1435), младший брат английского короля Генриха V, коронованного королем Франции; после его смерти короновал юного Генриха VI на престол и стал регентом.

Святой Денис — считался покровителем Франции.

Марс (*греч.* Арес) — в римской мифологии бог войны.

Валуа — династия французских королей (1328—1589).

Потон, Ла Гир и смелый Дюнуа — французские полководцы, защищавшие Орлеан во время его осады англичанами. Потон де Сентрайль (умер в 1461 г.), гасконский дворянин, командир партизанского отряда. Ла Гир (ок. 1390—1443) — полководец, добился победы над англичанами под Орлеаном в 1429 г. Жан де Дюнуа (1403—1468) — победил англичан под Монтаржи, в 1436 г. взял Париж. Считался верным рыцарем Жанны д'Арк.

Ришмон Артюс де Бретань (1393—1458) — герцог, командующий французскими войсками, в 1435 г. заключил Аррасский мир Франции с Англией.

Ла Тримуйль Жорж (ок. 1385—1446) — полководец, фаворит французского короля Карла VII.

Президент Луве Жан (1370—1440) — министр-советник при короле Карле VII, руководил финансовой и налоговой системами.

Герой Тальбот Джон (ок. 1388—1453) — граф Шрефтсбюри, английский полководец, прославившийся своей отвагой («британский Ахилл»), был взят в плен французами и пробыл там 16 лет. Убит в битве под Кастильоне.

Авгурский жезл — авгуры — древнеримские жрецы, толковавшие волю богов по наблюдениям за полетом и пением птиц; Вольтер иронически отмечает, что посох святого Дениса напоминает их жезлы.

Лорет — итальянский городок, место паломничества богомольцев. По легенде, в нем проживала дева Мария.

Галлия — древнее название Франции.

К песни второй

Домреми — городок в Лотарингии (департамент Вогезы).

Вокулер — город в соседнем департаменте Мез; приобрел известность тем, что в нем Жанна д'Арк предложила через капитана Робера де Бодрикура свою помощь королю Карлу VII в 1429 г.

Грибурдон (*фр.*) — серый шмель; так Вольтер называет монаха францисканского ордена.

Шандос Джон — английский полководец XIV в., сенешаль (крупный административный чиновник) области Пуату, убит в битве при Пуатье в Луссаке в 1370 г., то есть задолго до событий, описанных в поэме. Однако Вольтер делает его одним из героев своего произведения.

...Искусен в тайном знанье... — то есть Грибурдон знал каббалу — древнееврейское тайное учение, предсказывавшее будущее при помощи Библии, которая расшифровывалась особым способом.

Василиск — согласно средневековой легенде так называлось чудище с петушиной головой, жабьим туловищем и змеиным хвостом.

Святой Франциск — Франциск Ассизский (1182—1226), основавший орден францисканцев.

Морфей — в греческой мифологии — бог сновидений, сын бога сна Гипноса, изображался обычно крылатым.

Массильон Жан-Батист (1663—1742) — французский проповедник, член Французской академии времен Людовика XIV, славившийся своим красноречием.

Монах Жирар — иезуит Жан-Батист Жирар (ок. 1680—1733), преподававший в духовных заведениях и известный своей развращенностью.

Дебора (Девора) — в библейской мифологии — пророчица, судья, возглавившая завоевание древними еврейскими племенами Палестины.

Сисара — Вольтер указывает, что этот предводитель враждебных Иудее племен был убит библейской героиней Иаиль при помощи гвоздя.

Давид — царь Израильско-Иудейского государства (конец XI в. начало X в. до н. э.). Согласно библейской легенде убил из пращи великана-филистимлянина Голиафа, его же мечом отрубил ему голову.

Самсон — по библейской легенде древнееврейский судья-богатырь, огромная физическая сила которого таилась в волосах. Его возлюбленная Далила остригла у заснувшего Самсона волосы и выдала филистимлянам, которые ослепили героя и приковали к колоннам храма бога Дагона. Но вскоре волосы у него отрасли, и почувствовав прежние силы, Самсон во время богослужения разрушил храм, под руинами которого погибли филистимляне и он сам.

Юдифь — библейская героиня, которая ради спасения своего родного города Ветилуи (в Палестине), осажденного ассирийскими войсками, соблазнила вражеского полководца Олоферна и, когда он заснул, отрубила ему голову. В результате все войско убитого полководца потерпело поражение.

...Конь фракийского героя... — Вольтер сравнивает осла Жанны д'Арк со скакунами фракийских воинов.

...Девять дев чудесных... — т. е. девять муз, покровительниц искусств и науки.

...И Гиппогриф... Астольфа мчал... — герой поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» Астольф, желая помочь своему обезумевшему другу Роланду, несется на сказочном крылатом коне — Гиппогрифе на луну, где находит разум Роланда.

...О Нисе знаешь ты... — Денис напоминает об одном эпизоде из поэмы Вергилия «Энеида»: друзья Нис и Эвриал, воспользовавшись сном рутульских воинов, устраивают в их стане резню, но и сами в результате гибнут.

...Рес могучий был сражен... — эпизод из поэмы Гомера «Илиада» о подвиге Диомеда и Одиссея, двух греческих героев, проникших в стан спящих троянцев. Диомед убивает и союзника троянцев, фракийского царя Реза, коней которого угоняет Одиссей.

Сын Тидея — то есть Диомед, мифический царь Аргоса.

Царь Саул — первый еврейский царь, который еще при жизни был отстранен от власти как не оправдавший надежды. На царство был помазан Давид, на жизнь которого Саул неоднократно покушался. После поражения от филистимлян Саул закололся мечом.

Рожер — имеется в виду Робер де Бодрикур, привезший Жанну д'Арк к Карлу VII в Шинон.

...В руке их Гиппократ... — то есть труды Гиппократа (ок. 460—ок. 370 до н. э.), древнегреческого медика-врача, основоположника античной медицины.

...На званье девы... — Жанна д'Арк действительно подверглась медицинскому освидетельствованию.

Реймс — город в департаменте Марна; с XII в. по XIX в. в Реймском соборе происходили коронации французских королей, в нем Жанна д'Арк короновала Карла VII.

Орифламма (фр.) — букв. золотое пламя — квадратно-красный стяг французских королей с XII по XV вв.

Президентша — то есть супруга президента Луве.

К песни третьей

Иберийцы — в античную эпоху так называли племена, заселявшие Испанию и Португалию, здесь — испанцы.

Конде великий был разбит Тюренном — принц Луи Конде (1621—1686) и виконт, маршал Анри де Ла Тур Тюренн (1611—1675) — французские полководцы. Оба принадлежали к Фронде, боровшейся против монарха, но затем Тюренн перешел на сторону короля и дважды побеждал Конде: в 1652 и 1658 гг.

Виллар — герцог Клод де Виллар (1653—1734) — французский маршал и дипломат, выдающийся полководец Людовика XIV. Он жестоко подавил протестантское движение камизаров на юге Франции в 1705—1706 гг. В войне за «испанское наследство» потерпел поражение под местечком Мальплаке (1709) от английского генерала Мальбрука (Мальборо).

Станислав — польский король Станислав I, Лещинский (1677—1766), дважды свергавшийся с престола в 1709 и 1733 гг. Удалившись во Францию, Станислав Лещинский получил герцогство Лотарингское. Его дочь Мария-Жозефина была женой французского короля Людовика XV.

Шведский Дон Кихот — шведский король Карл XII (1682—1718), ведший непрерывные войны с Данией, Польшей, Саксонией, Россией, где потерпел сокрушительное поражение (Полтавская битва 1709 г.) и бежал в Турцию. Еще долго строил неосуществимые планы.

Юпитер, Марс, Поллукс — названия римских богов и героев: Юпитер — владыка богов и людей, небес и земли; Марс — бог войны; Поллукс брат-близнец Кастора, оба участвовали в походе аргонавтов.

Вакх (или Бахус) — одно из имен Диониса, древнегреческого бога виноградарства.

Надменный Александр — Александр Македонский (356—323 до н. э.), великий древнегреческий полководец, в результате завоеваний которого было создано огромное, но непрочное государство.

Брат Лурди — Вольтер часто дает своим героям имена-характеристики. Лурди — от фр. тяжелый, тупой. Здесь — тупица, тугодум.

Хаос — по древнегреческой мифологии, существовал, когда еще не было мира, означал зияющее пустое пространство.

Данше — согласно примечанию самого Вольтера, Данше — посредственный поэт, автор нескольких пьес, которого высмеял в своих стихах Ж.-Ж. Руссо.

Розенкрейцеры — члены религиозно-мистической тайной организации, созданной в XVII в. X. Розенкрейцем и распространившейся в Германии, Нидерландах, России.

Какодемон (греч.) — злой дух.

«Вестник» — имеется в виду еженедельник «Меркюр де Франс», созданный в 1672 г. писателем Донно де Визе (1638—1710) и печатавший придворную хронику, небольшие пьесы, стихи, анекдоты, критические статьи.

Лоу (или Ласс, Лау) — шотландский финансист, с 1720 г.— генеральный контролер финансов Франции. В примечании Вольтера сказано, что система Лоу разорила в 1718—1720 годах многих французов и «еще давала себя знать в 1730 г.».

Молина Луис (1535—1600) — испанский иезуит, создавший учение «молинизм» и пытавшийся примирить свободную волю человека и божественное провидение.

Эскобар и Мендоза Антонио (1589—1669) — испанский иезуит-казуист, ученый; резко раскритикован французским ученым и философом Блезом Паскалем (1623—1662) в его знаменитых «Письмах к провинциалу» (1657).

Хитрец Дусен — аббат, советник иезуита Мишеля Теллье (1643—1719), последнего духовника Людовика XIV, автора «Буллы» (королевского акта), вызвавшей длительные религиозные волнения.

Беллерофонты новые... — по древнегреческому мифу, герой Беллерофонт с помощью крылатого коня Пегаса победил трехглавую огнедышащую Химеру и воинственных амазонок.

О летописец эллинских сражений... — очевидно, Вольтер имеет в виду Гомера, автора героической «Илиады», которому определенное время приписывалась и пародийная поэма «Батрахомиомахия», или «Война мышей и лягушек» (она упоминается ниже).

В медардовом приходе — в приходе святого Медарда (ум. ок. 557), епископа городка Нойона (неподалеку от г. Компьеня).

Парис Франсуа де (1690—1727) янсенистский дьякон-фанатик, на могиле которого конвульсионеры якобы совершали различные чудеса. В своем примечании Вольтер называет Париса «слабоумным дьяконом», которого однако «в народе почитали за святого».

Галилей Галилео (1564—1642) — итальянский ученый, один из основателей естествознания. Его открытия подтвердили правоту учения Н. Коперника о строении Вселенной. Боролся против средневековой схоластики, совершил ряд выдающихся открытий в точном естествоанании. Был привлечен к суду инквизиции.

Юрбен Грандье (1590—1634) — луденский кюре, приговоренный агентом кардинала Ришелье, советником Жаном-Мартеном Любарденом (1590—1653) к сожжению на костре за то, что он якобы вселил в души монахинь дьявола. Фактически же это была месть Ришелье за направленные против него памфлеты Грандье.

Элеонора — Леонора Галигаи (1571—1617) — итальянка, фаворитка французской королевы Марии Медичи (1573—1642), жена Кончино Кончини.

Лойолин род — то есть иезуитов. Игнатий Лойола (1491—1556) — испанский монах, основатель католического ордена иезуитов («орден Иисуса»), в 1534 г., причислен к лику святых.

Кибела — фригийская богиня, мать многих богов и всего живого на земле. Древние греки отождествляли ее с богиней земли Реей, матерью Зевса, Аида, Посейдона и Деметры.

Отец Бертье — Гийом-Франсуа Бертье (1704—1782) — аббат, постоянно преследовавший Вольтера и других просветителей.

Фонтевро — по объяснению Вольтера, в этом местечке старинной провинции Анжу в конце XI в. был основан женский монастырь и монашеский орден, во главе которого на протяжении многих столетий стояли игуменьи.

Жиго — окорок свиной, бараньей или телячьей туши.

К песни четвертой

В Гибернии — римское название Ирландии.

Встречаешь умных только в наши дни — намек Вольтера на знакомство со многими выдающимися английскими учеными в период его пребывания в Англии (1726—1729).

Воздвигнуть столп — то есть легендарную Вавилонскую башню.

Бастардов украшенье, Дюнуа — Жак Дюнуа Орлеанский (1403—1468), был бастардом — незаконнорожденным сыном герцога Людовика I Орлеанского. Звание «бастарда» было почетным, т. к. свидетельствовало о знатности происхождения.

Мальплакэ... Зама... Фарсал — название мест в Северной Африке, где состоялись битвы, в которых: англичане победили французов (1709 г.); римские легионы Публия Сципиона разбили войска карфагенского полководца Ганнибала (202 г. до н. э.); Юлий Цезарь нанес поражение Гнею Помпею (106—48 до н. э.), в 48 г. до н. э.

О, Кенигсмарк — в примечании Вольтера сказано, что Мария-Аврора Кенигсмарк была возлюбленной польского короля Августа II (1670—1733).

Роберт д'Арбриссель (1055—1117) — монах, основатель женского монастыря и ордена Фонтевро. Вольтер поясняет, что он придумал себе новый вид мученичества: «спать каждую ночь между двумя молодыми монахинями, чтобы провести дьявола».

Некромант — так в средневековье называли человека, якобы владеющего тайными силами и способного вызывать души умерших.

Инкуб — по средневековым легендам мужской демон (в отличие от женского — суккуба).

Платон... был убежден — как указывает Вольтер, в одном из своих сочинений Платон доказывал двуполость каждого человека.

Андрогины — двуполые женщины.

Царица Савская — в своем примечании Вольтер поясняет, что «царица Савская посетила Соломона и имела от него сына... Неизвестно, что сталось с потомством Александра и Фалестры».

...У дщери Птолемея — то есть Клеопатры. Это имя носили семь египетских цариц из династии Птолемидов (305—30 до н. э.). Самая знаменитая — Клеопатра VII (69—30 до н. э.), пленившая своей красотой сначала Юлия Цезаря (102/100—44 до н. э.), а затем его полководца Марка Антония (83—30 до н. з.).

Орфей — по древнегреческому мифу фракийский певец, песням которого внимала вся живая и неживая природа.

Гесиод (конец VIII — нач. VII вв.) — древнегреческий поэт, автор дидактической поэмы «Труды и дни».

Юнона — в римской мифологии богиня, жена Юпитера, покровительница брака, супружеской любви и семейного счастья.

Отец богов — Юпитер (*греч.* Зевс).

С Европой иль Семелою вдвоем — возлюбленные Зевса. Европу, дочь фессалийского царя Агенора, Зевс похитил, превратившись в быка и, переплыв море, оставил на острове Крит, где она родила ему Миноса и Радаманта. Дочь фиванского царя Кадма Семела родила от Зевса Диониса, но сама из-за коварства мстительной Геры погибла.

Евфрозина, Талия, Аглая — три богини красоты, радости и женственности. В Древней Греции их называли харитами, в Риме — грациями.

Геба — дочь Зевса и Геры, богиня юности, на пиршестве богов вместе с Ганимедом разливала в чаши нектар.

...Сын царя, поставившего Трою — Ганимед, сын царя Троя, похищенный за красоту Зевсом, принявшим облик орла.

Владел монах Иакова жезлом — по библейской легенде Иаков родоначальник еврейского народа, борец с богом, за что получил от него имя Израиль. В примечании Вольтер пишет: «У шарлатанов имеется жезл Иакова, у магов — книги Соломона, озаглавленные «Кольцо» и «Ключ».

Зороастр (или Заратуштра — *др. иран.*) ок. 660—583 до н. э.) — пророк и реформатор античной иранской религии, создатель касты магов.

...Осужденный богом... — в примечании Вольтер рассказывает легенду о халдейском (вавилонском) царе Навуходоносоре, которого бог наказал и на семь лет лишил разума — тот воображал себя быком, жил вместе со зверями и ел траву. Затем разум вернулся к нему, и он прожил еще год, совершив много добрых и мудрых дел.

Святой Георгий — считался покровителем Англии.

К песни пятой

Рассыльная Атропы, Стикса дочь — то есть смерть; по древнегреческому мифу, Атропа — одна из трех сестер-Мойр (в Риме они назывались Парками): Клото — прядет нить жизни, Лахесис — проводит ее через все испытания, Атропа — обрезает эту нить. Стикс — нимфа реки, семь раз обтекающей подземное царство Аида, по ней души умерших попадают в это царство.

...Блаженного Мартина... (ок. 316—397) — турский епископ с 371 г., основатель первого французского монастыря, католической церковью причислен к лику святых.

Святая Минуш — такой святой не существует, и Вольтер поясняет, что это каламбур, возникший в просторечье.

Драчун — Вольтер в примечании замечает, что это распространенное дружеское обращение монахов-францисканцев.

Антонин и Марк Аврелий — Антонин Благочестивый (86—161), римский император, усыновивший Марка Аврелия (121—180), будущего римского императора (с 161 г.).

Оба Катона — Катон Старший (234—149 до н. э.) — римский император, боровшийся за чистоту правов. Катон Младший (Уттический, 95—46 до н. э.) — противник Юлия Цезаря, сторонник Помпея; после поражения приверженцев Помпея покончил с собой.

Кротчайший Тит — Тит Флавий Веспасиан (9—79), римский император с 69 г. Римские историки восхваляли его за справедливое правление.

Траян (53—117) — римский император с 98 г. из династии Антонинов, при котором границы Римского государства достигали максимальных размеров.

Сципион Публий Корнелий (Африканский) (ок. 235 — ок. 183 до н. з.) — римский полководец периода 2-й Пунической войны. Разгромил войска Ганнибала при Заме (202 до н. з.) и захватил Карфаген.

Солон и Аристид — афинские политические деятели. Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. з.) — архонт, законодатель, элегический поэт. Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н. з.) — полководец, ему приписываются образцовая доблесть и пылкий патриотизм.

Все вышеприведенные выдающиеся греки помещены Вольтером в ад не случайно — этим приемом он достигает едкой иронии по отношению к католической церкви, которая всех эллинов, независимо от их заслуг и добродетелей, помещала в ад как язычников.

Король Хлодвиг (466—511) — из рода Меровингов, завоевал почти всю Галлию и основал франкское государство. Совершил ряд преступлений, убив многих близких родственников. По преданию, был обращен в христианство в 496 г. реймским епископом Реми (437—533), которого церковь возвела в ранг святых.

Константин I Великий (285—337) — римский император с 306 г., первым из императоров принял христианство и сделал его государственной религией. Основал Константинополь на месте древнего города Византия.

Альбигойцы — участники еретического движения, возникшего на юге Франции в XII—XIII ст.; основную массу составляли крестьяне и ремесленники. Осуждены Вселенским собором 1215 г. Разбиты во время двух крестовых походов (1209 и 1229 гг.), организованных папством.

...С которым Валаам беседовал... — имеется в виду библейский эпизод, в котором Валаам начал бить ослицу, и она с ним заговорила человеческим голосом.

Палаш — холодное рубящее и колющее оружие, прямой и длинный однолезвиевый, к концу обоюдоострый клинок.

Михаил — святой, архангел, предводитель небесного воинства.

Медуза — по древнегреческому мифу змееволосая дева, одна из трех сестер-горгон. Взгляд ее превращал все в камень. Медуза была убита героем Персеем.

К песни шестой

Дитя Аркадии — Аркадия — древнегреческая область в центре Пелопоннеса, в которой проживал пастушеский народ. Античные лирики воспевали этот край как олицетворение простоты, мирной жизни, беззаботного счастья и невинности.

Ломбардия — северный район Италии у подножия Альп.

Адонис — финикийское божество природы, олицетворение умирающей и воскресающей природы. Возлюбленный древнегреческой богини Афродиты, был убит разъяренным вепрем и превращен богиней в цветок анемон (др. версия — в розу).

Анхиз — по древнегреческому мифу внук троянского царя Ила (поэтому Трою также называли Илион), возлюбленный Афродиты; от этой связи родился троянский герой Эней, главный герой поэмы Вергилия «Энеида». За разглашение тайны их любви Зевс ослепил Анхиза.

Кармелитская вода — Кармелиты — члены нищенствующего монашеского ордена, основаниого в Палестине (XII в.) и распространившегося во Франции при Людовике IX (1214—1270). В 1451 г. аналогичный орден был учрежден и для монахинь. Кармелиты готовили для продажи настойки из целебных трав для лечения болезней и ран.

Ганнибал Барки (247/246—183 г. до н. э.) — карфагенский полководец. Во время 2-й Пунической войны совершил переход через Альпы со всем войском и боевыми слонами. Одержал ряд побед над римлянами, но был разбит в 202 г. до н. э. при Заме.

Парнас — горный хребет в Центральной Греции высотой до 2500 м. Эллины считали гору Парнас обиталищем бога Аполлона и Муз.

Саватье, орудие подлога — Антуан Сабатье (1742—1817) — литературный недруг Вольтера, часто высмеивавший его в памфлетах, один из которых назывался «Философское изобретение ума г-на Вольтера».

Гийон, Фрерон, Бомель — также противники Вольтера, досаждавшие ему доносами, пасквилями и клеветой. Гийон Клод-Мари (1699—1771) — литератор и историк. Фрерон Эли (1719—1776) — литератор, идейный враг писателя. Лоран Ла Бомель (1726—1773) — после неудачной попытки сблизиться с Вольтером начал преследовать его своими пасквилями.

Шептали «AVE» — первое слово молитвы, обращенной к деве Марии.

К песни седьмой

Епитрахиль — облачение священника, одеваемое поверх рясы.

Бузирис (или Бусирис) — мифический царь Египта, приносивший в жертву всех попадавших ему в руки чужеземцев. Геракл, также обреченный им на смерть, разорвал путы и убил Бузириса вместе с его сыном.

Стернум — передняя часть грудной клетки.

Атлант — первый шейный позвонок.

К песни восьмой

...Ум и сердце... — это выражение часто использовали в XVIII ст. ученые и педагоги, ставя задачу воспитывать у человека ум и сердце. Вольтер иронически относился к нему и, очевидно, употреблял его, имея в виду «Трактат о преподавании словесности путем обращения к уму и сердцу» французского историка Шарля Роллена (1661—1741).

Тритем Жан (1462—1516) — историк, аббат монастыря св. Иакова в Вюрцбурге, собиратель исторических рукописей и древних книг. Вольтер делает его вымышленным источником разных «достоверных» событий.

Алкид — прозвище Геракла, данное ему Дельфийским оракулом и означавшее «совершающий подвиги из-за гонений Геры». По другому варианту древнегреческого мифа Алкид — потомок Алкея, отца Амфитриона, мужа Алкмены (матери Геракла).

Тройной пес — то есть трехглавый пес Цербер, охраняющий вход в подземное царство Аида.

Тройная Эвменида — три сестры Эвмениды ранее назывались «Эринниями» («неистовыми», «яростными») и были греческими богинями родовой мести, охранительницами материнского права. После

того, как богиня Афина уговорила их простить Ореста за убийство матери Клитемнестры, они начали называться Эвменидами («милостивыми»). Геракл побеждает Эринний (Тизифону, Алекто и Мегеру).

Парма... Модена... Урбино... Чезена... — три первых итальянских города были герцогствами, Чезена — город, входивший в Папскую область (в Средней Италии).

Анкона — главный город Анконской марки, то есть административного округа, в который входил город Лорет.

В Лорето ангелы остановились — Вольтер иронически поясняет, что по легенде ангелы, обследовав несколько мест в Италии, остановились на Лорете и перенесли в него из Назарета дом девы Марии.

Наместники небес, владыки света — то есть папы римские.

К песни девятой

Меж Римом и Гаэтой — Гаэта — итальянский город на берегу Средиземного моря южнее Рима.

Симон-Петр — в Библии сказано, что св. Петр мечом отсек ухо рабу Малху, пришедшему с воинами задержать Иисуса.

Саннадзаро Джакопо (1455—1530) — итальянский поэт, автор пасторального романа «Аркадия» (1485). Вольтер пишет, что «Саннадзаро, посредственный поэт, погребен рядом с Вергилием, но в более роскошной могиле».

Харибда — так в древности называли опасный для мореходов участок в Мессинском проливе около острова Сицилия, изобиловавший рифами и водоворотами.

Сцилла — таким же опасным местом были скалы на итальянском берегу Мессинского пролива. По античному мифу Сцилла и Харибда — женщины, превращенные богами в чудовищ. Сцилла — двенадцатиногое чудище с шестью головами и тремя рядами зубов, обитала в скалистой пещере. Харибда жила в морской пучине. Находясь друг против друга, они пожирали проплывавших мимо путешественников.

Под Этною гиганты мирно спали — долгое время вулкан Этна на о. Сицилия считался потухшим.

Источник Аретузы — по древнегреческому мифу нимфа Аретуза, чтобы спастись от любовных преследований речного бога Алфея, была превращена Артемидой в источник. Тогда Алфей превратился в речку и ее воды смешались с водой родника. Вольтер отмечает, что «подземный проток от реки Алфея до источника Аретузы оказался выдумкой».

Край Августина — по преданию, св. Августин был епископом в г. Гиппоне, что в Северной Африке; один из «отцов» христианской церкви.

Фокейцы — жители малоазийского города Фокия, колонизовавшие в VI в. до н. э. многие территории, в том числе и юг Франции, где они основали город Массилию (Марсель).

Мария Магдалина — грешница, обращенная Иисусом в христианскую веру и ставшая святой. По преданию, последние тридцать лет она прожила в одной из пещер скал Максимилина, расположенных в Иудее.

К песни десятой

Его отца свела с ума причина — отец Карла VII, Карл VI (1380—1422), за несколько лет до конца своего правления заболел тяжким душевным недугом. Начавшаяся ожесточенная борьба за власть отрицательно сказалась на положении Франции.

...Остатки округов — перед снятием осады Орлеана в 1429 г. Карлу VII принадлежали лишь отдельные области Франции, остальная территория была захвачена англичанами.

Ультрамонтанец — французский католик, считавший власть папы римского высшей и единственной.

Дитя Кальвина — сторонник учения Жана Кальвина (1509—1564), деятеля Реформации, основателя протестантского учения кальвинизма.

Дарами сладкими, что дал нам Ной — по библейской легенде Ной, спасший на своем ковчеге от потопа «каждой твари по паре», после окончания потопа занялся выращиванием виноградной лозы и виноделием.

Помона с Флорой — Помона, по римской мифологии, богиня плодов; Флора — богиня цветов и садов, весны и молодости.

Сестра Безонь — слово «безонь» *(фр.)* означает «работа», «труд», «дело». Здесь — сестра Хлопотунья.

Переодетый девушкой Ахилл — по древнегреческому мифу богиня Фетида, мать Ахилла, чтобы спасти его от участия в Троянской войне, где его ожидала смерть, поместила сына среди дочерей скиросского царя Ликомеда, переодев в девичье платье. Эту хитрость разгадал Одиссей, предложивший девушкам украшения. Ахилл же выбрал меч.

К песни одиннадцатой

Сион — один из холмов Иерусалима, на котором стоял храм; часто употребляется как синоним Иерусалима.

Вулкана одноглазые друзья — в римской мифологии Вулкан *(др. греч.* — Гефест) — хромоногий бог-кузнец, одноглазые — великаны-циклопы.

Мечтательный Рене — то есть Рене Декарт (1596—1650), французский философ и математик. До появления теории всемирного тяготения Ньютона идеи Декарта были наиболее популярны.

Снеси ее еще разок в Париж — по легенде Денис был парижским епископом; обезглавленный, он нес свою голову в руках из Парижа до своего аббатства. Провозглашен церковью святым.

Совсем как у Гомера — далее Вольтер пародирует бранное обращение героев «Илиады» к сопернику перед поединком.

Моисей — библейский пророк, воин и законодатель; по легенде вывел иудеев из египетского рабства в землю Ханаанскую.

Скамандр — одна из двух рек, омывавших Трою.

К песни двенадцатой

...Историю осла... — имеется в виду Буриданов осел, издохший от голода, хотя он и находился между двумя стогами сена, не знал, с которого начать. Эту историю средневековый схоласт Жан Буридан (ок. 1300 — ок. 1360) приводит в качестве аргумента против свободной воли человека.

Авраам... Агари... Саре... — в библейской книге «Бытие» сказано, что у жены Авраама (которого церковь считает одним из патриар-

хов) Сары не было детей. Она предложила ему в наложницы свою служанку Агарь, родившую Измаила.

Иаков — библейский патриарх, откупивший у брата-близнеца Исава за чечевичную похлебку право первородства. Женился на двух своих двоюродных сестрах — Рахили и Лие, родивших ему двенадцать сыновей («двенадцать колен Израилевых»).

Старик Вооз — по Библии богатый старик Вооз помог вдове Ноемини, а также ее овдовевшей невестке, молодой и красивой Руфи, ставшей позже его женой.

Вирсавия — по Библии жена полководца Урии, которого Давид послал на смерть, вначале стала возлюбленной, а затем женой царя Давида и родила ему сына.

Волосы врагам его предали... — речь идет об Авессаломе, сыне Давида, который согласно библейской легенде восстал против отца, захватил Иерусалим, одержал ряд побед. В одном из сражений потерпел поражение, во время бегства зацепился волосами за ветку дуба и был убит.

Медведица направилась к Надару — то есть к горизонту.

Зефир — по древнегреческому мифу один из четырех ветров-братьев, западный теплый ветер.

Психея — в древнегреческой мифологии — олицетворение человеческой души, возлюбленная бога любви Эрота.

Капуцин — монах нищенствующего католического ордена, основанного в Италии в 1525 г. в целях противодействия Реформации. Первоначально был подразделением ордена францисканцев. Обязательной частью одеяния капуцинов является капюшон. Отсюда их название. Вольтер насмешливо замечает, что это ошибка автора — в период действия поэмы капуцинов еще не было.

Никомед III — Вольтер в примечании поясняет, что это вифинский царь с 91 по 74 гг. до н. э., союзник Рима, который оказал Ю. Цезарю радушное гостеприимство.

Великий грек... любил Гефестиона — у Александра Великого был любимец Гефестион, которого после его смерти Александр причислил к полубогам.

Адриан Публий Элий (76—138) — римский император с 117 г., установивший памятник в Пантеоне — римском храме всем богам — своему фавориту Антиною.

К песни тринадцатой

Властителей Феррары веселил — речь идет об Ариосто, который свою поэму «Неистовый Роланд» начинает с прославления рода д'Эсте, долгое время управлявшего Феррарой и Миланом.

Святой Матвей — по библейской легенде путем жеребьевки был избран двенадцатым апостолом вместо наказанного Иуды, предавшего Христа.

Лациума щит — Лацио — область в Центральной Италии; иногда так называли Рим, входивший в нее. Вольтер в примечании пишет: «Щит, упавший с неба и бережно хранимый как залог безопасности города».

Франциска первого, бойца... — то есть французского короля Франциска I (1494—1547), который в битве при Павии (1525) потерпел поражение и был пленен. Анна де Писселе (1508—1576) была его фавориткой.

Уводят Карла Пятого от лавров — Карл V (1500—1558) — в 1516 г. стал королем Карлом I Испанским, с 1519 г.— императором Германии. Вел с Францией почти 30-летнюю войну.

Вокруг Дианы — Дианы де Пуатье (1499—1566), фаворитки короля Генриха II (1519—1559).

Девятый Карл — Карл IX (1550—1574) — французский король с 1560 г., сын Генриха II. По настоянию матери Екатерины Медичи дал разрешение на Варфоломеевскую ночь (1572), кровавую расправу, которую учинили католики над гугенотами в Париже в ночь на 24 августа 1572 г., когда отмечался праздник св. Варфоломея.

Борджа, Александр Шестой — римский папа Александр VI (1480—1519), прославившийся своим распутством.

Лукреция — одна из трех дочерей Александра Борджа, известная своей красотой. Вольтер в своем примечании добавляет, что «согласно молве, была его любовницей и любовницей своего брата».

Лев X — Жан Медичи, папа римский с 1513 по 1521 год.

Павел III — Александр Фарнезе, римский папа с 1534 по 1549 год.

Великий Беарнец — то есть Генрих IV (1553—1610), король Наварры с 1562 г.; поддерживал протестантов и королем Франции стал лишь после принятия католической веры в 1589 г. Его фавориткой была Габриель д'Эсте. Вольтер называет его «беарнцем» потому, что предки Генриха IV из рода Бурбонов владели герцогством Беарнским на юге Франции.

Людовик наш Великий — Людовик XIV (1638—1715), французский король с 1643 г., при котором абсолютистская монархия достигла высшего расцвета.

Племянница лукавца Мазарини — Мария Манчини (1639—1714), возлюбленная короля Людовика XIV.

Монтеспан — Франсуаза-Атенаиса де Рошуар, маркиза це Монтеспан (1640—1707); Лавальер, Луиза де Лабом, герцогиня (1644—1710) — возлюбленные Людовика XIV.

К песни четырнадцатой

Комос — у древних греков бог пиршества, которого изображали в виде крылатого юноши.

Увидел у Дианы Актеон — согласно древнегреческому мифу юноша-охотник Актеон увидел купающуюся богиню Артемиду — покровительницу природы. Рассерженная богиня превратила Актеона в оленя, и он был разорван его же охотничьими псами.

Алкид... Персей... Вакх — сыновья греческого бога Зевса.

Ромул — в римской мифологии сын бога войны Марса.

Арей (или Арес) — древнегреческий бог агрессивной войны.

Паллада — Афина, греческая богиня оборонительной войны.

...Постыдный греческий обычай — у Гомера воин-победитель становился обладателем снятых с побежденного доспехов.

К песни пятнадцатой

Епископ Турпин — один из героев средневекового французского эпоса «Песнь о Роланде», а также поэмы Ариосто «Неистовый Роланд». В примечании Вольтер пишет, что «Архиепископ Турпин, которому приписывают «Жизнеописание Карла Великого и Роланда», был архиепископом Реймским в VIII в.».

Крича: «Луве!» — Как Стентор — намек на эпизод из «Илиады» Гомера, в котором богиня Гера, приняв облик героя Стентора, громкой речью старается возбудить храбрость у греческих воинов.

«Король, монжуа, святой Денис» — традиционный клич рыцарей, идущих в бой.

Клодион — легендарный вождь франкского племени по прозвищу Волосатый, захвативший в 30-е г. V в. почти всю Галлию.

Аталанта — мифологическая богиня греческой области Аркадии, отважная охотница.

...В опере поэта-кардинала — Парижский оперный театр в то время размещался во дворце Пале-Рояль, построенном в 1629 г. архитектором Лемерсье для Ришелье, всемогущего кардинала и посредственного поэта.

...Кто презираем и любим — намек на Людовика XV, которого народ ненавидел, а придворные называли «любимым».

К песни шестнадцатой

Гудар — Антуан де Ламотт-Гудар (1672—1731), французский писатель, считал античных поэтов примитивными.

...Пиндарическую оду — то есть оду, подобную тем, которые писал древнегреческий лирик Пиндар (ок 518—442 или 438 до н. э.).

Фортунат — епископ Пуатье (530—609), поэт, писавший на латинском языке; причислен к лику святых.

Пившего кастальские струи Проспера — Кастальский ручей вытекал из скал Парнасского хребта в Греции и считался источником вдохновения. Проспер Аквитанский (ок. 390 — ок. 460) — поэт, историк и теолог; причислен к лику святых.

Григорий Турский (538—594) — епископ г. Тура, историк и теолог.

Бернард Клервосский (1096—1153) — основатель аббатства в г. Клерво, пользовался большим уважением в кругах духовенства, был инициатором второго крестового похода (1147—1149). Причислен к лику святых.

Августин (ум. ок. 605) — основатель Кентерберийского епископства, в Англии причислен к лику святых.

Аод — один из библейских судей израильтян, убивший моавитянского царя Еглома.

Самуил — по библейской легенде израильский судья, провозгласивший царями сначала Саула, а потом Давида.

Агаг — царь арабского племени амалекитов, истребленного израильтянами.

Ветилуя — то есть Юдифь.

Вас (или Ваас) — библейский израильский царь.

Ахав, Вендад — израильский и сирийский цари.

Иегозавад... Атровад... Иоад — библейские персонажи.

Педант с лицом Терсита — Терсит, один из героев «Илиады», показан Гомером как трус и лжец. Здесь имеется в виду генеральный прокурор парламента Омер-Жоли де Флери (1715—1810), которого ненавидел Вольтер.

Два agnus'а — два ягненка; их изображение было символом Христа.

Фосфор — светоносец, бог, ведавший светилами.

Аврора (греч.— Эос.) — в римской мифологии богиня утренней зари.

К песни семнадцатой

Сорлена, Лемуана, Скюдери — имена французских посредственных поэтов XVII в.

«История Марии Алакок» — Вольтер поясняет, что это «сочинение, редкое по количеству глупостей, принадлежит Лангэ, епископу Суассона».

К песни восемнадцатой

Бургундский враг — Жан Бесстрашный, герцог Бургундский (1371—1419), убивший брата Карла VII Людовика Орлеанского.

Супруга сонная Тифона — имеется в виду греческая богиня утренней зари Эос. Тифон (или Титон) — юноша, которому Зевс дал бессмертие, но Эос забыла попросить для него и юность. Когда Тифон постарел, она разлюбила его и превратила в цикаду.

Грести на амфитритиной спине — то есть на галерах, куда ссылали каторжников. Амфитрита — в греческой мифологии морская богиня, жена бога Посейдона.

Фрелон — Эли Фрерон.

Койон — Клод-Мари Гийон.

Шоме Абраам (ок. 1730—1790) — критик, враждебно настроенный по отношению к просветителям. Вольтер неоднократно высмеивал его в памфлетах. После революции 1789 г. эмигрировал в Россию, где был учителем в Москве.

Гоша Габриель (1709—1774) — писатель-богослов, выступавший против Вольтера.

Фантен — как поясняет Вольтер, в Версале был такой священик, которого поймали на краже 50 луидоров у умирающего.

Бризе — Жозеф Гризель (1703—1787) — писатель-иезуит; в примечании Вольтер уточняет: «Известный духовник знатных женщин, тратил на тайные пороки деньги, которые извлекал у всех духовных дщерей».

Гарпии — в греческой мифологии богини вихря, крылатые существа с женскими головами. В переносном смысле — злая женщина.

К песни девятнадцатой

Атропос — одна из Мойр, перерезает нить жизни.

Наяды — в греческой мифологии нимфы рек, ручьев и озер.

Сильваны — у древних римлян — боги лесов и полей.

Атлас — по древнегреческому мифу, африканский царь, отказавший герою Персею в гостеприимстве и превращенный им с помощью головы Медузы в Гору.

Беллини Джакопо (1400—1470) — известный венецианский живописец.

К песни двадцатой

Лот почтенный — по библейской легенде племянник Авраама. После гибели Содома, потеряв жену, был соблазнен своими дочерьми.

Селадон — верный и застенчивый влюбленный, герой пасторального романа «Астрея» французского писателя Оноре д'Юрфе (1587—1628).

Ларше (1726—1812) — французский ученый, знаток греческой классики.

Овидий и Бернар стяжали славу — Публий Овидий Назон (ок. 43 г. до н. э.— 18 г.) — римский поэт, автор любовной лирики, в том числе поэмы «Наука любви». Пьер Жозеф Бернар (1710—1775) — французский поэт, написавший по аналогии поэму «Наука любви».

Енох — библейский персонаж.

Силен — в греческой мифологии сын бога Пана, воспитатель и спутник бога виноградарства Диониса, представлявшийся веселым, добродушным, постоянно пьяным стариком с ослом, винным мехом и кубком.

...Псы святого Роха... Антоньева свинья — по церковной легенде святого Роха (1295—1327) — всегда сопровождала собака, а святого Антония (251—356) — свинья.

Леда — у древних греков — дочь этолийского царя Тестия, была соблазнена Зевсом, принявшим вид лебедя.

...Дочь Миноса — Вольтер отошел от древнегреческого мифа. Жена Миноса Пасифая стала возлюбленной Посейдонова быка и родила чудовищного Минотавра.

Ганимед — сын царя Троя, был похищен Зевсом, принявшим облик орла.

Филира — в греческой мифологии — нимфа, соблазненная Посейдоном, принявшим облик коня.

К песни двадцать первой

...Госпожа Оду глядела на божественного Барона — намек Вольтера на скандальную связь аристократки Шарлотты-Роза де Форс (1650—1724) со знаменитым актером, другом Мольера, Мишелем Бароном (1653—1729).

... Потребовав Сито — в Сито находился монастырь монахов-бенедиктинцев, занимавшихся виноделием.

Афродита — (у римлян — Венера) в древнегреческой мифологии богиня, которая полюбила бога войны Ареса (у римлян — Марса). Выследивший любовников муж Афродиты хромой Гефест (у римлян — Вулкан) накрыл их сетью и в таком виде показал всем богам.

...Британцы в старину от них очистили страну — в 1534 г. английский король Генрих VIII (1491—1547) из династии Тюдоров порвал с католическим Римом, объявив себя главой англиканской церкви, а в 1536 и 1539 гг. провел секуляризацию монастырей.

ЗА И ПРОТИВ. ПОСЛАНИЕ К УРАНИИ

Поэма написана в 1722 г. как ответ на сомнения в вопросах религии приятельницы Вольтера графини де Рюпельмонд. Понимая резкий антирелигиозный характер своего произведения, он напечатал его лишь в 1732 г. под вымышленным именем. Свое авторство поэт признал лишь через пятьдесят лет — в 1772 г.

Урания — в древнегреческой мифологии — одна из девяти богинь (или муз), дочь Зевса и титаниды Мнемосины, муза астрономии.

Хоть сам его в шесть дней — согласно библейской легенде бог за шесть дней сотворил свет и ночь, небо и землю, солнце и луну, рыб, птиц и зверей и последним — человека.

Гиперборейские просторы — так в древности греки называли земли народов, проживавших севернее Дуная, Днестра и Днепра.

Бонза — название, данное европейцами буддийским священникам в странах Азии.

Дервиш — мусульманский нищенствующий монах.

Иерей — (*с греч.* букв.— жрец) — официальное название православного священника. Здесь — ошибка переводчика, т. к. Вольтер говорит о католических священниках.

ПОЭМА О ГИБЕЛИ ЛИССАБОНА

Поэма написана под впечатлением известия о катастрофическом по своим последствиям землетрясении в Лиссабоне 1 ноября 1755 г. Город почти полностью был разрушен, в его развалинах погибло более 30 000 человек. Вслед за этим началась Семилетняя война. Эти события заставили Вольтера пересмотреть свои взгляды на понятия добра и зла. Отныне он будет считать, что постоянные и мудрые законы мироздания — это лишь выдумки мудрецов-философов. На деле же люди — только игрушки в руках неумолимой судьбы.

Таго — Тахо, самая длинная река на Пиренейском полуострове (более 1000 км длиной), впадающая в Атлантический океан. Лиссабон раскинулся на берегах устья этой реки.

Софист — в Греции V в. учитель философии и красноречия. С конца V — в IV в. до н. э. софистами начали называть философов, использовавших ложные доводы и умышленно делавших ошибочные выводы. Здесь — лжемудрец.

И тридцать городов — 21 декабря 1755 г. произошло повторное землетрясение, в результате которого, кроме Лиссабона, пострадало много других городов.

Бейль Пьер (1647—1706) — французский публицист и философ, представитель раннего Просвещения, утверждал независимость морали от религии.

ЗАДИГ, ИЛИ СУДЬБА

Эта философская повесть была написана и издана Вольтером в 1747 г. под названием «Мемнон. Восточная повесть», но уже со следующего издания (1748) начала называться «Задиг, или Судьба». В ней под покровом экзотической жизни древнего Вавилона скрыта действительность современной Вольтеру придворной Франции.

Саади (между 1203-1210—1292) — персидский мыслитель и писатель. В повести под его именем скрывается сам Вольтер.

Султанша Шераа — очевидно, Вольтер имеет в виду маркизу де Помпадур (Жанну Антуанетту Пуассон, 1721—1764), фаворитку Людовика XV.

Улуг-Бек Мухаммед Тарагай (1394—1449) — узбекский государственный деятель и ученый, внук полководца Тимура (Тамерлана), правитель Самарканда.

«Тысяча и один день» — сборник персидских сказок, изданный на французском языке в начале XVIII в.

Фалестрида — согласно восточной легенде царица амазонок, добивавшаяся любви Александра Македонского (356—323 до н. э.).

Царица Савская — по библейской легенде эта правительница арабских племен пришла с богатыми дарами к израильскому царю Соломону (по-арабски Сулейману), чтобы убедиться в его мудрости.

Халдеи — племена, жившие на побережье Персидского залива с конца 2-го тысячелетия до н. э. В VII в. до н. э. установили свою династию в Вавилоне.

Оркан — анаграмма аристократа Рогана, оскорбившего Вольтера.

Гора Имаус — античное название Гималаев.

Гермес Трисмегист — древнегреческое имя великого египетского ученого.

Господин Арну — современник Вольтера, известный аптекарь.

По мосту Чинавар — согласно мусульманской легенде по этому мосту души умерших отправлялись в загробное царство.

Книга Зенд — перевод с комментариями на среднеперсидский язык книг «Авесты» («Зендавеста»).

Ангел Азраил — демон смерти в мусульманской религии.

...Сколько дюймов воды проходит в одну секунду под арками... — намек Вольтера на работы французского инженера и физика Анри Пито (1695—1771), посвященные свойствам жидкостей.

Изготовлять шелк из паутины... намек автора на работу «Рассуждения о пауке» французского естествоиспытателя Бернара де Сент-Илера.

...Фарфор из разбитых бутылок... — Вольтер иронизирует по поводу известного французского физика и натуралиста Рене-Антуана де Реомюра (1683—1757), ошибочный проект которого был представлен в Академию наук. В нем предлагалось изготовлять фарфор из стекла.

Дестерхам — титул казначея в древней Персии и Турции.

Оромазд (или Ормузд) — высшее божество древних персов, воплощение добра и света; ему противостоит Ариман, демон зла и разрушительных сил.

Удержав... триста девяносто восемь унций... — издевка Вольтера над французским судом, беззастенчиво обиравшим как подсудимого, так и истца.

О законе... запрещавшем есть грифов — Вольтер высмеивает библейские запреты.

Теург — маг.

Иебор — анаграмма фанатичного епископа Жана-Франсуа Буайе (1675—1755), постоянно преследовавшего Вольтера.

...Что кролики не принадлежат к нечистым животным... — Вольтер вновь иронизирует над библейскими запретами, по которым нельзя есть зайцев.

...Князем Гирканским... — имеется в виду князь Гиркании — области в древней Персии, на юге от Каспийского моря.

...От монархов, любящих стихи, можно многого ждать... — возможный намек на прусского короля Фридриха II (1712—1786), с которым Вольтер переписывался и, до личного знакомства с ним, считал просвещенным монархом.

...Членов дивана... — членов государственного совета в древней Персии.

Акциденция — философский термин, означающий случайное, несущественное свойство; ему противостоит субстанция — неизменная сущность вещей.

...Монады и предустановленная гармония... — понятия, выдвинутые немецким философом-идеалистом и ученым Готфридом Вильгельмом Лейбницем (1646—1716). Монады — бесчисленные духовные сущности, составляющие окружающий реальный мир, находятся между собой в состоянии постоянной гармонии, предустановленной высшими силами; потому существующий мир является «наилучшим из всех существующих миров».

Митра — в древневосточных религиях бог солнца и света, покровитель добрых отношений между людьми.

...Он не заставил пуститься в пляс горы и холмы... — здесь и далее Вольтер пародирует стиль Ветхого завета («горы прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы» (Псалтирь).

...Море не отступает от берегов... — Сравним с Библией: «море увидело и побежало» (Псалтирь).

...Звезды не падают... — «как упал ты с неба, денница, сын зари» (Порок Исаия).

...Солнце не тает, как воск... — «...и камни, как воск, растают от лица твоего» (Юдифь).

Дромадер (дромедар) — одногорбый верблюд.

Звезда Канюп (Канопус) — вторая по блеску звезда Южного полушарии в созвездии Киль.

Пустыня Хорив — севериая часть Аравийской пустыни.

Земля гангаридов — то есть народов, живущих вдоль берегов Ганга.

Катай — так в старину европейцы называли Восточный Китай.

Брама (Брахма) — один из верховных богов в индуизме, номинальный глава верховиой троицы (Брахма, Вишну, Шива), создатель Вселенной и всех форм жизни.

Апис — священный бык у древних египтян, считавших его воплощением бога Пта, создателя всего сущего.

Оаннес — халдейское божество в виде священной рыбы.

Камбалу — древнее название Пекина.

Тейтат — верховное божество древних галлов.

Омела — священое растение галлов, считавших его действенным средством от всех заболеваний, в его честь устраивались празднества.

...Нос, нисколько не напоминавший башни горы ливанской... — Вольтер вновь иронизирует над стилем Библии (ср.: «Нос твой — башня Ливаиская, обращенная к Дамаску». Песни Песней.).

ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ СКАРМЕНТАДО

Времн создаиия повести неизвестно, иапечатаиа она была в 1756 г.

Иро — анаграмма фамилии французского писателя Шарля Руа (1683—1764), пытавшегося дискредитировать Вольтера в своих стихах.

Профондо — то есть глубокий.

Олимпия — Олимпия Мальдакини, родственница и любовница папы Иннокентия X (с 1644 по 1655).

Фатело (итал.) — делай это.

Пуаньярдини — *(фр.* пуаньяр) — кинжал.

Акоинити — *(фр.* аконит) — ядовитое растение.

Людовик Справедливый — имеется в виду Людовик XIII.

Маршал д'Анкр — итальяиский авантюрист Кончино Кончини.

...Более шести десятков лет... — речь идет о длительных войнах между католиками и протестантами.

Взорвать при посредстве пороха — имеется в виду католический «Пороховой заговор» (1605), цель которого заключалась в свержении английского короля Якова I и разгоне парламента.

Королевы Марии — речь идет об английской королеве Марии Тюдор (Кровавой, 1516—1558), проиввившей особую жестокость в борьбе с протестантами.

...*Вертеп святого Патрика* — то есть пещера, в которой, по легенде, жил самый популярный в Ирландии святой Патрик (377—460).

Барневельдт Ян ван Ольден (ок. 1549—1619) — голландский политик, казненный своими противниками.

Епископа Чиапского — эту должность в мексиканской области Чиапо с 1543 г. занимал испанский прелат-писатель Бартоломе Лас Касас (1474—1566), описавший в книге «История Индии» жестокость испанских завоевателей при покорении Нового Света.

Там хозяйничали татары — в XIII в. монгольские племена завоевали Китай и установили в нем свои династии.

Макао — португальское владение с XVII ст. на южном побережье Китая, позже — г. Аомынь.

Голконда — древнее государство в Индии, разрушенное в 1658 г. и получившее позже название Хайдарабад.

Ауранг-Зеб (1618—1707) — монгольский император в Индии с 1658 г.

КАНДИД

Философская повесть написана Вольтером в 1758 г., напечатана в женевском издательстве братьев Крамеров в следующем году, а затем переиздавалась в разных странах.

Кандид — искренний, наивный, простодушный, чистосердечный.

Минден — немецкий город в Вестфалии, крепость которого в XVIII в. была тюрьмой для политических преступников.

Панглос (др. греч.) — всезнающий.

Метафизико-теолого... и т. д. — Вольтер пародирует теорию Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716), немецкого философа-идеалиста, ученого-математика, физика, языковеда, пытавшегося примирить науку с религией. Выдвинул идею о предустановленной гармонии, якобы царящей в мире.

Двое в голубых мундирах — то есть в форме прусских солдатов, которых Вольтер окрестил «болгарами».

Болгарский король — имеется в виду прусский король Фридрих II (1712—1786).

Диоскорид Педаний — древнеримский медик, грек по национальности, автор сочинений о всех известных в тот период минеральных, животных и растительных медикаментах.

Авары — варварские азиатские племена, вторгшиеся в Европу в VI в. Здесь — французы. Под болгаро-аварской войной Вольтер подразумевает Семилетнюю войну между Францией и Пруссией (1757—1763).

Анабаптисты — перекрещенцы, представители радикального сектантского движения эпохи Реформации. Требовали второго крещения человека в сознательном возрасте, осуждали богатство, отрицали церковную иерархию.

Батавия — крепость на острове Ява, построенная голландскими колонизаторами в XVII в., а также выросший вокруг нее город.

...*Я четыре раза топтал распятие...* — Голландия была единственной в Европе страной, торговавшей в XVIII в. с Японией. После возвращения из Голландии японские купцы должны были топтать распятие и тем доказывать, что не приняли христианства. Этот обычай Вольтер перенес и на голландских моряков.

Аутодафе — дело веры, публичное сожжение осужденного трибуналом инквизиции еретика на костре. После землетрясения в Лиссабоне оно состоялось 2 июня 1756 г.

Санбенито и митра — желтый суконный балахон, испещренный нарисованными на нем языками пламени и головной убор, которые надевались на приговоренного инквизицией к сожжению.

Miserere — помилуйте, пожалейте. Название 50-го псалома Давида, начинающегося этим словом.

Со времени Вавилонского пленения — период в истории древних евреев с 586 по 589 гг. до н. э., когда вавилонский царь Навуходоносор II взял Иерусалим и большую часть населения Иудеи превратил в рабов.

Служители святой германдады — служители созданной в Испании полиции (XV в.) по охране путешественников. В XVIII в. ее путали с полицией инквизиции.

Отец-кордельер — монах, старое название францисканца (от *фр.* la corde — веревка, которой монахи подвязывали свои рясы).

Приор-бенедиктинец — священник монашеского ордена, основанного Бенедиктом Нурсийским в 530 г.

Проучить... иезуитов в Парагвае — в XVII в. на территории Парагвая иезуиты образовали свое государство и начали эксплуатировать население и природные богатства страны. Их действия шли вразрез с колониальной политикой, проводимой Испанией и Португалией, которые в 1756 г. предприняли объединенную экспедицию против иезуитов. В ее составе был корабль «Паскаль», средства на вооружение которого вложил и Вольтер.

Папа Урбан X и княгиня Палестрини — этих лиц не существовало. Папа Урбан VIII и последний умер в 1644 г.

Масса-Карара — небольшое итальянское герцогство, существовавшее в XVIII в.

Малик-Исмаил — Мулей-Исмаил, марокканский султан с 1672 по 1727 гг.

...Даже становится у кормила власти — неаполитанский певец Фаринелли (1705—1782, наст. имя Карло Броски) был оскоплен, стал влиятельным фаворитом при дворе испанского короля Филиппа V (1683—1746).

Отправили в Алжир — с XVI по XVIII вв. в Алжире находился крупнейший невольничий рынок.

Янычарский ага — пехотный офицер в Османской империи.

Азов — турецкая крепость и порт. В 1696 г. был взят войсками Петра I.

Одной христианской державой — то есть Францией, присоединившейся к временному союзу (1701—1704) Португалии с Малик-Исмаилом.

Меотийское болото — так эллины называли Азовское море.

Из-за какой-то придворной смуты — имеется в виду стрелецкое восстание 1698 г.

Робек Йоганн (1672—1739) — шведский философ, оправдывавший самоубийство и сам покончивший жизнь самоубийством.

...Невинная ложь... была в ходу у древних — возможно, речь идет о библейском патриархе Аврааме, не без выгоды выдававшем свою жену Сарру за сестру.

Алькальд и альгвасилы — судья, следователь, полицейские в средневековой Испании.

Тукуман — город и провинция в северо-западной части Аргентины.

Los padres — отцы-иезуиты.

Эспантон — небольшая пика, оружие пехотного офицера XVII—XVIII вв.

«Вестник Треву» — журнал иезуитов.

Орельоны (от *фр.* oreille — ухо) — одно из племен Южной Америки, названное так европейцами из-за больших сережек в ушах.

Кайенна — порт и столица на северо-востоке французской Гвианы.

Ролей — Уолтер Рали (1552—1618) — английский моряк, поэт, политический деятель, организатор трех экспедиций в Южную Америку. Пытался разыскать страну Эльдорадо. Из Южной Америки ввез в Европу табак и картофель. Казнен английским королем Яковом I.

Суринам — Нидерландская Гвиана, государство на северо-востоке Южной Америки, с XVII в. — колония Голландии. Названа по протекающей там реке. Какамбо ошибочно дает это название городу.

Социнианин — член протестантской секты, основанной итальянцем Фавето Социни (1539—1604), отвергавшим христианский догмат о троице, идею непорочного зачатия.

Манихей — последователь религии, возникшей в Персии в III в. и утверждавшей, что в мире борются два противоположные начала — добро и зло, свет и тьма.

Конвульсионеры — члены религиозно-мистической секты, возникшей в результате преследования инквизицией янсенистов (XVII—XVIII вв.) — религиозно-моралистического движения во главе с голландским богословом К. Янсением (1585—1638), сложившегося как оппозиция иезуитам и придворной знати. Религиозный экстаз у конвульсионеров сопровождался конвульсиями.

...Написано в толстой книге... — речь идет о Библии.

Венецианские нобили — венецианские аристократы.

Ученому с севера — возможно, Вольтер имеет в виду французского ученого Пьера Луи Моро де Мопертюи (1698—1759), почетного члена Петербургской академии, который математически «доказал» существование бога.

Монима — царица Понтийского государства (ум. ок. 72 г. до н. э.), одна из жен царя Митридата. Здесь — героиня трагедии «Митридат» французского драматурга Тома Корнеля, роль которой в 1717 г. сыграла знаменитая актриса Адриенна Лекуврер (1692—1730), близкий друг Вольтера.

Клерон — псевдоним французской трагической актрисы Клер-Жозефины Латюд (1723—1803), лучшей исполнительницы ролей в трагедиях Вольтера. Работая в содружестве с Вольтером, Клерон стала крупнейшим реформатором французского драматического театра XVIII в. в духе «просветительского классицизма».

Архидьякон Т... — аббат Никола Трюбле (1697—1770), выступавший с нападками на Вольтера.

...Аббат-перигориец... — аббат из графства Перигор, расположенного на юго-западе Франции.

...Негодяй из Артебасии... — ремесленник Робер Дамьен (1715—1757) 5 января 1757 г. ножем легко ранил Людовика XV.

Две нации ведут войну — речь идет о Семилетней войне между Францией и Англией за владение Канадой, в результате которой эта страна стала колонией Англии.

...На дородного человека... — им был английский адмирал Джон Бинг (1704—1757), расстрелянный за поражение в морском сражении с французами у острова Минорки.

...С французским адмиралом... — Роланом-Мишелем де Лагаллиссоньером (1693—1756), губернатором Канады с 1747 по 1749 гг., разбившем в сражении корабли адмирала Д. Бинга.

Театинец — член нищенствующего монашеского ордена, основанного в 1524 г. для пропаганды католицизма, исправления нравов священников и борьбы с Реформацией.

Дож — глава Венецианской республики с VII по XVIII вв., избиравшийся пожизненно.

Пококуранте (итал.) — беззаботный.

Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт позднего Возрождения, автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580).

...Труды Академии наук... — во Франции существует пять Академий: Французская академия, Академия надписей и литературы, Академия наук, Академия изобразительного искусства и Академия морали и политических наук. Академия наук, над которой издевается Вольтер, занимается математикой и естественными науками, была основана в 1666 г. при Людовике XIV министром Жаном-Батистом Кольбером (1619—1683).

Якобит — так называли во Франции монахов-доминиканцев, орден которых был основан Домиником Гузманом (1170—1221).

Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт и политический деятель, автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

...В десяти книгах тяжеловесных стихов... — Вольтер намекает на поэму Мильтона «Потерянный рай», в которой автор повествует о восстании падших ангелов против бога, в поэме не 10, а 12 песен.

Мессия — в иудейской и христианской религиях посланник бога, «спаситель», который утвердит свое вечное царство.

Люцифер — сатана.

Платон давным-давно сказал — здесь Вольтер приписал древнегреческому философу-идеалисту Платону слова Сенеки из его второго «Письма к Луциллию».

Ахмет III — турецкий султан, у которого шведский король Карл XII нашел пристанище после поражения под Полтавой в 1709 г. Впоследствии Ахмет III был низложен и бежал из страны.

Меня зовут Иван... — речь идет об Иване VI Антоновиче (1740—1764), провозглашенном российским императором в младенчестве. В 1740 г. был заточен в Шлиссельбургскую крепость, где в 1764 г. заколот стражей при попытке освободить его.

Карл-Эдуард (1720—1788) — внук последнего английского короля из династии Стюартов, сын Якова Стюарта, оба безуспешно пытались вернуть Стюартам трон.

Я король польский — Август III (1696—1763), курфюрст Саксонии, утвердился на престоле в результате войны за польское наследство после изгнания польского короля Станислава Лещинского в 1733 г.

Я Теодор — Теодор фон Нейхоф (1690—1756), вестфальский барон, захвативший в 1736 г. на несколько месяцев власть на о. Корсика и провозгласивший себя королем. Скитался по Европе, за долги неоднократно привлекался к суду и сидел в тюрьмах.

Рагоцци — Ракоци Ференц (1676—1735) — руководитель освободительной войны венгерского народа от австрийского владычества. С 1704 г. — князь Трансильвании. Установил связи с Россией.

Скутари — древний Хризополис, город на берегу Босфорского пролива.

Пропонтида — древнегреческое название Мраморного моря.

Ичоглан — турецкий слуга, паж.

Кади — судья в Турции и некоторых других мусульманских странах.

Муфтий — высшее духовное лицо у мусульман-суннитов.

Американские острова — то есть Антильские острова.

Арпан — старинная мера площади. 1 арпан — 100 першей — 3418 м².

Еглон... Авессалом... Нават... Эла... и т. д. — имена царей библейских, античных, средневековых и современных Вольтеру.

ИСТОРИЯ ДОБРОГО БРАМИНА

Рассказ написан в 1759 г., напечатан в 1761 г.

Вишну — один из главных богов индуистского пантеона, олицетворяет творческую космическую энергию. Имеет много различных имен.

ПРОСТОДУШНЫЙ

Повесть была издана в 1767 г. братьями Крамерами в Женеве без упоминания имени автора.

Отец Кенель — Паскье Кенель (1634—1719), янсенистский богослов, которому Вольтер из предосторожности приписал свою повесть.

Святой Дунстан — архиепископ Кентерберийский (924—988), причисленный к лику святых.

Тысяча шестьсот восемьдесят девятый год — год вступления Англии в войну против Франции на стороне Аугсбургской лиги, в которую также входили Испания, Швеция и Голландия.

Милорд Болингброк Генри Сен-Джон (1678—1751) — английский государственный деятель, автор целого ряда антиклерикальных произведений.

Изгнанников... которых вы называете гугенотами... — с 1681 г. усилились гонения на протестантов, которые начали эмигрировать в Англию. Во Франции протестанты-кальвинисты назывались гугенотами.

Сагар Теода Габриэль — французский миссионер, проповедник христианства среди гуронов в XVII в.

...Изъявили желание съесть его... — Вольтер здесь ошибается — среди индейских племен каннибализма уже давно не было.

Пятикнижие Моисея — общее название первых пяти книг Библии — Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, составляющих основную часть Ветхого завета, являющегося священным для иудаизма и христианства.

Новый завет — часть Библии, почитаемая в качестве священного писания христианами. Состоит из 27 «книг»: 4 евангелия, Деяния апостолов, послания, Откровение Иоанна (Апокалипсис).

...Апостол Иаков-младший — приведена его фраза из Нового завета. Вольтер иронически называет этого апостола «младшим» в отличие от апостола Иакова в Ветхом завете.

Евнух царицы Кандакии — эпизод об апостолах взят из Деяний апостолов, где рассказано, что апостол Филипп крестил в обычной реке евнуха эфиопской царицы.

Эврит, царь Эханийский — по древнегреческому мифу он обещал отдать дочь Иолу тому, кто победит его в стрельбе из лука. Это сделал Геракл, но Эврит не выполнил обещания и тогда Геракл убил его и увел с собой Иолу...

...Город почти опустевший... — большинство гугенотов, жителей Сомюра, покинули город, спасаясь от преследований после отмены в 1685 г. Нантского эдикта, дававшего им право на свободу вероисповедания.

«Мы бежим из отчизны» — это 4-я строка 1-й эклоги «Буколик» (42—38 г. до н. з.) Вергилия.

Люлли Жан Батист (1632—1687) — французский композитор. По национальности итальянец. Основоположник французской оперной школы.

Вильгельм — английский король Вильгельм III Оранский (1650—1702).

...Нынешний папа... — римский папа Иннокентий XI (с 1676 по 1689), враждовавший с Людовиком XIV из-за церковных доходов.

Отец де ла Шез Франсуа (1624—1709) — исповедник Людовика XIV, имевший на него большое влияние. Был одним из инициаторов отмены Нантского эдикта 1685 г. В 1804 г. в его владениях было размещено самое большое парижское кладбище Пер-Лашез.

Господин де Лувуа Мишель Ле Телье (1641—1691) — маркиз, военный министр при Людовике XIV. Отличался особой жестокостью в походах против гугенотов, ввел «драгонады» — насильственный постой драгунов в протестантских селах, заканчивавшиеся поголовным уничтожением населения и сожжением домов.

Замок, построенный королем Карлом — то есть Бастилия, строительство которой началось в 1370 г. Карлом V Мудрым (1338—1380).

Пор-Рояль — монастырь, построенный в 1204 г., ставший с 1636 г. центром янсенизма.

...С Арно и Николем... — Антуан Арно (1612—1694), теолог Сорбонны, защитник янсенистов. Пьер Николь (1625—1695), отшельник монастыря Пор-Рояль. Оба были теоретиками янсенизма, их главный труд — «Логика Пор-Рояля» (1667).

Рого Жак — французский ученый, исследователь творчества философа, математика и физика Рене Декарта.

«Поиски истины» — главный труд французского философа-метафизика Никола де Мальбранша (1638—1715), первая часть которого была высоко оценена Вольтером, а вторая — раскритикована.

«Физическая премоция» — согласно учению средневекового философа и богослова Фомы Аквинского означает влияние божественных сил на человеческие побуждения.

Ларчик Пандоры — в древнегреческом мифе Пандора — женщина, созданная богами для мести людям, принявшим из рук Прометея украденный им с Олимпа огонь. Зевс вручил ей ларец с запретом открывать его, но Пандора все же заглянула в него и оттуда на человеческий род вырвались все несчастья.

...Яйцо Оромазда, продавленное Ариманом... — древнеперсидский миф, в котором говорится о том, как добрый бог Оромазд собрал все несчастья и пороки людей и заключил их в яйцо, а ненавидевший его злой бог Ариман раздавил это яйцо.

... Нелады Тифона и Озириса... — в эллинистический период (конец IV—II вв. до н. з.) в результате проникновения олимпийской религии в Северную Африку древнегреческий бог зла Тифон был отождествлен с египетским богом смерти Сетом, убившим брата Озириса.

Сен-сиранский аббат — Жан Дювержье де Оран (1581—1643), аббат Сен-Сиранского монастыря, защитник янсенистов.

Клио... как Мельпомену — в древнегреческой мифологии Клио, музу истории, всегда изображали с рукописью в руках, а Мельпомену, музу трагедии,— с кинжалом.

...О государях фезансакских, фезангентских, астаракских... — то есть о владельцах крохотных областей Фезансак, Фезансаг и Астарак, расположенных на юго-западе Франции и входивших в историческую область Гасконь.

...От какого-то фригийца... — то есть от троянца Энея, сына богини Венеры, который спасся от разрушавших Трою греков и приплыл в Италию. Северо-западная часть Малой Азии, где находилась Троя, называлась Фригией.

...Некоего Франка, сына Гектора... — по древнефранцузской легенде сын самого могучего воина троянцев Гектора бежал из пылающей Трои и нашел пристанище в Галлии, современной Франции, и якобы стал ее основателем.

Фукидид (ок. 460—400 до н. э.) — древнегреческий историк, автор труда «История», посвященного истории Пелопоннесской войны (до 400 г. до н. э.). Считается вершиной античной историографии.

...Напоминают «Амадисов» — «Амадис Гальский», многотомный рыцарский роман, издававшийся в Испании в первой половине XVI в. и пользовавшийся огромной популярностью среди всех слоев населения.

Император Юстиниан (482 или 483—565) — византийский император с 527 г.

Апедевты — неучи, невежды. Вольтер намекает на ученых-сорбоннистов.

...Против величайшего полководца... — Велизария (494—565), византийского полководца императора Юстиниана, победителя персов, вандалов, вестготов, завоевателя Италии. Подвергался гонениям и по приказу Юстиниана был ослеплен. Вольтер намекает на гонения против своего друга Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799) за его роман «Велизарий» (1767), запрещенный по настоянию богословов Сорбонны.

Ликостолы — словообразование Вольтера, «полотнянодежники», те, кто носит одежду из льняной ткани. Здесь имеются в виду сорбоннисты.

Пастофоры — египетские жрецы. Франсуа Рабле первым начал употреблять это слово для обозначения католических священников.

Визе Донно де (1638—1710) — французский писатель, критик Мольера.

Расин Жан (1636—1699) — французский драматург, автор трагедий.

Фэйди — Фенелонов... — Вольтер имеет в виду книгу французского поэта, критика и богослова Пьера Фэйди «Телемахоманию» (1700), резко критикующую поучительно-утопический роман французского писателя-прелата Франсуа Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака» (1699), в котором содержится критика абсолютизма.

Басня о двух голубях — басня французского писателя Жана де Лафонтена (1621—1695).

...Новую «Ифигению»... — далее перечислены трагедии Жана Расина, а также «Родогюна» и «Цинна» — трагедии Пьера Корнеля (1606—1684).

Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ, писатель и оратор, организатор гонений на протестантов.

Г-жа де Гюйон (1648—1717) — проповедница мистической любви к богу, созерцательно-пассивной жизни, неоднократно подвергалась преследованиям.

Сен-Пуанж — очевидно, Вольтер имеет в виду придворного и министра Людовика XV Луи Сен-Флорантена (1715—1777), герцога Ла Врильера, известного своими любовными похождениями.

Святой Проспер Аквитанский (ок. 390—460) — христианский теолог, поэт и историк, боролся с ересями, в частности с пелагианством.

«Христианский педагог» — произведение иезуита Филиппа Утре-

мана (XVII в.), которому Вольтер дал характеристику: «Это прекрасная книга для дураков».
Блаженный Августин рассказывает — речь идет о трактате Августина (354—430) «О Нагорной проповеди».
Сей страшной крепости — стихи из эпической поэмы «Генриада» Вольтера.
Маршал де Марильяк Луи (1573—1632) — вместе с братом Мишелем участвовал в заговоре против министра Людовика XIII, кардинала Ришелье (1585—1642), был арестован и казнен.
Мазарини Джулио (1602—1661) — кардинал с 1641 г., первый министр Франции с 1643 г. (при Людовике XIV).
Будь я французским королем... — перечисленные ниже качества Вольтер относит к своему другу, министру иностранных дел Людовика XV с 1758 по 1770 годы герцогу Этьену-Франсуа де Шуазелю (1719—1785).
«Размышления преподобного отца Круазе» — один из нескольких популярных среди религиозных читателей трудов французского иезуита Круазе.
«Цвет святости» — трактат испанского иезуита Рибаденейры (1599).

КОЗИ-САНКТА.
МАЛОЕ ЗЛО РАДИ ВЕЛИКОГО БЛАГА

Блаженный Августин — Августин Аврелий (354—430) — христианский теолог и философ, один из «отцов церкви».

МАРК АВРЕЛИЙ И ФРАНЦИСКАНСКИЙ МОНАХ

Время написания памфлета неизвестно, напечатан в 1757 г.
Капитолий — один из семи холмов, на которых возник Рим. На нем воздвигнут храм Юпитера Капитолийского, который тоже называют Капитолием.
Марк Аврелий (121—180) — римский император с 161 г. из династии Антонинов, приемный сын императора Антонина Пия (86—161).
Сикст V (Фелис Перетти, 1520—1590) — римский папа.
Палатинский холм — один из семи холмов Рима.
Тит Флавий (39—81) — римский император с 79 г.
Катехизис — книга, содержащая краткое изложение христианского вероучения, обычно в форме вопросов и ответов, предназначенная для начального религиозного обучения верующих.
Маркоман, Квад, Кимвр, Тевтон — представители варварских племен.
Сципион Младший (ок. 185—129 до н. э.) — римский полководец, разрушивший в 149 г. до н. э. Карфаген.

КАПЛУН И ПУЛЯРДА

Порфирий Пифагорийский (ок. 233—ок. 304) — греческий философ-идеалист, автор трактата «Против христианства».

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ДИСПУТЕ В КИТАЕ

Тридентский собор — вселенский собор католической церкви заседал в 1545—47, 1551—52, 1562—63 годах в г. Тренто, в 1547—49 в г. Болонье. Он закрепил средневековые догматы католической церкви, подтвердил верховенство римского папы над церковными соборами, усилил гонения на еретиков, ввел строгую церковную цензуру.

Конфуций (Кун-Фуцзы, ок. 551—479 до н. э.) — древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства.

ПИСЬМО НЕКОЕГО ДУХОВНОГО ЛИЦА ИЕЗУИТУ ЛЕ ТЕЛЬЕ

Два памфлета — «Письмо некоего духовного лица иезуиту Ле Телье» и «Рассказ об одном диспуте в Китае» — вошли как главы XVII и XIX в большой «Трактат о веротерпимости в связи со смертью Жана Каласа», написанный в 1762 г. после казни Каласа, торговца-кальвиниста. Он был несправедливо обвинен в убийстве своего сына Марка Антуана, готовившегося к принятию католичества. Поднятая Вольтером кампания за реабилитацию Каласа и его семьи через три года увенчалась успехом. В 1765 г. после пересмотра дела Калас был признан невиновным, а его имущество возвращено семье. «Трактат о веротерпимости» в 1766 г. был осужден Римом и внесен в «Индекс запрещенных книг».

Санчес Томас (1550—1610) — испанский схоласт-иезуит.

Битва под Гохштедтом — 13 августа 1704 г. под баварским местечком Гохштедт английские войскв разбили католическую франко-баварскую армию.

Монах Шварц (ок. 1318—1384) — Бертольд Шварц, немецкий монах и алхимик, которому приписывалось изобретение пороха.

Ноайль Луи Антуан (1651—1729) — французский кардинал, архиепископ Парижский с 1695 г., выступивший против буллы 1713 г. папы Климента XI, осуждввшей янсенизм.

Генрих VII (1269—1313) — германский император; по просьбе Данте пошел с войском на Флоренцию, но в Италии умер; существует предположение, что был отравлен монахом-доминиканцем.

Преподобный отец был изгнан — Ле Телье (1643—1719), проведя через парламент антиянсенистскую буллу папы Климента XI, вызвал сильное сопротивление со стороны чвсти духовенства и аристократии. После смерти Людовика XIV был отправлен в ссылку герцогом Орлеанским.

О СТРАШНОМ ВРЕДЕ ЧТЕНИЯ

Саид-Эфенди — турецкий посол, который в 1721 г. основал в Константинополе первую типографию.

Великая Порта — название правительства Оттоманской империи (с XVI в. до первой мировой войны).

Франк-Рим — то есть Франция—Рим.

Мекка — город в Саудовской Аравии, главный религиозный центр ислама. Место рождения основателя ислама Мухаммеда. С VII в. — священный город мусульмвн, место их паломничества.

Медина — город в Саудовской Арввии, в который переселился из Мекки Мухаммед. Его гробница — второе после Каабы в Мекке место паломничества мусульман.

Год 1143 гиждры — в переводе на европейское летоисчисление — 1730 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Вольтер.

В71 Поэмы. Философские повести. Памфлеты: Пер. с фр. / Предисл., сост., примеч. В. И. Пащенко.— К.: Политиздат Украины, 1989.— 493 с.

ISBN 5-319-00276-9

В книгу вошли философские повести, поэмы, памфлеты французского писателя-просветителя Вольтера (1694—1778), представляющие собой типичные образцы сатирической антиклерикальной литературы эпохи Просвещения: «Кандид», «Простодушный», «Фанатизм», «История доброго брамина», «Марк Аврелий и францисканский монах» и др., а также поэма «Орлеанская девственница», которую А. С. Пушкин назвал «катехизисом остроумия».

Рассчитана на широкий круг читателей.

В $\frac{4703010000-054}{М201(04)-89}$ 247.89 ББК 84.4Фр

ВОЛЬТЕР

ПОЭМЫ. ФИЛОСОФСКИЕ ПОВЕСТИ. ПАМФЛЕТЫ

Киев
Издательство
политической литературы
Украины
1989

Заведующая редакцией *О. Н. Кузьмина*
Редактор *А. В. Чепурко*
Младший редактор *Е. Н. Колтуновская*
Художник *Е. А. Положенцева*
Художественный редактор *Н. К. Лычак*
Технический редактор *З. С. Бурдейная*
Корректоры *В. Ф. Бавенко,*
М. Я. Иванова

ИБ № 5448

Сдано в набор 22.09.88. Подп. в печать 28.02.89. Формат 84×108/32. Бумага книжно-журнальная. Обыкн. новая гарнитура
Высокая печать. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,46.
Уч.-изд. л. 31,06. Тираж 150 000 экз.
Заказ 8—284. Цена 3 р. 50 к.

Политиздат Украины, 252025, Киев, ул. Десятинная, 4/6.

Киевская книжная фабрика, 252054, Киев, ул. Воровского, 24.